

НОВЫЙ
МИР

7

МОСКВА 1940

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1940 г

№ 7

Год издания XVI

★ ★ ★

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Евг. Долматовский — Лирика, стихи	3
Вл. Лидин — Дорога на Запад, рассказы	8
Владимир Замятин — Детство, стихи	19
К. Бадигии — На корабле «Георгий Седов» через *Ледовитый океан, продолжение	21
А. Ерикеев — Ручей, стихи, перевод с татарского Веры Звягинцевой	67
Павел Нилин — О любви, повесть	68
Шандор Петёфи — Стихотворения (1823—1849 гг.), перевод с венгерского С. Обрадовича	92
Конст. Федин — Киров, сцены для кино	95
Н. Мудрогель — 58 лет в Третьяковской галерее, воспоминания	137
Николай Незлобин — Университет миллионов	182
<hr/>	
А. С. Оголевец — П. И. Чайковский	192
Ф. Н. Малинин — Заметки о поэтическом наследии П. И. Чайковского	210
А. Гурштейн — К проблеме народности в литературе	218
<hr/>	
А. И. Опарин — Происхождение жизни	233
<hr/>	
А. Пальчунов — Воздушные десанты	247

★

Лирика

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Комсомольская площадь—вокзалов созвездье!
Сколько раз я прощался с тобой при отъезде;

Сколько раз выходил на асфальт раскаленный,
Как на место свиданья впервые влюбленный;

Сколько раз мы стояли с тобой на вокзале
И, как водится, — главного недосказали.

Ни дорожной тоски, ни безрадостной встречи
Никому не избегнуть в судьбе человечей.

Хорошо машинистам — их дело простое:
В Ленинграде сегодня, а завтра — в Ростове.

Я же с дальней дорогой знаком по-другому:
Как уеду, — так тянет к забытому дому.

Как опять подойду к дорогому порогу, —
Ничего не поделаешь, — тянет в дорогу.

Счастья я не искал — все мне некогда было,
И оно меня, кажется, не находило.

Но была мне тревожной и радостной вестью
Комсомольская площадь — вокзалов созвездье.

Расставанья и встречи — две главные части,
Из которых когда-нибудь сложится счастье.

★



Хочется вслушаться в голос ровный,
 Смотреть на серебряные седины,
 И на глубокие, длинные, словно
 По дереву вырезанные, морщины,
 На сетку жил, обтянувших руки,
 На платье торжественного покроя,
 Испытывать медленный взгляд старухи,
 Задумчиво всматривающийся в былое.
 У входа в дом, на плетеном стуле,
 Она с вязаньем сидит часами,
 Не замечая жары в июле,
 Под синими-синими небесами.

А ты пробегаешь вприпрыжку мимо
 Дома, подъезда, старухи, стула,
 Неудержимо, неуловимо,
 Будто бы облачко промелькнуло.
 Ветер, как скульптор, вылепил платье,
 Нежный пушок шелестит по коже.
 Долго ли буду тебя встречать я
 Легкой, на солнечный луч похожей?
 Иль по рукам заструятся жилки,
 Складка протянется возле уха,
 Щеки забудет румянец пылкий,
 Станешь такой же, как та старуха.

Нет! Не хочу, не могу, не верю!
 Мало ль придумают люди вздора.
 В мир для тебя открывались двери
 Не для того, чтоб закрыться скоро.

К будущим дням подойдя поближе,
 В прошлое буду смотреть пытливо,
 Эту старуху тогда увижу
 Стройной, как ты, молодой, счастливой.

Вот и она пробегает мимо
 Дома, какой-то старухи, стула,
 Неудержимо, неуловимо,
 Будто бы облачко промелькнуло.

Так же бежит она, так же точно,
 Кроме любви, ничего не зная,
 Как пробежит когда-нибудь дочка
 Мимо меня и тебя, родная.



ВЕТЕРОК МЕТРО

В метро трубит тоннеля темный рог.
Как вестник поезда, приходит ветерок.

Воспоминанья всполошив мои,
Он только тронул волосы твои.

Я помню забайкальские ветра
И как шумит свежак — с утра и до утра,

Люблю я нежный ветерок полей...
Но этот ветер всех других милей.

Тебя я старше не на много лет,
Но в сердце у меня глубокий след

От времени, где странной красотой
Звучало «Днепрострой» и «Метрострой».

Ты по утрам спускаешься сюда,
Где даже легкий ветер — след труда.

Пусть гладит он тебя по волосам.
Как я хотел бы их погладить сам.

★ ★ ★

Над шатром ореховых ветвей,
Над коляской девочки моей
Целый день летают самолеты.
Низко опускаются, гудят,
Небо голубое бороздят,
Полные взволнованной заботы.

Я хочу, чтоб ты привыкла к ним,
К рокотанью, к отблескам стальным
Если не с младенчества, то с детства.
Ты поймешь, как станешь понимать,
Что, наверно, зря тревожит мать
Лётной школы близкое соседство.

★

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Памяти А. Копштейна.

От духоты цветы набрякли,
Струятся крыши деревень.
Как занавес в конце спектакля,
Приходит медленная тень.

И туча лапою широкой
Уже полнеба обняла,
И не поймешь — она с востока,
А может, с запада пришла.

А мы с тобой по-детски бредим,
Бродя среди пасмурных долин,
Не зная, что вдвоем уедем
И что вернется лишь один.

★ ★ ★

Лежит товарищ на пригорке
Среди желтеющих цветов.
Расстегнут ворот гимнастерки,
И каска откатилась в ров.

Узка под ним земли полоска, —
Он рос среди иных полей.
Горит вдали зари полоска, —
Он видел зори поалей.

Не слышит он, как бьют подковы
И как горнист поет в трубу.
Темнобагровый лист кленовый
Запекся на высоком лбу.

★ ★ ★

Я помню тебя не такой.
Неправда! Я даже не думал,
Какая ты. Сквозь непокой,
Сквозь радость и рядом с тоской
Ты шла — незаметной, угрюмой,
А может, веселой... Вот так
Растут безразлично деревья
И ветви сплетают, никак
Не в силах рвануться в кочевье.

Теперь мы опять далеки,
По-новому ты дорога мне.
На Вильно несутся полки,
Гремят под копытами камни,

И кажется, будто со мной
Ты мчишься по осени рядом,
Дорогой степной и лесной,
С армейской разведки отрядом.

Мы рядом, мы вместе! поверь —
Вся жизнь потекла по-другому.
Я мчусь к незнакомому дому,
Стучусь в неизвестную дверь.
Земля полыхает вокруг,
Оружье сверкает сурово,
И нежное слово подруг
Ведет нас, как родины слово.

★ ★ ★

Всегда я был чуть-чуть моложе
Друзей — товарищей своих,
И словом искренним тревожил
Серьезную повадку их:
На взрослых мы и так похожи,
А время любит молодых.

А время шло в походном марше,
И вот я постепенно стал
И не моложе, и не старше
Тех многих, кто меня считал
Мальчишкой и на Патриарших
На узких саночках катал.

Мне четверть века. Я, конечно,
Уже не самый молодой
И больше не смотрю беспечно,
Как над землею и водой
Плывет таинственная вечность
С далекой маленькой звездой.

Нет, мне великое желанно —
Знать все, чего не знал вчера,
Чтоб жизнь, как парус Магеллана,
Собой наполнили ветра,
Чтоб открывать моря и страны,
Чтоб мир вставал из-под пера.

Я не грущу, что юность прожил, —
Ведь время взрослых подошло.
Таится у орленка тоже
Под пухом жесткое крыло.
А быть, чем старше, тем моложе, —
Искусство, а не ремесло.

Дорога на Запад

ВЛ. ЛИДИН

★

ПОРТРЕТ

Мы остановились в августовских лесах, местах глухих и с недоброю славой.

— С благополучным прибытием, — сказал шофер Володя Речной и стал вытаскивать из покрывки снятого колеса разорванную на клочки камеру. Запасных камер у нас с собой не было. Мы сели на обочине возле канавки и стали обсуждать, что теперь делать дальше.

— Готовьтесь к активной обороне, товарищи... все, что могу посоветовать, — сказал Володя мрачно, оглядывая подпертую домкратом машину. — В этих августовских лесах офицерских банд до чорта бродит.

Шоссе с облетающими по сторонам деревьями терялось дальше в лесах. Леса были ржавые, с последней прозеленью, еще не схваченной осенью. Ветер тонко посвистывал в проводах телеграфа. Через поляну короткими скачками уносился напуганный нами заяц.

— Хотя бы соломы достать набить колесо, — добавил Володя уныло. — А то барабан пойдет к чорту.

Из леса со стоячей водой на заболоченных местах несло сыростью. Жилья вблизи не было. Надо было дожидаться случайной встречной машины или итти искать соломы в прошлогоднем омете. Мы разделили между собой четыре ручные гранаты и оставили при маши-

не Володю и фотокорреспондента Ивашина.

— Привыкли ездить по улице Горького, — сказал сердито капитан Комаров, когда мы отошли от машины. — Тоже мне вояки, шоферы!

Мы шли с ним по щебенчатому шоссе, уходившему к Августову и Суwalkам. Лес подступал вплотную к шоссе, и скоро вокруг нас стало темно и сыро. Между кочек лесного болота темнела вода.

— Неужели получше вы ничего не нашли? — сказал Комаров и покосился на мой маленький браунинг. — Из такого пистолета только ворон через окошко пугать... эх, вояки, вояки!

Он сдвинул на затылок свою пробитую пулей фуражку и зорко поглядывал по сторонам на зловеще темневшие лни и стволы. День с необычайной быстротой гаснул за вершинами высоких деревьев. Мы шли по дороге одни, затерянные в тишине леса: до Августова было свыше сорока километров.

— Эти леса разве скоро прочтешь, — пробормотал Комаров, незаметно сдвигая поближе к руке кобуру. — Тут нашим РБ¹ уже досталось работки.

— Давайте лучше поговорим о живописи, — сказал я ему. — В Гродно, в

¹ Разведывательный батальон.

замке Стефана Батория, есть две доски Луки Кранаха... вам, помнится, они тоже понравились.

Я вспомнил залу заседания первого сейма в замке Батория, сводчатые полуокружая потолок и мутную ленту широкого Немана, который был виден сквозь амбразуры.

— Расскажите мне о Луке Кранахе, — согласился Комаров.

— Лука Кранах Старший, — сказал я, — был другом Лютера... Есть замечательный портрет Лютера, написанный им. Будете в Ленинграде, посмотрите его «Юдифь».

Я только-что собрался добавить о замечательном золотистом колорите пейзажей раннего Кранаха и о его картине, изображающей рай с Адамом и Евой, окруженными зверями, но Комаров прервал меня:

— Погодите о Кранахе... посмотрим на карту.

Он достал из планшета двухверстку, и мы в сумраке леса нашли на ней место, где сейчас находились. Густая зеленая краска лесов с чередующимися, голубовато заштрихованными продольными полосками, болотами безрадостно обозначала пустынность этого места. Селений вблизи не было.

— А ну, погодите, — сказал вдруг Комаров, приблизив карту к глазам. — Лесопилка!

Мы вгляделись в черный значок — звездочку с заштрихованной бордочкой, изображающей зубья пилы, — и определили по условным знакам лесопилку. Она находилась в полукилометре, возле самой дороги. Комаров сложил карту, и мы ускорили шаг. На лесопилке должны быть лошади, а следовательно, найдется и солома. Скоро мы увидели мостик через придорожную канаву. Лесная дорога вела к лесопилке. В стороне от дороги протекала речушка с чернильной водой, в которой плавало несколько неошкуренных деревьев.

— Самое подходящее место для банды, — сказал Комаров, и я увидел, как он нащупал в кармане шинели ручную гранату.

Мы подошли к лесопилке. Дорога была густо усыпана перегнившими

опилками. С бочажка поднялись и полетели в сторону две дикие утки. Ворота лесопильного заводика были открыты, и во дворе лежали штабеля лимонно желтеющих досок. Людей вокруг не было. В конторе все было брошено наспех, валялись конторские книги, и на большом стенном календаре с меланхолическим портретом Шопена движение времени остановилось на 22 сентября... Потом мы прошли в лесопилку с ее продольными и поперечными пилами и густыми отвалами скипидарно пахнущих опилок. Все было кинут наспех и здесь, точно выдуть сквозняком, и в таком же беспорядке валялись банки из-под консервов и пустые вещевые мешки, брошенные отступающей кавалерийской частью. Возле временных коновязей во дворе лежал конский навоз.

— Ну, искать тут нечего, всех угнали поляки, — сказал Комаров. — Ясное дело, отступают к Литве. Давай, захватим соломы — и ходу!

Мы направились к конюшням, ворота которых были тоже открыты, и только стайки воробьев еще трещали и ссорились, расклеывая просыпанный конями овес. В конюшнях сквозь разбитые окна уныло посвистывал ветер и было пусто и грустно, как всегда, когда остывает тепло чьей-то недавней жизни. Я вспомнил пристреленных коней на пути отступления польских частей. Их репиды под отогнутыми хвостами были жалко выпучены, и золотые и серые гривы смешались с облетевшей листвой.

Мы нашли за конюшнями омет почерневшей прошлогодней соломы.

— Автолихачеством занимаются только... — сказал попрежнему сердито капитан Комаров и стал сворачивать жгут, чтобы прихватить им охапку соломы, — шоферы!..

Мы связали две охапки соломы и пошли к выходу. Наверху, на стропилах, сидела брошенная голодная кошка. Вода в реке с прибитыми к берегу сосновыми ошкурками и щепой была неподвижна. Кошка спрыгнула неслышно на землю и побежала за нами, жалобно и беззвучно разевая рот: на мяуканье у нее уже не хватало голоса. Мы вышли на дорогу и увидели человека в зелено-

ватой шинели без пояса и в фуражке с прямым козырьком, похожей на конфедератку. Он катил велосипед, спотыкаясь от усталости на каждой неровности лесной дороги. Велосипед был военного образца, с ручками наперед, покрытыми рубчатой красноватой резиной. Мы вспомнили, как, разбегаясь, офицеры передевались в шинели солдат, и зашли за две большие сосны, росшие сбоку дороги. Человек вытирал со лба пот и по временам останавливался. Черты его грубоватого молодого лица были обуглены от усталости. Комаров дал ему приблизиться и вышел навстречу.

— Далеко идете? — осведомился он деловито и потребовал у человека документы.

Лицо у того стало сразу несчастным. Он торопливо положил велосипед на дорогу и дрожащими руками полез в карман за документом. Это была солдатская книжка на имя Ивана Петкевича, крестьянина деревни Лящовцы Гродзкой гмины.

— До дому катишь? — спросил Комаров, возвращая ему его книжку. — Отвоевал в польской армии.

— Отвоевал, товарищ, — сказал человек, и слезы стали вдруг падать из его глаз.

— А плакать тут нечего... панов с песнями, а не со слезами провожать надо, — добавил Комаров назидательно.

— Так то ж я от радости плачу, товарищи, — ответил тот, размазывая слезы на небритых щеках. — Взошла еднaк зорька для народу нашего хлопского... Ой, ждали мы этого часа, дорогие товарищи!

Он засунул обратно в карман свою солдатскую книжку и поднял за бaрaньи рога велосипед.

— Ну, поезжай до дому, и доброго тебе здоровья, — сказал Комаров, снова взваливая на плечо охапку соломы.

Дорога впереди быстро темнела. Солдат снова, спотыкаясь, покатил свой велосипед.

— Товарищи... — крикнул он вдруг, остановившись. — Дорогие товарищи! — Он прислонил велосипед к дереву и стал

развязывать привязанный сзади к багажнику вещевой мешок. — От ясного сердца прошу вас, товарищи... може, для какого музеума или людова дома¹ пригодится портрет. Знайдовал² на ночлеге в парку графа Красинского... пораскидали троше хлопы добро из графского дому!

Он стал вытаскивать из вещевого мешка скудные предметы солдатского обихода и достал овальную медную доску. Это был суровый портрет строгого человека в пасторском одеянии, написанный с великим умением каким-нибудь удивительным старым фламандцем.

— Я сам в местечку Краснбe по малярному делу працювал немного... вижу, то ж доброе малярство, думаю — радзедкой власти для показу люду пригодится, быть може. Повесьте его в хорошую залу, товарищи... пускай наши хлопы до музеумов научатся ходить!

Комаров держал в руках доску и смотрел на портрет. Смуглость потускневшего лака не могла сгладить остроты блеска глаз, тонкой усмешки удлинённого рта и морщинок на большом лбу под ермолкой.

«*Doctrina excellens facundae gloria Lingvae...*» — прочитал я на обороте и по возможности точно перевел возвышенный смысл латинской блистательной эпитафии.

Мы пообещали солдату передать этот портрет в какой-нибудь музей, и он удовлетворенно стал записывать обратно в мешок жалкий скарб.

— Спасибо, товарищи, — сказал он довольно, — може, еще повстречаемся... а може, в самой нашей бедной деревне радзедкая власть добрый музеум для люда построи!

Он привязал к багажнику вещевой свой мешок и покатил велосипед по дороге. Мы выбрались из леса и пошли по шоссе.

— Ну, что вы там хотели еще рассказать про Кранаха? — спросил вдруг Комаров. — Все равно, чтобы его кар-

¹ Народный дом.

² Нашел.

тины народ в музей сам понес, — это даже Кранаху не снилось!

Володя Речной и Ивашин сидели на обочине возле машины и скучали.

— Ну, вот тебе покрывало фирмы «Дэнлоп», — сказал Комаров, сбрасывая на дорогу охапку соломы. — Набивай до отказа.

— Вы что-то повеселели, товарищ капитан, — сказал Володя подозрительно, — может, латанную камеру нашли ненароком?

— Ладно, ладно, — ответил Комаров с благодушьем. — Давай-ка пока добираться на этой.

Мы туго набили покрывало соломой и поплыли в сторону Августова и Сува-лок.

— Ничего себе автотелега, — сказал Володя невесело. — С нас будут люди смеяться, ей-богу, если только какая-нибудь банда не стукнет!

Но Комарову, казалось, нравилась эта непредвиденная задержка в движении.

— А все-таки доскажите о Кранахе Старшем, — попросил он погодя.

Мы медленно двигались по шоссе,

выбитому прошедшей недавно на запад тяжелой артиллерией. Из леса, как из погреба, несло прелью и сыростью. Я стал рассказывать о замечательном «Амуре с пчелами» Луки Кранаха Старшего.

— Как это там в надписи на обороте сказано? — перебил меня Комаров. — «Благодарный ум и широкая рука превознесли славу ученого, которого оплакивает слезами отечество...». Ну, настоящая слава к нему, пожалуй, только сегодня пришла!

И он бережно стал засовывать портрет под целлюлоидовую покрывало планшета.

К ночи лес по сторонам поредел, зеленато под луной блеснул простор озер, прикрытых поверху туманом. Впереди, еще очень далеко, мы увидели огни.

— Завтра у комиссара дивизии добуду тебе две новенькие камеры, — сказал Комаров приунывшему Володе.

Володя прибавил газу, и наш «шевроле» заковылял по большим камням дороги, за поворотом которой были первые пригородные домишки Августова.

★

ГРОБОВЩИКИ

Сыробородко, старого кавалериста, майора, назначили военным комендантом города В. Сыробородко, бывший боец Конной армии, рослый человек с перешибленным носом, занял нижнюю комнату в здании бывшего воеводства. На стенах еще висели эмалированные дощечки с надписями: «Palić zabroniо», «Zachowywać cisze»¹ — и портрет сутулого Пилсудского в солдатской промятой фуражке. Служитель с польскими сквозными усами, размазанными щеточкой по желтым щекам, нервно вскакивал при входе каждого нового посетителя, но потом и его разморило от табачного дыма и людской толчеи, и он только пучил, как ночная птица, глаза навывкате. За стеклянными

дверями, вытекая из коридора на улицу, стояла очередь рослых людей в макинтошах и фетровых шляпах, — это действовал приказ № 1 о регистрации офицеров и сдаче оружия, а на прием к коменданту теснилось едва ли не все население города.

Сыробородко, не снявший за двое суток ни разу шинели, с воспаленными белками глаз и окурком папиросы, приставшей к губе, успел за несколько дней принять десятки владельцев банкирских контор, директоров гимназий, наборщиков типографий, пекарей, лесников, чиновников, шоферов, сестер милосердия, вплоть до начальников пожарных команд, вице-президента города В. и даже знаменитого цадика, которого под руки привели два раввина. Пекаря начали выпекать хлеб, директор гимназии самолично принес для сдачи два детских

¹ «Курить запрещается», «Соблюдать тишину».

ружья, равнины договорились о размещении беженцев в синагогах, типография начала печатать русскую газету, шоферам удалось наладить автобусное сообщение, и пожарные команды успели потушить два пожара...

На пятые сутки комендант впервые хорошо выспался на кожаном широком диване в кабинете воеводы. В кабинете висела в золоченой раме отлично выполненная карта воеводства с обведенными зеленой краской границами гмин, и в углу, окруженный горшками с начинающими увядать хризантемами, стоял мраморный бюст Понятовского. Воевода бежал за несколько часов до прихода частей Красной армии, ящики его стола из красного дерева были выдвинуты, груды папок, циркуляров, приказов валялись возле них на полу, и в стенном секретном ящичке вместе с разменной монетой были брошены воеводские ордена и регалии, — банкноты и бумажные деньги успел захватить он с собой. Сырбородко достал из дешевенького своего чемоданчика полотенце и мыло, хорошо умылся из-под крана в воеводской уборной и даже по-походному побрился холодной водой. Шелковые занавески в пухлых поперечных сборках на окнах воеводского кабинета походили на паруса, и за ними после нескольких дождливых сереньких дней до яркости снимательной свденной картинки сияло лаковое синее небо и такие же лаковоканареечные деревья в городском саду. Сырбородко наспех смочил еще оделоном лицо и спустился вниз, в комендатуру. За барьером раздевалки доверху под потолок лежало сданное оружие, и комендант жадным взглядом военного покосился на все эти новенькие браунинги, маузеры, охотничьи ружья и офицерские сабли. Час приема еще не начался, в коридорах воеводства было непривычно пусто. Дежурный, принимавший через окошечко заявления, намазывал на булку масло трофейным тесаком.

— За время моего дежурства, товарищ майор, никаких происшествий не произошло, — сказал он, вставая. Глаза его, однако, смотрели хитро, и он добавил: — Полковой комиссар Яро-

шенко просил зайти к нему, товарищ майор.

Сырбородко просмотрел запись срочных дел на листке — прежде всего надо было доставить продовольствие в госпиталь, вызвать начальника железнодорожного депо, заказать новый штамп, принять представителей хлебопекарен — и прошел в соседнюю комнату к комиссару гарнизона Ярошенко. Комиссар сидел в кресле с телефонной трубкой в руке и дожидался соединения с Молодечно.

— Послушай, товарищ Сырбородко, — сказал он, прикрывая трубку рукой. — Тут с тебя люди смеются. — Он был украинцем и любил неправильности словесных оборотов, придававшие им энергичность. — У тебя же в городе одними гробами торгуют. По-моему, в приказе № 2 ясно сказано, что все частные владельцы должны немедленно возобновить работу предприятий и магазинов. Какой же после этого ты комендант, если тебя даже торговцы не слушают.

В трубке по-комариному запищали гудки, и отдаленный голос связиста сообщил, что сейчас будет говорить Молодечно. Комиссар пригнул голову к столу, чтобы лучше сосредоточиться, и Сырбородко дождался, пока он, то крича, то дуя в трубку, кончил разговор с Молодечно.

— Ты возьми таратайку да прокатись по улице Пилсудского или Сенкевича... На всех магазинах железные шторы до самого низу, одни гробовщики привечают советскую власть, — сказал еще комиссар. — Да еще с костелов звонят, по три литургии на день отмахивают... мрачное дело!

Он встал и прошелся, ероша коротко подстриженный бобрник горностаевой на висках головы. Сырбородко спустился вниз, приказал помощнику начать прием посетителей и прошел во двор, где груды лежало трофейное имущество: оружие, ящики с патронами, амуниция, вещевые мешки и новенькие офицерские чемоданы в чехлах. Шофер Володя Речной ожесточенно накачивал баллон вице-президентского «бюика».

— Бросай, Володя, качать, — сказал комендант. — Я вижу, тебе охота прока-

титься на «бюике»... Давай-ка покамест рабоче-крестьянский наш «газик».

Володя потыкал ногой баллон, завинтил вентиль и неохотно пошел заводить свой травянистого цвета и простреленный во многих местах «газик». Вице-президентский «бюик» с помятыми крыльями и багажником, в котором лежали четыре новенькие камеры, туманил его воображение. Он разочарованно завел машину с испорченным замком задней дверки: надо было сделать ею четыре-пять пистолетных выстрелов, прежде чем она закроется. Целлюлоидовые боковины были тоже порваны во многих местах.

— Куда поедет? — спросил он коротко, чтобы сейчас же добавить, что нужно заправиться.

— Кататься, — сказал комендант. — Кататься по главным улицам. Сначала по улице Пилсудского, потом Сенкевича, потом Легионов. Поедем тихо, понятно?

Он знал, что для Володи делать меньше восьмидесяти километров — истязание, и покосился на его ставшее сразу измученным лицо.

— Катаются на «бюике», — сказал Володя, вырвав мимо трофейного имущества к воротам. — Вот танкисты, смотреть завидно, уже на малолитражках катают... а командир батальона «Крейслера» подцепил, чуть ли не самог Бека машина.

— Ладно, ладно, давай, — сказал комендант. — Мы и на «газике» в грязь лицом не ударим.

Часовой открыл им ворота, и они выехали на площадь, из которой возле воеводства уже стояла толпа. Машина обогнула костел, впереди была широкая и прямая улица Пилсудского. Деревья по сторонам роняли желтые листья, день после прошедших дождей был свежий и до боли в ноздрях пахнувший осенью.

— По такой погодке куда-нибудь к Варшаве катнуть, — сказал Володя хмуро. — Сволочь шофер, все разводные ключи упер из машины.

Он все еще видел себя за рулем вице-президентского «бюика». По привычке он хотел было дать газ, но комендант толкнул его коленом, и он смирился. Сквозь порванное целлюлоидовое око-

шечко видны были волнистые железные шторы, спущенные на окнах и дверях магазинов. На стенах и заборах белел приказ № 2.

— А ну-ка, остановись, — сказал вдруг комендант. — Прогуляюсь пешком.

Володя остановил машину и неодобрительно посмотрел, как тот тяжело пролезает сквозь узкую дверку.

— Третьего дня с колокольни по нашему патрулю из винтовки хватили, — сказал он безудешно.

Потом он отвалился к сиденью и закурил папиросу, — он доказывал своим видом, что не причастен ко всей этой затее.

Сыробородко пошел неспеша по улице Сенкевича. Он шел, держа руки в карманах, промятая его кавалерийская фуражечка торчала горбом. Постояв, Володя все-таки двинулся следом вдоль обочины тротуара. Комиссар гарнизона был прав — на всех магазинах были опущены железные шторы, одни только гробовые лавки были обращены во всем изобилии предметов погребального дела к покупателям. Комендант подошел к одной такой витрине и долго разглядывал мерцающий инвентарь. На фоне черного бархата стоял детский цинковый гробик. Добротность отделки не поддежала сомнению. Это был образец солидной работы, надежное последнее убежище для человека. Несколько плоских раскрашенных мадонн окружали эту усыпальницу будущего мертвого дитяти. По бокам стояли подсвечники и трикирии и лежали необходимые атрибуты покойника: смертные венчики, фарфоровые венки и молитвенники, которые вкладываются в руки усопшим. Все это напоминало проходим о смертном часе и о необходимости заранее позаботиться о подходящем чину и званию ритуале. Сыробородко крикнул и пошел дальше. Володя двинулся следом. Соседние магазины — готового платья, посуды, мануфактуры и обуви — были закрыты. На одном из опущенных жалюзи комендант прочел надпись: «Закрыто по случаю болезни хозяина», на другом была надпись: «Закрыто на обед». На башне городских часов было 10 утра.

— Рано обедаете, — сказал он вслух и направился дальше, крепко ставя кривоватые ноги кавалериста.

На другом углу опять загробным чертогом была разверста витрина гробовщика-конкурента. У этого были выставлены кряду три модели гробов — дубовый, цинковый и покрытый газетом. Все было мрачно и должно было свидетельствовать, что над преходящими земными делами есть Вечность. С колокольни костела слетел первый истаивающий удар колокола, — начиналась утренняя месса. На перекрестке двух улиц Сырборродко сел снова в машину.

— Одних покойников и снабжают, — сказал Володя угрюмо, — саботаж, ясное дело... На рынке из-под полы отца можно купить; чего там отца, — малолитражку отхватить.

Комендант сидел молча, его красноватое лицо с перешибленным носом было нахмурено.

— Давай в воеводство, — сказал он коротко, и Володя понял, что можно газануть. Он дал шестьдесят, на повороте едва не столкнулся с двуколкой, ловко вывернулся, почти задел по носу шаркнувшую в сторону лошадь, сделал крутой вираж на площади и лихо, испугав толпу, завизжал тормозами. Комендант прошел в подъезд воеводства, а Володя вернулся во двор докачивать баллон «бюнка».

К пяти часам, к концу приема посетителей, Сырборродко вызвал к себе двух самых крупных владельцев бюро похоронных процессий. Оба владельца пришли и терпеливо ждали на скамейке, когда их примут. Один из них был желтый, печальный, немолодой человек с коричневыми височками, начесанными наперед, в корректном котелке и кремовых перчатках. Он сам походил на восковую, хорошо выполненную модель покойника, и комендант даже с некоторым подозрением покосился на него; прежде чем начать разговор. Другой был тощий человек неопределенного возраста, с красным, словно обветренным лицом и длинными руками, как бы предназначенными снимать мерку с покойника.

— Вы—гражданин Бернардинский?—

спросил комендант желтого немолодого человека.

— Так, — ответил тот, привстав и вежливо склонив голову набок.

— А вы — Ванькович?

— Моя фамилия Ванькович, — ответил тот безучастно.

Он держался с достоинством и даже несколько иронически смотрел мимо коменданта в угол.

— Садитесь, — сказал комендант. — Вот по какому делу я вас пригласил, буду короток: вы и себе хороните покойников, это ваше дело... но зачем же устраивать такие пышные выставки? Может быть, панской Польше гроба были к лицу, ну, а нам, как бы это сказать... мы умирать не любим, мы любим жить. Тем более, что много торговцев до сих пор саботируют, не хотят торговать... что же получается: советская власть пришла, и одни только гробовые лавки ей навстречу открыли? Я вам, конечно, предписывать ничего не могу, я только могу посоветовать.

— Может быть, пан Бернардинский мог такой кондукт погржебовый¹ устроить, что самому министру было приятно лежать, — сказал Ванькович с усмешкой.—В моем деле то было немислимо. Я не получал отцовской фирмы, я сам свою формовал. Только я думаю, что теперь и пан Бернардинский хорошего кондукта уже не устроит... Коней всех поугнали, нема коней. Польское войско реквизиовало² коней.

Бернардинский сидел молчаливый и желтый, со своими начесанными наперед височками.

— Что есть специальность — то есть специальность, — сказал он уклончиво. — Не может быть, чтобы вся церемониальность моментально покончилась.

— Ну, в эти ваши дела я мешаться не буду, — сказал уже нетерпеливо комендант. — Я ведь вас только для того пригласил, чтобы вам самим все это стало виднее, а там как хотите...

Он отпустил гробовщиков и перешел к рестораторам, — не все столовые в городе были открыты, и надо было по-

¹ Похоронная процессия.

² Реквизиовало.

кончить с очередями у столовых и булочных.

Два дня спустя коменданта вызвали к начальнику гарнизона комбригу Чистову. Чистов, сухой, с орлиным носом, кавалерист, любивший говорить коротко и энергично, сидел за картой в своем кабинете. На комбриге были роговые очки, и он дальнорюкими голубоватыми глазками поглядел поверх них на вошедшего.

— В городе у вас безобразие, товарищ майор, — сказал Чистов отрывисто. — У булочных очереди, рестораны закрыты. Предупредите владельцев, что мы не любим, когда плохо читают наши приказы. Всё.

— Есть, товарищ комбриг, — сказал Сырбородко, козыряя. — Я могу итти, товарищ комбриг?

— Идите.

Володя дожидался его у подъезда.

— На улицу Сенкевича, — сказал майор яростно, и Володя понял, что сейчас будет гроза. Машина пронеслась через площадь и влетела на улицу Сенкевича. — Я вам покажу, как одними гробами приветствовать советскую власть, — сказал комендant еще вслух.

На углу он вылез и большими шагами пошел по улице. Железные шторы магазинов во времена приподнимались на рост человека, и под них ныряли посетители.

— Погоди, Сырбородко, куда тебя гонит? — окликнул его вдруг, вылезая из машины, комиссар гарнизона. Они пошли рядом, и комендant рассказал, как крепко только-что его наперчил комбриг. — Чего комбриг хочет, — сказал, смеясь, комиссар, — когда даже гробовщики — и те песни запели...

И он подвел его к знакомой погребальной витрине. Мрачное убранство ее было нарушено, черный бархат, на фоне которого сияли подсвечники, снят, и половина окна была завалена яблоками. Только в стороне сиротливо, напоминая о том, что это все-таки погребальное дело, стоял детский гробик.

— Давай зайдем, купим яблок, — предложил комиссар. — Это же райские наверное яблоки.

И они зашли к гробовщику Бернардинскому. На прилавке, где обычно лежали молитвенники и стояли изображения плоских мадонн, было навалено теперь несколько кип грубого сукна белостокской выделки. Желтый человек с начесанными наперед коричневыми височками скучал за прилавком.

— Два килограмма яблок, гражданин Бернардинский, — сказал комендant. — А витринка у вас стала веселее, ей-богу!

— Доброе дело, — сказал Бернардинский, отвечивая на весах яблоки, — когда у человека заклад хандловый¹, скажем, мануфактуры или футров², а что такое гроб? С таким закладом, как мой, самому можно лечь в гроб, прежде чем придет покупатель.

Он горько усмехнулся и махнул желтой ручкой. Сырбородко разломил большое антоновское яблоко, от него хорошо пахло кислотой, свежестью осени и началом жизни.

В соседней гробовой лавке у Ваньковича модельные гроба были тоже отодвинуты в сторону, и на окне под фотографиями с образцами похоронных процессий стояла высокая стеклянная банка с леденцами и лежала грудка таких же антоновских яблок.

— Чего комбриг хочет, — сказал комиссар еще, отгрызая большой кусок яблока, — тут все перемешалось в бывшем Польском государстве... Раз гробовщики яблоками и монпансье торговать начали, теперь дело пойдет!

Они зашли к Ваньковичу и терпеливо дождались, пока тот с достоинством, поправляя круглые манжеты, вылезавшие из рукавов, отвесил им еще по килограмму яблок. Яблоки были крепкие, с тугим стариковским румянчиком, настоящий зимний апорт.

— То зимний апорт, лучше всякой антоновки, — сказал продавец, пересыпая яблоки с тарелки весов в кулек. — Я уже договорился с арендаторами сада в Собакинцах... там есть хорошие зимние сорта, прошу меня наведать.

¹ Торговый склад.

² Меха.

Потом, они вышли из магазина и направились каждый к своей машине.

— Как там у Пушкина сказано: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...». Ты же приказы сочинишь, комендант, ты должен знать все стихи, — сказал комиссар, садясь в машину.

— Люди ездят, как люди... — проговорил Володя уныло, косясь на его тро-

фейный «шевроле», — а мы все на этой кастрюльке гоняем. Сволочь шофер, упер весь инструмент.

— Давай, давай — сказал комендант, примашивая себя на узком сиденье. — В штаб дивизии.

Он сидел с ним рядом, потирал переносицу и представлял себе, как войдет в кабинет командира дивизии и доложит, что жизнь в городе начинает входить в берега.

★

НОЧЛЕГ

Мы выслали квартирьером Володю Речного. В городе В. еще постреливали с крыш и колоколен костелов, и отель «Фредерик» с его скрипучими, старыми полами и постелями, сверкающими ангельской белизной, мелькнул для нас, как видение. Располагаться в городе на ночь комдив запретил.

Мы сели на мокрую траву вблизи походной кухни танковой бригады и, почти стеная от наслаждения, глотали огненный борщ. Скоро на шоссе, между танковых колонн и остановившихся походных кухонь обозов, показался наш «шевроле» с помятыми крыльями, которые на каждой остановке Володя чинил.

— Есть такое дело, — сказал он, подбегая. — Квартира готова, совсем отель «Фредерик».

Он остановил машину, достал молоток и полез выбивать вмятину на переднем крыле: он все не мог забыть новенький «бюик», который при нем обнаружили в гараже воеводства.

— Будет тебе калечить машину, — сказал ему Комаров. — Посмотри, из помятой она стала изжеванной.

Мы доели борщ и до остановки дыхания набили голодные желудки кашей, круто дымившейся в котле походной кухни.

— Ну, поедем в наш «Фредерик», — сказал Володя благодушно. — Это дом вдовы в километре отсюда.

Сентябрьские сумерки уже падали на поля и дорогу. Дорога была забита частями. В городе к вечеру начали чаще работать пулеметы. Мы стали проби-

раться между машин и орудий. Повсюду дымили походные кухни. Со взгорья, растянувшись до самого горизонта, спускались передовые части кавалерийской дивизии.

Дом вдовы стоял при дороге, и она сама встретила нас у калитки палисадника, — повидимому, Володя успел расписать наши доблести. Это была маленькая полная женщина с чуть раскосыми глазами и татарскими скулами.

— Ну, хозяйка, — сказал Володя, как старый знакомый, — расскажите товарищу капитану, каким манером вы попали сюда из Казани? Куда только, между прочим, любовь не закидывает человека! — добавил он назидательно.

— Какая наша жизнь, — сказала женщина. — Наша жизнь не интересная. Вот вам, я думаю, пришлось пови-
дать.

— Да, повидать пришлось, — ответил Володя.

Мне показалось, что он опять вспомнил о воеводском «бюике».

Мы прошли в дом, и хозяйка пошла ставить медный лузатый самовар, который вывезла наверное из Казани. На стене висел портрет ее мужа с удивленными фотографическими глазами и в фуражке с прямым козырьком солдата пехотного полка польской армии. Сбоку под раму была засунута бумажная роза. Скоро мы услышали, как приятно и по-домашнему загудело в печной тяге. Фотокорреспондент Ивашин достал из вещевого мешка проявительный бак и стал проявлять снятые за день катушки.

— Любовь! — сказал Володя, обдергивая на себе перед зеркалом гимнастерку. — Из Казани до самого Вильно довела любовь.

В доме было очень чисто, и побеленные потолки удлинляли сентябрьский день, уже подсиненный сумерками. Мы стали развязывать вещевые мешки и готовиться к ночлегу. С теплым гулом, сияя медными толстыми щеками, в комнату вплыл самовар. Женщина накрыла на стол, поставила вазочку с заповедным вареньем и села в стороне.

— Нет, хозяйка, делать так не годится, — сказал Володя ей. — Будьте так любезны, подсядьте к столу. А сахару у нас хватит, опасаться вам нечего.

Женщина под села к столу и долго сидела молча и не прикасалась к стакану, который ей налил капитан Комаров.

— Пообирало нас польское войско вчистую, — сказала она затем. — Было у нас в хозяйстве два хороших коня, одну только кобылу слепую оставили. Ой, пропадем мы, добрые командиры, не видеть нам счастья. — Она стала часто мигать и смотреть на портрет мужа. — Вот теперь ваше красное войско пришло... а войско пришло — всего ему нужно, а откуда нам взять?

— Вот интересно, какое у вас понятие о Красной армии, — сказал Володя обидчиво. — Ну, головы вам паны на этот счет здорво забили, ничего тут не скажешь.

За окном, сквозь реденеющие деревья палисадника, видны были танки и всадники в накидках с поднятыми капюшонами: пошел дождь. Женщина сидела молча и смотрела в окно, за которым где-то — живой или мертвый — был ее муж. Потом, когда все кончили пить чай, она убрала со стола и пошла в сарай за соломой.

— И до чего только народ тут напуганный весь, — сказал Володя со вздохом. — Скажи, пожалуйста, слова из нее не выжмешь, вот как их обротали!

— Просто собеседник попался хреновый, — сказал Ивашин, подвешивая на веревочку просушивать пленки. — Это тебе не балаболка из Парка культуры и отдыха... Пойди лучше посмотри, не увели ли твой «бюик».

Минуту спустя мы услышали удары молотка о железо.

— Пошел калечить машину, — сказал капитан Комаров. — Силы ему девать, что ли, некуда.

Женщина принесла из сарая соломы, и в комнате сразу запахло осенью. Мы расстелили солому на полу и стали ложиться, накрываясь шинелями. Потом вернулся Володя.

— Чем не отель «Фредерик», — сказал он довольно, — а вы говорите...

Он снял мокрую шинель, скатал ее под голову и стал стаскивать с себя сапоги. Мы распределили ночное дежурство. В четвертом часу утра я сменил Комарова. В городе, точно сбрасывали на мостовую булыжник, стукали выстрелы. Потом мы услышали удар танковой пушки.

— Копшатся, — сказал, укладываясь, капитан Комаров. — Тут на три года работы хватит выкуривать.

Он завернулся с головой в шинель и уснул. Ночь была очень черной, и окна снаружи запотели от холода. Язычок пламени в лампе становился короче. Я вывернул фитиль, но он стал сыпать синие брызги и трещать: керосин кончался. Володя во сне оживленно с кем-то поговорил. Дождь мелко, и все разрастаясь, стучал о крышу крыльца. Я вспомнил, как два дня назад на рассвете я увидел первую каменную ограду костела, как все это началось и даже какие облака были в этот час над землей, которая снова становилась нашей. Потом я услышал тяжелые шаги за окном, и сейчас же кто-то постучал в дверь у крыльца. В половине, где ночевала хозяйка, пробежали босыми ногами по полу, и за нашей дверью послышался шопот. Я нащупал в кармане свой казенный ТТ¹ и открыл дверь в сени.

— Товарищ, родненький, — сказала хозяйка, дрожа, — что же то делается... ни днем, ни ночью покоя нет которую неделю. Что же нам, жизни, что ли, решаться? А може, то польское войско вернулось?

Я отодвинул засов, и сразу в лицо вместе с ветром полетели мелкие брызги

¹ Система пистолета.

дождя. В темноте у порога стояли два человека. Капюшоны непромокаемых накидок были у них подняты.

— Извиняйте, хозяйка, куда тут сено сложить?—спросил один из людей.— А то мы уходим.

При слабом свете карманного фонарика с иссякающей батареейкой я увидел, что за плечами у них охапки сена.

— Господи боже мой, дорогие товарищи... — сказала хозяйка, — нам польское войско одни квиточки оставило... за скотину, за овес, за добрых коней. А вы мне шматочки сена вертаете!

Она заплакала и пошла показывать кавалеристам, куда сложить сено. Кавалеристы сложили сено, ушли и вернулись еще один раз с новыми охапками.

— Раз что, мамаша, взято, то надо вернуть, — сказал один из них настоятельно. — Вы тоже, между прочим, — на вас посмотреть, — ни графинею ихней, ни помещицей, сдается мне, не были.

Кавалеристы остановились закурить, и вспышки папиросок осветили на миг их подбородки в щетине. Скоро мы услышали, как большое и длинное тело кавалерии снова двинулось в путь. Тысячи лошадиных ног застучали о дорогу, точно пошел каменный дождь. Керосин в лампе догорел, и я сменил лампу толстой желтой свечой, купленной Ивашиным в деревенской лавчонке. Я пожалел будить Комарова и остался дежурить за него до утра. Сентябрь неохотно пропускал сквозь туман рассвет. В саду было мокро, и с голых яблонек падали

капли. Женщина стояла у плетня и смотрела на дорогу.

— Може, дождались мы нашего счастья, — сказала она и вытерла мокрые глаза. — А кому в польском войске до сиротского горя дело было... квитками этими горькую слезу вытирать!

Из дома вышел Володя и стал разогревать застывший за ночь мотор машины. Скоро послышались выстрелы из глушителя. Нам нужно было с утра разыскать штаб дивизии. Все были уже одеты и выносили из дома вещевые мешки.

— Ну, хозяйка, спасибо за ночлег, — сказал Володя и протянул ей руку с вьевшимся под ногти тавотом. — С таким ночлегом никакой «Фредерик» не сравнится!

Он хорошо выспался и был оживлен. Мы простились с женщиной и сели в машину. Двери сарая были открыты, и там лежало сложенное кавалеристами сено. Белая слепая кобыла понуро стояла посреди двора. Женщина пошла открывать нам ворота.

— Може, еще увидимся, — сказала она. — Приехали чужими, а уезжаете родными... какие только дела не бывают на свете.

— Да, дела бывают разные, — согласился Володя. — А самые лучшие, бабочка, еще впереди!

Мы выехали на шоссе, опустевшее за ночь, и нагнали вскоре кавалерийскую часть, головные отряды которой уже вошли в город В.

Д е т с т в о

ВЛАДИМИР ЗАМЯТИН

★

Я худел. Мне страшно было
В деревенской тишине.
Детство дымкой синей плыло.
Часто плакал я во сне.

Будто знал, что горе близко;
Год прошел, пришла беда.
На столе стояла миска,
В миске стыла лебеда.

Хлеба не было ни крошки.
Высох наш фруктовый сад.
Мерли люди. Дохли кошки.
Жили мухи. Плыл закат.

Я не знаю: было ль это?
Может быть, всё это—сон?
Только помню, как-то летом
Я отвесил всем поклон.

Поклонился низко ивам,
Бабам плачущим, крыльцу,
Петушку на крыше, нивам
И притихшему отцу.

... Я в рубахе был холстинной,
В длинных брюках, босиком.
И на воротах павлины
Шли до города рядком.

И пришел я в дальний город
В той рубашке вышивной —
И глядели на мой ворот,
И смеялись надо мной.

Только смех мне был не страшен,—
Пошутили, ну, и что ж!
Ворот вышила мамаша, —
Значит, ворот был хорош.

Пролетели ветры мимо.
Прошумела лебеда.
Те года в мой край любимый
Не вернуться никогда.

Гром и солнце над садами,
Мир стал шире и ясней.
Все друзья идут рядами —
Слова честного честней.

И в садах и в поле — всё есть!
Вволю ешь и вволю пей.
Небо чистое, как совесть,
Над деревнею моей...

Не дождавшись дней счастливых,
Мать ушла тогда от нас...
Над могилой тихо ивы
Продолжают мой рассказ.

На корабле „Георгий Седов“ через Ледовитый океан¹

Записки капитана
К. БАДИГИН

★

НА СЕВЕР

Жизнь на дрейфующем корабле течет крайне неравномерно. Двигаясь по воле ветров, такой корабль всецело находится в их власти. Людям, работающим на дрейфующем судне, трудно предугадать, что принесет завтрашний день: новый бросок к полюсу или отступление к более южным широтам, грозное сжатие или безмятежно-спокойные часы. Порою проходит пятидневка за пятидневкой, месяц за месяцем, и не знаешь, что записать в своем дневнике, — так похожи и монотонны дни. Но вдруг наступает неожиданная перемена, и каждый день приносит столько событий, что их трудно даже перечислить.

Именно такой период больших событий начался у нас вскоре после того, как мы отпраздновали годовщину дрейфа. Хотя льды унесли нас довольно далеко на север, обстановка вокруг «Седова» складывалась не лучше, чем в море Лаптевых, которое славится своим непостоянством. Вахтенный журнал и дневник наблюдений над жизнью льда попрежнему пестрели записями о трещинах, разводьях, сжатиях, подвижках. Порою кораблю приходилось выдержи-

вать весьма яростные атаки льдов, и тогда весь экипаж вступал в борьбу с ними.

Составляя план научных работ, мы условились, что будем его осуществлять, не боясь никаких трудностей. Поэтому наши наблюдения в этот беспокойный период не прерывались, хотя люди, занятые ими, испытывали существенные неудобства. В своем дневнике я читаю:

«25 октября. Итак, началась настоящая зима. Сегодня — тридцатиградусный мороз. Пока стоял вахту, очошел. А на ледовую обстановку мороз не действует нисколько. Поля метровой толщины рвутся и лопаются с такой легкостью, словно это застывшее желе, а не крепчайший лед, который даже стальному буру поддается с трудом.

В пять часов утра открылась трещина за кормой. Несколько часов спустя она сошлась. А вечером справа от судна, метрах в 40—50, появилась новая трещина огромных размеров, — она протянулась на 150—200 метров с севера на юг с поворотом на юго-восток. Эта трещина довольно быстро разошлась до полутора метров.

Мы продолжаем интенсивно готовиться к глубоководным измерениям. Трофимов, Токарев, Шарыпов и Гетман целый день возились с лебедкой. Скоро она будет закончена. Буторин и Гаман-

¹ Продолжение. См. «Новый мир», кн. 4—5 и 6 с. г.

ков при тридцатиградусном морозе усердно плетут трос.

Меня усиленно беспокоит проблема аварийного освещения. Правда, наш «Симамото» прекрасно приводит в движение основной судовой генератор. Но, во-первых, он потребляет много горючего, а, во-вторых, генератор находится в машинном отделении, и в случае каких-либо неприятностей его оттуда не вытащишь. Аварийная установка должна находиться на палубе, чтобы при необходимости ее было нетрудно перенести на лед.

Поэтому с сегодняшнего дня Алферов и Недзвецкий возобновили попытки привести в действие небольшую аварийный динамо от мотора «Червоный двигун». Работать на палубе довольно прохладно, но дело это крайне необходимое, и люди от него, конечно, не отказались.

26 октября. Лды продолжают дурно вести себя. Ночью начались подвижки. Трещина с правого борта, о которой я упоминал вчера, медленно разошлась до 20 метров. Теперь она уходит на юго-восток до пределов видимости. Треснул лед, и слева открылась расселина шириной до полуметра у самого судна, против машинного отделения, и уходит перпендикулярно борту.

Невзирая на все эти сюрпризы, продолжаем научные работы. Буйницкий произвел очередные магнитные наблюдения. Ефремов с помощью Буторина и Гаманкова взял гидрологическую станцию № 2, — достал пробы воды с одиннадцати горизонтов на глубинах до 400 метров. Люди сильно замерзли и устали. Пришлось несколько раз опускать трос. Проклятый «почтальон» упорно застревает, не доходя до батометров. Поэтому они не переворачиваются и не закрываются, и часто работа проходит впустую.

Механики до десяти часов вечера возились с «Червоным двигуном» и глубоководной лебедкой. Только бы льды оставили нас в покое до 29 октября! Тогда мы успеем закончить подготовку к глубоководному измерению и выполним свое обязательство к 20-летию комсомола.

27 октября. 84°31',2 северной широты, 132°57' восточной долготы. Медведи! Медведи! Сколько переживаний, надежд и — увьи! — разочарований...

События начались около полуночи. Мы уже укладывались спать, когда наши бдительные часовые Джерри и Лыдинка подняли такой дикий вой и лай, что начался всеобщий переполох. Мы выбежали с ружьями на палубу. В темноте у самого носа корабля мелькнуло и скрылось какое-то неясное белое пятно. Наши заядлые зверобой-поморы клялись, что это был медведь. Скептики оспаривали их утверждение. Зажгли факелы, спустились по трапу на лед. Возле самого борта, метрах в трех, на снегу, были отчетливо видны крупные следы матерого зверя. Они шли к судну от склада горючего, а отсюда удалялись к палатке, в которой хранился аварийный запас продовольствия.

Это обеспокоило нас: недоставало, чтобы не мы поживились медвежатиной, а медведь нашими консервами!

Поспешили к складу. Там все было в порядке. Любопытный гость обошел палатки, мешки с углем, бочки с бензином, все осмотрел и убрался во-свои. Его широкие следы уходили на восток.

Мы на всякий случай подняли трап, чтобы ночью медведь не наведялся к нам, и Андрей Георгиевич со своей обычной пунктуальностью записал в вахтенном журнале:

«23 часа 40 минут. Замечен силуэт медведя у судна. 24 часа. После удаления медведя произведен осмотр снега на льду. Замечены крупные медвежьи следы...».

На этом инцидент можно было считать исчерпанным. Но сегодня в четыре часа дня Андрей Георгиевич зашел ко мне в каюту и многозначительно сказал:

— Константин Сергеевич, имеешь шанс убить медведя...

— Что?

Старший помощник шутливо отрапортовал:

— Справа по корме в 100 метрах от судна выявлен белый медведь...

Я накинул на плечи ватник, схватил винтовку и выбежал на палубу. Было темно. Лишь на юго-востоке пылало радужное полярное сияние, трепетные лучи которого, словно стрелы, летели к зениту. Холодное призрачное сияние было бессильно разогнать густые синие сумерки и только усиливало их контрастом света и теней. Справа от судна в полумраке, действительно, маячило небольшое пятно. Медведь шел медленно, не торопясь. Изредка он останавливался, оглядываясь по сторонам.

Но на этот раз корабль его нисколько не заинтересовал, и медведь двигался мимо нас прямо на север. На палубе посылались шутки:

— Курс норд...

— Точно по пеленгу!..

— Какой у него компас — магнитный или Сперри?

Выжидая, не подойдет ли медведь к судну, мы перешли на бак. Но он пересек нашу курсовую линию и так же спокойно и невозмутимо продолжал свой путь. Попасть в него из винтовки на расстоянии 100 метров в темноте, когда не видно даже мушки, было очень трудно. Но я все же решил выстрелить хотя бы для острастки, чтобы отбить у нашего гостя охоту наведываться на аварийный склад продовольствия.

Выстрел гулко отдался в морозном воздухе. Медведь поднялся на задние лапы и удивленно прислушался: кто посмел нарушить безмолвие?

Я выстрелил еще раз. Видимо, теперь пуля просвистала где-то поблизости от зверя: медведь прыгнул в сторону с таким проворством, какого трудно было ожидать от этого спокойного мохнатого существа. Третья пуля заставила его перейти на галоп. Вскоре прыгающее белое пятнышко растворилось во мраке.

Я, Полянский и Шарыпов вооружились факелом и пошли по медвежьим следам, но с первых же шагов утонули в глубоких пушистых сугробах. Какой силой и сноровкой должен обладать зверь, чтобы галопом скакать по этому снегу! Кое-как мы все же добрались по свежим следам до широкого разводья. Там следы обрывались, — видимо, медведь выплавь перебрался на противополо-

жную кромку. Нам оставалось лишь вернуться на корабль, что мы и сделали.

Выясняется, что медведь все-таки успел напроказить. Буторин и Гаманков обнаружили вместо палатки, в которой летом производились магнитные наблюдения, лишь ключья брезента.

Сегодня определили координаты: широта $84^{\circ}31'2$, долгота $132^{\circ}57'$. За последние три дня нас снова унесло к северу на 13 миль. Скорость довольно приличная.

28 октября. $84^{\circ}31'9$ северной широты, $132^{\circ}23'$ восточной долготы. Ни минуты свободного времени. Поэтому записываю наспех, только самое основное.

Заканчиваем приготовления к глубоководному промеру. Вчера работали с 9 до 24 часов. Сегодня — столько же. Наши механики и матросы — молодцы: все сделали точно в срок. Завтра — в день 20-летия комсомола — опустим трос на глубину в несколько тысяч метров и попытаемся достать дно океана.

Лебедка уже смонтирована и установлена на кормовых роствах. Буторин и Гаманков соорудили для нее довольно неуклюжий, но зато прочный фундамент из бревен и досок. Туда же с огромным трудом перетащили небольшую динамо, мощностью в 6 киловатт, которая приводилась в действие от дизеля, — теперь эта динамо будет играть роль электромотора.

На барабан лебедки намотали трос, сплетенный Буториным и Гаманковым. Его конец перекинут через блок-счетчик, укрепленный на шлюпбалке. Внизу начали пробивать майну, в которую будем опускать трос. Но это не такое простое дело, как может казаться на первый взгляд. В течение нескольких часов все 15 человек рубили лед; выдолбили глубокую пещеру, но воды не достали. Лед очень крепкий и толстый, — видимо, снизу опять накопилось много подсонов, как это было летом, когда мы пытались пробить майну у руля.

Завтра рано утром возобновим эту работу. Боюсь, как бы льды не помешали нам, — они ведут себя все более нагло: вчера утром в 20—30 метрах от суд-

на образовалось несколько новых трещин. Большая трещина, о которой я уже упоминал, вчера разошлась еще больше и превратилась в большое разводье шириной в 150 метров. Временами слышится шум торосающегося льда.

Чуть не забыл отметить еще одну победу механиков: сегодня им удалось наконец пустить в ход аварийную динамомашину.

Сегодняшний вечерний аврал проводили уже при электрическом свете.

29 октября. Несчастный, и в то же время счастливый день. Сегодня мы потерпели большое поражение: во время глубоководного измерения оборвался и ушел на дно трос длиной в 1800 метров, с таким трудом сплетенный Буториным и Гаманковым. Но это поражение многому нас научило, и мы не жалеем о потерянном: все расчеты оправдались, все самодельные механизмы действовали исправно, все люди работали умело, и только несчастная случайность сорвала успех наблюдения. Значит, мы сумеем в конце-концов наладить глубоководные измерения, хотя для этого придется затратить еще очень много сил и энергии...

Как ни измучились мы на вчерашнем аврале, сегодня все встали очень рано. Судно расцветили флагами в честь 20-летия Ленинского комсомола, воспитанниками которого является большинство из нас. Наскоро позавтракали и в 9 часов утра взялись за работу. Прерванный на ночь аврал возобновился.

При ярком свете двух восьмиламповых электрических люстр, повешенных механиками надо льдом, мы долбили лед, взрывали его аммоналом, опять долбили. Но снизу непрерывно всплывали подсовы, и, в конце-концов, после двухчасовой работы, нам пришлось отступить. Мы отошли на 30 метров от левого борта и начали пробивать новую майну, — здесь лед был тоньше.

К двум часам дня майна была вырублена. Мы установили над ней прочные деревянные козлы и подвесили к ним еще один блок-счетчик. Теперь трос тянулся к майне от лебедки через два блока, укрепленных на шлюпбалке

и на козлах. Показания счетчиков взаимно контролировали друг друга. На конец троса были подвешены три массивных гири от лота Томсона общим весом около 36 килограммов, — мы рассчитывали, что эти гири помогут нам уловить момент касания дна: сразу же, как только они лягут на грунт, натяжение троса должно ослабиться. Кроме того, на гирях должно было задержаться хоть немного грунта со дна океана.

И вот подошла минута, к которой мы так долго и упорно готовились. Короткое инструктивное совещание, и все расходится по своим местам. У проруби стоят Буйницкий, Соболевский и Бекасов, вооруженные крючьями из толстой медной проволоки. Пока трос опускается, они будут оттягивать его этими крючьями, силясь на ощупь уловить критический момент касания дна; к сожалению, мы пока не придумали прибора, который бы регистрировал этот момент автоматически.

У шлюпбалки с такими же крючьями стали Андрей Георгиевич, Шарыпов и Гетман. Механики следят за работой двигателя и динамомашин. Буторину и Гаманкову — главным героям этого дня — доверен самый почетный и ответственный пост: они собственноручно будут травить на дно океана сплетенный ими трос. Наконец я команду в мегафон:

— Начали!

Андрей Георгиевич засекает стрелку секундомера — 16 часов 05 минут. С сосредоточенным, серьезным лицом Буторин отпускает тормоз, и раздается знакомый скрежет лебедки. Тонкий металлический канатик медленно уплзает под воду, тускло поблескивая при свете электрических ламп. С каждой тысячей метров он натягивается все больше, — к тяжести подвешенного груза прибавляется собственный вес троса. Буторин и Гаманков, чередующиеся у лебедки, с каким-то умоляющим выражением лица глядят на эту тоненькую нить, сплетенную их руками из сотен разнокалиберных кусков. Сколько сил, энергии, труда вложено в каждый метр троса!

Волнение боцмана и матроса невольно передается каждому из нас. Даже По-

лянский, не имеющий прямого отношения к глубоководным измерениям, топчется возле лебедки и нервно щиплет себя за бороду: неужели же оборвется?

Но нет, пока все идет хорошо. На барабане осталось всего несколько витков троса, а наши контролеры, вооруженные медными крючьями, все еще не почувствовали ни малейшего ослабления тяжести.

Еще один оборот. Еще... Еще... Лебедка останавливается.

— Трос весь! — говорит Гаманков.
— 27 минут 32 секунды, — откликается Андрей Георгиевич, посмотрев на часы.

— На счетчике 4 100 метров, — кричит со льда Буйницкий.

Но трос натянут все так же туго. Значит, груз не достиг еще дна. Мы не предполагали, что океан так глубок в этом районе, и не подготовили запасного троса. Чрезвычайно обидно, что первое измерение не даст точных результатов. Но сейчас уже ничего не поделаешь. В 17 часов Трофимов включает рубильник, и электромотор начинает вращать барабан в обратном направлении. Трос медленно выходит из воды. Он быстро обледеневаает.

И вдруг мотор заработал с большой легкостью, — натяжение груза резко уменьшилось. Тягостная догадка поразила каждого: под водой произошел обрыв. Еще немного — и трос начал болтаться в проруби, как конец колодезной веревки, хотя, по расчету, внизу должно было оставаться около 2 000 метров проволочного канатика.

В 17 часов 33 минуты из майны вынырнул обледенелый обрывок. На дне океана остались 1 800 метров троса и груз. Гаманков побледнел и едва не заплакал. Буторин держался крепче, но и он был взволнован. Да и все мы переживали эту потерю не меньше, чем они. Однако никто не обмолвился ни словом о том, что наши труды пропали зря. Наоборот, только теперь после первого — пусть и неудачного — опыта каждый наглядно увидел, что наша затея реальна. Лебедка и мотор работали исправно, счетчики давали точные показания, трос выдержал всю тяжесть

груза, и только какое-то недостаточно прочное сплетение в последний момент не выдержало. Значит, опыт можно повторить, если будет подготовлен новый, более надежный трос...

Осмотр оборванного конца троса показал, что нас подвела так называемая «колышка», — при опускании троса образовалась запутанная петля, она не распрямилась, и волокна троса работали не на растяжение, а на излом, что значительно уменьшило их сопротивление. Результат — обрыв.

Вечером — еще одно происшествие, потребовавшее напряжения сил и нервов. Только-что кончился ужин, как вдруг послышались крики:

— Пожар, пожар!..

Это Недзвецкий, вышедший зачем-то из кают-компании к себе, услышал резкий запах гари из лазарета и поднял тревогу.

Мы все выскочили из-за стола и бросились в каюту доктора. Оказывается, в колена трубы, отводящей дым из кафелька кают-компании и обогревающей лазарет, загорелась сажа. Труба раскалилась, и деревянная переборка начала тлеть.

Огонь потушили в течение пяти минут. Действовали дружно и организованно: трубу вытащили, тлеющие, обуглившиеся доски залили водой. Очень помогло то, что Алферов притащил из машинного отделения большую спринцовку, — действуя ею как насосом, он быстро сбил пламя.

В общем, праздник прошел совсем не празднично. Все устали и измучились. Завтра надо будет устроить выходной день и дать людям возможность отдохнуть. А потом с новыми силами возьмемся за работу: ведь сегодня на торжественном партийно-комсомольском собрании, созванном поздно вечером, мы обязались во что бы то ни стало продолжать глубоководные измерения.

1 ноября. Просмотрел последнюю запись и невольно улыбнулся: человек предполагает, а льды располагают. Я думал, что 30 октября мы отдохнем, а вышло так, что именно в этот день на нашу долю выпал грандиознейший аврал. Он начался буквально через не-

сколько часов после того, как я окончил предыдущую запись в дневнике и улегся спать, предвкушая длительный отдых.

Вскоре после полуночи послышался треск, звон и скрип, — это сходилась разводье, открывшееся в последних числах октября справа по носу судна. Молодой двадцатисантиметровый лед, покрывший его за эти дни, с жалобным звоном ломался и образовывал торосы.

Я оделся и выбежал на палубу. Через десять минут все стихло. Только лег и задремал, как вновь послышался грохот. Теперь льды сжимало и торосило, по корме и по траверзу справа¹.

Прошло несколько минут, и снова все как будто было утихло. Но в 4 часа 25 минут утра льды начали настоящий шторм корабля. Отовсюду доносились грозные, трудно передаваемые звуки торосения, похожие то на шум ветра, то на равномерную работу мотора, то на стоны какого-то гигантского зверя, то на морской прибой, — можно было безошибочно угадать, что на этот раз ломался не молодой лед, а матерой пак, достигающий толщины двух метров.

Тут уж было не до сна. Не только я, но и все седовцы высыпали на палубу и вглядывались в темноту, где бушевали невидимые силы.

— Вал! Вал!.. — закричали на палубе.

Из мрака, действительно, выступил смутно белеющий ледяной вал. Он извивался вдоль правого борта, огибая корму, — мощное сжатие, превратившее молодой лед на разводье в груды мелких обломков, не остановилось на этом; теперь оно дробило и гнало на корабль многолетний пак.

Казалось, ничто не сможет остановить это наступление. Но в 30 метрах от судна вал остановился, исчерпав свои силы.

В девять часов утра снова начало разводить. От правого борта лед отошел на полметра. Появились новые трещины. Одна из них подошла вплотную к правой скуле, другая — к самому перу руля. Теперь справа от судна льды пре-

вратились в какую-то кашу из битых полей. Полтора часа спустя послышался скрип и треск со стороны мощного вала, который высился на месте недавней трещины, в 60 метрах справа от кормы. Изредка корабль, принимая на корпус значительное давление, судорожно вздрагивал всем своим многотонным телом.

Но пока-что ничего чрезвычайного не происходило. Нам не раз приходилось наблюдать такие сжатия. Поэтому жизнь на корабле текла, как обычно. Команда использовала выходной день: из кубрика доносились звуки разбитого пианино, Андрей Георгиевич что-то писал, мурлыкая песенку, я читал.

Ровно в половине первого, как обычно, прозвучал звонок, зовущий к обеду. Но пообедать нам не удалось: в ту же минуту лед, не выдержав страшного давления, начал с грохотом ломаться у самого борта против трюма № 2. Толчки ощущались все сильнее и чаще. Набирая на борт, льдины издавали звуки, способные пробудить от сна целую армию мертвецов.

Я распорядился: всем членам экипажа приготовить личные мешки с аварийным запасом, одеться и быть готовыми к выходу на лед. Приказ был выполнен буквально в три минуты.

Опаснее всего в трудную минуту бывает пассивность. Надо всегда активно защищаться и переходить в контрнаступление, как бы силен враг ни был. И я отдал приказ:

— Общий аврал. Подготовиться к взрывам!..

Моментально зажглись факелы. В темноте замелькали красные огни. Я хотел взорвать лед аммономом в некотором расстоянии от судна, как-раз против того места, где корпус «Седова» ощущал наибольшее сжатие. Тем самым был бы ослаблен напор льдов на судно.

Все уже было готово к взрыву. И вдруг, словно по мановению волшебного жезла, сжатие прекратилось так же внезапно, как и началось. Сразу наступила необычайная тишина. Потом послышались звуки осыпающегося льда, — он медленно отходил от судна, уступая место черной ленте воды.

¹ Траверз — направление, перпендикулярное курсу корабля.

Необходимость взрывов миновала. Все как будто бы окончательно успокоилось. Целый час ни один звук не нарушал молчания ледяных просторов. Но Арктика коварна. Успокоившиеся на время льды снова возобновили свою адскую музыку. Через минуту «Седов» получил толчок, заставивший весь экипаж моментально выскочить на палубу.

На этот раз льды атаковали нас в районе трюма № 3.

Прошло несколько секунд. «Седов» получил один за другим еще два сильных удара. Стальные ребра корабля застонали. Стоявшая на краю стола у меня в каюте фарфоровая пепельница упала и разбилась на борт, лед затрещал, как гигантский пулемет.

Еще минута... И снова как будто бы все кончилось. Над «Седовым» воцарилась мертвая тишина. По всему правому борту лед опять отступал, образуя широкое разводье.

Четко застучал «Червоный двигун». Все судно озарилось ярким электрическим светом. Мы внимательно осмотрели помещения, находившиеся ниже ватерлинии. Нигде не было видно никаких следов только-что закончившейся схватки со льдами, — корабль, укрепленный айс-бимсами, с честью отразил атаки. Только там, где льды нажимали особенно яростно, корпус снаружи блестял, как начищенный.

Однако на этом сжатие еще не закончилось. Сильные ветры восточной половины, резко меняющие свое направление от северо-восточных до южных, так сильно растревожили льды, что они еще долго не могли успокоиться.

Приведу здесь выписку из вахтенного журнала, конспективно излагающую продолжение описанных мною событий.

«13 часов 40 минут. Аварийная динамо остановлена. Работу прекратили. С правого борта в льдине, нажимавшей на судно, пробиты две лунки для взрывов, в расстоянии 15—20 метров.

18 часов 20 минут. Возобновилось сжатие. Лед нажимает на правый борт в районе трюма № 2 и кочегарки.

18 часов 25 минут. Пущены аварийный двигатель и динамо. Приготовлен аммонал для взрывов.

18 часов 40 минут. Сжатие несколько ослабло.

18 часов 45 минут. Сжатие возобновилось.

18 часов 55 минут. Сжатие прекратилось. Динамо остановлена.

21 час 00 минут. Возобновилось сильное сжатие, сопровождавшееся тремя сильными толчками в районе трюма № 2, кочегарного отделения и трюма № 3. Судно испытывало значительное сотрясение. Сжатие продолжалось 5—10 минут.

22 часа 00 минут. Лед от правого борта отошел на полметра. Выгружены на лед две бочки с нефтью.

23 часа 00 минут. Работу прекратили...

Ночь с 30 на 31 октября не принесла успокоения. Вахтенные непрерывно заносили в журнал все новые записи о подвижках льда:

2 часа 50 минут. Судно получило толчок.

3 часа 00 минут. Лед от правого борта отошел на 2—4 метра. Трещина по носу разошлась.

10 часов 30 минут. По носу в 150 метрах от судна сильное сжатие и торшение. От правого борта лед отходит на 10—12 метров. Еще больше расхочется трещина по корме...».

Только к полудню 31 октября льды в районе «Седова» несколько успокоились, и мы могли немного передохнуть. Впрочем, даже сегодня до нас доносится шум торшения молодого льда. Мы не гарантированы от новых сюрпризов, — в любую минуту вся эта история может начаться сызнова.

Непрерывные подвижки льдов крайне затрудняют наши научные работы. Вчера, например, Буйницкому в сопровождении Гетмана приходилось дважды ходить в магнитный домик, чтобы произвести необходимые определения: сжатия заставляли Буйницкого прерывать работу.

Астрономические наблюдения показывают, что нас попрежнему уносит на север. Мы опять приближаемся к 85-й параллели. Наши координаты 31 октября — 84°34'8 северной широты, 131° 11' восточной долготы. Правда, в этих самых широтах мы уже побывали месяц назад, после чего северные ветры отбросили нас больше, чем на полградуса, к югу. Но теперь мы движемся вперед более энергично.

В кают-компании и в кубрике очень много разговоров по этому поводу. Все

мечтают о Северном полюсе, — ведь теперь мы дрейфуем значительно севернее трассы «Фрама» в этом районе, и у нас есть кое-какие шансы пройти через заветную географическую точку, где нет долготы и нет деления суток.

Конечно, наш дрейф много даст науке и в том случае, если мы не попадем на полюс, а пройдем на запад мимо него. Но все-таки, говоря откровенно, и я не возражал бы против такого варианта!..

2 ноября. $84^{\circ} 39'$ северной широты, $129^{\circ} 48'$ восточной долготы. В кают-компании вывесил приказ № 39, посвященный делам пожарной охраны:

«Во избежание случаев возгорания переборок у выводов труб камельков, как это имело место 29 октября, приказываю:

§ 1

Старшему механику — проложить асбестом выводы всех труб и устранить возможность возгорания переборок; старшему помощнику — осмотреть состояние всех камельков и труб, следить за наличием воды в пожарных бочках в кубрике и в салоне; в прочих же жилых помещениях обязательно установить ведра с водой. В салоне и в кубрике держать по два пожарных ведра и пожарный инвентарь.

§ 2

В помещении механической мастерской запрещается всякое разведение огня. Также категорически запрещается курение. Виновные в нарушении будут подвергнуты строгому взысканию. Для освещения пользоваться только аккумуляторами.

§ 3

Вахтенным — бдительно следить за горением камельков и ламп, предотвращая всякую возможность пожара. Всем при пользовании горячим соблюдать максимальную осторожность.

§ 4

Предлагаю старшему помощнику следить за регулярной чисткой труб камельков; чистку производить раз в пятидневку, т.е. 5, 10, 15, 20, 25 и 30-го числа каждого месяца...».

Приказ уже выполняется. Сейчас Токарев и Алферов ремонтируют асбестовые прокладки у выводов труб от камельков, чтобы усилить их пожарную безопасность.

Сегодня получил телеграмму из дому. Оля телеграфирует, что ей обещают предоставить новую квартиру. Приятно знать, что где-то далеко отсюда, в Москве, так трогательно заботятся о наших семьях.

Из моей телеграммы, напечатанной в «Комсомольской правде», родные узнали о том, что к нам наведывался медведь, и Оля пишет:

«Если медвежонок еще раз придет, не убивайте. Жаль...».

Разъяснил, что к нам приходил не медвежонок, а здоровенный медведь, который ради первого знакомства с нами уничтожил палатку Буйницкого. Жалеть таких резвых гостей не приходится, тем более, что по ним давно скучает сковородка нашего уважаемого кока.

3 ноября. Сегодня в 3 часа дня по местному времени мы находились на $84^{\circ} 47'$ северной широты и $128^{\circ} 50'$ восточной долготы. Это означает, что за последние 11 суток нас отнесло к северо-западу на целых 50 миль. Темпы вполне приличные!

Сейчас дует юго-западный ветер силой в 5 баллов. Мороз десять градусов. Ночью наблюдалась незначительная подвижка льда.

Впервые после новолуния вышло на небосвод ночное светило. Сейчас оно совсем не похоже на привычного спутника влюбленных, и вид его пока что вызывает только отвращение: какой-то бесформенный кусок красной меди. Холодный красноватый свет придает нашему ледовому пейзажу особенно унылый оттенок.

Льды ведут себя сейчас более или менее спокойно. Все же около 11 часов наблюдалось слабое сжатие. Майна, образовавшаяся у правого борта, уже затянута покровом молодого льда. В связи со сжатием поверхность молодого льда покрылась морщинами и приняла волнообразный характер. Когда же сжатие превышало предел эластичности, молодой лед трескался, и его обломки ползли друг на дружку.

4 ноября. $84^{\circ} 51',2$ северной широты, $128^{\circ} 37'$ восточной долготы. По-прежнему дует устойчивый попутный

ветер с юго-юго-востока силою в 4—5 баллов. День прошел совершенно спокойно, если не считать комического эпизода, приключившегося с Буйницким и Гаманковым.

Они отправились сегодня на наш «магнитный хутор», чтобы завершить оборудование снежного домика. Взяли дверь, приготовленную для этого домика, нагрузили материалы, инструменты, взяли фонарь, карабин и двинулись в путь. Пока оборудование домика не было закончено, Буйницкий пользовался палаткой, восстановленной после визита медведя. Эта палатка, черневшая на снегу, служила ему обычно ориентиром.

И вот сегодня Буйницкий и Гаманков не увидели палатки. Они бродили по льду целый час, но нигде не нашли никаких признаков «магнитного хутора». Слово он сквозь землю провалился, как заколдованное место из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Сейчас в кают-компани дружески подшучивают над нашими следопытами. Их уверяют, что палатку утащили медведи или моржи, которые завидуют лаврам наших научных работников и мечтают организовать исследование элементов земного магнетизма своими силами.

5 ноября. 84°56' северной широты, 128°14' восточной долготы. До 85-й параллели осталось продрейфовать всего четыре мили. Похоже на то, что пересечением этой черты будет ознаменован праздник 21-й годовщины Октября.

Сейчас под руководством Трофимова проводится энергичная подготовка к празднествам. Полянский принял по радио октябрьские лозунги, и сейчас Гетман исписывает ими длинные красные полотнища. Недзвецкий и Бекасов готовят праздничный номер нашей стенгазеты, которая называется довольно энергично и выразительно: «Мы победим».

Заметки для стенгазеты пишут все. Мне поручена передовая. Буйницкий готовит статью о наших научных работах. Трофимов — о задачах, стоящих перед зимовщиками, Гетман предупреждает от неосторожного обращения с огнем. Соболевский пишет о дынге и

о том, как предохранить свое здоровье от нее. Бекасов советует каждому следовать его примеру и ежедневно заниматься физкультурой. Мегер сочинил лирический труд о Джерри и Лыдинке. Его статья называется: «О помощниках вахтенного».

В каюте Андрея Георгиевича безумолку трещит пишущая машинка: по просьбе Недзвецкого он перепечатывает все заметки.

Судя по всему, номер получится интересным.

Буторин и Гаманков сооружают большую красную звезду, внутри которой завтра вечером зажгутся шесть электрических лампочек, — эту звезду установят на грот-мачте. Кроме того, механики устанавливают прожектор, которым будет освещен кормовой флаг.

Канун 21-го Октября мы решили ознаменовать первой глубоководной гидрологической станцией. У нас остался обрывок самодельного троса длиной около двух километров. При помощи этого троса мы могли делать гидрологическую станцию до глубины 2 000 метров.

Конечно, этот замысел был в известной мере рискованным, трос мог и на сей раз лопнуть: тогда наши батометры остались бы на дне океана. Естественно, что вначале Андрей Георгиевич, хранивший свое немногочисленное оборудование, как драгоценность, колебался. Но в конце-концов я решил пойти на риск, и после обеда при свете луны на льду закипела работа.

Мы расчистили майну, подготовленную еще 19 октября для глубоководного промера, прикрепили к тросу три батометра, пустили в ход самодельную лебедку. Станция началась.

Как и в прошлый раз, трос травили медленно и осторожно. Все следили за ним с огромным напряжением. Когда блок-счетчики отсчитали вторую тысячу метров, вниз послали свинцового «почтальона», который должен был перевернуть батометры. На этот раз был применен груз новой конструкции, сделанный Шарыповым: в нем было продлено более широкое отверстие, нежели в фабричных. Свой груз Шарыпов

отливал из свинца в формочке, изготовленной по собственному рецепту.

Выждав несколько минут, пока груз дойдет до батометров, начали выбирать трос. Все шло очень хорошо. Но в последнюю минуту оказалось, что «почтальон» так и не добрался до конца своего пути: трос во избежание порчи был обильно покрыт смазкой, и груз, соскабливая ее, в конце-концов застрял. Батометры не опрокинулись и не закрылись. Приходилось все начинать сначала.

Теперь груз был заменен такелажными скобами. Правда, и эти скобы были ненадежным орудием, — они часто проскальзывали мимо замка батометров. Но после четырех часов упорной работы Андрею Георгиевичу и его неутомимым помощникам удалось все же добыть несколько проб. Бутылки с этими пробами, пронумерованные и тщательно закупоренные, были торжественно препровождены на корабль.

В 20 часов работы были закончены. В ту же минуту мощный луч прожектора прорезал мрак полярной ночи, пробежал по обступившим судно торосам и остановился на алом флаге, развевающимся на корме «Седова». Зажглась рубиновым светом красная звезда на гротмачте. Вспыхнули люстры, осветившие лозунги. Все помещения осветились электричеством. Начался праздник.

В кают-компании открылось торжественное собрание экипажа. Слово для доклада о годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции взял Дмитрий Григорьевич Трофимов. Но не успел он закончить вступительную часть своего доклада, как в кают-компанию зашел Полянский, дежуривший в радиорубке, и передал мне телеграмму из Москвы. Она была настолько важна, что пришлось прервать докладчика. Вот что писали нам руководители Главсевморпути:

«Дорогие товарищи седовцы! В день 21-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции поздравляем вас, отважных, мужественных патриотов. Учитывая вашу самоотверженную работу в деле освоения Арктики, руководство Глав-

севморпути награждает товарищей Бадигина, Трофимова, Ефремова, Буйницкого, Токарева, Алферова, Соболевского, Буторина, Полянского, Бекасова, Шарьпова, Недзвецкого, Гаманкова, Гетмана и Мегера значками Почетного Полярника. Уверены, что вы с присущей большинству энергией, выдержкой, хладнокровием выйдете победителями из славного дрейфа. От всего сердца желаем вам здоровья и плодотворной работы».

Загremели аплодисменты. На усталых лицах моих товарищей засияли улыбки. Мы — почетные полярники! Только тот, кто работает в Арктике, знает, как высоко ценится это звание людьми Севера. Оно — реальное признание особых заслуг перед родиной, красноречивое свидетельство стойкости, воли, инициативы. И если такими наградами отмечена работа нашего экипажа, — это означает, что Москва высоко ценит нашу деятельность.

А наутро корабль расцвел гирляндами праздничных флагов. Серебристый свет полной луны, выплывшей из-за облаков, озарил трепещущие флаги, облеченный корабль, гряды торосов. Рубиновая звезда на гротмачте и голубой луч прожектора дополняли эту роскошную праздничную иллюминацию. Искрился снег, колебались длинные черные тени, в вышине мерцали крупные звезды, и все вокруг было необыкновенно красиво.

Но к одиннадцати часам тучи снова заволокли небо, и «Седов» окунулся во мрак. Только наш прожектор сверкал в тумане, и миллиарды снежинок вились в его луче, словно клубы дыма.

У трапа на льду строились люди. Было холодно — ртуть в термометре упала до минус 27 градусов. Свежий ветер трепал заиндевевшие знамена и вымпела. Потрескивали смолистые факелы. Мы уходили на демонстрацию.

В прошлом году в октябрьской демонстрации участвовало 217 человек. Первого мая на лед вышло 33 зимовщика. Теперь нас было всего пятнадцать. Совсем крохотной горсточкой сгрудились мы вокруг четырехметрового ропака, на вершине которого пылали два факела. Поднявшись на вершину, я оглядел демонстрантов, закутанных в

теплые шарфы. Они поживались от пронизывающего ветра. И все-таки чувствовалось какое-то праздничное настроение.

После короткой речи я провозгласил:

— За нашу любимую родину!..

В колеблющемся свете факелов тускло блеснули пятнадцать карабинов, вскинутых к черному, слепому небу, и гулкий залп потряс льды.

— За родную компартию! — продолжал я.

И опять над льдами прогремел залп.

— За Сталина!

Снова грянул залп.

— За доблестную Красную армию!

Еще залп.

— За дружбу народов СССР!

Пятый залп прокатился над ледяным полем и замер вдали. Построившись в ряды, мы запели бодрую песню о дальневосточных партизанах и четким шагом промаршировали от ропака к кораблю. Навстречу нам неслись звуки маршей, — Александр Александрович уже настроился на волну радиостанции имени Коминтерна и включил репродукторы.

Москва шла на демонстрацию. Мы слышали гул ее площадей, плеск аплодисментов, песни демонстрантов, приветственные лозунги. Мы слышали цокот копыт, рев танков, фыркание автомобилей. Мы слышали полную силы и воли речь наркома обороны, который с уничтожающей иронией говорил о провокациях неспокойного и, нечего греха таить, неумного соседа, о японских генералах, которые хотели у озера Хасан «без драки попасть в большие забияки» и были жестоко биты.

Сердце радовалось за нашу могучую родину, превращенную героическими усилиями народа, партии, Сталина и его соратников в неприступную крепость. И когда из репродукторов донесся звон оркестров и послышался ритмический грохот парада, мы пожалели только об одном: как печально, что до сих пор передача изображений по радио поставлена крайне несовершенно! Нам хотелось не только слышать, но и видеть воочию этот триумф победоносных армий...

Праздник на корабле закончился большим вечером самодеятельности. Наши бывшие пограничники Соболевский и Буторин делились воспоминаниями о своей службе на рубежах. Потом доктор декламировал стихи о славном пограничнике Коробицыне, павшем смертью героя на финской границе. Радисты беспрерывно таскали из рубки объемистые пачки приветственных телеграмм, которые тут же торжественно зачитывались вслух. Всего мы в этот день получили около ста поздравлений. Приветствовали нас не только организации и родственники, но и совершенно незнакомые люди. Андрей Георгиевич, например, получил восторженное поздравление от группы краснофлотцев, начинавшееся с многозначительного адреса: «Арктика, штурману белых пятен Ефремову». Он с большой гордостью принял этот неожиданный титул.

Буйницкому прислала поздравление какая-то таинственная незнакомка, которая подписалась одним именем — Тамара. Наш молодой научный работник был несколько сконфужен этим обстоятельством, но вскоре ободрился, увидев, что и все остальные получили пачки таких телеграмм. Видимо, на берегу за этот год мы приобрели много новых друзей.

Наш праздничный вечер затянулся далеко за полночь. Мы развеселились и под конец даже Андрей Георгиевич отважился продемонстрировать свои вокальные способности. Под аккомпанемент гитары Полянского он спел лирическую песенку о девушке с голубыми глазами и о море, которое горит бирюзой.

В заключение праздничной программы предполагалось посмотреть лунное затмение, которое догадливая природа приурочила к 7 ноября. Но, к сожалению, этот «просмотр» не состоялся: тучи скрыли от нас ночное светило, и о начале затмения луны мы догадались только потому, что ночное небо потемнело еще сильнее. В вахтенном журнале появилась лишь лаконичная запись:

«23 часа. Сплошная облачность не позволяет наблюдать лунное затмение.

24 часа. Стало значительно темнее...».

7 ноября наши координаты: $85^{\circ}00',5$ северной широты, $128^{\circ}07'$ восточной долготы. Мы наконец перевалили через заветную 85-ю параллель, на подступах к которой наш корабль дрейфовал больше месяца.

МЕСЯЦ АВРАЛОВ

Надо было ждать чего-то необыкновенного.

Никогда еще барометр не падал так упорно и зловеще.

Никогда еще южные ветры не дули с такой стремительностью.

Никогда еще мы не мчались к полюсу с такой быстротой и с таким постоянством.

И даже хладнокровный Андрей Георгиевич вздыхал и поднимал кверху свои худые, острые плечи, заноса в вахтенный журнал очередные записи:

«8 ноября. $85^{\circ}05',5$ северной широты и $128^{\circ}13'$ восточной долготы. Ветер с юго-юго-востока усилился до 5 баллов.

9 ноября. $85^{\circ}10',7$ северной широты и $128^{\circ}23'$ восточной долготы. Началась пурга. Ветер с юго-юго-востока.

11 ноября. $85^{\circ}31$ северной широты и $126^{\circ}57'$ восточной долготы. Пурга. Ветер с юго-юго-востока силой 7 баллов. Барометр падает».

Под черным небом, затянутым тучами, огромные холмистые ледяные поля, увлекаемые ветром, мчались все дальше и дальше на северо-запад, с каждым днем набирая скорость. За четверо суток они пределали бóльший путь, чем за месяц дрейфа. И вместе с ними плыл пароход «Георгий Седов» — маленькая железная коробочка, затерянная среди ледяных скал.

Движущиеся льды теперь таили в себе ни с чем не сравнимую кинетическую энергию. Взяв бешеный разгон, они, казалось, были готовы лезть напролом до берегов Гренландии, опрокидывая все препятствия.

Но, невзирая на всю свою массивность и монолитность, дрейфующие льды необыкновенно чутко реагируют

на вмешательство сторонней силы. И достаточно в такой критический момент ветру отойти на несколько румбов, чтобы исполинская энергия, накопленная льдами, мгновенно обратилась против них самих: гигантские поля многометрового пака сойдутся, столкнутся лбами, поднимутся на дыбы, раздробят, сотрут в порошок друг друга. Весь океан забуллит, застонет, покроется обломками. Так будет продолжаться до тех пор, пока энергия, накопленная льдами, не иссякнет. А потом морозы снова скуют океан, и все успокоится до новых ветров, пока не возобновится этот круговорот событий.

За год дрейфа мы уже привыкли к извечной смене ледовых бурь и штилей. И все-таки даже нам стало немного не по себе, когда подвечер 11 ноября ветер резко перешел на 5 румбов к западу и задул с прежней силой от юго-запада: теперь льды двигались не по ветру, а вразрез ему, — колоссальные поля пока не повиновались новому воздействию, подчиняясь лишь силе инерции. Ветер же упорно атаковал их сбоку, ударяя с бешеной скоростью и силой в торосы и ропаки. Получилось нечто подобное ударам артиллерийских залпов в борт бешено мчащегося корабля. Результаты такой фланговой атаки трудно было предугадать...

Уже вечером 11 ноября во льду появились трещины. Неприятнее всего было то, что на этот раз пострадали не только льдины, находившиеся справа от корабля, но и расположенное слева мощное старое поле, так хорошо обжитое нами за эти месяцы, — то самое, на котором находился аварийный запас и где были размещены все базы научных наблюдений.

Так хорошо служившее нам поле, на крепость которого мы все надеялись, внезапно лопнуло сразу в нескольких местах с громом, напоминающим отдаленные артиллерийские выстрелы. Сквозь сетку пурги при слабом свете луны, который с трудом проникал через облака, я разглядел по крайней мере три трещины, и все они были крайне опасны. Во-первых, от матерого поля был оторван спасительный тупой вы-

ступ, так долго защищавший нас от сжатий, идущих с юга. Во-вторых, возникла трещина по левому борту и по корме. В-третьих, открылась еще одна трещина по корме.

Теперь «Седов» был почти отрезан от наших аварийных баз; первая же подвижка льдов могла окончательно оторвать поле от корабля и унести его.

Опасаясь за судьбу аварийного запаса, мы по нескольку раз осматривали наши базы. Но там пока-что все было в порядке.

В ночь на 12 ноября барометр начал повышаться. Пурга прекратилась. На небе засияли звезды. Но ветер не утихал, и эти кажущиеся признаки успокоения никого из нас не обманывали.

Первые признаки сжатия появились в 16 часов 10 минут 12 ноября. Справа от корабля послышался режущий ухо треск, — лед нажимал на корпус и ломался, торосясь у самого судна. Через 10 минут льды неожиданно отпрянули от правого борта корабля, и... мы увидели, что на юге, по ту сторону открывшейся накануне трещины, весь лед стихийно двинулся вправо. Звуки торосения теперь доносились со всех румбов. Сливаясь, они превращались в сплошной грозный гул. В течение каких-нибудь сорока минут справа от корабля образовалась огромная полынья шириной до двухсот метров. За кормой появилось много трещин.

Буйницкого и Гаманкова не было на судне, — они еще в 16 часов ушли к магнитному домику на очередные наблюдения. Мне не хотелось срывать их работу, и пока-что я не тревожил их. Но обстановка с каждой минутой усложнялась, и я все чаще поглядывал на северо-восток, — не идут ли наши наблюдатели с «магнитного хутора»?

Их все не было. А у борта корабля тем временем события развертывались в быстром темпе. В 20 часов 30 минут трещина, видневшаяся по носу судна, внезапно разошлась и превратилась в разводье шириной до 30 метров. Послышались толчки. На месте нашей стоянки все льдины пришли в движение. Они взаимно перемещались, — поля, нахо-

дившиеся справа, уходили на юго-запад, льды слева — понесло на северо-восток.

Наше старое поле с аварийными базами пока еще держалось у судна. Но оно испытывало сжатие невероятной силы, — на всю кромку жали движущиеся льды, стремящиеся увлечь поле за собой.

Внезапно корабль задрожал, как испуганная лошадь. Я выбежал на палубу и спустился по трапу на ледяное поле. Оно тряслось под ногами, вибрируя так, словно подо льдом работали мощные турбины. И вдруг из мрака выступил ледяной вал высотой в два метра. Он медленно катился к кораблю с юго-востока...

В голове снова мелькнуло: где же Буйницкий и Гаманков?

— Дайте три выстрела и зажгите факел, — крикнул я Шарыпову.

В ту же минуту на палубе грянули выстрелы и замелькал красноватый огонек.

Ледяной вал, наступавший с юго-востока, был уже в 20—30 метрах от судна. Я заметил, что наша гидрологическая палатка дрогнула.

— Сюда! — крикнул я своим товарищам, столпившимся у трапа. — Тащите ножи...

Буторин, Шарыпов, Соболевский не заставили себя ждать. Но едва успели мы перерубить растяжки, как вдруг раздался сухой и резкий треск и буквально под ногами у нас тоненькой змейкой пробежала трещина, разделившая палатку на две части. Мы едва успели перепрыгнуть через трещину, — она сразу же превратилась в речку шириной около трех метров, в которой плавали полка и столик для записей — вся рабочая обстановка гидрологической будки.

Палатку мы успели высвободить с одного края и поспешно вытащили из воды. Гидрологическая лебедка удержалась на самом краю образовавшейся трещины. Все бросились к ней и начали вырубать ее из льда, чтобы перетащить поближе к судну.

Но в этот момент произошли новые события, которые заставили нас на некоторое время забыть о лебедке: послы-

шался яростный грохот, и новая трещина завершила разрыв между кораблем и нашим старым полем. Теперь у левого борта «Седова» остался лишь крохотный клочок льда шириной около 20 метров.

А Буйницкого и Гаманкова все еще не было. Они оставались где-то там, во мраке, среди ломающихся на куски, перелачивающихся, тонущих льдин, обломки которых быстро уносило все туда же, — на северо-восток.

Я собирал людей на корабль, — оставаться на движущихся обломках было небезопасно. Кое-как по-одиночке они переходили на палубу. Вместе с нами, как всегда, были наши щенки — Джерри и Лыдинка. Они перепугались и дрожали, боясь прыгать через трещины. Пришлось перетаскивать их на руках.

И вдруг начал крошиться последний обломок поля, на котором стояли наши палатки, двигавшиеся вместе со льдом на север. Мы не могли равнодушно наблюдать, как гибнут наши аварийные запасы. Надо было попытаться их отстоять, как бы это трудно ни было.

— Соболевский... Бекасов... Гетман... Мегер... — крикнул я. — К палаткам! Захватите доски, чтобы переходить через трещины. Берегите себя. Если нужна будет помощь, — сигнальте светом и выстрелами...

Через несколько минут все четверо уже были на льду. Ловко перебираясь через трещины и разводья, они поспешно направились к едва видимым в сумраке аварийным палаткам.

Несколько минут спустя к судну подбежали наконец долгожданные Буйницкий и Гаманков. Усталые, запыхавшиеся, они остановились у широкой трещины, образовавшейся на месте гидрологической палатки, и с удивлением оглядывались вокруг, не узнавая внезапно изменившейся обстановки.

— Шлюпку!.. — закричал Буйницкий. — Не перепрыгнем...

Но едва успели спустить шлюпку за борт, как вдруг края трещины с жестким шорохом сошлись, и Буйницкий с Гаманковым в два прыжка очутились у трапа. Торопясь и перебивая друг дру-

га, они начали рассказывать о том, что с ними произошло.

Оказывается, заканчивая свои магнитные наблюдения, наш молодой научный работник даже не подозревал, что у корабля происходят такие крупные передвижки. Правда, он слышал звуки торошения, но мы все так привыкли к этой музыке, что они обычно не вселяли в нас особой тревоги. Поэтому, закончив работу, Буйницкий позвал Гаманкова, который, как всегда, прогуливался с карабином за плечами в стороне от снежного домика, и они уселись под каким-то ропакон покурить и поболтать. В этот момент на корабле раздались выстрелы. В темноте замелькал огонек факела, Буйницкий и Гаманков почувствовали, что лед под ногами у них дрожит, и...

Но они так и не успели закончить рассказ о своих приключениях. Их прервал сигнал общей тревоги:

— Все по своим местам, в полной готовности к выходу на лед...

Именно теперь начинаются решающие минуты сжатия. Преодолев какое-то невидимое препятствие, льды ринулись стремглав на наш злосчастный корабль. Все вокруг нас кипит и клокочет.

Справа по корме — открытая, черная, как аспид, дымящаяся от мороза вода. Слева — бешено мчащиеся, ломающиеся, сокрушающие друг друга ледяные глыбы. А с юго-востока, прямо в нос кораблю, стремительно наступает угрюмый зеленовато-белый вал.

Льды вплотную прижались к носу, жмут, давят на него. Пока «Седов» противостоит им своей мощной грудью, у него еще есть шанс на спасение. Но стоит ему повернуться к наступающему валу слабым бортом, и лед вспорет ему стальное брюхо, как нож рыбака вскрывает рыбу, — ни одно судно в мире не смогло бы противостоят такому мощному фланговому удару.

Корабль дрожит от напряжения, но не сдается. Пройдет еще несколько мгновений, ледяной вал минует нас, и мы будем спасены. Но вот происходит нечто непредвиденное — начинается ка-

кой-то страшный круговорот льдов. За кормой с непонятной стремительностью метнулось справа налево гигантское поле, — оно движется с такой легкостью, словно это кусок парафина, а не тяжеловесная льдина весом в сотни тысяч тонн.

— Пронесло... — тихо говорит со вздохом облегчения Андрей Георгиевич. Но радоваться еще рано: справа мчится еще одна льдина. Она цепляется за нос корабля и увлекает его за собой.

«Седов» со стоном разворачивается на пять градусов, потом еще на пять, на десять, на двадцать... Вот, вот он станет бортом к наступающему валу. Мы молча стоим на палубе, бессильные чем-либо помочь кораблю, немые свидетели грозной бури.

Тем временем Александр Александрович Полянский, связавшись с радиостанцией мыса Челюскина, передает мое донесение, адресованное в Главсевморпуть:

«Состояние окружающего льда таково, что выгружать на него что-либо с судна невозможно. Подвижки льда продолжаются. К выходу экипажа на лед все приготовлено. Держим ежечасно радиосвязь с мысом Челюскина. Судно пока повреждений не имеет...».

Да, пока-что судно повреждений не имеет. Но льды упрямо разворачивают его все дальше влево. К 22 часам нос корабля отошел на 30 градусов от своего первоначального положения. Еще немного—и льды расплющат судно. И только в самое последнее мгновение счастье поворачивается к нам лицом: у правого борта почти бесшумно нагромождается гигантская подушка совсем молодого льда. Она принимает на себя давление кормы, и корабль внезапно замирает на месте, упрямо выставив свой могучий форштевень навстречу громадам пака, катящимся с юго-востока...

Гигантский ледяной вал со злобным рычанием прокатился мимо нас, двигаясь все дальше и дальше на север. Его страшный рокот постепенно стихал. Лишь изредка грубый голос катящегося вала врывается в нестройный хор бушующих вокруг нас льдов, всякий раз

подавляя его своим хриплым звучанием.

Теперь мы были в относительной безопасности, хотя у правого борта продолжалось сжатие. Но что испытывали в эту минуту наши товарищи—Соболевский, Бекасов, Гетман и Мегер, отправившиеся час назад к аварийным базам? Во мраке ночи смутно мелькал красноватый огонек факела, установленного ими на льду возле палаток. Этот крохотный огонек действовал успокаивающе, — он свидетельствовал, что люди достигли базы и хладнокровно ожидают там, пока сжатие утихнет. Но с каждой минутой огонек факела уменьшался и становился все более тусклым,—льдину, на которой находились наши четыре друга, необыкновенно быстро уносило на север.

И вдруг на льду у палаток взвилось яркое белое пламя. Что это? Пожар? Сигнал бедствия? Раздумывать было некогда. Я позвонил Андрею Георгиевичу:

— Берите с собой Алферова и Шарыпова и отправляйтесь к Соболевскому. Сжатие идет к концу. А в случае чего, — мы тут как-нибудь обойдемся и сами...

Прошло два долгих, томительных часа, пока мы узнали, что произошло у палаток. Было уже далеко за полночь, когда из мрака послышались шаги людей, смех, веселые шутки. Все объяснилось очень просто. Оказывается, желая согреться, наши товарищи вытащили из аварийного запаса паяльную лампу и разожгли ее. Яркий свет этой лампы и ввел нас в заблуждение.

У палаток остались дежурить Гетман и Алферов; все остальные вернулись на корабль: сжатие утихло, и непосредственная опасность помещенным в палатках запасам продовольствия и снаряжения уже не угрожала.

Андрей Георгиевич доложил, что палатки унесены за полтора километра от корабля и что на пути к ним лежит взломанный лед. Поэтому доставить наши запасы поближе к кораблю не так просто.

После долгого аврала и трудной прогулки к аварийным базам люди смер-

тельно устали и хотели спать. Но всем нам было не до сна, — мы хотели возможно быстрее выяснить, во что превратило сжатие старое паковое поле и что осталось от нашего хозяйства, которое мы с таким трудом и приложением налаживали в течение трех месяцев.

Люди зажгли факелы, фонари и забрелись по льду. В темноте людей не было видно, и огоньки блуждали, словно светляки. Спотыкаясь и падая, проваливаясь в трещины, мы с трудом пробирались от одной льдины к другой. Все вокруг было ново и незнакомо. В самых неожиданных местах находили разбросанные багры, пещни, доски, бочки с горячим.

Часть наших запасов была унесена на север, другая часть на восток. А склад аммонала, оборудованный под высоким торосом, отъехал на 200 метров к юго-востоку. Снежный домик, служивший для магнитных наблюдений, вообще найти не удалось. Он как в воду канул. Казалось, словно какой-то арктический Гаргантюа хозяйничал здесь в течение этих пяти часов, разбрасывая, перемешивая, ломая все, что мы соорудили на нашей льдине. Теперь надо было начинать организацию баз с самого начала.

Только под утро мы прилегли отдохнуть, не раздеваясь, готовые в любую минуту вскочить и продолжать авральную работу. На льду у аварийного запаса дежурные сменялись каждые четыре часа. Оставшийся на вахте Андрей Георгиевич до утра не смыкал глаз, чутко прислушиваясь к грозному гулу движущихся льдов. Изредка отголоски прокатившегося сжатия снова достигали «Седова», и тогда судно вздрагивало, заставляя измученных людей просыпаться.

Утро 13 ноября было таким же темным, ветреным и морозным, как все предыдущие. Подвижки льда не прекращались. То ослабевая, то усиливаясь, сжатия непрерывно громоздили торосы возле корабля. Мы не могли пассивно ждать полного прекращения этой сутолоки: до тех пор, пока наши аварийные запасы были хаотически раз-

бросаны где попало, нельзя было поручиться за их судьбу. И после короткого отдыха мы принялись за розыски новой надежной льдины, которая могла бы заменить размолотое на куски паковое поле, служившее нашей базой.

Поиски продолжались целый день: очень трудно было обнаружить что-либо подходящее в кромешной тьме среди высоких торосов, рыхлых сугробов, расстрескавшихся изуродованных льдин. Только к вечеру Буйницкому, Гаманкову и Гетману удалось обнаружить в 500 метрах от судна, считая на северо-северо-восток, новое поле мощного льда, принесенное нивесть откуда. Его размеры превышали квадратный километр. Просверлив лед в нескольких местах, мы установили, что толщина поля достигала полутора метров. Следовательно, оно вполне подходило для оборудования новых аварийных баз.

Пока Буйницкий, Гаманков и Гетман разыскивали новое поле, Соболевский с Недзвецким вели разведку дорожной трассы от корабля к унесенным на север палаткам. Эта разведка была тоже нелегким делом: за сутки между палатками и судном выросли десятки торосистых гряд, через которые надо было перебираться, как через горы. В конце концов Соболевскому и Недзвецкому все же удалось наметить вехами среди торосов извилистую линию будущей дороги. Кое-где следовало прорубить своеобразные штольни в ледяных скалах, кое-где надо было засыпать трещины, чтобы в них не проваливались сани при перевозке аварийного запаса.

У нас уже был богатый опыт ледового строительства, накопленный во время памятной аэродромной эпопеи. Поэтому мы рассчитывали довольно быстро проложить дорогу и перевезти все запасы на новое место.

Но обстановка сложилась так, что оборудование новых баз растянулось на довольно длительный период и далось нам ценой больших усилий: Арктика мобилизовала против нас все свои вооруженные силы — и льды, и ветры, и пургу, и морозы.

Когда теперь вспоминаешь эту темную, бесконечно долгую полярную ночь,

в ушах звенит ледящий душу свист запутавшегося в снастях ветра, слышатся гулкие удары ломающихся ледяных полей и усталый голос Андрея Георгиевича, неизменно повторяющий одни и те же слова: «Ну, и погодка! Чорт бы побрал такую погоду!..».

Стойкие южные ветры внезапно сменились северными. Нестерпимо холодные и сухие потоки воздуха обрушивались на нас, скатываясь с самой верхушки земного шара. Этот воздух обжигал лицо, словно раскаленный песок. Было трудно дышать. Губы высыхали и лопались, ресницы смерзались. Летучий мелкий снег забивался во все поры одежды.

Трудно идти против такого ветра. Но еще труднее тащить при этом за собою тяжелые сани. А ведь нам нужно было бы перебросить из палаток, унесенных льдами за полтора километра от корабля, на новое поле несколько сот пудов грузов.

Эта труднейшая работа производилась силами всего экипажа, — на судне оставались лишь вахтенный, радист и повар. Ровно в 10 часов утра люди сходили на лед, волоча за собой бревенчатые сани, подбитые лыжами вместо полозьев, — эти сани мастерил Буторин. Сразу же они погружались в глубокий рыхлый снег и застревали, — свежий северный ветер с исключительным прорывом засыпал снегом все тропы, протоптанные людьми. Тогда вперед молча выходил Буторин или Гетман, — они брали на себя трудную роль ледовых лоцманов. Высоко поднимая фонарь, человек, идущий впереди, прокладывал дорогу своим товарищам в зыбучем, рыхлом снегу. Он предупреждал о трещинах, указывал, как обойти торосы. За ним гуськом брели восемь человек с двумя санями. На каждые сани клали до 20 пудов груза...

Перевозка аварийных запасов была начата 14 ноября. В этот день льды все еще двигались на северо-запад. Мы достигли рекордных координат: $85^{\circ} 37'$ северной широты и $126^{\circ} 32'$ восточной долготы. Но северный ветер с каждым часом свежел. Он с силой ударял прямо в лоб наступавшим на полюс ледяным полям, осаживал их. По опыту

мы знали, что с часу на час направление дрейфа должно было измениться в прямо противоположном направлении.

Надо было спешить, если мы не хотели потерять свои аварийные запасы. И люди работали, не щадя своих сил. Всего в этот день было сделано семь санных рейсов. На новой льдине установили малую палатку, разместили в ней аварийную радиостанцию, часть продовольственных запасов и снаряжения.

Больше других уставал Андрей Георгиевич. Такие прогулки по льду действовали убийственно на его больное сердце. Но он и слышать не хотел об освобождении от участия в авралах.

— Как же так? — говорил он, пожимая плечами. — А что говорит статья сто тринадцатая устава внутренней службы? Старпом есть непосредственный блюститель судового порядка. Как же я могу нарушать этот порядок?..

И, нагибаясь над камельком, он терпеливо начинал отдиравать от своей окладистой бороды куски льда, — пурга превращала ее в сплошную ледяную глыбу. Эта мучительная и трудная процедура обычно продолжалась не менее получаса.

— Сбрил бы ты ее, Андрей Георгиевич, — советовал я своему помощнику, — одна морока с нею...

— Что ты, что ты, Константин Сергеевич! — испуганно возражал он, — этак гораздо теплее. Борода у меня вместо шлема. Да и времени для бритья не выберешь. Где уж тут бриться?..

И он снова склонялся над камельком, кряхтя и ворча...

Ночью выпал слабый снег. Северный ветер усилился до шести баллов. Он преодолел, наконец, инерцию льдов и с силой погнал их назад. За сутки мы были отброшены на добрых семь миль к юго-западу. Ртуть в термометре понизилась до 26 градусов ниже нуля. Но на утро работы были возобновлены ровно в 10 часов, как обычно.

На этот раз я дал задание — совершить восемь рейсов. Задание было перевыполнено: команда перебросила в новый лагерь девять саней с грузами.

К утру 16 ноября ветер начал немного утихать. За сутки нас отнесло к югу всего на две мили. Но в то же время подвижки льда усилились. Ночью по правому борту неожиданно открылось огромное разводье, быстро превратившееся в полынью шириной до 200 метров. Эта полынья шла с юго-востока на северо-запад до пределов видимости. Отовсюду доносился скрип и стон разрушавшихся полей молодого льда.

Чтобы облегчить перевозку аварийных грузов, был включен мощный судовой прожектор. Трофимов и Токарев перенесли его на левый борт, запустили аварийный двигатель, и голубоватый дымчатый луч прорезал мрак ночи.

Как описать зрелище, открывшееся нашим взорам в эту минуту? Надо быть большим художником и поэтом, чтобы обрисовать величие облитых голубым светом зубчатых, изъеденных ветром торосов, красоту гигантских гор, усеянных кристаллами льда, напоминающими фантастические цветы, своеобразие равных черных теней, падающих на ослепительно белые сугробы. Скажу здесь только, что этот луч прожектора чрезвычайно ободрил наших людей, и перевозка грузов пошла быстрее.словно маяк в бурном море, он указывал путь горсточке людей, карабкавшейся с торо-са на торос с тяжелыми саями на буксире.

Десять рейсов совершили наши моряки в этот день. К 18 часам 30 минутам аварийный запас продовольствия и снаряжения был полностью перевезен на новое место. Буторин и Гаманков при свете прожектора быстро раскинули большую палатку и уложили в ней ящики и тюки. Сверх плана участники аврала доставили из унесенного льдом склада горючего две бочки бензина.

17 ноября продолжались перевозки запасов горючего. Было чертовски трудно тащить на саях круглые обледеневшие бочки. Тяжелые и скользкие, они то-и-дело скатывались и зарывались в снег. Их приходилось коллективными усилиями выкапывать, втаскивать на сани, увязывать тросами.

Как назло, барометр снова начал

стремительно падать, предвещая очередную бурю. Ветер перешел опять к северу и гнал над льдами целые тучи острой и сухой снежной пыли. Однако в этот день удалось перевезти из старого склада в новый 16 бочек горючего и 5 мешков угля.

Но на завтра мы все же не выдержали этого адского снежного шторма и временно отступили, — пришлось прервать перевозку аварийных запасов до улучшения погоды: теперь с полюса на нас обрушивался целый водопад ледящего промерзшего воздуха. Термометры показывали минус 30 градусов. В непроницаемом мраке скрипели и вздыхали потревоженные поля многолетнего пака. Справа, в разводье, образовавшемся накануне, жалобно звенел искверканный сжатием молодой лед.

Было бы рискованно в такую погоду отпускать людей с корабля. Да в этом теперь и не было жизненно-острой необходимости: ценой невероятных трудов и лишений в предыдущие дни мы почти полностью спасли свои аварийные запасы. Оставалось перевезти на новую базу бочку авиамасла, несколько мешков с углем и деревянные козлы, служившие для глубоководных измерений.

Несколько дней мы сидели в плену у шторма. Злобные холодные ветры атаковывали корабль то с севера, то с юга, то с запада, то с востока. Порою казалось, что мы попали в какую-то западню, — со всех сторон обрушивались на нас вещественно ощутимые удары, способные сбить человека с ног.

Когда я вспоминаю эти дни, приходится лишь удивляться тому, что такая частая смена ветров не вызвала нового катастрофического сжатия. Видимо, на этот раз ледяные валы миновали «Седов» и прошли стороной.

27 ноября мы находились на $75^{\circ}29'6''$ северной широты и $124^{\circ}12'$ восточной долготы. За две недели до 27 ноября наши координаты были почти те же. Повинуясь изменчивым ветрам, корабль вместе со льдами на протяжении этих двух недель описывал замысловатую петлю, тычась словно слепой, то на север, то на юг, то на восток, то на за-

пад. Мы сделали за это время круг радиусом в семь миль.

Только теперь, когда ветры несколько утихли, мы смогли завершить оборудование новых аварийных баз. Перевезли к палаткам остатки грузов, разбросанных на льду в самых неожиданных местах, все как следует уложили, пересчитали, проверили.

Буйницкому все время не давали покоя заботы об унесенном льдами снежном домике, который он с таким старанием и заботливостью оборудовал для магнитных наблюдений. Поэтому сразу же, как только ветер немного утих, он вдвоем с Мегером отправился на поиски пропавшего сокровища, лелея в душе надежду отыскать его где-нибудь поблизости, — нашелся же склад аммонита в 200 метрах от корабля!

Весь вечер бродили наши молодые следопыты по торосистым полям. Вернулись они уже ночью, — окоченевшие, усталые и злые.

Правда, наш лихой кок Мегер бодрился и пытался показать, что ему, старому морскому волку, такие прогулки ни о чем. Но это даже ему плохо удавалось, и в конце-концов он признался:

— На нашем уважаемом Черном море работать гораздо интереснее.

И долго еще из кубрика доносился крикливый голосок разговорчивого повара, которому неожиданно пришлось выступить в роли ледового разведчика.

Буйницкий коротко доложил мне:

— Домика нет. А на льду делается такое... такое, что сразу даже слов подходящих не подберешь...

Я предложил Буйницкому подробно описать результаты разведки в нашем «Дневнике наблюдений за жизнью льда». Через полчаса я с интересом прочел его лаконичную запись. Скучным и точным языком наблюдателя Буйницкий описывал свое нелегкое путешествие:

«Вечером ходил с Мегером искать магнитный домик. К сожалению, не нашли. Настолько темно, что достаточно отойти от судна на 70—100 метров, как его уже не видно.

Лед в районе, где раньше стояли палатки и магнитный домик, так искверкан, что узнать его невозможно. Появилась

масса трещин и новых гряд торосов. Так как в последние дни держалась сравнительно высокая температура большинство трещин покрыто лишь очень тонким льдом. Этот предательский лед запылен снегом. В темноте трудно отличить такую ловушку от надежного льда. Когда же начинаешь его обстукивать, пика легко пробивает эту пенку.

Трудно представить себе ту огромную силу, которая нужна была, чтобы так нагромоздить лед. Местами буквально не знаешь, куда итти, — везде гряды и нагромождения высотой 3—4 метра.

В одном месте мы нашли нечто подобное кратеру небольшого вулкана: лед нагромоздилось в виде усеченного конуса высотой до четырех метров. Когда заберешься наверх, перед тобой открывается огромная котловина, причем склон ее настолько крут, что опуститься внутрь кратера невозможно, — можно лишь скатиться. Свет фонаря слишком слаб, чтобы осветить котловину, и от этого она кажется еще более грандиозной и таинственной.

В нескольких местах лед треснул и разошелся на 10—15 метров, но вода почему-то в разводе не поднялась и замерзла на один-полтора метра ниже поверхности льда — образовались траншеи с вертикальными стенками довольно значительной высоты...».

Казалось, что теперь, наконец, наступила долгожданная передышка. Должна же была иссякнуть энергия, превратившая некогда спокойные льды в этот дикий и страшный хаос! Но передышка продолжалась всего несколько дней.

Уже первого декабря ветер перешел к западу и внезапно засвежел. Небо покрылось зловещими лохматыми облаками, первыми вестниками шторма. Поднялась пурга. Начинался настоящий ураган, — третий ураган за один месяц! Было от чего приуныть: вместо долгожданного успокоения зима принесла новое обострение ледовой обстановки.

Пурга наметала на льду чудовищные сугробы вышиной в несколько метров. Слой снега покрывал судно, словно теплое пуховое одеяло. Ветер злобно выл и гудел в обледеневшем такелаже. Стоило на минуту выйти наружу — и пурга мгновенно забивала снегом лицо, запорошивала глаза, ноздри, покрывала всю одежду ледяным панцирем.

Только седьмого декабря пурга прекратилась, ветер отошел к северо-запа-

ду и начал стихать. Температура сразу повысилась до минус 4,8 градуса. Небо прояснилось. Показалась луна. И сразу же, точно по волшебству, изменилось все окружающее. Изменчивый лунный свет превратил нагроможденные в хаотическом беспорядке льды в прекрасные сказочные замки, крепостные стены, мертвые города какого-то сонного царства. Сам «Седов», засыпанный снегом, напоминал гигантскую елочную игрушку, отделанную ватой и осыпанную сверкающими блестками.

Это феерическое зрелище лишило покоя наших фотолюбителей. Даровое лунное освещение обеспечивало идеальную четкость снимков. Немедленно все аппараты были извлечены из чемоданов и ящиков, и через несколько часов торжествующие фотографии демонстрировали свои негативы: десятиминутная выдержка обеспечивала прекрасные фотографии. Но в самом разгаре этих мирных занятий Арктика вновь достаточно внушительно напомнила о своей традиции: перемена ветра неизбежно должна вызвать подвижки льда.

Дело было после обеда. Воспользовавшись тихой, ясной погодой, Буйницкий, Гетман, Недзвецкий и Шарыпов отправились строить новый снежный домик для магнитных наблюдений, — после гибели нашей старой базы эти наблюдения снова пришлось вести в тоненькой шелковой палатке, которую ветер продувал насквозь.

Через полчаса на корабль неожиданно примчался запыхавшийся Гетман. Он отыскал меня и одним духом выговорил:

— Возле палаток на новом месте трещина...

Это была крайне неприятная новость: неужели наша работа прошла даром, и теперь после трех недель упорного, нечеловеческого труда придется все начинать сызнова и отыскивать третье поле?..

Гетман возбужденно продолжал, суетливо жестикулируя:

— Как змей подползла. Как змей! Разглядеть ее трудно — ниточка. На самую-самую малость под палатку не пролезла...

Я позвал своего старшего помощника:

— Андрей Георгиевич! Лед под палатками трескается. Надо проверить. Захватите с собой Буторина и Гаманкова...

Через несколько минут старпом и боцман в сопровождении Гаманкова и Гетмана уже побежали по льду к палаткам, смутно темневшим среди голубоватых скал.

Пока люди добрались туда, предательская трещина, которая только-что была едва заметна, разошлась на 2 метра. Большая палатка с нашим драгоценным аварийным запасом едва не повисла над дымящейся черной бездной, — она теперь стояла всего в полуметре от воды. Одна оттяжка была оборвана, и конец ее, закрепленный по ту сторону трещины, теперь полоскался в стылой воде.

Извилистое разводье уходило с юго-востока на северо-запад до пределов видимости. По ту сторону лед с тихим шорохом перемещался, и оттяжка, оторванная от палатки, уплывала на север.

Андрей Георгиевич немедленно организовал работу. Пока Буторин свертывал палатку, остальные люди привычными ловкими движениями хватали ящики, тюки, бочки и оттаскивали их подальше от трещины на новое место.

К 17 часам разводье беззвучно разошлось в поляны по 40 метров, а на севере открылось новое разводье. Оно шло наперерез первому и смыкалось с ним. Лопнул лед и на юге, в каких-нибудь пятидесяти метрах отсюда. Одним словом, повторялась знакомая картина: могучее ледяное поле на глазах у нас превращалось в какую-то грудку бесформенных обломков.

К ночи как будто бы все утихло. Разводья внезапно сошлись, нагромоздив новые гряды торосов.

Закончив вахту в полночь, я еще раз окинул взором причудливый лунный пейзаж. Было тихо. На небе мерцало полярное сияние. Вокруг луны дрожал радужный круг. Высоко, почти в самом центре небосвода, светилась холодная и равнодушная, но в то же время величественная и гордая полярная звезда.

Я ушел в каюту и сразу же крепко заснул. А под утро меня разбудили скрип снастей, вой ветра и шорох льда. Выйдя на палубу, я увидел, что за ночь все вокруг нас резко изменилось. Ураганный ветер неистово рвал заиндевевшие праздничные флаги, поднятые над кораблем в честь дня Конституции. Все небо было закрыто облаками, а от этого вокруг нас снова все было черно и неприветливо. Пурга наметала новые и новые сугробы вокруг корабля, и от этого казалось, словно он врастает в лед и становится все меньше.

Двое суток выл ветер. А к вечеру 9 декабря в его заунывную музыку вплелся знакомые басовые нотки льдов, — трещины вокруг судна возникали с такой быстротой, будто какой-то невидимый гигантский топор рубил ледяные поля на куски. Видимо, владелец этого топора орудовал с завязанными глазами, — трещины возникали в беспорядке и шли в самых различных направлениях. Они то пересекали друг друга, то шли параллельно, то бессильно упирались в торосы, то рвали эти торосистые гряды с необычайной легкостью. Предугадать направление и размеры очередной трещины было немыслимо.

Мы напряженно всматривались вдаль, туда, где стояли наши палатки: порвет или не порвет? Это была какая-то страшная и нелепая лотерея, невольные участники которой вынуждены были ставить на карту все, что у них было: силы, здоровье, надежды...

В 23 часа 30 минут из-за палаток послышался глухой удар, и на белом поле легла черная тень.

— Порвало!..

— Алферов, Недзвецкий! На лед, осмотреть палатки, — командовал я.

Вооруженные фонарями и баграми механики помчались по льду к аварийной базе. Через четверть часа красноватые огоньки фонарей беспокойно замелькали в воздухе, описывая круги. Это был призыв о помощи. Немедленно начался очередной общий аврал. Теперь надо было спасать малую палатку, в которой находилась аварийная радиостанция, — новая полынья раскрыла свою дымящуюся пасть в нескольких метрах

от нее. Кроме того, в разные стороны от малой палатки расходилась целая сеть трещин, бравших свое начало в каких-нибудь пяти-двадцати сантиметрах от края полотна.

Все поле крошилось и расползалось на куски, — точь в точь, как это было в ночь с 12 на 13 ноября. В нашем распоряжении теперь оставался лишь небольшой обломок поля, размером всего в 200 квадратных метров. И все грузы мы спешно перетаскивали на самую середину этого обломка.

В час тридцать минут ночи перевозка аварийных запасов была закончена. Я ждал новых неприятностей: льдину могло расколоть на еще более мелкие куски и унести от корабля. Поэтому я приказал Буторину каждые полчаса наведываться на аварийную базу. Но подвижки неожиданно прекратились. Прекратились так же внезапно, как и начались.

На этот раз льды оставили нас в покое надолго. Мы могли, наконец, перевести дух и дать отдых нервам, изрядно расшатавшимся за этот месяц беспрепятственных авралов.

БУДНИ ВТОРОЙ ЗИМОВКИ

Ясная зимняя ночь. Огромная, золотая луна смутно озаряет угрюмый, абсолютно безжизненный ледовый пейзаж, такой обыденный и такой изменчивый: зубчатые венцы голубых торосов, их черные резкие тени, серебристая дымка тумана, скрадывающая линию горизонта, высокий темносиний купол, усыпанный дрожащими от холода звездами, нервный бег полярных сияний...

Я перечитываю Нансена:

«По временам страшно хочется переложить эту природу на музыку; она одна может ее передать. Какие получились бы могучие аккорды!..».

Почти полвека прошло с тех пор, как отважный владелец «Фрама» осмелился проникнуть в эту таинственную область мира. Уже спит вечным сном Нансен, как и большинство его спутников. Гигантская полоса исторических событий лежит между эпохой «Фрама» и эпохой «Седова». И только здесь, в этом хо-

лодном и равнодушном мире, ничто не изменилось.

Это извечное оцепенение Арктики и ледяное равнодушие ко всему живому ужасало Фритьофа Нансена:

«...Полярная ночь,—писал он в своем дневнике,— ты похожа на женщину, на восхитительную, красивую женщину, с благородными чертами античной статуи, но и с ее мраморной холодностью. На твоём высоком челе, ясном, как чистый эфир, нет ни следа сочувствия к мелким горестям человеческого рода, на твоих бледных, прекрасных щеках — ни следа чувства... Я изнемогаю от твоей холодной красоты, я жажду жизни, тепла, света! Позволь мне вернуться либо победителем, либо нищим, — для меня все равно! Но позволь мне вернуться и снова начать жить. Здесь проходят годы; что они приносят? Ничего, кроме пыли, сухой пыли, которую развевает первый порыв ветра; новая пыль появится на ее месте, новый ветер унесет ее опять...».

Перед нами не стояла страшная дилемма — «вернуться либо победителем, либо нищим». Нам были чужды и мистические ощущения, одолевавшие Нансена. И все же, и нам порою становилось не по себе, — настолько чужда и малодоступна живой человеческой душе могучая и мрачная, величественная и холодная природа вечной ночи в окрестностях полюса. Только теперь я в полной мере понял Джемса Кука, который написал, увидев пловучие льды:

«Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом...»

Как и полвека назад, над Центральным Полярным бассейном проносились свирепые ураганы. Как и тогда, бушевали льды. Как и в то время, над этой мертвой пустыней полыхало призрачное пламя полярного сияния — щедрый и беспцельный дар природы утрюмому полюсу.

Много прекрасных слов можно найти для описания арктического пейзажа. Не случайно все книги исследователей полярных стран читаются, как увлекательные романы, — сама природа вкладывает в их душу незатухающую искру поэзии. Но самое поэтическое из всего,

что видят и чувствуют полярники, — это, без сомнения, таинственный и неверный свет трепетного сияния.

Нансен наблюдал в высоких широтах полярное сияние каждые сутки. Мы также изо дня в день читали на небе эти загадочные письмена. Наука до сих пор не может дать вполне точного объяснения сущности полярных сияний. Может быть, именно поэтому таинственная игра безжизненного света над вечными льдами особенно восхищает и ужасает человека.

Днем и ночью, утром и вечером мы наблюдали эту удивительную игру, ни разу не повторяющую свои комбинации, безумно расточительную и щедрую. То в различных частях горизонта появлялись мощные колеблющиеся завесы рубинового и изумрудного цвета, — на языке метеорологии это явление называется «драпри». То через весь небосвод перекидывался сверкающий хрустальный мост, и яркий зеленый луч рассекал завесу мрака. То по небу вдруг начинали ползть фантастические огненные змеи, ежесекундно меняющие форму и окраску.

Иногда эти огненные змеи неожиданно встречались в зените, образуя самое величественное явление из всех, какими нас дарит полярное сияние: в вышине сияла многоярусная блестящая корона, от которой во все стороны мчались многоцветные стрелы холодного огня.

Звезды тускнели и терялись в этой фантастической игре света, и по снегу перебегали легкие, едва уловимые тени, словно где-то далеко-далеко занялось зарево страшного пожара.

Однажды, стоя на вахте, я был свидетелем совершенно необычного зрелища: волны зеленого пламени, охватившего весь небосвод, сошлись в зените, и из них выплыла сверкающая мрачными отблесками гигантская огненная птица. Она парила в вышине, распластав широкие крылья, сотканные из тончайших призрачных лучей. Не отрываясь, следил я за этим удивительным призраком, рожденным случайным сочетанием световых волн. Но вот прошла секунда, другая, — и все исчезло. Лишь яркие звезды спокойно мерцали в вышине, да где-

то на юге светился одинокий зеленый луч.

Казалось, этими грозными сигналами Арктика говорила нам:

— Что ищете вы в этих широтах? Они не для вас, тщедушных карликов; здесь царство вечного покоя...

Но мы попрежнему гнали прочь сомнения и страхи. Ведь когда-то и более южные районы Арктики считались недоступными для человека. Теперь же в этих районах не только созданы десятки полярных станций, но даже создается промышленность. Почему же мы должны останавливаться у 85-й параллели? Как знать, — быть может, гений человека в будущем сумеет освоить и эти широты. Тогда люди с признательностью вспомнят и о нашей скромной экспедиции — об этой глубокой разведке последнего из белых пятен Арктики...

И, как ни трудна была для нас эта зима, мы делали все, чтобы наша разведка дала возможно более полные результаты.

Я уже упоминал, что мы старались проводить свои научные наблюдения возможно чаще и регулярнее, как бы тяжело ни складывалась обстановка вокруг нас. Даже в ноябре, этом месяце бурь и сжатий, Москва получала через каждые четыре часа метеосводку, составленную и зашифрованную по всем правилам. Кроме того, мы в этот период производили регулярные астрономические и гравиметрические наблюдения, исследования льда. При первой же возможности возобновлялись магнитные наблюдения.

Это было совсем не так просто производить кропотливые вычисления в то время, когда все вокруг ходило ходуном и в любую минуту мог последовать приказ: «всем сходить на лед». Но люди продолжали свою работу, зная, что всякий пропуск очередного срока — ущерб для науки.

Очень много хлопот доставляли в ту пору наблюдения за осадками. Как назло, столб на котором стоял стакан, изготовленный Алферовым, то-и-дело попадал в сжатия. Его несколько раз опрокидывало, хотя мы всякий раз устанавливали прибор на новом месте. В

конце-концов льды разломали наш столб в щепы, и все сооружение пришлось возводить заново.

Но все эти трудности бледнеют перед тем, что пришлось испытать за время зимовки Андрею Георгиевичу и его помощникам Гетману и Гаманкову, занятым гидрологическими работами. И раньше от них требовалось поистине сверхчеловеческое терпение, чтобы на ветру и холоде по несколько раз опускать батометры на большие глубины, возиться с застревающими «почталюнами», разливать пробы воды, записывать показания приборов. Но к концу декабря, когда ударили 30-градусные морозы, эта работа превратилась в настоящую пытку. Батометры замерзали в руках у людей за те две-три минуты, что они находились на поверхности. Замерзал и блок-счетчик, на котором мокрый трос оставлял капли воды. Приходилось отогревать приборы кипятком. Но и это помогало плохо, — через несколько минут все надо было делать сначала.

Только сознание исключительной важности этой работы для науки поддерживало энергию в окоченевших, обмороженных людях. Как ни тяжело приходилось, но Андрей Георгиевич со своими помощниками упорно брал одну гидрологическую станцию за другой. Они приносили интересные данные; так нам удалось нащупать пульс Гольфстрима, который доносил даже в этот далекий от Атлантики район теплые воды, увлеченные из Мексиканского залива.

Струя относительно теплых вод была спрятана в толще океана. Вот данные одной из зимних станций, сделанной нами 30 ноября 1938 г. на 85° 28'7 северной широты и 123° 50' восточной долготы. Непосредственно подол градусометр показывал минус 1,68 градуса. На глубине 150 метров температура повышалась до минус 0,79 градуса. Пятидесятью метрами глубже она составляла минус 0,60 градуса. А на глубине 250 метров термометры показывали уже положительную температуру: плюс 0,53 градуса. Наиболее теплые воды мы обнаружили в этом районе на глубине 400 метров: плюс 0,80 градуса. Дальше вновь начиналось постепенное

похолодание, и на глубине 2 000 метров термометры показывали уже минус 0,81 градуса.

Примерно такое же соотношение температур мы обнаруживали и на других станциях. А чем дальше мы двигались на запад, тем выше поднимался горизонт теплых вод.

Около тысячи проб собрали наши терпеливые гидрологи. К концу нашего путешествия разнокалиберные бутылки с водой, тщательно закупоренные парафином и пронумерованные, заполнили все полки и даже проходы в каютах. Каждая из этих проб была добыта ценой огромных усилий.

Мы высоко ценили работу наших добровольцев-гидрологов, и каждый из нас старался помочь им, как мог.

Проведение гидрологических станций сильно затруднялось из-за недостатка годных глубоководных термометров. Среди разных грузов нам удалось отыскать целый ящик совершенно целых, но бездействовавших приборов. Очевидно, в них разорвались столбики ртути в капиллярных каналах, и поэтому они не могли действовать нормально. Долго вертел я в руках эти искалеченные термометры, придумывая способ их излечения. В конце-концов решил на этих хрупких приборах испробовать испытанный способ, применяемый в таких случаях с обычными термометрами, — способ попеременного нагревания и охлаждения.

Зажег свечку. Взял термометр и начал нагревать над огнем шарик со ртутью. Блестящий волосок пополз по капиллярному каналу, и вскоре верхний резервуар заполнился ртутью.

Я охладил термометр и перевернул его. Столбик ртути оторвался и замер, фиксируя заданную температуру. Все было в порядке. Теперь оставалось выверить показания прибора. Я притащил ведро снега и воткнул в него два термометра — исправный и только-что «отремонтированный». Снег медленно таял. Сверял показания обоих термометров и записывал поправки. После нескольких опытов можно было смело пускать новый прибор в дело.

Так была открыта походная мастер-

ская, работавшая под лозунгом «даешь здоровый термометр». Вдвоем с Андреем Георгиевичем мы перерыли весь ящик и наладили массовую проверку термометров. Теперь нам было не так уж страшно потерять термометр, — мы могли заменить его запасным. Можно было действовать смелее и рискованнее.

Сильно заботили меня условия, в которых приходилось работать нашим гидрологам. Надо было как-то облегчить их деятельность. И я решил утеплить гидрологическую палатку, раскинутую над майной. В конце декабря вокруг этой палатки, сшитой из простого брезента, Гаманков, Шарыпов и другие зимовщики начали возводить толстые стены из снежных кирпичей. Работа двигалась довольно быстро. В течение нескольких дней вокруг палатки был возведен настоящий каземат из снега и льда. Палатка оказалась как бы в снежном футляре, — между ее стенками и стенами снежного дома было оставлено пустое пространство в полметра для лучшей изоляции.

Затем в гидрологическую палатку притащили матрацы — хорошие, плотные матрацы из конского волоса — и настлали их на льду вокруг проруби. Зажгли два примуса. На примусы уложили толстые железные листы, — раскаляясь докрасна, они отдавали тепло воздуху.

В тот день, когда мы завершили отопление рабочего места гидрологов, мороз достиг 38,5 градуса. А внутри гидрологической палатки термометр показывал «только» минус 24 градуса, — по нашим масштабам это было совсем тепло... К сожалению, матрацы впоследствии вынесли, так как они мешали работе.

Нововведением, впервые осуществленным в эту зиму, были суточные магнитные станции. Для того, чтобы проследить, как изменяются в течение суток элементы земного магнетизма, надо терпеливо просидеть в ледяном домике у прибора все 24 часа. И не просто просидеть, а сделать за это время несколько сот определений и произвести столько же записей.

Один человек физически не в состоянии вынести такую нагрузку. Поэтому

суточные магнитные станции выполняли вдвоем Буйницкий и Ефремов, чередуясь через каждые шесть часов. В одной из первых станций принял участие и я, — хотелось самому проверить: в состоянии ли человек проработать на 30-градусном морозе несколько часов подряд.

Облачившись в тесные, узкие малицы, мы вдвоем с Шарыповым, который нес караульную вахту, охраняя наблюдателя, добрались к снежному домику. Стены домика отсвечивали нежным розоватым сиянием, — внутри его теплился огонек. Шарыпов принял вахту у Гаманкова, а я приподнял край одеяла, замывшего дверь, и нырнул внутрь тесной хижины. Две стеариновые свечи, прилепленные на краю снежного кирпича, скупо освещали более чем скромную обстановку этого почтенного научного учреждения: белые стены, стул, вылепленный из снега, нишу, в которую вделан ящик с рабочим хронометром, аккумулятор на полу, а в центре домика — магнитометрический комбайн, у которого хлопотал Виктор Буйницкий.

Закончив очередной отсчет, он внес запись в тетрадку, вручил ее мне и торопливо убежал к кораблю, — видимо, за эти часы мороз пробрал насквозь и теплую малицу, и валенки, и меховые чулки.

С магнитными наблюдениями я познакомился еще на «Садко». Их техника не очень сложна: необходимо через каждые пять минут производить отсчет места магнитного меридиана на горизонтальном круге магнитометра и время от времени астрономическим путем определять место истинного меридиана. Но на морозе любое, даже самое простое, определение превращается в крайне сложное занятие.

Больше всего нервов и энергии у меня отняла возня с самодельной электрической лампочкой, питающейся от аккумулятора. Эту лампочку надо включать в ту же секунду, когда стрелка хронометра указывает очередной срок наблюдения. Но кустарно сработанный контакт не хочет включаться. Ты дергаешь его, нажимаешь обмерзшими, плохо слушающимися пальцами; он скользит,

даст осечку; и только в последний миг, когда уже думаешь, что все пропало и что наблюдение будет сорвано из-за этой проклятой железки, — лампочка вспыхивает, и ты торопливо ловишь взглядом мельчайшие деления лимба.

В эту ночь над льдами бушевало яркое пламя полярного сияния, и волосок магнитометра качался, как пьяный, крайне чувствительно реагируя на каждый взлет загадочных лучей. В тетрадке один за другим выстраивались столбики цифр, представлявших огромный интерес для науки. И как ни мерз я в негостеприимном ледяном домике, как ни клял непослушный контакт самодельной лампы, — где-то в глубине души поднималось чувство большого удовлетворения сделанным, — время, труд и энергия тратились не зря...

Эта суровая обстановка — лучшая школа из всех, какие существуют на свете. Прошло всего три-четыре месяца с тех пор, как на «Седов» перебрались люди с «Ермака», — новые льды, большинство из которых впервые попало на такую трудную работу. И вот уже мало-по-малу они втягиваются в новый жизненный режим, привыкают к нему, работают все более серьезно, вдумчиво.

Люди пристрастились к чтению. К счастью, на борту «Седова» оказалась неплохая библиотека. И в кубрике, и в каютах люди читали и перечитывали Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого.

В моей личной библиотечке было довольно много книг об исследованиях полярных стран, в частности, труды Нансена, Амундсена, Де Лонга, Шэкльтона, Скотта, Бэрда, Стефансона. Эти книги пользовались особенной популярностью — их читали по очереди или вслух, сопровождали чтение выразительными комментариями по адресу плохих организаторов экспедиций, выражали восхищение талантами мужественных полярников.

Больше всех зачитывался этой литературой Иван Гетман. Порывистый и увлекающийся молодой человек, он успел к 25 годам сменить добрый десяток специальностей. Чертежник Инсти-

тута химической обороны в Москве, вагонщик в шахте № 1-бис в Донбассе, монтер на Шпидбергене, доброволец Красной армии, матрос Ленинградского торгового порта, рыбак треста «Мурманрыба», — таков далеко не полный послужной список Гетмана. В сущности, за эти годы он так и не приобрел настоящей профессии, — всюду его томила жажда чего-то нового и нового, всюду ему казалось, что он делает еще не то, что хотелось бы. А за что именно надо было взяться, — он сам хорошо не знал.

И вот — Арктика, ледокол «Ермак», ледокольный пароход «Седов». Необыкновенная обстановка, необычные трудности, непривычная жизнь. Даже при всем желании покинуть корабль и еще раз сменить специальность невозможно, — Гетман вынужден до конца пройти весь путь корабля. Сознание этой мысли дается ему нелегко. Мы все видим, как трудно приходится порою нашему молодому кочегару. Периоды самозабвенного увлечения работой внезапно сменяются унынием, упадком сил. Потом снова начинается подъем энергии — и снова некоторый спад.

Коллектив это видит. Но никто не позволит себе кольнуть товарища укором. Наоборот, с ним обращаются так же ровно и просто, как с остальными, — никаких упреков, насмешек, но и никаких поблажек, послаблений. Ведь поблажки так же убийственно действуют на человека, как и упреки. Коллектив ждет, что он найдет в себе достаточно сил, чтобы стать вровень с остальными. А я, как будто бы между делом, даю ему книги об исследованиях Арктики и Антарктики.

И книга оказывает чудодейственное влияние. Она рассказывает молодому кочегару об испытаниях наших предшественников, находившихся в неизмеримо более трудных условиях, нежели мы. Она показывает ему, как подлинно мужественные люди преодолевали труднейшие препятствия. Она учит его, как должен вести себя человек, если он высоко ценит свое достоинство и сознает свой долг перед родиной.

Гетман читает книги запоем, читает

их одну за другой. Постепенно он становится какой-то ходячей энциклопедией, — у него уже можно получать исчерпывающие справки о всех походах экспедициях в Арктике и Антарктике.

Особенно любит он рассказывать своим товарищам о трагической гибели Джона Франклина и его 123 спутников, которые совершили величайший подвиг, открыв северо-западный проход, т.-е. морской путь из Атлантического океана в Тихий вдоль северных берегов Америки, но заплатили своей жизнью за плохую организацию похода. Одним из виновников этой трагедии был алчный купец, который, гонясь за наживой, снабдил экспедицию гнилыми консервами. Их пришлось в первую же зимовку выкинуть за борт, и люди были обречены на голодную смерть.

Этот факт произвел огромное впечатление на Гетмана, и он не устает повторять:

— Какая подлость! Нет, подумай, какая подлость! Да я бы его, гада, на виселицу...

Из книг молодой кочегар узнает, что Бэрд доходил до вымогательства, выпрашивая у богачей гроши на снаряжение своей экспедиции, что Вилкинс вынужден был отправиться к полюсу на дряхлой, ржавой подводной лодке времен империалистической войны только потому, что у него нехватало денег на сооружение хорошего корабля.

Параллель с нашими советскими экспедициями напрашивается сама собой. И молодой кочегар начинает работать как-то ровнее, спокойнее. Он чувствует, что на нем, как и на всех нас, лежит большая ответственность за порученное родиной дело, что все мы в долгу перед нею за ту заботу и внимание, которыми окружен наш коллектив...

... У Гетмана и у других товарищей возникает желание расширить свой политический кругозор. К сожалению, «Ермак» не смог доставить нам книгу, о которой все мы так много слышали по радио, — «Краткий курс истории ВКП(б)». Но нам на помощь приходят радисты Диксона. Они читают нам эту замечательную книгу по радиотелефону — главу за главой.

Часы слушания истории партии — самые тихие часы на корабле. Никто не проронит ни слова. У всех репродукторов сидят люди — группами по два-три человека. Внимательно слушают, записывают. Когда же радиопередача заканчивается, сразу возникает оживленный обмен мнений.

Некоторые из моряков до сих пор еще очень слабо разбирались в вопросах истории партии. Поэтому в кубрике единодушно решают: просить партийную организацию о создании кружка. Эта просьба удовлетворена. Виктор Буйницкий получил еще одну нагрузку — он стал пропагандистом. В кружок вошли Буторин, Гаманков, Мегер, Шарыпов, Алферов. Занимались они в кубрике.

Вскоре пришлось организовать и второй кружок — повышенного типа: в трудных условиях дрейфа у нас не хватало времени для индивидуального ознакомления с первоисточниками, а коллективно было работать легче. Руководство занятиями партийная организация поручила мне. Мой кружок был более многочисленным, — в него вошли Трофимов, Ефремов, Соболевский, Гетман, Токарев, Полянский, Бекасов.

По просьбе слушателей я начал преподавание с периода подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции. Мы читали и изучали труды Ленина и Сталина, материалы истории гражданской войны, важнейшие решения партии. Наиболее активно готовились к занятиям Соболевский и Недзведкий. Они много читали, вели конспекты, активно участвуя в работе кружка.

К сожалению, почти непрерывные авралы нередко срывали наши занятия. Но и я, и Буйницкий делали все, чтобы кружки работали настолько регулярно, насколько это возможно в ледовом дрейфе.

Нас часто спрашивали после того, как мы возвратились на материк:

— Как вы проводили часы досуга?

Люди, задающие этот вопрос, забывают об одной детали: того, что в общезнании именуется часами досуга, у

нас, к сожалению, не было. Если мне и удавалось, например, выкроить за месяц один день отдыха, то в конце-концов всегда находилось какое-нибудь «сверхпрограммное» дело, которое и выполнялось за счет так называемого досуга.

Может быть, именно поэтому единственная партия шахмат, сыгранная нами по радио с зимовщиками мыса Челюскина, растянулась на целый год, что вызвало ехидную реплику наших партнеров, переданную нам по радио:

— Если у вас будут спрашивать, сколько времени требуется, чтобы продрейфовать через весь Ледовитый океан, отвечайте смело: не больше, чем нужно для того, чтобы сыграть партию шахмат...

Часы досуга в нашем понимании — это часы всевозможных занятий, не относящихся ни к рабочему графику, ни к графику научных наблюдений. И вот эти-то занятия мне и хочется сейчас описать.

Я бы не сказал, что мы жили в идеальных бытовых условиях. Нелегко было мириться с вечной темнотой, с чадными камельками, с неизбежными ограничениями в питании. И все-таки даже те суровые условия, в которых нам приходилось жить и работать, не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывали наши предшественники, участники полярных экспедиций, организованных капиталистическими странами.

Откроем наугад несколько книг полярных исследований.

Вот что писал в своем дневнике Де Лонг: «При дневном свете видно то, что не было заметно при свете ламп. Я нашел на передней и боковых стенах моего помещения скопление льда и инея. Стюард отламывает их топором и убирает лопатой... Между моим бюро и передней переборкой скопилось такая сплошная масса льда, что без всякого преувеличения вынесено было более 24 килограммов льда. В нижнем ящике бюро было столько льда, что пришлось-таки поработать, пока удалось отбить его и достать мне смену белья...».

Вот что писал Хансен:

«Сегодня яростная война с насекомыми. Все платье было сложено в бочку, в которую мы через дно провели трубку и плотно закупорили, так что пар наполнил ее. Зашумело, зажурчало внутри, пар стал понемногу вырываться из разных щелей, и мы могли радоваться, что теперь этим маленьким животным хорошо и тепло. Трах!.. вдруг лопаются обручи, пар валит со всех сторон, а крышки летят в сторону. Гнусный неприятель! Но я думаю, что он уже потерпел порядочный урон. Юэль сделал знаменитый опыт: он посадил один экземпляр на конец доски и хотел посмотреть, пойдет ли насекомое к северу. Но оно не двигалось. Тогда он взял крючок и ударил по доске, чтобы принудить его ползти, но оно оставалось на месте и упрямо шевелило головой. «Раздави же его» — сказал Бентсен. «И я взял крючок и раздавил ему голову» — рассказывал Юэль».

Тем же мрачным юмором проникнуты и строки адмирала Бэрда, автора книги «Снова в Антарктике»:

«Отличительной чертой городка была его пахучесть... Воздух был так густ, что его можно было рубить топором, и, сдобрив чесноком, неизменно висевшим над дверью Новилла, его можно было бы подавать в качестве пеммикана...».

С первого же дня я старался сделать все, чтобы в отношении санитарии наша зимовка ничем не напоминала все предшествовавшие ей. И наш коллектив преуспел в этом.

Прежде всего мы позаботились о том, чтобы в помещениях корабля было и сухо, и тепло. В каждой каюте был повешен градусник. Вахтенным было вменено в обязанность следить за тем, чтобы температура, в среднем, поддерживалась на уровне 18—20 градусов.

Чтобы предупредить появление грязи и паразитов, я ввел ежедекадные санитарные дни. Эти дни соблюдались самым строжайшим образом даже в самые трудные периоды дрейфа: раз в декаду каждый член экипажа был обязан вымыться в бане, привести в порядок свой туалет, переменить нательное

белье, наволочки и простыни на койке и проветрить на воздухе матрац и одеяло.

Наиболее приятной из всех перечисленных обязанностей считалось посещение бани. Все с огромной охотой исполняли эту приятную повинность, не жась у раскаленного докрасна камелька. Даже самые заядлые любители попариться не жаловались на прохладу в этой камерке, скорее напоминавшей жаровню, чем баню. После дежурства в ледяном магнитном домике или в гидрологической палатке такая температура была равноценна истинно олимпийскому блаженству.

Закончив процедуру омовения, красные, разморенные люди с трудом вылезали в коридор, заглядывали в каюткомпанию, где стояла наготове бочка с квасом и кипел чайник на камельке, и степенно усаживались за стол, чтобы еще раз обсудить за кружкой кваса или стаканом чая все преимущества бани.

Гораздо сложнее обстояло дело со стиркой. К этому делу никто из нас не питал особого пристрастия. Правда, у нас был огромный запас чистого белья, и мы в течение нескольких месяцев после ухода «Ермака» могли не заниматься стиркой, тем более, что у нас было достаточно забот и без этого. Но в декабре запасы наши иссякли.

Надо было что-то предпринимать. Если прошлой зимой нас выручали зимовавшие на кораблях уборщицы, то теперь мы могли рассчитывать только на свои силы. Увы, никто из команды пока что не проявлял инициативы в этом деле. Тогда я приказал затопить баню, собрал команду и сказал:

— С сегодняшнего дня вводится такой порядок: каждому из вас помещение бани предоставляется на шесть часов. За это время надо выстирать шесть смен белья — на два месяца.

По лицам людей я увидел, что это сообщение вызвало некоторое недоумение и растерянность. В глубине души я сам понимал, что шесть часов не такой уж большой срок для людей, которые только начинают осваивать прачечное дело. Но должны же мы экономить то-

пливо!.. И я добавил, предупреждая вопросы.

— Я стираю первым...

После ужина я сгреб в охапку 12 простынь, груды наволочек и полотенец и твердым шагом направился в баню. Но здесь уверенность покинула меня. Чорт поберись, в этом ворохе материи разобратся потруднее, чем в картах и лодии! Но время уходило, и раздумывать было некогда. Я понял, что сейчас на дверь бани устремлено четырнадцать пар глаз. Выйдет очень некрасиво, если капитан не уложится в срок, намеченный им самим.

Всякое дело надо прежде всего правильно организовать. И я решил устроить своеобразный конвейер, главным звеном которого были мои собственные колени. Раздевшись, я забрался в ванну, поставив по сторонам два таза. В одном лежало белье, в другом была налита горячая вода. Я брал простыню, мылил ее у себя на коленях так, что пена летела во все стороны. Затем простыня перекечевывала в таз с горячей водой, а на колени ко мне уже ложилась наволочка. Она проделывала тот же путь.

К концу третьего часа я успел трижды намылить и выполоскать все белье. Правда, мои колени горели, как в крапивной лихорадке, а запасы мыла уменьшились сразу на три килограмма, но график был перевыполнен, что доказывало его полную реальность.

Таз с выстиранным бельем я отнес в кают-компанию и молча поставил на стол. Так же молча в кают-компанию заглядывали любопытные, которым хотелось проверить, чем кончился первый опыт. Они обходили вокруг стола, осматривали мокрое белье. Некоторые даже пробовали его на ощупь. Но даже самые придирчивые критики вынуждены были подтвердить, что дело сделано, как следует.

Я послал домой гордую телеграмму:

«Прачечное дело освоил...».

Недоверчивая Оля уклончиво ответила:

«Приедешь, посмотрю...».

Но к этому времени мой график уже вступил в силу. Надо сказать, что се-

«Новый мир», № 7.

довцы оказались способными учениками и довольно быстро овладели проектной мощностью нашего банно-прачечного комбината, а Недзвецкий даже перекрыл мой рекорд.

Но вскоре и рекорд Недзвецкого был побит. Догадливый Александр Александрович Полянский начал регулярно слушать радиопередачи для домашних хозяйек и выудил из эфира какой-то особенно ценный рецепт стирки. Применив его на практике, Александр Александрович быстро стал чемпионом прачечного дела.

Видное место среди наших внесладебных дел занимала упорная и кропотливая возня с производством самодельных ламповых стекол. Как известно, в Арктике эта деликатная вещь живет недолго, — еще папанинцы испытывали жестокий ламповый кризис, хотя их снабдили некоторым запасом стекол.

На «Седове» же никаких запасов не было. Уже в первую зимовку большинство ламповых стекол полопалось... «Ермак» ничем не мог нам помочь в беде, — на его борту стекол вовсе не было. И вот перед нами возникла сложная проблема: чем заменить эту нехитрую, но такую необходимую в домашнем обиходе вещь?

На всем корабле только у одного бережливого Полянского сохранилось целое стекло. Он берег его, как драгоценную реликвию. Моя лампа была увенчана хрупкой надстройкой — я бережно клеил фольгой от шоколада разбитое на добрый десяток кусочков стекло и опутал его целой сетью проволочек. К этому стеклу было страшно притронуться, — оно едва держалось. Поэтому я не рисковал чистить его от копоти дальше той границы, которой достигал указательный палец, да и эту манипуляцию производил с величайшими предосторожностями. Густой налет сажи едва пропускал свет. И все-таки мне завидовали: как-никак, а я пользовался настоящим ламповым стеклом фабричной выделки. Во всех же остальных помещениях корабля лампы были накрыты совершенно фантастическими колпаками самых различных конструкций.

Наилучшие стекла получались из банок, в которых когда-то помещался фруктовый компот. Стекла второго сорта делали из литровых бутылок. Наконец стекла третьего сорта изготовляли из бутылок, ранее содержавших коньяк. Лампы соответственно были переименованы во «фруктовые», «коньячные» и «литровые».

Наиболее величественно выглядели «фруктовые» лампы: лишенную дна банку ставили на хитроумно усовершенствованную горелку; на верхний ее край надевали метровый усеченный конус из старой карты для улучшения тяги. Надо сказать, что такая усовершенствованная лампа давала вполне приличное освещение.

Изготавливать «фруктовые» лампы было нелегко, и их очень берегли. Когда же, наконец, стекло лопалось, владелец лампы грустил целый день и подолгу рассказывал соседям о том, как произошло несчастье. Такая тихая грусть обыкновенно наступала после бурной вспышки гнева, сопровождавшейся характерными причитаниями, которые разносились на весь корабль. Поэтому координаты прискорбного происшествия можно было безошибочно угадать, не выходя из каюты.

Технический прогресс, как известно, движется быстро. К концу второй зимовки наши механики изобрели лампу-люкс. Это «чудо искусства» выглядело так: на стеклянную банку из-под фруктовых консервов надевали плотно пригнанную металлическую крышку, изготовленную из металлических консервных банок. Посредине крышки проделывали отверстие, в которое вставлялась тоненькая вытяжная трубка. Одну из первых ламп-люкс Алферов торжественно преподнес Андрею Георгиевичу. Мой старший помощник был до глубины души растроган этим подарком: он долго мучился до этого с какой-то невероятной копилкой, напоминавшей скорее светильник пещерного человека, нежели лампу, достойную XX века.

Всеобщее увлечение изобретательской деятельностью распространилось даже на такое отсталое учреждение, как

кухонный цех, хотя справедливость требует подчеркнуть, что обстановка в нашем камбузе отнюдь не способствовала творческой работе.

Принято думать, что мастера этой почтенной отрасли хозяйства жестоко страдают от жары. Не знаю, как обстоит дело на больших фабриках-кухнях, но в крохотном цехе Павла Мегера наблюдалось совершенно противоположное явление: наш бедный кок весь день трясся от озноба. То-и-дело он бросал свои кастрюли и бежал из камбуза в кают-компанию погреть свои озябшие руки над камельком.

Любивший строгий порядок во всем, Александр Александрович Полянский глубоко возмущался таким ниспровержением традиций. Поймав синего от холода повара на месте преступления, он неизменно начинал читать ему мораль: — Кто вы такой, уважаемый Павел Мегер? Кок или блуждающая комета? А если кок, то почему вы не на своем посту?

Мегер огрызался и нехотя возвращался в камбуз: в холодное время по утрам температура там понижалась до 25 градусов мороза. Естественно, что кок вначале не был склонен к творческим экспериментам, — где уж тут заниматься кулинарными опытами, когда пальмени замерзают прежде, чем их опустят в кастрюлю!

Но нельзя же изо дня в день кормить людей все тем же борщом из сушеных овощей и все теми же свино-бобовыми консервами! Надо было во что бы то ни стало добиться большего разнообразия стола, и я по нескольку раз вызывал к себе повара и начинал ему говорить:

— Придумали бы вы что-нибудь такое неожиданное. Сюрприз какой-нибудь преподнесли бы команде, — торт или пирожное, — а? Вы знаете, как это радует людей... А продуктов у нас предостаточно...

Повар обиженно пожимал плечами: — Насчет этого, извиняюсь, ничем соответствовать не могу. У меня не кафе «Метрополь» и не кондитерская...

Затем он в сотый раз говорил, что даже уважающая себя собака не со-

гласилась бы прожигать в этом обледеневшем камбузе. И как ни старался наш доктор, занимавшийся составлением меню, украшать его громкими названиями дежурных блюд, — они все подозрительно походили одно на другое; желанного разнообразия не получалось.

Потеряв терпение, я сам отправился в камбуз. В густом облаке сырого пара тускло мигал огонек самодельной лампы. На огромной плите медленно нагревались баки с грубым варевом, рассчитанным на долговременное потребление. Повар, одетый в ватник и стеганные штаны, пожививаясь, топтался у стола и рубил ножом жестянки с консервами.

Я заглянул в печь. Неумело разведенный огонь едва тлел.

Повар с недоумением поглядел на меня.

— Ну, кок, сегодня мы с вами готовим шоколадное печенье... — уверенно сказал я.

Изумление удвоилось.

— Какое печенье?

— Самое обыкновенное. Не хуже, чем в кондитерской...

Теперь-то можно признаться, что мне самому было далеко не ясно, как такое печенье делается. Но тогда я не мог и виду показать, что у меня были какие-либо сомнения в этом деликатном вопросе. И я храбро потребовал, чтобы повар доставил из кладовой несколько килограммов белой муки, пяток банок сгущенного молока, пакет с сухим яичным порошком, пачку какао и сахар. Каждый из этих продуктов в отдельности был вполне съедобен и приятен на вкус. Следовательно, рассуждая теоретически, и смесь должна была получиться вполне съедобной.

Через несколько минут запыхавшийся повар приволок корзину с продуктами, и я приступил к делу. Разровняв горку муки, я вылил в нее сгущенное молоко, высыпал яичный порошок, какао, сахар, добавил изрядный кусок сливочного масла и смешал все это. Получилось липкое тесто темно-коричневого цвета. На всякий случай я подсыпал еще муки, раскатал из теста большой блин, разрезал его на

полоски и начал стаканом вырезать кружочки.

Вначале сконфуженный кок несколько скептически наблюдал за мной. Потом он подошел поближе и тоже взялся за дело, — вначале с опаской, потом с охотой.

Ровно через час мы вынули из печи первую порцию румяного аппетитного печенья. В этот день за чаем повар услышал столько комплиментов, сколько ему не довелось выслушать за все время работы.

Это был хороший урок. Он подействовал на нашего уважаемого кока сильнее самого энергичного выговора или иного взыскания. Теперь он сам, не дожидаясь чьей помощи, спешил изобретать кулинарные новинки. Сильнее всего хотелось ему «skonструировать» какой-нибудь торт. От старожилов «Седова» он услышал, что его предшественник угощал экипаж по торжественным дням прекрасным пирожным «Наполеон». Профессиональная гордость помешала коку разунять подробности, и он ограничился тем, что осторожно выведал лишь самое общее описание этого аппетитного блюда.

Несколько дней спустя Паша Мегер торжественно внес в кают-компанию какое-то странное «сооружение». Груда толстых, сыроватых блинов, прослоенная сгущенным молоком и сливочным маслом и осыпанная сахарным песком, должна была изображать собою прославленное пирожное.

Увы! «Наполеон» успеха не имел. Но это не огорчило нашего кока и не убило в нем проснувшейся инициативы, — если уж он за что-нибудь брался, то остановить его было невозможно.

— Что ты знаешь? — сердито говорил он боцману, нажимая на шипящие буквы. — Ты, наверное, никогда и не ел настоящего пирожного. Приезжай к нам в Одессу, — я тебе покажу, какие бывают «Наполеоны»...

Неунывающий кок был непреклонен в своей решимости, и с тех пор каждая мало-мальски значительная дата ознаменовывалась приготовлением груды слоеного теста. Справедливость требу-

ет отметить, однако, что с каждым разом оно все более становилось похожим на настоящее пирожное.

Кроме того, Павел Мегер внес в наше меню и более существенные изменения и достижения. Он научился печь булки к чаю, готовить из сухарей, изюма и сахара квас и даже... жарить селедку.

Жареная селедка считалась у нас особенным деликатесом. Попробуйте прожить год, питаясь одними консервами, и вы поймете, как мы истосковались по продуктам, лишенным специфического консервного привкуса.

У нас было несколько бочек сельдей. Но есть селедку в соленом виде в течение года подряд тоже не особенно приятно. И Мегер совершил смелый эксперимент. Он долго и упорно вымачивал сельдь в сменных водах, стараясь вернуть ей утраченные вкусовые качества свежей рыбы. Потом кок чистил и жарил ее на сковороде.

Жареная селедка имела огромный успех у всех, и за нее Мегеру прощали даже грехи «Наполеона». Но коронным номером кулинарной программы нашего кока был, без сомнения, гороховый суп. Это блюдо пользовалось неизменным успехом у экипажа. И всякий раз, принимая комплименты, повар считал своим долгом рассказать его историю:

— Это же, ребятки, наш фамильный рецепт. Мой покойный папаша пятьдесят два года кормил гороховым супом наших черноморских морячков. Знаменитый был кок. Да... А однажды плавал он на «Чичерине». И вот едет на этом корабле пассажиром Кемаль-паша. Был такой государственный деятель в Турции. Ну, папаша, конечно, наливает ему тарелку супа. С сухариками, с гренками, — все честь-честью. Откушал президент этого супа, удивился: высший класс! Такой еды в парижском ресторане не получишь... Вызывает он повара, благодарит и вынимает из кармана 30 лир: вот тебе, говорит, за твое поэтическое искусство. Ей-богу, не вру!..

В кают-компании раздавался гомерический хохот, а кок с невозмутимой гордостью поворачивался и медленно возвращался в камбуз.

★

Пожалуй, наиболее требовательными ценителями продукции нашего кока были двое четвероногих пассажиров «Седова» Джерри и Льдинка, вконец избалованные командой.

Потешные щенки, подаренные нам малыгинцами минувшим летом, теперь вытянулись и превратились в настоящих лаек. Но до сих пор эти серые, мохнатые псы пользовались всеми правами щенков, — люди очень привязались к ним и доотвала откармливали их лакомствами. Поэтому к супу, каше и макаронам Джерри и Льдинка относились крайне скептически. Они лишь презрительно помахивали хвостами, учуяв запах снеди, приготовленной коком. Зато они очень любили сгущенное молоко, сахар и, особенно, шоколад.

Стоило кому-нибудь зашелестеть оберткой от шоколада, чтобы собаки сейчас же наостряли уши и начинали умильно поглядывать на владельца лакомства.

Эти потешные собаки, родившиеся на дрейфующем корабле, росли в полном неведении о существовании иного мира, кроме «Седова», и иных живых существ, кроме нас; каждого же из нас они прекрасно знали и любили. Но достаточно было кому-либо одеться в меховую малицу, чтобы собаки пришли в страшное замешательство и начали неистово лаять. Когда же кто-нибудь становился на четвереньки, Джерри и Льдинка тряслись от ужаса, забиваясь в самый дальний угол кают-компании.

Хотя собаки были от одной матери, они по своему характеру и даже по внешнему виду резко отличались одна от другой. Джерри слыла у нас прямой и честной собакой, без всякого ехидства и двоедушия. Высокая, мохнатая, с острыми ушами и добродушной мордой, она унаследовала от Нордика лучшие качества полярной лайки: выносливость, преданность человеку, терпение.

Почему-то Джерри считала своей неуклонной обязанностью сопровождать людей, уходящих на лед. Какая бы холодная и ветреная погода ни была, она пулей выскакивала из кают-компании,

едва заслышав стук лыж у трапа. Увязавшись за наблюдателем, она не отставала от него, пока не приходило время возвращаться на корабль.

Во время суточной магнитной станции Джерри укладывалась в ямку, которую выкапывал для нее в снегу дежурный по охране наблюдателя, и терпеливо лежала там до смены. Затем вместе с сменившимся наблюдателем она возвращалась на корабль, быстро съедала свою порцию еды и сейчас же убегала обратно, словно без нее станция не могла состояться.

Эту преданность очень ценил наш боцман, любивший во всем аккуратность и дисциплину. Он даже укладывал Джерри спать к себе на койку. А Александр Александрович где-то отыскал стеклянный шар-поплавок от рыбацких сетей и подарил его Джерри. Он всерьез уверял меня, что у Джерри природные задатки способного футболиста. Собака, действительно, любила играть с этим шаром. Иной раз она гоняла его по льду часа полтора, — зубами схватить шар ей не удавалось, и Джерри перебрасывала его то лапами, то мордой. Все покатывались со смеху, наблюдая за ее маневрами.

Жители кубрика открыли у Джерри еще один талант. Они доказывали, что у собаки прекрасный слух. В доказательство Шарыпов брал гитару и трогал струны. Джерри откликалась и начинала подвывать хриплым басом. Так же точно реагировала она на аккорды, взятые на пианино. Концерты Джерри пользовались в кубрике огромным успехом.

Маленькая, кривоногая, немного похожая на таксу, Лыдинка не имела ничего общего с Джерри. Ее худая лисья морда с удивительно хитрыми карими глазами, похожими на человечьи, была воплощением лукавства. Болезненная и худая собака, Лыдинка старалась прожить на корабле с наименьшей затратой сил и энергии. Она была самым откровенным подхалимом. Выпрашивая лакомый кусок, Лыдинка была способна лечь на брюхо и подползти, виляя хвостом. Когда ее дразнили и щипали, она не сопротивлялась и все так же виляла хво-

стом. Только тогда, когда ей становилось совсем немого, она молча хватала зубами обидчика.

В дальние экскурсии по льду эта лукавая собака ходить не любила. Она гораздо лучше чувствовала себя на мягком диване в кают-компании или в теплой радиорубке у своего покровителя Александра Александровича, нежели на снегу у ледяного домика. Но в трудные минуты Лыдинка не терялась.

Я однажды наблюдал в течение получаса, как она пыталась взобраться на корабль, — трап был приподнят на полтора метра ото льда. Вначале Лыдинка, заметив меня, попыталась схитрить и возбудить жалость к себе: шерсть у нее внезапно поднялась дыбом, она задрожала и начала скулить.

Тогда я отошел в сторону, делая вид, что не замечаю ее. Лыдинка сразу же перестала скулить и дрожать. Шерсть у нее улеглась, и она деловито забегала взад и вперед у трапа: увидев, что никто не идет к ней на помощь, собака решила взобраться на корабль самостоятельно.

Разбежавшись, она подпрыгнула, но до трапа не достала, и, сорвавшись, упала на лед. Еще прыжок, еще один... Наконец ей удалось как-то зацепиться за нижнюю площадку трапа, и она, быстро перебирая своими кривыми лапами, взбежала на палубу и направилась прямо в кают-компанию.

Проказы и приключения наших четвероногих друзей доставляли всем нам много развлечений. Упомяну здесь об одном из таких мелких, но забавных происшествий, скрашивавших нашу однообразную жизнь. Это история о том, как Джерри и Лыдинка лишили нашего третьего механика Алферова лавров научного работника.

Как ни старались мы обогреть свою кают-компанию, на ее стенах нет-нет да и появлялся иней. Больше всего иней скоплялось на головках двух болтов, проходивших сквозь деревянную обшивку стен. С течением времени на этих головках как-то образовались причудливые наросты ледяных кристаллов. Чем сильнее был мороз «на дворе», тем эти кристаллы становились солиднее. И, на-

оборот, когда температура наружного воздуха повышалась, головки болтов оттаивали.

Наш третий механик, человек не по летам степенный и рассудительный, долго присматривался к этим болтам. Наконец он заявил критически и безапелляционно:

— Не понимаю, зачем нужно ходить на мороз в метеобудку, когда все данные для сводки можно получить здесь же, в кают-компании!..

И он разработал целую систему наблюдений над болтами, доказывая, что с их помощью можно определять не только температуру наружного воздуха, но даже силу и направление ветра. Болты прозвали «универсальным научным прибором «Эскимос» имени Алферова». В течение нескольких недель наш третий механик исследовал свои болты, пытаясь предсказывать погоду. Иногда его предположения совпадали с данными приборов, и он гордо заявлял:

— Вот видите, мой аппарат никогда не ошибается!..

Но в самый решающий момент, когда некоторые моряки уже готовы были признать за третьим механиком талант синоптика-провидца, произошло непредвиденное событие. Джерри и Лыдинка, объевшись жареной селедкой, ночью вдруг захотели пить. Воды они не нашли и... «универсальный научный прибор» пал жертвою их жестких, шершавых языков, — собаки вылизали болты до блеска, сняв с них весь лед. Наутро бедняга Алферов был потрясен неожиданной утратой. Но предпринять что-либо было уже поздно, — к болтам надолго вернулся их прозаический облик...

★

...Вот так мы и жили на промерзшем и прокопченном насквозь корабле, среди поэтических небесных пейзажей и сугубо прозаических будничных дел. Трагедии ледовых бурь переплетались с мелкими юмористическими приключениями, а научные наблюдения большого значения перемежались ничтожными событиями, на которые в обычной обстановке никто и внимания не обратил бы.

Но для нас, оторванных от мира и затерянных в ледяной пустыне, не было ничего второстепенного и незначашего — любое происшествие находило у людей живой отклик и вызывало бурное обсуждение в кубрике и в кают-компании. Проходили недели, месяцы, а люди все не забывали о том, как наш кок испортил хлеб в духовке или же как Буйницкий с Гаманковым заблудились в поисках палатки на льду...

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЕ ТРЕВОГИ

Уже в середине декабря наши комсомольцы взялись за сооружение елки и приготовление игрушек. В глубокой тайне готовились сюрпризы каждому из зимовщиков.

Но самый большой и самый приятный сюрприз был приготовлен нашему экипажу Москвой: 18 декабря мы получили молнию из Главсевморпути:

«30 декабря Политуправление будет проводить радиоперекачку членов семей вашего экипажа с вами. Порядок перекачки: ваши родственники будут говорить через станцию имени Коминтерна. Вы будете отвечать телеграфом через Диксон. Сообщите время наилучшего прохождения волн радиостанции имени Коминтерна, а также уверенной связи «Седова» с Диксоном. Срочно радируйте, кого персонально из родственников просит вызвать каждый член экипажа. Замнач Главсевморпути Б е л а х о в».

Мы не заставили ждать себя с ответом. Список приглашенных к микрофону в тот же день был отправлен в эфир. Все ходили радостно-взволнованные, и только Буйницкий грустил: его родные жили в далекой Чите, и вряд ли можно было рассчитывать на то, что они успеют приехать в Москву к назначенному сроку.

Политуправление Главсевморпути, видимо, развивало бешеную деятельность. От наших родных сыпались телеграммы:

«Выезжаем Москву разговаривать с тобой», «Еду Москву, слушай меня 30-го по радио», «Вызывают Москву для радиоразговора с тобой».

В Москву ехали отовсюду — из Архангельска, из Мурманска, из Одессы,

из Ленинграда. Лишь из Читы никаких телеграмм не было.

В кают-компании и в кубрике только и разговаривали, что о предстоящей перекличке. Все другие темы отошли на второй план... Теперь даже наши убежденные холостяки открыто заговорили о преимуществах семейной жизни: они завидовали нам, женатым людям, — ведь каждому из нас предоставлялось право пригласить к микрофону жену...

— Нет, ты только подумай, — проникновенно говорил Алферов, — подойдет к микрофону моя супруга и детки, и весь мир их будет слушать. Весь мир, а?..

И он осведомлялся:

— Вы, капитан, человек бывалый, в разных морях плавали. Как там, на Цейлоне или на Филиппинах, хорошо слышно наш «Коминтерн»?

Я отвечал утвердительно, и лицо механика расплывалось в счастливой улыбке.

Буторин очень хотел пригласить на перекличку своего отца. Но его терзала тревога:

— А вдруг тятя заругается? Я его знаю — он у меня человек беломорский. И сам не заметит, как это получится. Что тогда? Это же в мировом масштабе скандал получится!..

Все же мы успокоили боцмана, и он послал отцу приглашение.

В последних числах декабря особенно много работы было у механиков: предохраняя от ржавчины подшипники, они «вручную» проворачивали гребной вал машины. Для этой цели служит небольшая ручная машинка с целой системой зубчатых колес. Крутить ручку машинки не так уж трудно. Раздражает и утомляет медлительность самого процесса: за день упорного труда удастся повернуть вал всего на четыре оборота.

Было много работы и у остальных членов экипажа. Буторин и Гаманков в третий раз принялись плести трос для глубоководных измерений, — уже два раза сработанный ими лить обрывался и тонул на дне океана. Буйницкий обрабатывал магнитные наблюдения и спал не больше четырех часов в сутки. Андрей

Георгиевич со своими помощниками брал одну гидрологическую станцию за другой. Мегер хлопотал на камбузе, готовясь к новогоднему банкету.

Одним словом, все мы были заняты, что называется, по горло. И все-таки на этот раз нам казалось, что время тянется очень медленно.

Наконец долгожданное 30 декабря наступило. За полчаса до начала радиоразговора все, против обыкновения, разошлись по своим каютам. На этот раз каждый решил послушать радио в одиночку, — хотелось создать иллюзию интимной беседы с родными и, хотя бы мысленно, побыть наедине с дорогими сердцу людьми.

Я подвинул репродуктор поближе к койке, лег и зажмурил глаза...

В 19 часов 30 минут из громкоговорителя послышалось знакомое, немного холодное обращение диктора: «Внимание, внимание, говорит Москва...». Речь поэта Гусева, приветственное выступление Героя Советского Союза Мазурука и вдруг — чей-то взволнованный женский голос:

— Дорогой, родной Костя!

Я вздрогнул. Ведь это ко мне, только ко мне одному из миллионов людей, сидящих сейчас у приемников, обращены эти слова! Я слышал учащенное дыхание и напряженно ловил вибрирующие интонации голоса, в котором слышались сдерживаемые слезы. Радио изменило этот родной голос, и было очень досадно, что я не сразу узнал его.

Чувствовалось, что Оля долго готовилась к своему выступлению. Ей хотелось как-то ободрить и поддержать меня. И она без конца говорила, что мои родные гордятся тем, что я выполняю почетное задание, что она рада успешному ходу наших научных наблюдений, что весь СССР внимательно следит за дрейфом «Седова». А мне, быть может, хотелось услышать совсем не это, — хотелось узнать, как ей живется в холодную зиму, не простудилась ли она, не старит ли ее эта разлука. Было немного обидно, что она не говорит о себе. И в то же время возникало какое-то хорошее, теплое чувство: вот настоящая дружба, — ведь ей тоже сейчас нелегко, а она на-

ходит горячие, убедительные слова, чтобы поддержать и успокоить меня...

Много времени спустя после встречи на материке Оля рассказала мне, что, отойдя от микрофона, она бессильно упала на стул и заплакала в три ручья; кто-то второпях сунул ей в рот ложку неразведенных валериановых капель, и она обожглась ими так, что весь вечер кашляла...

Мы оба хохотали над этим происшествием. Но тогда ей и мне было не до смеха.

— До свидания, дорогой Костя, — слышалось из рупора, и голос диктора произнес: — Димитрий Григорьевич Трофимов! Слушайте, предоставляем слово вашей жене...

Теперь пришел черед волноваться и переживать нашему парторгу...

Нет, мы очень хорошо сделали, что решили слушать эту радиопередачу порознь. Чужие взгляды, чужие реплики только помешали бы во всей полноте почувствовать это замечательное ощущение близости с родными, которых мы не видели так долго.

А диктор все объявляет и объявляет:

— У аппарата Софья Григорьевна, мать старшего помощника капитана товарища Ефремова.

Я слышу из-за тонкой перегородки немного смущенное покашливание Андрея Георгиевича, и он негромко говорит мне:

— Она из Ростова приехала...

А из репродуктора доносится ласковый, немного надтреснутый голос:

— Это я, Андрюша... С тобой говорит твоя мама... Ну, как ты живешь?.. У вас, верно, очень холодно?..

На корабле старшего помощника не называют Андрюшей. Это имя звучит необычно в применении к бородатому моряку. Но ведь для наших матерей мы всегда остаемся малышами...

Передача близится к концу. Выступили уже все, кроме родных Буйницкого. Значит, они не успели приехать в Москву. Ведь Чита так далеко... И все-таки, очень жаль, что наш молодой научный работник лишен такой большой радости.

Я встаю с койки, чтобы пойти к Вик-

тору Харлампиевичу и ободрить его. В это время диктор неожиданно произносит:

— Виктор Харлампиевич! Ваша мать и сестра не смогли приехать в Москву...

В голове мелькнуло:

«Хорошо, что об этом напоминают. По крайней мере, человек будет знать: о нем не забыли...».

Но диктор продолжает:

— ...поэтому они будут говорить с вами из Читы. Внимание! Включаем Читу...

Я так и подпрыгнул: вот это, действительно, здорово!

А из репродуктора уже доносилось шипение, потрескивание. Скоро сквозь эту смесь звуков, засоривших эфир, донесся чей-то низкий, немного приглушенный, но четкий голос:

— Алло, алло! Говорит Чита... Говорит Чита...

Радиоволны совершали длинный и трудный путь. Они неслись за десятки тысяч километров, — сначала из Читы в Москву, а затем, усиленные во много крат мощными агрегатами радиостанции имени Коминтерна, мчались к нам, в Арктику, на ледокольный пароход «Георгий Седов»:

— Внимание, внимание... Слушайте нас, Виктор Харлампиевич Буйницкий... Сейчас с вами будет говорить ваша мать и ваша сестра...

И через мгновение до нас донеслись голоса родных Буйницкого. Невзирая на сверхдальнее расстояние, они были слышны прекрасно.

Беседа окончена. Начинается большой праздничный концерт. Но сейчас нам не до него. Все высыпают из своих уединенных помешений, собираются в кают-компанию. Идет оживленный обмен впечатлениями, словно каждому из нас удалось побывать на Большой Земле и повидаться с родными.

Александр Александрович уже работает ключом, передавая наши ответы на выступления родных. Целая цепь радиостанций настроена на волну «Седова», — через 15 минут наши радиogramмы уже читают вслух дикторы «Коминтерна».

31 декабря на корабле был обычный рабочий день. Команда продолжала все ту же нескончаемую работу, — готовили лотлинь для глубоководных измерений, распуская стальные концы на отдельные проволоки. Буйницкий и Гаманков несколько часов провозились на льду, измеряя его толщину. Было пасмурно, дул холодный восточный ветер. Лишь ненадолго облака разошлись, и Буйницкий успел определить координаты, — новый год мы встречали на широте $84^{\circ}43',8$ и долготе $129^{\circ}11'$, почти на том же самом месте, на каком мы отмечали годовщину Октябрьской революции.

Это бесконечное топтание на одном месте начинало раздражать. Вот уже несколько месяцев «Георгий Седов» вместе со льдами кружился у 85-й параллели, между 123-м и 132-м меридианами. Решительное и быстрое движение на север, которое так радовало нас в первой декаде ноября, давно уже сменилось вялым и бессистемным шатаванием.

Вначале наш корабль, делая зигзаги, спустился к югу, потом его отнесло далеко на юго-восток, далее мы двинулись опять на юг, потом на юго-запад, и, наконец, на северо-запад. На карте дрейфа лежали запутанные петли, зигзаги, восьмерки. Если бы все эти кривые можно было выпрямить в одну линию, то оказалось бы, что в ноябре корабль продрейфовал 114 миль, а в декабре 168. Но фактически мы почти не сдвинулись с места.

Единственное, чем мы могли утешаться, было то, что «Фрам» Нансена несколько раз на своем пути описывал такие же причудливые петли, после чего его движение на запад возобновлялось. Утешение, правда, слабое, но что поделаешь...

Все же эти зимние месяцы прошли не зря. Нам удалось собрать для науки много новых фактических данных. За четыре месяца самостоятельного дрейфа после ухода «Ермака», «Садко» и «Малыгина» мы, невзирая на очень трудные условия, успели провести 98 астрономических определений, 17 магнитных и 13 гравитационных наблюдений, 2 суточных магнитных и свыше

10 гидрологических станций. Поэтому мы провожали старый год с приятным чувством исполненного долга.

К полуночи все приготовления к торжеству были закончены. Гетман и Шарыпов бережно внесли в кают-компанию изготовленную ими елку. Это тщедушное создание их творческой фантазии представляло собой сложную комбинацию из палки, прутьев от метелки и клочьев раскрашенной ваты. Елка была убрана цепочками из цветных бумажек, обвешана конфетами, самодельными звездами и бусами из фольги. Тонкие нити стеклянной ваты довершали роскошный наряд. Когда же механики включили электрический ток и засветились крохотные лампочки, спрятанные в ветвях, елка предстала перед нами во всем своем великолепии.

Возле елки засуетились кок и дневальный, — они заканчивали последние приготовления к грандиозному банкету, о котором в кубрике говорили уже несколько дней: Мегер обещал приготовить совершенно оригинальные и неопикуемые вкусные блюда.

Как известно, повар «Ермака» подарил нам двух живых свиней. Одну из них мы убили и съели еще в ноябре. Другая же прожила в твиндеке почти четыре месяца. Под неусыпным надзором Гетмана она выросла и разжирела.

Эту свиью берегли для праздничного новогоднего ужина. За несколько дней до торжества ее, наконец, закололи, и наш кок получил в свое распоряжение прекрасное свежее мясо. И, надо отдать Мегеру справедливость, он на этот раз не обманул. На столе красовались пирожки, жаркое, различные соусы, — одним словом, было и на что поглядеть, и чем закусить.

К полуночи в кают-компанию собрались все зимовщики. Александр Александрович торжественно включил репродуктор, и до нас донеслись далекие шумы Красной площади — шорох неторопливых шагов, гудки автомобилей, чьи-то возгласы. Потом в тишине пробило двенадцать ударов, и загремел «Интернационал».

Все встали со своих мест и высоко подняли бокалы за родного и любимого

Сталина, за того, с чьим именем связаны все наши победы, все наше счастье...

Слушая веселый новогодний концерт, передававшийся по радио из Москвы, никто из нас не замечал, как летит время. Поэтому я затрудняюсь сейчас с точностью сказать, в котором часу к нам пожаловал дед Мороз с мешком своих подарков. Пожаловал же он очень эффектно. Вначале раздался резкий стук в дверь. Это было неожиданно и таинственно: вот уже полтора года никто не стучался в кают-компанию. Все повернулись лицом к двери. Она приоткрылась, и на пороге появился некто с длинной седой бородой, красным носом и большим мешком за плечами.

Неважно, что борода была склеена из клочьев старой канатной пеньки, а традиционная снежная шуба была заменена собачьей малицей, — все-таки это был первоклассный дед Мороз!

На мгновение в кают-компанию воцарилась тишина. Но тут же ее нарушили Джерри и Лыдинка, набросившиеся с яростным лаем на незнакомца. Не обращая на собак никакого внимания, дед Мороз подошел к елке, снял с плеч мешок, развязал его, засунул внутрь обе руки и неожиданно сказал знакомым голосом:

— Прошу получить подарки...

Только теперь мы заметили, что в кают-компанию нехватало Бекасова. Когда же он исчез?

А дед Мороз продолжал бекасовским баритоном:

— Константин Сергеевич, это вам от всех редакций СССР!

Он вытащил из мешка гигантский карандаш, напоминавший хорошую дубинку, — недвусмысленный намек на мою усердную литературную деятельность в предпраздничные дни, тяготы которой ложились на плечи радистов: им приходилось сидеть по нескольку часов над передачей объемистых депеш, адресованных редакциям.

— А это вам, товарищ парторг, лучшее средство против вашего ревматизма, — продолжал дед Мороз, вручая Трофимову пару новеньких шерстяных носков.

— Всеволоду Степановичу — в знак будущего осуществления мечты... — Проворная рука деда Мороза извлекла из мешка модель самолета и передала ее Алферову, — наш третий механик как-то обмолвился, что ему хочется стать пилотом.

Александрю Александровичу Полянскому, любителю цыганских песен, была вручена открытка с портретом одной из актрис театра «Ромэн». Он немного сконфуженно повертел ее в руках и сунул сидевшему рядом с ним Шарыпову, заявив под общей хохот:

— Ты человек молодой, — тебе и пригодится. А мне, старику, оно ни к чему. Как я с этакой дивой к старухе явлюсь?..

Никого не обделил догадливый дед Мороз, — каждому был подготовлен подарок. Потом он снял бороду, сбросил малицу и, превратившись в Бекасова, уселся рядом с нами пировать.

Впрочем, ни ему, ни Полянскому не пришлось в эту ночь вдоволь повеселиться, — то-и-дело им приходилось вставать из-за стола и поочередно уходить в радиорубку, — из эфира на «Седов» сыпался целый дождь новогодних приветствий. Нас тепло поздравляли редакции газет, шахтеры Донбасса, студенты Гидрографического института, группа депутатов Верховного Совета Казахской ССР, команда парохода «Русанов», зимовщики бухты Тихой, моряки Северного флота. В коллективной телеграмме от наших родных, которые все еще находились в Москве, мы читали:

«Вечером мы приглашены на новогодний бал во Дворец культуры завода имени Сталина, где встретимся с лучшими стахановцами и ударниками столицы. За эти дни мы посетили музей Ленина, побывали на выставке «Дрейфующая станция «Северный полюс» в Политехническом музее, в Музее изобразительных искусств. Осмотрели метро. Были в Большом и Камерном театрах. 1-го числа разведемся по домам. Горячо поздравляем вас всех с новым годом. От души желаем выполнить почетную задачу, возложенную на ваш замечательный коллектив».

Во втором часу ночи на «Седове» начался вечер самодеятельности. Наши танцоры и музыканты во всем блеске

продемонстрировали свои таланты. Готовясь к исполнению своей традиционной лезгинки, доктор обмотал голову простыней, наподобие восточной чалмы, и вооружился на этот раз уже двумя ножами, аккуратно обернутыми в серебряную фольгу от шоколада. Под дружные аплодисменты и крики «Асса!» он, как прирожденный горец, плавными кругами понесся по тесной кают-компани.

Его сменили Алферов и Шарыпов, исполнившие под аккомпанемент гитары, на которой играл Токарев, русский танец. Наконец, пришел черед Ивана Гетмана, который решил продемонстрировать свои атлетические способности. Он приволок из кочегарки тяжелый колосник и начал играть им, как заправский чемпион по поднятию тяжестей. Надуваясь и пыхтя, наш кочегар то бросал тяжелый колосник вверх, сиюсья удерживать его на вытянутых руках, то медленно выжимал его, демонстрируя мощност и прочность своих бицепсов.

Когда же вся концертная программа была исчерпана, на середину стола вытащили патефон, и он безотказно развлекал нас до самого утра.

★

Новогодняя ночь, проведенная так празднично и весело, памятна для нас еще одним обстоятельством: в эти часы барометр показал максимальное давление за все время дрейфа: 791,3 миллиметра. Мы находились в самом центре антициклона, и ветры нас не тревожили.

После длительных и энергичных ледовых сжатий такая передышка была очень кстари, и вахтенные каждый вечер с нескрываемой радостью вписывали в «дневник наблюдений за жизнью льда» одну и ту же короткую фразу:

«Подвижек не наблюдалось...».

Так прошла целая пятидневка. Но никакая идиллия не бывает вечной, и вскоре на нас обрушилось очередное бедствие весьма солидных масштабов: усилившиеся ветры снова привели льды в движение.

Уже к концу дня пятого января возникли некоторые неприятности, заставившие нас возобновить самое бдитель-

ное наблюдение за ледовой обстановкой.

Это был лунный ветренный день. Шестибалльный норд-ост вздымал снег, застилая им линию горизонта. Термометр показывал минус 30 градусов. Невзирая на холод и ветер, Андрей Георгиевич со своими помощниками с утра возился в гидрологическом домике — брал глубоководную станцию № 8.

В 16 часов раздался треск, и в 20 метрах от носа корабля лед лопнул, образовалась бесконечно длинная трещина, уходящая с севера на юг. Трещина начала довольно быстро расходиться и уже через полчаса достигла ширины в сто сантиметров. При свете луны можно было отчетливо разглядеть этот черный рубец, внезапно перерезавший белую пустыню.

Сама по себе трещина нас не пугала. За время дрейфа мы достаточно насмотрелись на подобные явления. Гораздо хуже было то, что на сей раз трещина подошла к палаткам с аварийными запасами, — вода чернела в каких-нибудь восьми метрах к востоку от нашего большого парусинового дома.

Были разбужены Гаманков и Шарыпов, которые отдыхали после ночной работы; они отправились к палаткам проверить состояние льда.

К 20 часам посланные вернулись и сообщили, что пока все обстоит вполне нормально: под палатками лед держится крепко, трещина ведет себя вполне прилично, и на воде быстро образуется молодой лед. Можно было предположить, что 30-градусный мороз довольно быстро заштопает образовавшуюся прореху. Все же я дал распоряжение вахтенным усилить наблюдение: трещина, очевидно, возникла не спроста.

Ночь прошла относительно спокойно. Мороз крепчал. Ртутные измерительные приборы уже вышли из строя. Теперь мы измеряли температуру лишь спиртовыми термометрами. Синеватые столбики подкрашенного спирта падали все ниже и ниже.

Было трудно дышать. Густой, холодный воздух раздражал легкие. Убийственно действовало на нервы беспре-

рывное потрескивание деревянных частей судна, — они лопались от мороза сухим и резким шелканьем, напоминающим выстрелы.

К четырем часам утра на месте трещины образовалось солидное развожье шириной около 20 метров. От этого развожья отошла на востоко-юго-восток новая трещина.

Утром Гетман попытался сходить к прибору для измерения осадков, но вынужден был вернуться, — путь ему преградила открытая вода.

В ночь на 7 января ($84^{\circ} 40'$ северной широты и $123^{\circ} 36'$ восточной долготы) параллельно развожью прошла новая трещина. Она также быстро разошлась в полынью, шириною до 30—40 метров. Затем параллельно этим двум разрывам лег третий. Порой развожья затягивались молодым льдом, настолько крепким, что он выдерживал тяжесть человека. Но потом поля матерого пака сходились и давили молодой лед или же расходились, и тогда возникали новые трещины.

Вечером 11 января, когда мы находились на $84^{\circ} 37,5'$ северной широты и $122^{\circ} 45'$ восточной долготы, термометры показали самую низкую температуру из всех, какие мы наблюдали за время дрейфа, — минус 43,5 градуса. Облака пара, клубившиеся над льдами, рассеялись — трещины замерзли. Но завтра развожье, образовавшееся 7 января, опять разошлось до 50 метров, и снова возле корабля поднялась черная туча густого пара.

Эти подвижки, незначительные по своим размерам, но чреватые весьма серьезными последствиями, продолжались до середины января. Мы все время должны были самым бдительным образом следить за ними: ведь на этот раз трещины проходили очень близко от наших аварийных запасов. Я бы не сказал, что такие наблюдения доставляли нам много удовольствия, — даже малицы из оленьего меха не спасали от 40-градусного мороза. Но все эти затруднения были пустяками в сравнении с тем, что нам предстояло испытать в холодный и ветреный день 16 января.

Я уже неоднократно описывал ледовые сжатия. Чтобы не повторяться, на этот раз приведу здесь лишь перечень фактов, взятый из вахтенного журнала.

«16 января. $84^{\circ} 46',3$ северной широты и $124^{\circ} 16'$ восточной долготы.

0 часов. Вахту принял врач Соболевский.

1 час 15 минут. В развожье, слева по носу, образовавшемся вечером 12 января, началось сжатие молодого льда.

1 час 30 минут. Появилась новая трещина во льду. Она возникла слева по траверзу в 200—250 метрах от судна и идет перпендикулярно развожью, в котором происходит сжатие.

Буторин и Гаманков разбужены и посланы к палаткам для проверки сохранности аварийного запаса.

1 час 55 минут. Сжатие прекратилось.

2 часа. Данные метео: юго-юго-западный ветер силой в 4 балла. Ясно, облачность 8 баллов. Температура минус 27,5°.

2 часа 30 минут. Буторин и Гаманков вернулись. Сообщают, что к палаткам пройти нельзя, так как путь прегражден новой трещиной. Эта трещина идет с западо-северо-запада на востоко-юго-восток. От нее до палаток — 80 метров. В районе, где стоят палатки, подвижек не замечено.

8 часов. Вахту принял капитан Бадигин. Данные метео: юго-западный ветер, силой в 5 баллов. Пасмурно. Температура минус 23,8°.

8 часов. Побудка команды.

8 часов 30 минут. Завтрак.

9 часов. Приступили к хозяйственным работам.

10 часов. Приступили к судовым работам. Машинист Шарыпов и кочегар Гетман убирают твиндек.

11 часов 30 минут. Матрос Гаманков и машинист Шарыпов ушли на лед за стаканом прибора, измеряющего осадки. Им поручено попутно осмотреть состояние льда в районе аварийного склада.

12 часов. Матрос Гаманков и машинист Шарыпов, достигнув палаток, выстрелами со льда дают сигнал о необходимости немедленной помощи.

12 часов 10 минут. На лед к аварийному складу отправлены кочегар Гетман и механик Алферов.

12 часов 20 минут. На лед к аварийному складу отправлены старпом Ефремов, радист Бекасов, машинист Недзвецкий и гидрограф Буйницкий.

12 часов 30 минут. Прибыв к аварийному запасу, спасательная партия обнаружила, что начавшееся сжатие непосредственно затронуло склад. Лдины обрушились на палатку, в которой хранились продукты и снаряжение. Палатка

разорвана. Часть ящиков придавлена льдом.

Посланные ранее Гаманков и Шарыпов успели до прибытия подкрепления снять палатку. Часть запасов, которым непосредственно угрожало сжатие, они отнесли подальше.

Под руководством старпома спасательная партия убирает из-под наступающего льда остальные запасы.

12 часов 50 минут. Прибыла на помощь остальная часть экипажа — Трофимов, Буторин, Токарев, Мегер. На судне остались капитан, старший радист и врач.

При осмотре склада горючего обнаружено, что лед подошел вплотную к бочкам и начинает заваливать их. Начали откатывать бочки от наступающего ледового вала. Вал быстро движется вперед. Люди разбивают наступающий лед пешнями, кирками, освобождают бочки и отвозят их на санях в более безопасное место. На этой работе заняты все, кроме троих, заканчивающих перевозку аварийного запаса продовольствия и снаряжения.

13 часов 30 минут. Аварийный запас из палатки убран. Все 12 человек заняты спасением бочек с горючим.

14 часов. Под тяжестью нагромоздившегося тороса льдина треснула и начала опускаться. На уходящей под воду кромке льдины остается 6 бочек горючего. Люди разбивают и отбрасывают лед с целью спасения горючего.

Сжатие временами прекращается, временами усиливается до того, что работу приходится прерывать, так как большие льдины толщиной до 80 сантиметров обрушиваются. Работа по разборке тороса сопряжена с опасностью для жизни людей.

Данные метео: юго-западный ветер силой 4 балла, ясно, облачность 2 балла, температура минус 25,1°.

15 часов. Извлечены из-под льда еще 3 бочки. Оставшиеся 3 бочки горючего достать не представляется возможным, так как они вместе со льдиной погрузились в воду. Услышавшееся торошение представляет слишком большую опасность для жизни, чтобы можно было продолжать работу. Крупный лед быстро заваливает бочки. Мы вынуждены временно оставить их до прекращения сжатия.

Поставлена веха, указывающая место, где лежат оставшиеся подо льдом бочки. Торос, образовавшийся над ними, достигает высоты трех метров.

Начали отвозить в более безопасное место аварийный запас продовольствия и снаряжения. Новая база оборудуется на расстоянии 40 метров от тороса.

15 часов 35 минут. Запас перевезен и покрыт брезентом. Капитан решил

палатку не устанавливать, чтобы придать запасу большую подвижность.

При проверке обнаружено, что сжатием раздавлен ящик, в котором лежали инструменты, примус и керосинка. О порче инструмента составлен акт. Сжатие прекратилось. Команда отпущена обедать.

16 часов. Возобновились сжатие льда в 10—15 метрах от носа судна.

18 часов. Команда снова отправлена на лед. Аврал по спасению аварийного запаса. Добытые ранее из-под льда бочки с горючим отвезены на расстояние около 50 метров от старого склада. Оставшиеся под торосом три бочки извлечь не удастся, так как на льду выступила вода. Установив вторую веху, прервали работы до замерзания воды.

19 часов. Данные метео: западно-юго-западный ветер силой 5 баллов. Низовая пурга, облачность 3 балла. Температура минус 23,7°.

20 часов 30 минут. Работы закончены. Образовались новые трещины на северо-востоке от судна.

24 часа. Капитан Бадигин передает вахту радисту Бекасову.

Дует юго-западный ветер силой 5 баллов, температура минус 24°...».

Люди очень устали в этот день. Они рисковали многим. Не будет преувеличением сказать, что в беспощадной схватке с наступающим ледяным валом им не раз приходилось ставить на карту свою жизнь.

Но когда наутро я созвал людей и сказал, что погребенные под торосом бочки с горючим должны быть спасены, ни один из них не возразил и не попросил освободить от участия в аврале.

Сжатия происходили почти беспрерывно. С глухим стоном и ворчанием льды упорно перемалывали в пыль площадку, на которой находились наши запасы. К утру 17 января ледяной вал подобрался на 17 метров к новому складу продуктов. Затем он продвинулся еще на 7 метров. Пришлось всю работу начать сначала. Теперь аварийные запасы перетаскивали на середину соседнего поля — за 60 метров от вала.

Попытки добыть бочки с горючим из-под тороса, продолжавшиеся несколько часов, и на сей раз успехом не увенчались. Этот гигантский торос все еще не успокоился. Он трясся и шевелился, словно во время землетрясения. Вехи,

поставленные накануне, были сломаны и завалены льдом. Сам торос беспрерывно менял форму. Из-под льдин сочилась вода. Даже подступиться к торосу было рискованно.

Все же эти три бочки с горючим надо было достать. Ведь они составляли десятую часть всех наших запасов. Мы берегли каждую каплю горючего. Легко ли было после этого примириться с потерей такого богатства? И 18 января с раннего утра работы были возобновлены.

На этот раз наступление на торос было организовано планомерно. Мы решили снять его. Заготовили факелы, наточили пещни, сделали длинные металлческие щупы для того, чтобы под водой нащупать бочки.

Опыт снятия торосов у нас был солидный, — во время строительства аэродромов мы управлялись не с одной ледяной горой. Поэтому, невзирая на 30-градусный мороз и ветер, дело двигалось довольно быстро. К 18 часам торос был разобран на площади в 50—70 метров. Но лишь к 17 часам следующего дня поиски бочек увенчались успехом. Оказывается, они лежали в двухметровом углублении на краю льдины, которая накренилась и опустилась под тяжестью тороса. Немного промедления — и наше горючее ушло бы под лед, откуда вернуть его было бы уже невозможно. Но наши зимовщики удержали бочки длинными железными щупами, растолкали, и они тяжело всплыли на поверхность под бурные, восторженные крики озябших и промокших людей.

Вернувшись на корабль, Андрей Георгиевич аккуратно записал в вахтенном журнале:

«19 января 1939 г.

17 часов 45 минут. 85°00' северной широты и 126°17' восточной долготы. Все оставшиеся под торосом бочки — одна с керосином, одна с бензином, одна с нефтью — извлечены и уложены вместе с прочим аварийным запасом горючего. При осмотре обнаружены незначительные повреждения тары. Температура минус 34,2 градуса».

Во второй раз пересекали мы заветную 85-ю параллель!

Все мы радовались этому событию. Но всеобщее торжество было омрачено одним весьма серьезным обстоятельством: бодрившийся все эти дни Андрей Георгиевич теперь, когда аврал закончился, как-то сразу сдал и осунулся. Трудный аврал доконал его здоровье, подорванное тревогами беспокойной зимней ночи. У него появилась одышка, тряслись руки, до крайности развинулись нервы. Сердце работало с перебоями.

Доктор внимательно освидетельствовал Андрея Георгиевича и принес мне рапорт:

«Учитывая пониженную работоспособность, связанную с неврастенией, неврозом сердца и общим состоянием здоровья, старший штурман Ефремов А. Г. нуждается в освобождении от физических работ и уменьшении нагрузки до четырех часов в сутки в течение двух недель. Считаю необходимым амбулаторное его лечение до предоставления санаторного...».

Через час я вывесил в кают-компании приказ № 3, которым Андрей Георгиевич был освобожден от всех видов физического труда, а также от несения вахт и дневальства. Сделать это было не так уж трудно, — каждый с охотой брался заменить больного товарища. Сложнее обстояло дело с амбулаторным лечением. Запасы лечебных препаратов у доктора были небогаты, да и сама амбулатория — она же каюта врача — могла называться лечебным учреждением только условно.

Тем не менее Александр Петрович Соболевский раздобыл в своей аптечке какие-то порошки и капли. Зная, что старпом не любит лечиться, доктор ухаживал за ним, как за маленьким ребенком. Чтобы нерадивый больной не сплавил драгоценные лекарства в помойное ведро, он каждый вечер после ужина вызывал его к себе, и бедный Андрей Георгиевич должен был глотать все эти снадобья под бдительным взором неумолимого врача.

Мой старший помощник чувствовал себя как-то неловко и непривычно на положении больного. Конфузясь, он все время пытался доказывать, что у него ничего не болит, и мне то-и-дело при-

ходило ловить его за недозволенными занятиями. Я останавливал злого нарушителя приказа и категорически требовал подчиниться судовой дисциплине.

Льды все еще не успокаивались. Морозы не ослабевали. Все же мы старались по мере возможности продолжать свою обычную работу. 21 января на $85^{\circ}06',8$ северной широты и $125^{\circ}31'$ восточной долготы была проведена очередная, девятая по счету, гидрологическая станция. За 8 часов упорной, трудной работы было взято 16 проб воды с глубин до 2 000 метров.

На другой день, невзирая на 36-градусный мороз, Буйницкий и Гаманков отправились на магнитные наблюдения. Им пришлось идти к своему ледяному домику по беспокойным ледяным полям, — уже с полуночи начались подвижки и образовались новые трещины. Но в этот день небо прояснилось, заблистали звезды, и Буйницкому не хотелось упускать благоприятную для наблюдений погоду.

На всякий случай мы установили бдительное наблюдение за льдом. Я приказал механикам приготовить к действию аварийный двигатель и прожектор, чтобы в случае необходимости осветить лед и указать дорогу Буйницкому и Гаманкову. Эта предосторожность оказалась излишней.

В самый разгар работы, когда Буйницкий занимался очередными вычислениями, он вдруг услышал грохот, напоминающий выстрел из пушки. Как потом рассказывал нам магнитолог, ему показалось, что это рушится крыша ледяного домика, и он инстинктивно растопырил руки над затылком. Но кровля была цела. Убедившись, что магнитометру непосредственная опасность не угрожает, Буйницкий выскочил из домика. Рядом, буквально в нескольких шагах, зияла свежая трещина больших размеров.

Таких трещин было несколько. Они отрезали от «Седова» ледяную площадку, на которой стоял домик, и теперь с палубы корабля было отчетливо видно, как движутся потревоженные льдины.

— Вернуть людей! Включить прожектор! — скомандовал я.

Вахтенный схватил стоявший на палубе фонарь «летучая мышь» и начал размахивать им, подавая сигналы Буйницкому и Гаманкову. Шарыпов и Недзвецкий быстро запустили наш крохотный «Червоный двигун», и он бойко застучал, выпуская клубы дыма. Запела динамомашинка. Длинный голубой луч прожектора лег на лед. Метнувшись сначала вправо, потом влево, луч нащупал на белом полотне снега две крохотные черные точки. Они медленно двигались к кораблю, то останавливаясь, то отступая назад, то вновь направляясь вперед.

Свет прожектора помогал Буйницкому и Гаманкову выбирать дорогу среди трещин и разводей. Он был тем более к стати, что сильный порыв ветра погасил ручной фонарь, который нес Буйницкий. Большая часть пути была уже пройдена, когда наши товарищи встретили неожиданное препятствие, преодоление которого едва не привело к крупным неприятностям.

Перед ними лежала широкая трещина, заполненная мелко-битыми ледяными осколками, лишь слегка схваченными морозом. Надежные переправы поблизости отсутствовали. Сзади трещали и лопались льды.

Надо было идти на риск.

Гаманков первым вступил на зыбкую пленку, которой была затянута океанская бездна. Ему удалось быстро перебежать к противоположной кромке разводея, прежде чем осколки льда разошлись. Буйницкому повезло меньше. Он был тяжело нагружен, — на плечах у него висели два ящика с сухими элементами и карабин. В одной руке Буйницкий держал потухший фонарь, а в другой хронометр. Он избегал резких движений, чтобы не встряхнуть этот нежный прибор.

Вступив на шаткий осколок льда, магнитолог почувствовал, что он уходит куда-то вглубь и под ногами выступает вода. Отбросив в сторону фонарь, Буйницкий лег на шугу всем телом, чтобы уменьшить давление. Держа на вытянутой руке драгоценный

хронометр, Виктор Харлампиевич другой рукой ухватился за край льдины и задержался. Подоспевший на помощь Гаманков принял от Буйницкого хронометр и начал вытаскивать на крепкий лед и его самого.

Мы с волнением следили за своими товарищами. События развернулись так неожиданно и быстро, что мы при всем желании не успели бы вовремя добраться до злополучной трещины.

К счастью, все кончилось хорошо. Гаманков помог Буйницкому выбраться из западни, и через полчаса оба уже были на корабле. Они старались бодриться и подшучивали друг над другом, но по их лицам было видно, что это происшествие стоило им большой затраты нервов.

В хлопотах мы и не заметили, как наступила значительная для нас дата— 23 января: исполнилось 15 месяцев дрейфа «Седова». В этот день мы находились уже на $85^{\circ} 11',6$ северной широты и $124^{\circ} 05'$ восточной долготы, — все быстрее и быстрее льды увлекали нас на запад. Юбилейная дата была ознаменована на корабле... лишь очередной баней для экипажа, — люди получили долгожданный выходной день.

Далеко за полночь я открыл свой дневник. Уже много дней притронуться к нему не удавалось, — непрерывные авралы и тревоги лишали нас всякой возможности заниматься литературным трудом. Но на этот раз было бы просто грешно обойти молчанием такую значительную дату. И я решительно придвинул к себе закопченную тетрадь, собрал разбросанные всюду листки с различными подсчетами и начал писать.

Вот что записано в моем дневнике под рубрикой 24 января 1939 года:

«Уже девятый день на горизонте в полдень появляется узкая, бледная полоска дневного света. Это — лучи пока еще далекого солнца, которые заглядывают к нам за 85 -ю параллель, отражаясь от верхних слоев атмосферы. В первой половине марта, прорвавшись сквозь тьму, они победят, наконец, по-

лярную ночь и засверкают тысячами бриллиантов на белоснежной поверхности ледяной пустыни.

Появление солнца будет для нас не только традиционным арктическим праздником, но и днем итогов нашей второй зимовки. Заканчивается вторая зимовка! Как легко написать эти три слова и как трудно выразить то отглагольное содержание, которое в них кроется...

Исполнилось ровно 15 месяцев с того дня, как мы начали дрейфовать. А если прибавить к этому месяцы экспедиционного плавания, то выйдет, что мы уже полтора года скитаемся вдали от родины. Полтора года.. Но мне кажется, что каждый из нас стал за это время лет на десять старше. Сколько испытаний выдержано, сколько опыта приобретено! И, пожалуй, наиболее ценный опыт — это практика наших научных наблюдений, борьбы со льдами в условиях арктических ночей.

На обычных полярных станциях во время долгой полярной ночи всегда наступает некоторое затишье — основные работы там проводятся только летом. В условиях же дрейфующей зимовки, именно во время полярной ночи, от людей требуется наибольшее напряжение всех сил, воли и энергии.

Во-первых, на зимние месяцы выпадают наиболее интенсивные подвижки льда. Летом мы отдыхали от них. Теперь же льды тревожат нас почти ежедневно и ежечасно. Начиная с 15 сентября, мы насчитали уже 63 дня, когда льды торосились в самой непосредственной близости от судна. А ведь в темноте и на морозе, да еще в пургу, предохранять судно от опасностей, связанных с подвижками льда, значительно труднее, чем днем! Не легче следить в полярную ночь и за состоянием аварийных запасов, выгруженных на лед.

Во-вторых, темнота, морозы и пурга сильно затрудняют научные наблюдения. Не далее как сегодня утром мы с Андреем Георгиевичем и Виктором Харлампиевичем подсчитали некоторые итоги своей деятельности и, честно говоря, сами изумились полученным цифрам. Без лишней скромности можно сказать,

что за эту зиму, столь обильную тревогами и авралами, мы сделали максимум возможного.

Уже теперь мы имеем своё документально обоснованное суждение по целому ряду вопросов арктической науки. И на первое место среди научных проблем, освещенных нашим опытом во время второй зимовки, следует поставить наблюдения за дрейфом самого судна. Именно теперь, когда мы дрейфуем в высоких широтах, далеко от берегов земли, нам удастся с исчерпывающей полнотой изучать зависимость движения льдов от ветра. Эту зависимость нетрудно проанализировать, сличая трассу дрейфа, проложенную на карте, с таблицей направлений и скоростей ветров. Ведь мы ухитрились, невзирая ни на какие трудности, производить астрономические наблюдения в среднем через каждые 4,5 мили дрейфа (а по времени через каждые 24,7 часа), направление же и скорость ветра измерялись 12 раз в сутки. Поэтому при анализе собранных нами данных исключена возможность грубых ошибок.

Наши наблюдения уже достаточно ясно показали, что предполагавшееся в Полярном бассейне течение, идущее с востока на запад, по крайней мере в нашем районе должно быть исключено, как фактор, влияющий на дрейф льдов. Если такое течение и существует, то оно настолько слабо выражено, что принимать его в расчет, как серьезную величину, не приходится. Только один раз за все время нам удалось наблюдать при северо-западном ветре силу в 1 балл поступательное движение льдов в противоположном ветру направлении на 0,4 мили за сутки.

Такое движение льда можно было бы истолковать как действие течения. Но где гарантия, что в этот раз (к тому же единственный за все время!) льды двигались против ветра благодаря течению, а не потому, что где-то южнее на бесконечные ледовые просторы действовал сильный ветер, дующий с юго-востока?

Ветер, и только ветер, решает проблему движения льдов в районе нашего дрейфа! Это подтверждается самым

придирчивым и критическим изучением и сравнением составленных нами таблиц астрономических наблюдений и наблюдений за движением воздушных масс.

Отсюда вывод: пока наш дрейф будет протекать восточнее долготы 90° , т.-е. в районе, свободном от действия предполагаемого течения, пределов для продвижения «Седова» на север быть не может. И если комбинация ветров окажется благоприятной, то наш корабль пересечет геометрическую точку, именуемую полюсом, и тем самым осуществит бессмертный замысел славного русского исследователя, имя которого он носит.

Но дождемся ли мы такой благоприятной комбинации? Эта зима — какая-то странная, крайне неустойчивая. Ветер часто и резко меняет направление, иной раз дважды за один день он обходит весь горизонт. Вот почему мы так медленно движемся вперед, хотя со времени прощания с «Ермаком» успели пройти в самых различных направлениях (то вперед, то назад, то в стороны) 567 миль. Двигаясь мы по прямой линии на север, как в начале ноября, — давно бы уже прошли полюс.

Крайне неустойчивы температуры воздуха. Термометр отмечает резкие скачки:

Месяц	Температура		
	максимум	минимум	средняя
Сентябрь	+1,1°	-10,8°	-3,8°
Октябрь	+0,1°	-26,1°	-12,8°
Ноябрь	-8,2°	-35,0°	-21,5°
Декабрь	-3,3°	-38,2°	-22,4°

Иногда в течение одних лишь суток температура резко меняется на несколько десятков градусов. Самая низкая температура отмечена в январе: минус $43,5^\circ$.

Удивляет крайне незначительное выпадение осадков. Снежный покров в среднем не превышает 20—25 сантиметров. Дни с осадками чрезвычайно редки. С конца декабря стоят ясные морозные ночи.

Любопытные результаты дают наблю-

дения над льдами. Неустойчивые ветры вызвали многочисленные подвижки, сильно изменившие окружающую обстановку. Торошение часто захватывало не только молодой лед, но и старый, двухметровой толщины.

Увеличение толщины старого льда началось примерно лишь в первой половине декабря. Два с половиной месяца потребовалось для того, чтобы лед, напитавшийся летом пресной водой, промерз насквозь. Только после этого начали нарастать новые слои льда за счет морской воды.

Интересна эволюция звуков торошения: чем сильнее промерз лед, тем сильнее сила этих звуков. Заметно отличаются и тона звуков торошения молодых и старых льдин. При некоторой наблюдательности можно приблизительно определить на слух возраст торосящегося льда.

Большой опыт приобретен нами в организации магнитных, гидрологических и других наблюдений в трудных условиях арктической ночи.

Одним словом, во всех отношениях вторая полярная зима обогатила нас новыми полезными и ценными знаниями. Они дались нам не даром. Цена их дорога. Изрядно поистрепалось здоровье людей, затрачено много сил. Но какая победа дается дешево? Лучше ценою жертв добиться успеха, нежели ценою успеха обеспечить себе тихое и тусклое прозябание...».

Было уже очень поздно, когда я закончил свою запись и закрыл дневник. Корабль спал. Только на палубе слышались мерные шаги вахтенного, бдительно охранявшего покой своих четырнадцати товарищей. Где-то далеко-далеко звенели, сталкиваясь и переворачиваясь, могучие льды.

(Продолжение следует.)

Ручей

А. ЕРИКЕЕВ



Был бы я ручьем прохладным, —
Пригодился б людям я:
Освежала б в день погожий
Всех проезжих, всех прохожих
Серебристая струя.

Был бы я ручьем прозрачным
И резвился, как дитя, —
Ива б надо мной склонялась,
Детвора ко мне сбегалась
И плескалась бы, шутя.

Был бы я ручьем студеным, —
Принесли б ко мне бойца,
Росным утром, раным-рано
Я ему омыл бы раны,
Смыл бы кровь с его лица.

И, от зноя изнывая,
Ты ко мне бы подошла,
Мое сердце! Дорогая!
Губы чуть приоткрывая,
Ты б любовь мою пила.

Перевод с татарского
Веры Звягицовой.

О Л Ю Б В И

ПОВЕСТЬ

ПАВЕЛ НИЛИН

★

Мы с Венькой Малышевым работали в уголовном розыске. А Яшка Узелков был собственным корреспондентом. Понятно, что он немножко фасонил перед нами. Ну как же, он в газете пишет, его во всей губернии знают, во всяком случае, должны знать, а мы кто? «Сыщики вы!»—крикнул он однажды, разобидевшись на что-то. И Венька Малышев так озлился, что даже побелел весь.

— Имей в виду, Яшка, — сказал он, весь белый. — Я на тебя не посмотрю, что ты собственный. Я тебе даже уши могу оборвать. За такие слова.

А у Яшки были большие, оттопыренные, так называемые музыкальные уши. И когда он нервничал или обижался, они шевелились сами собой и казались случайно приспособленными к его узкой птичьей голове, оснащенной мясистым носом.

Венькина угроза, естественно, смутила Яшку. Он притих слегка. Однако слова свои не взял обратно, не извинился и ушел из дежурки такой надутой и торжественный, точно не он нас, а мы его оскорбили.

Нам, впрочем, было все равно, потому что тут произошло только обострение конфликта. А зародился конфликт еще раньше, может быть, в первый же день, как вошел в нашу дежурку этот маленький молодой человек в заячьей папаче, в собачьей дохе, с брезентовым портфелем подмышкой.

Я помню, он сразу стал важничать, — или нам так показалось, — заявил, что

он собственный корреспондент губернской газеты, и не попросил, а потребовал интересных сведений. Он так и сказал — интересных. Происшествия, предложенные его вниманию, не понравились ему, он сказал:

— Ну, что это — кражи! Вы мне дайте что-нибудь такое...

И он щелкнул языком, чтобы сразу стало ясно, какие происшествия ему требуются.

Я подумал тогда, что ему интересно будет узнать про аферистов, про разных фармазонщиков, шулеров и трилистников, и сейчас же достал из шкафа альбом со снимками. Но он на снимки даже не взглянул, сказал небрежно:

— Я не Цезарь Ломброзо. Меня физиономии не интересуют.

И нахмурился.

— Ага, — сказал Венька Малышев. — Я знаю, чего вам надо. Я сейчас принесу.

Всем нам хотелось как-нибудь угодить этому представителю газеты, впервые захавшему в наши места, в наш уездный город, расположенный у чорта в турках.

Из губернского центра к нам надо было или плыть несколько дней на пароходе, или ехать поездом не меньше суток, да еще пробираться на лошадах километров, может быть, шестьдесят.

Не всякий без крайней нужды мог решиться на такую дальнюю поездку, зная к тому же, что в пути его в лю-

бой час могут встретить и обобрат бандиты.

Бандитов тогда еще много было в наших местах. И поэтому всякий рискнувший поехать к нам был немножко и героем. Встречали мы этих героев с неизменным радушием. А собственный корреспондент мог рассчитывать на особенно радушный прием.

Была зима. Знаменитый Костя Воронцов, кулацкий сын, объявивший себя «императором всея тайги», зимой вводил свои банды в глубину лесов, зарывался в снега, прекращая на время, до весны, все убийства, грабежи и поджоги. И поэтому у нас работы было меньше.

Зимой мы готовились к весне, устанавливали новые агентурные связи и делали подробную опись наиболее выдающихся происшествий, представляющих, как говорил наш начальник, известный интерес для криминалистической науки. Опись эта была как бы памятником нашей работы, как бы частью наших биографий.

И Венька Малышев правильно сообразил, что корреспонденту интересно будет заглянуть в эту опись. Венька принес и разложил перед ним два рукописных журнала. Но тот даже перелистывать их не стал, хмыкнул носом и сказал надменно:

— Я не историк. Вы мне дайте что-нибудь посвежее, что-нибудь такое...

И опять он щелкнул языком.

Это щелканье нам сразу не понравилось. Но в первый раз мы промолчали. А во второй — Венька Малышев сердито сказал:

— Слушайте. Вы чего думаете, тут каждый день людей убивают, что ли? Мы-то тут для чего сидим?

— Я не знаю, зачем вы тут сидите, — ответил собственный корреспондент. — Но я приехал освещать борьбу с бандитизмом. Мне нужны свежие факты.

Эти слова нам тоже не понравились. Лет корреспонденту на взгляд было не больше, чем нам, — примерно семнадцать, от силы девятнадцать. И это показалось нам особенно обидным. Чего он из себя выламывает?

А он держался в своей собачьей дохе и в заячьей папахе так независимо и с таким важным видом отстегивал и застегивал свой брезентовый портфель, что в первый день мы даже не решились поставить его на настоящее его место.

Потом он пришел опять. Опять придиричиво рылся в сводках, недовольно морщился, записывая что-то в блок-нот, грыз карандаш и тихонько вздыхал.

Некоторые происшествия ему как будто понравились на этот раз. Довольный, он извлек из портфеля десяток папирос, обернутых в газетную бумажку, и угостил нас всех по очереди.

И даже вору, сидевшему тут же в дежурке в ожидании своей участи, тоже дал папироску.

Затем, поговорив с нами полчаса, он объяснил, между прочим, что хотя фамилия его Узелков и зовут его просто Яков, в газете он подписывается Якуз, что сюда он приехал на два года, спросил — партийные ли мы? — и стал ходить к нам, в уголовный розыск, почти каждый день.

В уголовном розыске у нас были строгие правила, по которым полагалось, например, встречать отменно вежливо всякого посетителя, будь он вор или свидетель, все равно. Но, несмотря на то, что это правило никогда не нарушалось, посетители все-таки часто робели в нашем учреждении. И нам это казалось естественным. Я больше скажу. Мы сами побаивались своего учреждения, потому что здесь никто ни на какую поблажку рассчитывать не мог. Ошибся, промазал, нарушил дисциплину, и — пожалуйста — садись за решетку.

Начальник наш, бывший цирковой артист, погоревший на гражданской войне два ребра и три пальца левой руки, безумно любил тишину и всегда говорил нам по любому поводу:

— Власть чего от нас требует? Власть требует от нас внимания. Мы где работаем? Мы работаем в органах. В каких органах? В органах советской власти. Значит — что? Значит, должно быть — все, как следует...

И еще он говорил нам:

— Глупость есть самая дорогая вещь на свете. Это каждый пусть про себя подумает, почему я так говорю. Я всего вам в голову вложить не в силах. Каждый должен про себя думать. А поэтому надо, чтобы было тихо.

И, осмотрев нас сурово и внимательно, спрашивал:

— Кажется, всем ясно?

Большинство работников нашего учреждения были молодые люди. И начальник наш, проживший длинную и пеструю жизнь, считал своим неременным долгом по-учительски настойчиво воспитывать нас.

Полагая глупость тягчайшим пороком и предостерегая нас от страшных ее последствий, он не жалел и себя, утверждая, что ребра и пальцы он потерял на войне по причине этой самой глупости:

— Заспешил я. Хотел быть умнее всех. А это тоже не требуется. Во всем должен быть свой порядок.

Главным же признаком порядка — еще раз сказать — он считал тишину. И поэтому особенно тихо было в полутемном коридоре, который уходил в глубину здания и заканчивался в кабинете начальника, в просторной комнате, поделенной на две части, — на приемную и кабинет.

По коридору этому, по толстым дорожкам, поглощавшим шум шагов, мы сами ходили с опаской, проникнутые уважением к особе начальника и к собственным важным занятиям. Как будто мы дело имели с огнем, со взрывчатыми веществами. Как будто мы были хищники.

А этот Якуз, или Яшка Узелков, не проявлял никакой робости. Он приходил в уголовный розыск, как к себе домой, раздевался в служебном гардеробе, вешал на крюк свою облезлую собачью доху, долго и громко сморкался и, оставив при себе только портфель и заячью папаху, первым делом шел в дежурку, где топилась железная печка.

В коридоре, на зеленой садовой скамейке, сидели по утрам, пригорюнившись, как на приеме у зубного врача, свидетели и воры в ожидании вызова на допрос. Погревшись у печки, Яшка

выходил в коридор и подолгу разговаривал с ворами и свидетелями, что правилами нашими строжайше запрещалось. Но что для Яшки Узелкова наши правила? Он говорил, что в губернском розыске, который почище нашего и где он часто бывал, правила куда попроще.

Он, вообще, любил подчеркнуть, что ему все доступно, и запросто упоминал фамилии таких работников губрозыска, которых мы никогда не видали, но о которых слышали много достойного удивления. Он даже намекал на свою дружбу с ними, во что мы никак не могли поверить. Вернее, не хотели поверить. Впрочем, Яшка и не старался убедить нас. Он всегда разговаривал с нами чуть небрежно, чуть иронически. И, разговаривая, смотрел куда-то в сторону.

Уж одной этой манеры было достаточно, чтобы оскорбить нас, и однажды мы его тоже задели за живое. Я не помню сейчас, как мы это сделали. Помню только, что Яшка вдруг взорвался и обзвал нас сыщниками. А сыщники — это чорт знает что. Понятно, что Венька Малышев побелел весь со злости. И Яшка сразу притих.

Но на следующий же день он придумал новую форму для насмешек. И еще более ехидную. Например, увидев в нашей дежурке толстую мешочницу, задержанную по подозрению в краже, он вдруг говорил задумчиво:

— Эта женщина мне поразительно напоминает Гаргантюа.

Я спрашивал:

— Это кто Гаргантюа?

— Не знаешь? — удивлялся он и притворно вздыхал:

— Хотя откуда тебе знать. У Франсуа Рабле есть такая книга...

Мы, конечно, не знали тогда, кто такой Франсуа Рабле. Спрашивать же у Яшки считали недостойным. А он все чаще и чаще унижал нас своим образованием.

Справедливость, впрочем, требует сказать, что и мы не оставались в долгу. Натерпелся он от нас тоже изрядно. Хотя в наших служебных с ним отношениях мы старались сохранить полное беспристрастие. Все-таки он прихо-

дил к нам по делу, и, памятуя строгое правило, мы держались с ним вежливо. Даже предупредительно.

Иногда он приходил очень рано, когда сводка не была еще отпечатана на пишущей машинке, и я сам находил для него происшествия. Я брал у дежурного по уезду тяжелую, как библия, книгу и говорил Яшке:

— Ну, пиши. Банда вооруженных налетчиков в количестве восемь человек, уходя от преследования, совершила налет на общество потребителей в деревне Хвойная Ложбина около девяти часов вечера...

Яшка говорил:

— Ты не диктуй мне. Я не в школе. Ты говори мне самую суть. Я без тебя запишу.

Я говорил ему самую суть. Он записывал очень быстро, и мне казалось, что самую суть-то он как-раз и не успеет записать.

Впоследствии опасения мои подтвердились. В газете обыкновенный факт из дежурной книги так раскрашивался, что узнать его не было никакой возможности.

Яшка писал в газете примерно так: «Среди ночи сторож потребилочки услышал подозрительный шорох. Ночь была мгlistая, небо заволакивали черные тучи, и силуэты всадников на фоне темного леса рисовались сказочно...».

Я скрывать не буду, мне нравилось, как пишет Якуз. Слова его нравились. Но мне неприятно было, что он врет. Всадников никаких не было, туч тоже не было. Был только сторож, но он спал.

Венька Малышев и другие ребята тоже сердились на Яшку.

Но Яшка держался невозмутимо. Он попрежнему требовал интересных происшествий. И однажды ему сильно повезло.

Из тайги на тракт неожиданно для зимы вышла крупная банда Клочкова. У Маревой заимки, между Буером и Ревякой, на довольно широком месте, где раздваивается Утуликский тракт, она устроила засаду и в первый же день зарезала трех сельских кооперато-

ров и ограбила несколько бурятских подвод. А когда уголовный розыск окружил ее, она решила дать нам настоящий бой.

Видимо, бывший унтер-офицер Клочков не хотел продать свою жизнь подешевке. Банда еще до прихода розыска повалила вокруг себя сотни две лиственниц и устроила баррикады. Но эти же лиственницы и погубили ее. Они в конце-концов образовали ловушку. А когда Клочков понял это, было уже поздно. Вокруг него уже сомкнулось кольцо, и в центр кольца полетели гранаты.

Банда бросилась на тракт. Она хотела теперь прорваться на Утулик, уйти за Холодную сопку. Но пять гранат оказались сильнее напора восьмидесяти человек.

Венька Малышев спрыгнул с коня, привязал его к дереву и лег в пихты. Я даже удивился его спокойствию. Он лежал на снегу, подложив под брюхо мохнатые варежки, и смотрел на тракт с таким безразличным видом, будто все это не имеет к нему никакого отношения, будто это не он руководит операцией.

А на обледеневшем полотне тракта в эту минуту танцевали в тумане под пулями темные бандитские кони. Они то крутились волчком, то поднимались на дыбы, то падали на передние ноги и снова крутились. Пули летели с разных сторон.

Наконец Венька повернулся лицом к деревьям и как будто деревьям сказал:

— Пореже, пореже. Надо дать им выстрелиться. Пусть они первые...

И крикнул:

— По-ре-же!

Похоже было, что он устраивает тут спектакль и следит за артистами. И артисты слушают его.

Бандитские кони вдруг на минуту прекратили танец. Из канавы напротив нас выглянул сам Клочков, Бородатый, всклокоченный, без шапки, он судорожно открыл рот. Он, должно быть, крикнул что-то. Но мы не расслышали.

Венька выстрелил в него. И, конечно, не попал. Было трудно попасть на таком расстоянии, да еще из кольца. Но

Венька вдруг обозлился, вылез из пихт и побежал через тракт.

Клочкова он, однако, не убил. Клочкова убил Коля Воробьев. А Веньку ранили два раза. Он пострадал из-за собственной глупости.

Впоследствии, когда мы разбирали эту операцию, закончившуюся в общем благополучно, начальник наш так прямо и сказал Веньке:

— В этом месте ты проявил глупость. Что это такое значит — погорячился? Помощник начальника по секретно-оперативной части не имеет права горячиться. Понятно?

— Понятно, — сказал Венька.

Но я знаю, что ему это было понятно еще раньше. Он сам мне говорил об этом. Когда мы возвращались в город. Хорошо еще, что ранения не такие уж серьезные: одна пуля прошла в руку, не затронув кости, другая только поцарапала плечо. А что было бы, если б его убили на тракте?

В уголовном розыске в этот день первым нас встретил Яшка Узелков.

— Я вас тут, ребята, полдня жду, — сказал он и сделал оскорбленное лицо. — Я должен это срочно написать. Это же редкий случай.

Но мы молча прошли мимо него. Он, однако, пошел за нами. Он все допытывался, что чувствует Венька Малышев.

— Чувствую, что спать хочу, — сказал ему Венька.

— Чудак, — снисходительно сказал Яшка. — Я тебя не об этом спрашиваю. Я художественный очерк хочу написать. Мне интересно, какие у вас, ребята, ощущения...

— Ощущения? — спросил Венька и вдруг зажмурился. — Болит у меня рука. Вот какие ощущения.

Яшка посмотрел обиженно на меня, потом на Веньку.

— Вы рисуетесь, ребята, — сказал он. — И это даже не по-комсомольски. Я вас, как людей, спрашиваю.

Наконец мы рассказали ему все, как было. Он все это подробно записал. Потом посмотрел на Веньку и спросил меня:

— А чего это с Венькой случилось? Как его ранили?

— Это ерунда, — сказал Венька. — Ты про это не пиши.

— Ну, все-таки мне интересно, — настаивал Яшка.

— Ерунда это, — повторил Венька. — Это, понимаешь, я сам виноват. Я ошибся. Про это писать не надо. Напиши лучше, как в общем было. Про Колю Воробьева, например, можешь написать.

Яшка сказал, что напишет, как ему подсказывает его художественная совесть. И ушел.

Через несколько дней в газете появился его очерк. Я теперь уж не помню всего, что было написано там. Запомнилась мне хорошо только одна фраза, имевшая отношение к Веньке. Было написано: «Этот юноша-комсомолец с пылающим взором совершал буквально чудеса храбрости». И эта фраза особенно обозлила Веньку.

— Поймаю и задавлю, — сказал он про Яшку. — Чего он меня дураком выставляет.

Яшка же, как нарочно, не показывался в уголовном розыске несколько дней.

Он пришел, когда озлобление наше слегка утихло. Но, увидев его, мы снова озлились. И Венька Малышев, сдерживая себя, сказал ему:

— Можешь к нам больше не ходить. Нам брехуны не нужны. С пылающим взором.

— Чудаки, — ничуть не смутившись, сказал Яшка. — Я же вас героями вывел, и вы же на меня... такими словами.

И он сам обозлился. Мол, неблагоприятные. Я их описываю, а они меня же оскорбляют. Просто свиньи и все. Венька Малышев вскипел тогда по-настоящему, вскочил из-за стола, стукнул кулаком по столу и сказал тихо:

— Уходи. Больше никакой сводки тебе давать не будем. Понял?

Но Яшка Узелков не испугался и на этот раз. Через минуту он уже сидел на зеленой садовой скамейке в приемной начальника и ждал своей очереди.

Больше всего нас удивило, что начальник встретил его весьма ласково. Яшка сказал:

— Я — Якуз. Вы, может быть, слышали, я освещаю вашу работу. Популяризация — моя главная задача.

И, наверно, это слово «популяризация» покорило нашего начальника. Он сейчас же меня и Веньку вызвал к себе в кабинет и тут же, при Яшке, дал нам нагоняй, говоря:

— Как же это так? — И показал на Яшку: — Товарищ про нас пишет, а мы будем ему палки в колеса кидать? Я попрошу серьезно...

А когда Яшка ушел, начальник нас строго спросил:

— Вы для чего, ребята, допускаете в своей работе глупость, личные счеты и так далее? А?

Мы в первую минуту, конечно, растерялись немножко. Но потом Венька осмелел и доложил по порядку, что тут не личные счеты, а вранье и глупость со стороны корреспондента.

— Вранье? — сказал начальник уже спокойно, не сердясь. — Этого допустить нельзя. Вы за этим должны смотреть, докладывать в случае чего мне, а так препятствий чинить не надо...

Может быть, в этот момент далекие воспоминания пошевелили суровое сердце нашего начальника. Он вдруг подбрел, улыбнулся, протер носовым платком очки, подвинул к нам коробку с папиросами и сказал, продолжая грустно улыбаться:

— Поздно вы родились, ребята. Ничего вы не видели. Ведь вот, допустим, у нас в цирке как было. Не только-что приходилось терпеть, когда напишут про тебя в прессе, а самим даже приходилось соображать. Даю честное слово. Придет, бывало, репортер в цирк, а ты норовишь ему трояк или десятку этак деликатно... Чтобы написал после. Ну, и ждешь потом. Ангажемент! Вы ведь этого ничего не понимаете. Про вас пишут, а вы обижаетесь.

И начальник закрыл глаза.

Понятно, что после этого у Яшки Узелкова в нашем учреждении появилась такая поддержка, о которой он и мечтать не мог.

Он в любое время мог теперь заходить к нашему начальнику и называл его запросто — Сергей Сергееч. Наш начальник явно симпатизировал Яшке.

Два раза, однако, мы пробовали облачить корреспондента в глазах начальника, но делали это, видимо, немело, неубедительно. Говорили, например, что Яшка много сочиняет. Против этого обвинения наш начальник выдвинул однажды веский довод. Он сказал:

— Вот, допустим, французская борьба. Многие зрители обижаются, что борцы друг друга борют не по-честному, а как велит арбитр: сегодня ты меня положишь, завтра — я тебя. Зрители говорят — это афера. И я говорю — правильно. Ну, а как вы думаете, без аферы лучше будет? Нет, хуже. Борцы тогда, озлившись, даже покусать друг друга могут, трико порвут, измочалются до крови. Ну, и что ж тут красивого? Ничего. Нет, вы молодые ребята. Вы этого не понимаете, что такое искусство...

И начальник опять закрыл глаза, показывая, что разговор окончен.

Яшка продолжал писать, как хотел. Одержав над нами первую крупную победу, он сразу как-то вырос в наших глазах. У него даже плечи стали как будто пошире. Он сшил себе толстовку из чортовой кожи, приобрел новые ботинки, и мы смеялись, что вот, мол, на происшествиях оделся человек. Голос у него стал еще тверже, еще уверенней.

Читая в сводке об изнасиловании, он вдруг говорил удивленно:

— Ах. Опять либидо сексуалис?

Дежурный по уезду спрашивал:

— Чего?

— Это мои мысли вслух, — небрежно отвечал Яшка.

В другой раз, в разговоре с нами, горячась, он также вдруг ни с того, ни с сего сказал:

— Извините, но у меня на этот счет своя концепсия. Я не бонвиван.

И так постоянно, каждый день.

В конце-концов мы стали верить, что он не может говорить по-другому, что эти затейливые слова так же привычны для него, как для нас — наши. Мы по-

степенно стали привыкать к этим его словам и уже не искали в них особый, каверзный смысл.

Яшка Узелков, приобретя некоторую солидность, все меньше удивлял нас.

Нас занимало теперь новое явление.

В продовольственном магазине недалеко от уголовного розыска появилась хорошенкая кассирша. Венька Малышев первый заметил ее и показал мне.

Она сидела в стеклянной будке на высоком стуле, строгоя, чуть надменная, в голубом мохнатом свитере, и отбивала талоны с таким видом, будто ее пригласили сюда временно заменить кого-то и она любезно согласилась, хотя за пределами магазина у нее есть другое дело, более важное и более интересное.

Занятие это в магазине, видимо, огорчало ее, покупатели раздражали, но она сдерживала себя, временно покорившись судьбе. И это выражение покорности на лице кассирши вначале удивило нас, а затем повлекло в непредвиденные расходы.

Вскоре все ящики наших служебных столов были заполнены спичками.

И хотя ни я, ни Венька не хотели признаться даже друг другу, что нас интересует кассирша, со стороны это все-таки нетрудно было заметить. В магазин мы стали ходить и вместе, и порознь почти каждый день и в день по нескольку раз. Покупать нам было, в сущности, нечего, и спички были пока единственным показателем нашей необычайной взволнованности.

Сначала мы покупали их по целой пачке (десять коробков — пятиалтынный), а потом по два коробка и, наконец, по коробку, но заговорить с кассиршей не решались. И странное дело — чем чаще мы заходили в магазин, тем меньше смелости было у нас.

В конце-концов мы стали стесняться даже заходить в магазин. Нам казалось, что и кассирша заметила нашу заинтересованность, и посторонние люди начинают смеяться.

Однако мы все-таки каждый день думали, что именно сегодня как-нибудь случайно увидим кассиршу. Может быть, встретим на улице.

Думали мы, конечно, каждый про себя. Но я уверен, что Венька думал точно так, как я. Он достал из-под кровати летние сапоги, начистил их до блеска и стал носить вместо валенок каждый день, хотя стояли морозы. В сапогах в обтяжку он выглядел интереснее. И ясно было, что он носил их теперь специально для кассирши.

Я все-таки спросил:

— Для чего это зимой в сапогах?

Он сказал:

— Мне так легче.

И вдруг сильно сконфузился. Поэтому я не стал его спрашивать.

Сам я сапог не надевал. Я попрежнему ходил в валенках. Но зато я постоянно придумывал подходящие фразы для разговора с кассиршей. И, когда в комнате никого не было, я часто мысленно и вслух разговаривал с ней. Чаще всего я говорил ей грустно:

— Я, конечно, не студент. И доктором я, наверно, не стану.

Почему-то мне казалось, что она может полюбить только студента. И я искал в себе достоинства, способные затмить его.

Видел я ее, конечно, и во сне. И даже один раз увидел во сне, что ее приговорили к расстрелу. Это уж чорт знает что...

Взволнованность наша все росла.

Я не знаю, заметил ли это Яшка Узелков, но однажды, сидя у нас в дежурке, он взглянул в окно и сказал то-ропливо:

— Смотрите, смотрите, ребята, какая амазонка идет.

Мы подошли к окну. Она шла по тротуару в теплых вышитых унтах с крошечным чемоданчиком, как актриса. Я скрыл свое волнение, помолчал секунду и, сколько мог равнодушно и даже нахально, спросил у Яшки:

— Ну, как... ничего малютка?

Яшка еще раз взглянул на нее и, как старичок, в биографии которого было много красивых женщин, давно надоевших ему, презрительно пожевав губами, ответил:

— Не лишена.

У Веньки все лицо налилось горячей кровью. В такую минуту за такие сло-

ва он, наверно, мог ударить Яшку. Но повод для драки был все-таки неоправдан. Венька отошел к своему столу. А Яшка, продолжая смотреть в окно, сказал задумчиво, ни к кому не обращаясь:

— Я сегодня обязательно с ней познакомлюсь.

И воинственно, обеими руками, стал надевать свою заячью папаху.

Обещание свое он выполнил в тот же вечер. Вечером в магазине никого не было. Магазин закрывался. Яшка зашел купить пачку папирос, и кассирша выбила ему последний чек. Он взял папиросы и, закуривая тут же, заговорил с кассиршей, считавшей выручку.

Он, наверно, — я так думаю, — распахнул свою собачью доху, под которой у него новая толстовка из чортовой кожи, вязаный шелковый галстук с малиновой полоской посредине и красивый значок «Добролета».

Не знаю этим ли, или необыкновенными словами, или еще чем-нибудь он поразил воображение кассирши. Известно только, что, закончив подсчет выручки, она разрешила ему проводить ее до дому, не обратив, должно быть, особенного внимания ни на нос его, ни на походку.

Проводив ее, он в тот же час, хотя было уже полночь, прибежал к нам в уголовный розыск и рассказал подробности.

— Она, как мадам Бовари, — сказал он. — Совершенно одинокая. И, как я, приезжая. Только из Томска. У нее никого тут нет. Живет на Кузнечной, шесть. Комсомолка. Зовут Юля. Фамилия — Зайцева.

Из всех этих подробностей нас больше всего удивило, что она — комсомолка. В те времена комсомолки одевались наредкость просто, как на плакатах: в косынках, в рабочих башмаках, стриженные. А у нее были длинные волосы, и одевалась она затейливо, с блеском: в волосах точеная гребенка.

Нам приятно было узнать, что она комсомолка. Это сближало нас. Но в то же время нам было обидно. Уж кому следовало первым собрать все сведения, так это нам, а не Яшке Узелкову.

Некоторые товарищи, может быть, даже скажут сейчас: какие же вы были работники уголовного розыска, если не могли самостоятельно узнать даже такие простые подробности?

Но работники уголовного розыска, я уверен, так не скажут. Ведь это было не оперативное задание. Это была не служба. Это была первая настоящая любовь.

Яшка Узелков, улыбаясь, ходил взад-вперед по комнате и взволнованно рассказывал все новые подробности. При этом он хмыкал носом, сам, может быть, удивляясь своим похождениям, и лицо у него было разгоряченное. Остановившись у стола, как будто вспомнив что-то, он вдруг спросил:

— Не найдется ли у вас тут отварной Аш два О?

— Это чего такое?

— Химическая формула воды. Я пить хочу.

Мы дали ему напиток. Он наливал из графина воду и пил ее маленькими глотками, как всегда. Но сейчас, глядя на него, мы думали, что он делает это нарочно, издеваясь над нами.

Уснуть в эту ночь мы все равно бы не смогли. Поэтому мы пошли к Долгушину.

Обычно мы ходили к нему в субботу, после бани. А это было в четверг. Но мы все-таки пошли.

У Долгушина играла музыка. Две худощавых девицы, стоя на возвышении, пели тягучий цыганский романс. Их было видно в стеклянную дверь, отделявшую ресторан от вешалки. У вешалки, как всегда, стоял огромный, начучеленный медведь. И ресторан так и назывался «У медведя».

Долгушин нас обильно встречал у дверей. Он слегка побаивался нас и, точно желая загладить давнюю вину, заботился и суетился больше, чем надо. Оттеснив швейцара, он сам помогал нам снимать полушубки и говорил возбужденно:

— Пожалуйста. Прошу вас, господа.

— Господа — в Байкале, — напоминал ему Венька.

— Ну, извините с гаричка. Я уж так привык, дорогие товарищи.

— Тебе киренские волки — товарищи, — говорил я.

Долгушин дробно смеялся, будто услышал что-то невероятно смешное, и поспешно семенил впереди нас, крича на ходу:

— Захар, столик прибрать. Начальники пришли. Чистую скатерть.

Нам отводили столик в давно облюбованном углу, из которого удобно было наблюдать всю публику, не привлекая к себе всеобщего внимания.

Долгушин, расточая улыбки, суетился около нас, мешая официанту накрывать стол. Но мы как бы не замечали его. Будто не он был хозяином в этом сверкающем белизной заведении, украшенном свежими пихтами, кружевными занавесками и бронзовой люстрой. Мы презирали Долгушина.

И до сих пор мне не понятно, как мог он, не возмущаясь, терпеть наше такое откровенное к нему отношение.

Впрочем, за этим презрительным отношением скрывалось собственное наше смущение. Нам, комсомольцам, не следовало бы ходить в нэпманский ресторанчик. Но мы все-таки ходили. Нам нравились здесь и чистые скатерти, и отбивные котлеты, и нарядная публика. И, скажу откровенно, цыганские романсы нам тоже нравились. Они звучали в табачном дыму, как в тумане, далеко, далеко.

Долгушин спрашивал:

— По рюмочке не позволите?

— Нет, — говорил Венька.

— Неужто не пьете?

— Нет.

— А работа у вас тяжелая, — вздыхал Долгушин. — По такой работе, если не пить... Хотя не наше собачье дело. Угодно, пивка велю подать.

— Угодно, — говорил Венька.

Долгушин сам приносил нам пиво, готом — отбивные котлеты с картошкой и огурцом, нарезанным сердечком, и в заключение — крепкий чай. Всегда одно и то же, по нашему желанию. И всякий раз Долгушин удивлялся при этом:

— Какие молодые люди пошли сознательные! Ни водку они не пьют, ни вино. И правильно. Что в ней хоро-

шего-то, в водке? Одна отравка и только. Совсем бы ее не было.

Мы молчали. Водку пить у Долгушина мы все-таки не решались. Да водка в те времена и не так уж сильно интересовала нас. Сам ресторанный веселый шум действовал и возбуждающе, и успокаивающе. Мы отдыхали здесь. И в тот вечер, когда Яшка Узелков сообщил нам о своей очередной победе, лучшего места для размышлений мы не могли бы придумать.

Однако и в этот вечер ни я, ни Венька ни разу не вспомнили вслух ни о Яшке Узелкове, ни о кассирше Юле Зайцевой. Мы пили пиво и разговаривали на посторонние темы. Наконец, мы просто пили пиво. Но и это не успокаивало нас. Непонятное душевное волнение все нарастало.

Я сказал:

— Пойдем, Венька, домой.

И неожиданно услышал в голосе своем печаль.

Венька молча встал. Мы заплатили по счету и ушли.

Пустынная улица, обьятая холодом, звенела под нашими сапогами. Мы молча прошли всю дорогу и дома также молча разделись и легли спать. Я правильно подумал в самом начале, что нам не уснуть в эту ночь. И действительно, не спалось. Венька долго ворочался, кровать его скрипела, и мне казалось, что я не сплю, потому что скрипит его кровать. Потом наступила тишина. И в тишине Венька сказал:

— Интересно, чем он берет?

— Наверно, образованием, — предположил я, зная, что речь идет о Яшке.

— Образованием, — сказал Венька. — Подумаешь...

— Я думаю, образованием, — подтвердил я.

— Ну, и пусть, — сказал Венька.

Опять койка сердито скрипнула под ним и затихла. Он, видимо, завернулся в одеяло. Я тоже поправил подушку и попробовал уснуть. Но Венька вдруг сбросил с себя одеяло и сказал резко:

— Химия, физика. Подумаешь... Как это он говорил?..

— Мадам Бовари, — подсказал я.

Мысли наши, должно быть, шли в эту ночь по одному руслу. Я угадывал все, что думал Венька.

— Ну, и что, — сказал он. — Мадам Бовари. Подумаешь.

Через минуту он уже спал, так и не высказав всего, что хотел. Я встал, напился воды и тоже уснул.

Утром он умывался из чайника и говорил мне:

— В пиво Долгушин нам, наверно, водку подбавляет. У меня чего-то голова болит.

Я сказал:

— Мне тоже показалось...

— Надо проверить, — строго сказал Венька. — Я возьму его, шуку, за жабры.

Но, когда мы попили чаю, голова уже ни у кого не болела. Венька чистил сапоги и говорил о работе. О том, что вчера снова поступили сведения о ремешках-ушивках. Надо обратить внимание.

За ночь мороз ослабел. Выпал новый снег. Улица была пушистой, веселой. Мы шли по улице и смеялись. Я сказал в шутку:

— Зайдем в библиотеку.

— Зайди, — сказал Венька.

Я засмеялся.

— Зайди, серьезно, — сказал Венька. — Мне сейчас некогда. Я бы сам зашел.

Я, смеясь, поднялся на крыльцо библиотеки, осторожно открыл дверь. Катя Петухова, увидев меня, растерялась. Подумала, наверно, что я чего-нибудь ишу. И я тоже, заметив ее растерянность, немножко смутился. Она спросила строго, на «вы».

— Вам что угодно?

Худенькая, белобрысая, в сером халате, она стояла передо мной и смотрела на меня, собираясь обидеться. Я сказал смущенно:

— Да вот Малышев Вениамин — ты же знаешь его — попросил меня зайти. Книжки тут взять...

— Какие книжки? — попрежнему строго спросила Катя.

Она никак не могла ожидать моего прихода, да еще в такой ранний час: ведь прежде я никогда не заходил в библиотеку. Она, должно быть, все еще

ждала неприятностей. Вдруг я спрошу, не укрывается ли у вас тут кто-нибудь? Но я вынул из кармана бумажку и прочитал ей:

— Франсуа Рабле, Мадам Бовари, Флобер.

— «Мадам Бовари» Густава Флора, — сказала Катя, уже успокоившись. — Это есть, пожалуйста. В отрывках. А Франсуа Рабле нет. Да вам зачем?

— Надо нам, Катя, — сказал я секретным голосом. — И еще дай химию.

— Химию, — повторила Катя. И подставила к полке складную лесенку. — Тебе какую химию?

— Как какую?

— Ну, органическую или неорганическую?

— Давай обе, — сказал я, махнув рукой.

Катя выложила передо мной несколько учебников химии

— Выбирай, какую тебе надо. Вот Флобер.

Я выбрал три толстых книги.

— Три нельзя, — сказала Катя. — И подожди. Я тебя должна записать в карточку.

Я подождал. Катя записывала и говорила:

— Срок — две недели. Прочтешь и приходи снова. Я только не понимаю, почему у вас такой выбор — химия и Флобер. Если решили заниматься самообразованием, надо постепенно. Я могу вам список составить.

— Составь, — сказал я. — Нам только надо очень срочно.

— Очень срочно, — повторила Катя. И улыбнулась снисходительно.

Но я ушел довольный.

«Мадам Бовари» мы прочитали в тот же вечер. И в ту же ночь начали читать химию. Химию мы читали дней пять. Потом я принес еще несколько книг, рекомендованных Катей Петуховой. Я не скажу, что чтение увлекло нас. «Мадам Бовари», например, просто не понравилась. А химия оказалась настолько непонятной, что мы решили купить себе такую книгу и читать ее постепенно, пока не станет ясным все.

И читали всю зиму.

Надо сказать особенное спасибо Кате Петуховой. Пусть, прочитав эти строчки, она вспомнит о первых своих учениках, чье упорство сместило и сердило ее одновременно. Она научила нас составлять конспект прочитанных книг, и мы делали это с добросовестностью и тщательностью протокола об обнаружении трупа со следами насильственной смерти.

Катя Петухова даже гордилась нами. Она говорила своим посетителям:

— Вот у меня тут два парня из уголовного розыска берут книги, так я сама удивляюсь. Шесть карточек уже исписала. Спенсера теперь читают.

Давно уже забыт был повод, из-за которого мы принялись за книги. Чтение постепенно превращалось в привычку. Находились уже книги, сильно волновавшие нас. Но жизнь нас все-таки волновала сильнее.

И хотя Яшка Узелков к весне уже не казался нам таким образованным, все-таки не замечать его мы не могли, как не могли и забыть, что он опередил нас в ухаживании за Юлей Зайцевой.

Юля Зайцева попрежнему занимала нас...

Однако из уважения к себе мы теперь не только не заходили в магазин, но и старались равнодушно смотреть на нее, когда она проходила под нашими окнами. Похоже было, что мы за что-то обиделись на нее. Может быть, за то, что она подружилась с Яшкой.

Впрочем, он тоже не многого добился. На общегородских комсомольских собраниях она охотно разговаривала со всеми, и трудно было сказать, кому она особенно симпатизирует. Она оказалась веселой и смешливой. Кто знает, пожелай мы познакомиться с ней, и нам бы это, может быть, без труда удалось.

Парни мы были, откровенно сказать, не такие уж последние. И если б на ее месте была другая комсомолка, мы, наверное, разговорились бы с ней в одну минуту без всякого стеснения. А тут были особые обстоятельства. Поэтому, когда Яшка предложил познакомиться нас, мы небрежно отказались. Я даже спросил:

— Зачем?

— Так, — сказал Яшка. — Она интересная девушка.

— Ну, мало что, — сказал Венька. И на лице у него появилось такое выражение скуки, что никто бы и подозревать не мог, что он в эту девушку влюблен. Ну что, мол, такого, что интересная. Мало ли их, интересных.

Венька не мог скрыть своего волнения только один раз. Это было весной, вечером. Васька Царицын зашел к нам домой и, попив с нами чаю, как будто между прочим сказал:

— Все эта Юлька Зайцева про вас спрашивает. Больше всего про Веньку.

Венька неожиданно и густо покраснел. Он точил на ремне бритву и стоял к нам и к лампе лицом, чтобы свет падал на ремень. Поэтому отвернуться сразу он не успел и, покраснев, озлился:

— Будет брехать, дурочкин зять.

— Я честное слово даю, — поспешно сказал Васька Царицын. — Для чего я брехать буду.

И он начал рассказывать, что говорит о нас и, особенно о Веньке, Юля Зайцева. Венька теперь спокойно точил бритву и делал вид, что не слушает. А Васька Царицын все говорил и говорил, и по его словам получалось, что Юля никем, кроме Веньки, и не интересуется.

— А Яшка? — спросил я, чтобы не выдать своей заинтересованности.

— Ну, чего Яшка, — молвил как бы обиженно Васька. — С кем ты его равняешь: Венька и Яшка. Яшка же жук против него.

И показал глазами на Веньку, все еще точившего бритву. И никто бы не подумал, что он льстит Веньке. Действительно, — размышлял я, — Венька, пожалуй, самый видный из всех парней, каких я знаю. Большой, стройный. Одевается аккуратно, как военный. Девушки, наверно, должны любить таких.

Но Венька ничего не сказал на слова Васьки. Васька ушел. А Венька сел бриться. Он намыливал щеки, смотрелся в зеркало и молчал. И я тоже молчал.

чал. И молчание наше, общее на этот раз, могло закончиться ссорой.

По крайней мере мне так казалось.

Я взял книгу и сделал вид, что читаю.

Венька выбрил одну щеку и начал брить другую, натягивая кожу на левой скуле. Я посмотрел на него. Выражение лица у него было такое, как будто ничего не произошло. Он морщился потому, что бритва шла против волоса. Мне вдруг захотелось, чтобы он порезался.

Но он побрился благополучно, вытер тщательно бритву и, спрятав ее в футляр, стал, не взглянув на меня, собирать со стола бумагу, испачканную мылом. Потом он сказал:

— Вот я и побрился.

— Можешь, — ехидно сказал я, — итти теперь в магазин. Наверно, еще не закрыли. Юлька там.

Венька ничего мне на это не сказал. Взял кисточку, выжал ее в стаканчике и понес стаканчик на улицу, чтобы выплеснуть грязную воду. Вернувшись, он, улыбаясь, спросил:

— Ты чего злишься? Влюблен?

— Я не злюсь, — сказал я. — В кого я влюблен?

— В Юльку.

— Не угадал, — сказал я и тоже улыбнулся.

— А в кого?

И тут я соврал непонятно для чего, может быть, из гордости.

— Нет, — сказал я. — Нисколько. Был влюблен, правда. Но теперь прошло. Мне сейчас другая девушка нравится.

— Катя Петухова?

Я зачем-то утвердительно мотнул головой, хотя библиотекаряша мне никогда не нравилась.

— Честное слово? — спросил Венька и пристально посмотрел на меня.

Я подумал и сказал твердо:

— Честное слово.

И в эту минуту я сам поверил, что мне действительно нравится не Юлька, а Катя Петухова. Я даже почувствовал какое-то облегчение. Венька шагал по комнате взад-вперед и опять молчал.

Утром мы поехали на происшествие в деревню Покукуй, где прошлой ночью

произошло убийство с целью грабежа. Убитым оказался заведующий кооперативом. А сторожа бандиты связали знаменитыми тогда сырмятными ремешками-ушивками, отличавшимися, как мы писали в протоколах, «большой прочностью и свойством крепости узла при завязывании».

Пока мы вели расследование в Покукуе, нам сообщили, что точно такие преступления на рассвете совершены в Покаралье, в Уяне и в Аеке. Мы поехали туда. Там, помимо ремешков-ушивок, были найдены на месте преступления еще охотничье ружье марки «Геха», имеющее свойство поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле, и американская винтовка марки «Винчестер», обладающая большой дальностью.

Эти вещественные доказательства говорили о многом. На обратном пути Венька задумчиво рассматривал их, и особенно его занимали ремешки-ушивки.

Не подтаявший в тайге снег, не набухающие почки, не горячее солнце, а именно эти ремешки-ушивки свидетельствовали о том, что весна началась и уже на-днях у нас вдвое, втрое, вчетверо прибавится работы.

Из тайги начал показываться в близлежащих деревнях неуловимый пока Костя Воронцов, «император всея тайги». Первые убийства и грабежи были делом рук его банды. И ремешки-ушивки, изобретенные им, подтверждали это.

Весна начиналась с убийств, грабежей и пожаров.

Но все-таки весной было жить веселее. Долгушин перенес своего медведя на берег реки, в городской сад.

А сады у нас пышные, в Сибири. И почти такие же дремучие, как леса. Долгушин отыскал себе в саду особенно дремучий уголок, красивый и немножко таинственный. Здесь, в стеклянном и дощатом павильоне, медведя снова поставили у входа, а в углу павильона, как и в зимнем ресторанчике, играла музыка. Только двух худосочных девиц, исполнявших цыганские романсы, Долгушин почему-то уволил.

Вместо них выступал худосочный же, с длинной птичьей шеей, молодой человек в круглой соломенной шляпе. Он пел куплеты и отбивал чечетку. Однако такого успеха, как девицы, он уже не имел.

Видимо, ему сильно мешал городской совет, устроивший в этом году большую танцевальную площадку в центре сада и пригласивший духовой оркестр. Вся публика устремилась сюда. К тому же тут, в центре сада, горсовет же открыл свою кофейню с подачей холодных и горячих закусок по общедоступным ценам.

Каждый свободный вечер мы шли теперь в сад. Вместе нам редко приходилось ходить: кто-нибудь должен был оставаться на работе. Ходили по очереди.

Убедив себя в новой влюбленности, я ухаживал за Катей Петуховой. И ухаживал сердечно, собираясь даже жениться.

Правда, Катя во многом уступала Юльке. Она была не такая красивая.

Но Юлька Зайцева, с которой я был попрежнему незнаком, почему-то представлялась мне теперь надменной, и я, стараясь успокоить себя, с удовольствием сознавал, что «между нами все кончено».

А Катя, не сильно веря в мою сердечность, все-таки относилась ко мне хорошо. Она была кроткая, Катя. Она мне говорила:

— Все вы эгоисты и животные. Но мне-то какое дело.

Я уверял ее, что я-то как-раз и не животное, что меня интересуют не девушки, а книги, и, если меня когда-нибудь серьезно ранят, я пойду в библиотеку или в собственные корреспонденты, как Яшка Узелков.

— Тоже нашел кому завидовать, — сказала Катя. — Яшка же совершенно некультурный дикарь. Я его видеть не могу.

Меня удивило это... Но Катя настаивала на своем. Оказывается, Яшка Узелков за всю зиму не прочитал ни одной книжки, а когда ему надо было писать какую-нибудь серьезную статью и требовалась подходящая цитата, он

прибегал в библиотеку и перелистывал энциклопедию Брокгауза и Эфрона.

— В энциклопедии все есть, — говорила Катя. — В ней и химия, и физика, и что угодно. Весь университет. А дома у него я видела всего три книжки: «Тарзан», «Огонь любви» и «Тайна одной иностранки». Дает всем читать.

Я удивился еще больше. Я и подозревать не мог, что на свете есть такой кратчайший путь к образованию, как энциклопедия. А мы-то с Венькой всю зиму читали толстые книги, делали конспекты, догоняли Яшку. И я испытал чувство, близкое к обиде, как будто кто-то обманул меня.

Чтобы поддержать разговор, я сказал после раздумья:

— Да, он мелкий человек, Яшка.

— Ну, вы с Венькой тоже не такие уж глубокие, — сказала Катя. — Начитались разных книг без толку, без всякой системы, и станете думать, что вы теперь образованные. У вас ведь в голове полный сумбур...

— Сумбур, — согласился я.

Я не мог не соглашаться с Катей. Она все больше вырастала в моих глазах. И я уже гордился дружбой с этой девушкой. Мы вместе ходили гулять в городской сад.

Я рассказывал ей о нашей работе все, что можно было рассказать, и мне нравилось, что она слушает меня с большим интересом, а иногда старается даже посоветовать, близко к сердцу принимая мои дела.

Но однажды она не пошла со мной в городской сад. Она была занята. И мне пришлось идти одному. Я бродил по темным аллеям, где сидят, прижавшись друг к другу, влюбленные парочки, и мне было завидно.

С Катей я еще никогда не сидел так, потому что побаивался ее, но все-таки я надеялся на многое. Я бродил по темным аллеям и думал о Кате. Я думал о ней еще лучше, чем в те часы, когда она была со мной. Я скучал.

Вдруг в боковой аллее послышался девичий смех, и через секунду в сопровождении двух девушек вышел на меня Васька Царицын.

Я не успел поздороваться с ним, как он схватил меня за руку и положил в мою руку теплую ладонь девушки:

— Знакомьтесь, — сказал Васька.

И вторая девушка тоже протянула мне ладонь. Я узнал Юлю Зайцеву. Она не только крепко пожала мою руку, но и весело встряхнула ее, как будто мы давно уже были друзьями.

Я немножко смутился, но смущение мое сейчас же прошло, и я посмотрел ей в глаза. Глаза у нее мягко светились. Она улыбалась.

Васька Царицын снова взял первую девушку под руку и пошел в сторону танцевальной площадки. А я и Юля пошли позади. Юля взяла меня под руку и спросила:

— Почему ты такой скучный?

Она говорила мне «ты». И это не удивительно: она — комсомолка и я — комсомолец. Но вопрос ее удивил меня. Вернее, голос. В голосе ее как будто прозвучала обида.

— Просто так, — сказал я. — Немножко было скучно.

— Потому что Катя Петухова не пришла? — спросила Юлька. И, улыбаясь, заглянула мне в глаза. (Значит, она и раньше интересовалась мной, если знает про Катю.)

— Нет, — сказал я. — Просто так.

— А со мной тебе не скучно?

— Нет. Не скучно.

Юлька смеялась про себя. Я чувствовал это, хотя лица ее не видел, смотрел под ноги. И сердце у меня вдруг заняло.

Духовой оркестр заиграл ту-стэп. Мы вышли на ярко освещенную площадку сада, где в деревянной раковине сидели музыканты. Перед ними на подмостках танцевали пары. Из щелей подмостков, из-под каблучков танцующих вырывались тоненькие струйки пыли. Я смотрел на эти струйки и не видел ни танцующих, ни музыкантов. И Юльку не видел, хотя локтем чувствовал ее около себя.

Я почему-то снова испытывал смущение и не решался посмотреть на нее. Васька Царицын, как нарочно, ушел куда-то со своей девушкой.

— Ты любишь танцы? — спросила Юлька.

— Нет, — сказал я.

— Я знаю, что ты не любишь, — сказала она. — Пойдем тогда на берег. И мы снова вернулись в темную аллею, чтобы пройти к реке. Юлька молчала и прижималась ко мне. Прижималась потому, что около реки становилось прохладно, а девушка была в легком платье.

Я снял свой френч и накинул ей на плечи. Это был самый решительный жест, на который я был способен в эту минуту. А вообще, я чувствовал себя совершенно беззащитным с ней. Я потерял себя.

У реки мы сели на поваленную корягу.

За рекой, в темноте, вдалеке, как всегда, вспыхивали и гасли огоньки. Они гасли и вспыхивали до меня и будут вспыхивать и гаснуть после меня, когда я уйду отсюда, постарею, умру. Или когда убьют меня.

Я никогда раньше, — если не считать самого раннего детства, — не думал о смерти, не вспоминал о ней.

И эти неоригинальные, скучные мысли почему-то пришли ко мне именно сейчас, когда я сижу рядом с девушкой. Я даже на мгновение забыл, что я сижу с ней рядом.

Вдруг около меня тонко свистнул парход. Маленький, крошечный, он, сопя и вздрагивая, пришвартовывался к пристани. И взглянув на него, я почувствовал, что у реки не только прохладно, но даже холодно.

Запахло цветами и гарью. И гарью запахло, конечно, сильнее, чем цветами. Должно быть, где-то недалеко горела тайга. Позади нас приглушенно звучала военная музыка.

Юлька сняла с себя мой френч и, держа его в вытянутых руках, сказала: — Ведь тебе тоже холодно. Давай укроемся вместе.

Я не мог сопротивляться. Она укрыла меня и себя, и мы сидели теперь очень близко друг к другу. Я слышал, как дышит она. Но говорить нам было, в сущности, не о чем. И, чтобы что-нибудь сказать, я сказал:

— А Малышев Венька сейчас, может быть, на происшествие поехал.

Она как будто не проявила большого интереса к имени моего товарища, сказала только:

— Ну, какие сейчас происшествия!

Я стал говорить, что сейчас как-раз, вот именно в это время, в эти минуты, происшествий бывает очень много, вон кто-то тайгу зажег: может быть, охотники, а может, бандиты. Меня тоже во всякий час могут вызвать прямо с гулянья на работу. Много раз уже так случилось.

Говорить о работе мне было легче, чем о других вещах. И я говорил. И чувствовал, что странная робость моя постепенно проходит. Снова вспомнив о Веньке, я скачал:

— Он ни за что бы не поверил, что я сейчас вот сижу с тобой.

Но самого меня уже несколько не удивляло в эту минуту, что девушка эта, о которой мы так много думали, сидит вот рядом со мной, очень близко от меня, как я не сидел даже с Катей Петуховой.

Я уже начинал потихоньку смелеть. Я ведь и раньше не был робким парнем. Робость моя — явление совершенно случайное, может быть, даже болезненное, как шок.

И вот я начал поправляться от шока и смелеть больше, чем надо. До глупости начал смелеть. И, конечно, по глупости я сказал:

— Венька сейчас бы волосы рвал на себе, если б знал, что я с тобой...

— Почему? — вдруг порывисто спросила Юлька. И мой френч вдруг упал с наших плеч.

— А так, — сказал я, снова накидывая френч на юлькины плечи. — Он ведь в тебя страшно влюблен.

Юлька слегка потянула к себе правый борт френча и снова прижалась ко мне. Я заметил, что слова мои, наконец, заинтересовали ее, и мне захотелось рассказать ей по-свойски, как мы покупали у нее спички, как не спали по ночам.

Не понимаю до сих пор, почему я вдруг расчувствовался так и повторил:

— Он страшно в тебя влюблен.

— А ты?

— Что я?

— А ты влюблен в меня? — почему-то шопотом спросила Юлька. И заглянула мне в глаза, как цыганка.

Вот тут я, действительно, замаялся, говоря:

— Как тебе сказать...

— Ну, раз не знаешь, как сказать, лучше не говори, — попросила Юлька. — Я сама понимаю, что не влюблен.

Однако в голосе ее на этот раз я не услышал ни обиды, ни сожаления. Она даже не отодвинулась от меня, и мы снова сидели рядом под моим френчем, хотя она уже не прижималась ко мне так сильно. Это я заметил. Я понял, что в эту секунду ушло от меня что-то очень важное, такое, что секунду назад принадлежало мне.

Я огорчился, но огорчения своего никак не выразил. Я сказал только минутой спустя по-стариковски:

— Это, видишь ли, не такая простая вещь.

Юлька молчала, и я снова слышал ее дыхание.

Может быть, ни меня, ни Веньку она никогда не любила, думал я после. А, может быть, естественно нуждаясь в любви в свои восемнадцать лет, она полюбила бы каждого из нас.

Но тогда, заговорив с ней после некоторого молчания, я поверил, что она по-настоящему влюблена в Веньку. Про Яшку она сказала:

— Мне с ним совсем не интересно. Правда, я взяла у него книжку «Огонь любви». Прочитаю и отдам.

Я ушел домой, взволнованный сложным чувством, в котором были, наверное, и любовь, и досада, и больше всего запомнилась тоска.

Юлька Зайцева, красивая, нервная, нетерпеливая, посидев со мной на берегу один вечер, надолго расстроила меня.

После вечера с Юлькой мне уже не так интересно было встречаться с Катей. Хотя и в Юльку я, кажется, не был влюблен.

В Юльку влюблен был Венька.

Вот здесь бы начальнику нашему и следовало принять строжайшие меры, если б он мог их принять. Здесь, в запутанной этой влюбленности и следова-

ло искать причины нашего грустного настроения, которое первым заметил начальник. Он все спрашивал:

— Это чего такое случилось? Почему носы повесили? Орлы!

Начальник сильно беспокоился. Он думал, что мы устали. А время было горячее, и отдыхать было некогда.

Впрочем, работали мы, как прежде, сколько надо и как следует.

Венька Малышев установил связь с одной из многочисленных любовниц Кости Воронцова, «императора всея тайги», и мы ждали только подходящего случая, чтобы взять «императора» живым.

Нам работать теперь приходилось и днем, и ночью, выслеживая его пути.

Наконец наступил тот трепетный период, когда многое стало ясным, и дня через три можно было ехать на заключительную операцию в тайгу, точнее — в Оловянную падь.

Эти три подготовительных дня и три ночи нам следовало также напряженно работать. Далеко еще не все было сделано. Но начальник, жалея нас, вечером сказал:

— Идите теперь, ребята, выспитесь, как полагается. И на два дня вы совершенно свободны. Отдыхайте. Я сам тут пока буду действовать.

Мы, конечно, отказались. Но начальник закричал на нас, что это его дело думать, кому работать, кому отдыхать, что он пока тут начальник.

— Я велю отдыхать, — значит, разговоров никаких быть не может. — И посмотрел на нас строго, как всегда в таких случаях: — Кажется, всем ясно?

Мы повиновались. Но спать все-таки не легли, а пошли в городской сад к Долгушину. Венька сказал мне, смеясь:

— У Долгушина, наверно, все пиво прокисло. Давно мы у него не были.

По дороге мы встретили Яшку Узелкова. Он интересовался, почему нас так давно не видно, и спрашивал, что слышно в преступном мире. Он так всегда и говорил — преступный мир. Мы сказали, что пока ничего не слышно, ничего не знаем.

— Опять секрет полишинеля, — сказал Яшка.

Я спросил:

— Полишинель — это тоже из энциклопедии?

— Почему из энциклопедии?

— Говорят, — сказал я, смеясь, — что ты всю ее замусолил в библиотеке. Хотят на тебя в суд подавать.

Я, конечно, хотел уколоть Яшку. Однако я никогда не думал, что он способен так смутиться. Он вдруг покраснел чуть не до слез.

Но я не пожалел его и еще сказал:

— Знаем, знаем, откуда вся химия. А мы-то думали — ты университет кончил.

Венька уже знал про мой разговор с Катей. И мы смеялись оба. А Яшка стоял перед нами растерянный.

Выкатив чуть-чуть глаза по своему обыкновению, он старался смотреть на нас вызывающе, а похоже было: еще секунда — и он заплачет.

В конце-концов нам стало жалко его. И я сказал, желая потушить его обиду:

— Пойдем с нами к Долгушину.

— Нет уж, — сказал Яшка. — Спасибо. — И ему удалось выдавить на взволнованном лице своем улыбку. — Я уж лучше энциклопедию пойду читать.

И он прошел мимо.

Пужинав у Долгушина, мы вышли из павильона, и я опять увидел Ваську Царицына.

— А Юлька только сейчас меня спрашивала, почему вас не видно, — сказал Васька. — А вы вот. — И он счастливо заулыбался. — А Юлька на берег пошла. Вы ее еще догоните...

— Зачем нам догонять, — сказал я независимо.

Но когда Васька Царицын зашел в павильон, мы, не уславливаясь, пошли на берег.

На том самом месте, где я однажды сидел с Юлькой, сейчас сидели две девушки. Длинная, заросшая аллея кончалась как-раз у этого места. Мы вышли прямо на девушек. И они разом вздрогнули и обернулись.

Я поздоровался с ними и потом точно так, как Васька Царицын меня, взял

Веньку за руки и познакомил сразу с Юлькой и с Катей. Катя сказала, показав глазами на Веньку:

— Я с ним уже знакома. Я с ним в комиссии была, маслозавод проверяли. Помнишь?

— Помню, — сказал Венька.

Потом, как водится, я с Катей пошел вперед. А Венька с Юлей — за нами. И я нарочно сделал так, чтобы мы потерялись.

Венька нашел меня только дома. Он пришел домой, как больной. Вялый какой-то, усталый. Я подумал, что Юлька обидела его так же, как меня, не дав собраться с мыслями. И, честно говоря, я рад был этому. Но Венька, снимая через голову рубашку, вдруг сказал мрачно:

— Я, наверно, женюсь на ней.

— Женись, — сказал я, почти не удивившись его словам. И еще добавил зачем-то: — По-моему, она тебя любит.

На это Венька ничего не ответил. Аккуратно сложил около кровати на стуле одежду и молча лег в постель. Мне тоже не хотелось разговаривать. После этой встречи с Катей настроение у меня было неважное.

Перед Катей я чувствовал себя жуликом. Надо было или сказать ей, что я сидел тогда с Юлькой под френчем, или не говорить, забыть это.

Ведь Веньке я тоже всего не сказал. Надо, подумал я, сказать прежде всего Веньке. А то какие же мы товарищи?

Но Венька, должно быть, спал. Я сидел за столом. Потом тихонько отодвинул стул, встал и на цыпочках прошел к своей кровати.

Я уже разделся и лег, собираясь погасить свет, и в последний раз посмотрел на Веньку. Глаза у него были открыты, и он смотрел на меня. Я даже вздрогнул. Но он, не обратив на это внимания, сказал:

— Слушай... как ты считаешь, сказать Юльке, что у меня было?..

Венька приподнялся на подушке.

Ему шел двадцать первый год, но у него уже была сложная биография мужчины. В биографии этой было, помимо

всего, ремесло токаря по металлу, два с лишним года работы в уголовном розыске, три ранения и давно излеченная секретная болезнь — гоноррея. Говорить ли Юлке про эту болезнь, если она станет женой, товарищем, может быть, на всю жизнь?

Я сказал:

— Не знаю. Но, по-моему, надо сказать. Неудобно так. Как будто обманул.

— А когда сказать? — спросил Венька. — Сейчас или потом?

— Сейчас, — сказал я.

Венька снова лег на подушку и задумался. И я задумался тоже. Я тоже думал: сейчас сказать ему все в подробностях про тот вечер или потом? Ну, хорошо, я скажу ему сейчас, он расстроится. А если сказать после?.. А если совсем не говорить? Ведь ничего особенного не было. Просто сидели рядом. Я ведь уж сказал ему, что мы сидели рядом. Про френч только не сказал. Ну, скажу про френч, что сидели под френчем...

Но Венька первым нарушил тишину.

— Ты знаешь, — сказал он и повернулся лицом ко мне. — Вот я всегда думаю. Дай мне три месяца свободных. Совсем свободных. Чтобы никакой работы, ни воров, ни бандитов. И я буду думать про свою жизнь. Как я жил, как мне жить дальше. Я все ошибки свои вспомню, где когда промазал, не доглядел. И все начну по-новому. Чтобы ни одной ошибки. Вот тогда я буду примерный комсомолец. А то ты знаешь, как может получиться. Будет полный коммунизм. Будут новые люди, которые еще с пионеров начали. И не только самогонку не пили, но и красное вино даже не пробовали. И они нам скажут...

Но что они нам скажут, Венька, видимо, еще не знал. Он замолчал неожиданно, впрочем, как часто делал, оборвав себя вдруг на полуслове, и отвернулся к стене.

Он долго лежал так, отвернувшись. Потом снова окликнул меня:

— Ты знаешь, я ей все равно не смогу сказать про это. Мне стыдно..

— Действительно, — сказал я.

И в эту минуту впервые мне представилась нелепой вся эта история. Венька ведь сегодня только познакомился с девушкой и уже собирается жениться на ней и рассказывать такой секрет.

Хотя, — сию же минуту подумал я, — ничего удивительного: он давно ее любит, и она, наверно, тоже. Все дело было в Веньке. Раз Венька сказал, что женится, — значит, это серьезно, прочно, окончательно.

Я сказал:

— По-моему, тебе лучше написать ей письмо. И пусть она ответит, согласна она в таком случае или нет...

— Правильно, — сказал Венька.

Венькины дела отвлекли меня от моих мыслей. Я успокоился немножко и скоро уснул.

Я спал и видел тревожные сны. За мной, маленьким, может быть, трехлетним и бесштаным, гналась огромная, лохматая собака.

И, пугаясь этой собаки во сне, я, уже большой, восемнадцатилетний, думал во сне же: собака — это к добру, она друг человека. Бабушка говорила, что видеть собаку во сне — хорошо.

Но собака наконец догнала меня и схватила за шею. Я вскрикнул.

— Извини, — сказал Венька. — Я хотел тебе прочитать, чего я ей пишу. Слушай.

И он, стоя передо мной в одном белье, начал читать письмо, сочиненное только-что, на котором еще не остыло, наверно, тепло его рук.

Из письма до сознания моего долетали отдельные фразы. Например: «... принимая во внимание, что я первый чистосердечно сообщил тебе, ты должна учесть...» или: «...я не хочу, чтобы ты уличала меня потом, когда другие...», или: «...все это есть следствие причин, о которых я тебе расскажу лично...».

Письмо он закончил словами, памятными мне до сих пор:

— *«Я хочу, чтобы у нас были дети и чтобы мы учили их, что флинтить никогда не надо. Подумай и ответь мне в письме. Жму твою красивую руку, обещаю всю жизнь любить тебя, как това-*

рища. С комсомольским приветом. В. Мальшев. 15 апреля 1923 года».

— Правильно? — спросил он меня, улыбнувшись удовлетворенно, будто сбросив тяжелый груз.

— Правильно, — сказал я.

— Ну, тогда будем спать, — сказал он. Утром перепису.

А за окном уже начиналось утро.

Часа через три нас разбудил телефонный звонок. Звонил начальник:

— Скучаю, — говорил он, и я слышал в трубке его рокошущий смех.

Венька, так и не переписав письма начисто, запечатал его в конверт, написал адрес, наклеил марку и сказал:

— Надо сейчас же отправить. А то забуду или передумаю.

Мы вышли на улицу, и он бросил письмо в почтовый ящик, вздохнув при этом и улыбнувшись грустно.

Начальник встретил нас весело.

— Ну, вот видите, — сказал он. — Я вам предоставил отдых, а «император» против. Шумит, суккин сын!

Через час мы уже были в дороге.

Надо было, между прочим, еще раз проверить весь участок, на котором «император» должен выставить сторожевые посты, отправляясь к своей возлюбленной в Оловянную падь.

Венька сам расставлял засаду, боясь, как бы кто-нибудь из непосвященных людей не нарушил его планов. Бандитские сторожевые посты надо было снять без единого выстрела. И без единого выстрела надо было взять самого главаря.

Венька твердо условился с его возлюбленной, что в час, когда «император» посетит ее, она поднимет у своей избы длинную жердь, которую видно будет издалека.

Все эти дни мы часто возвращались мысленно к этой жерди: поднимет или нет?

— Должна поднять, — говорил я.

Но Венька, видимо, сомневался и старался всячески укрепить другие средства, которые позволили бы нам взять «императора» живым и в том случае, если любовница его изменит нам, не пожелав изменить ему.

— Все равно он будет у нас, — уверенно говорил Венька.

Однако я чувствовал, что какая-то деталь беспокоит его. Что-то огорчает. Я хотел выяснить: что? Но Венька как будто уклонялся от этого разговора.

Наконец, когда в последнюю ночь перед поймкой «императора» мы сидели у маленького костра в лесу, Венька мне сказал:

— Не верю я. Понял? Не верю, что она его завалит. Ведь она ему примерно как жена...

Ночь была темная перед рассветом. И от костра она становилась еще темнее. Из глубины тайги приходили шорохи. Это, может быть, птица во сне шевелила крылом, набухали и лопались почки на лиственницах или заяц смело шел по своим делам, шурша прошлогодним листом.

Пахло жженой ореховой шишкой, сухеным грибом и пшеничным хлебом, лежавшим у костра на камнях. Костер потрескивал, чем-то напоминая родительский дом, лежанку у печки, мягкую шубу, разостланную на лежанке.

Непреодолимо хотелось спать. И сквозь дрему, тянувшую в детство, я сказал:

— Но он же бандит, сволочь...

— Я не об этом говорю, — нервно сказал Венька. И как будто обиделся даже. — При чем тут бандит? Он бандит, и она тогда бандитка. Но он же муж ей.

— Глупость ты говоришь, — сказал я, подражая нашему начальнику, и, подтянув к себе хвойную ветку, стал сердито обрывать ее, вдыхая острый запах. — Что значит муж, если он бандит?

— А... — сказал Венька и махнул рукой. — Все равно ты меня не поймешь. Бандит, бандит!.. Затвердила сорока. У людей должно быть какое-нибудь чувство или они — собаки? Любовь есть на свете или нету? Ведь должна же она его жалеть или не должна? Вот я о чем говорю...

И опять, подражая нашему начальнику, я сказал:

— Это, собственно говоря, вопрос косвенный...

Венька сердито встал, отошел от ко-

стра, разостлал на траве свой полушубок, лег на него и заговорил медленно, будто читая по книге:

— Или ты сам дурак, или меня дураком считаешь. Я же великолепно понимаю, что есть общество, все делается для блага общества, и надо убирать всех, кто мешает. Муж он, брат тебе или отец. Но человеку-то ведь трудно побороть себя. Если она, жена его, верит, что мужа ее надо убить, чтобы спасти других, и помогает этому, она — герой. Но если она, подлая, жила с ним и делала вид, что любит его, и он, может, ночью говорил ей слова, каких никому никогда не скажет, а она потом выдала его, — так она после этого бандит пострашнее всякого Кости Воронцова. Вот о чем я говорю. И, может быть, на свете таких немало...

Ветки захрустели, послышались шаги. Мы насторожились. Из-за лиственниц вышел человек. Он сказал строго:

— Спать надо.

И мы узнали голос начальника. Начальник одет был, как странник, — в ватном деревенском пиджаке, в широких ичигах и в старенькой суконной фуражке.

— Спать надо, — повторил он. — Я посижу, погреюсь тут маленько.

И нам пришлось прекратить дискуссию.

Часов в двенадцать дня дискуссию нашу решил долгожданный факт. У избы любовницы появилась жердь, с куском пакли на конце. Мы увидели ее с сопки. И начальник сказал торжественно:

— Началось.

А ровно через полчаса все кончилось.

Без особенных трудностей были сбиты и обезоружены все бандитские сторожевые посты и захвачен, как и требовалось, живым «император всея тайги», много лет неуловимый, беспокойный кулацкий сын Костя Воронцов.

Этот факт, такой, казалось бы, значительный, никого из нас, однако, не удивил и даже не сильно обрадовал в первое время. Уж слишком долго мы мечтали об этом случае и слишком просто осуществилась наша мечта.

А Венька Малышев выглядел как будто расстроенным. Когда Костю Воронцова усадили в телегу, чтобы везти в город, любовница его, ничуть не потрясенная, румяная, сытая женщина в холщевом переднике, все время ходила вокруг Веньки и говорила наредкость хладнокровным, каким-то мятым голосом:

— Вот видите, товарищ начальник, я вам пообещала и сделала. Мое слово — камень.

И она бесконечно повторяла эти три последние слова. А Венька точно стеснялся ее и старался не смотреть ей в глаза.

Потом, когда мы сели на коней и женщина эта осталась позади, он сказал мне, вздохнув:

— Ну, и стерва. Застрелил бы, не дрогнув. Вот такая может тысячи людей погубить. Никого ей на свете не жалко.

И всю дорогу молчал.

В молчании дорога показалась нам особенно длинной. Она шла сначала через густой, односторонне шумевший лес, изгибаясь вокруг широкоствольных деревьев, потом пошла напрямик через мелкий кустарник, по кочкам, и, наконец, вышла на пыльный, горячий тракт, поросший по бокам цветущим богульником.

— Эх, кваску б мне сейчас испить, — вздохнул вдруг Костя Воронцов и тяжело пошевелился в телеге. — Хлебно-го б. С узюмом.

Все промолчали. И только Семен Воробьев, старичок, старший милиционер, ехавший верхом рядом с телегой, тоже вздохнув, сказал:

— Нет, видно, отпил ты свой квас, Кинтинктин. Не будет тебе больше ни квасу, ни кофию.

Костя Воронцов покосился на него крупным лошадиным глазом.

— Эх, попался бы ты мне, папаша, — сказал он задумчиво, — Я бы из тебя сделал барабан.

— Знаю, — сказал Воробьев. — Да не дал бог свинье рог. Для того и не дал, чтоб она не хулиганичала.

Венька Малышев подъехал к ним и велел прекратить разговоры.

— Для чего ты пристаешь к человеку? — сказал он Воробьеву.

— Он меня сам затрагивает, товарищ помощник начальника, — по-детски обидчиво объяснил Воробьев. — А я ничего не говорю. Я только говорю, раз он из-за бабы пострадал, так пусть лучше помалкивает.

— И ты помалкивай, — строго посоветовал Воробьеву Венька. И отъехал от них.

Он снова ехал рядом со мной, а лицо у него было такое, как будто он едет один и никого вокруг него нет. Меня он как будто не замечал. И только когда мы въезжали в город, Венька вдруг сказал:

— Интересно, пришло мне письмо или нет. — Потом, как бы убеждая себя и только для одного себя добавил: — Наверно пришло.

После этих слов мне почему-то стало казаться, что письмо это еще не пришло и, может быть, никогда не придет. Но я ничего не сказал.

У нас была нормальная мужская дружба, лишенная сентиментальности, излишней открытости и холуйского лицемерия. Вероятно, если б я попал в беду, Венька сделал бы все, чтобы выручить меня. Но он же никогда бы не решился жалеть меня или успокаивать.

У каждого есть свое представление о силе своей, и каждый поднимает столько, сколько может или хочет поднять. Вмешиваться в сугубо личные дела, советовать, уговаривать, предполагать — это значит в какой-то степени не уважать товарища, считать его слабее себя.

Поэтому я молчал.

Но Венька выглядел в этот час, когда мы возвращались с операции, хуже, чем в дни самых тяжелых наших неудач. У него вдруг ввалились глаза, побурело лицо, и я заметил, что у него чуть дрожат руки. А это был здоровый парень, большой и сильный. В нем совершался, видимо, какой-то сложный и трудный процесс.

Соскочив с коня, он первым долгом спросил в дежурке:

— Письма мне не было?

— Не знаю, — ответил дежурный. — По-моему, чего-то было.

— Узнайте, — сказал Венька.

Дежурный посмотрел в книгу и сказал:

— Заказных не было. А простое если, так это надо спросить у Вити. Он куда-то ушел.

Венька послал за Витей. И мы прошли к себе в комнату. И следом за нами пришел Яшка Узелков. Он просил, конечно, рассказать все в подробностях. Но мы были усталые, собирались итти ужинать и советовали ему поговорить пока с кем-нибудь другим, кто был на операции.

Нам сильно хотелось есть, и, не умываясь, не переодеваясь, мы собирались итти к Долгушину. Вот только надо было дожидаться Витю.

Пришел посыльный и сказал, что Витя ушел в кино. Он имел право уйти в кино, он свою работу кончил. Но Венька сердился и говорил:

— Это же не богадельня в конце-концов, собачьи души, а уголовный розыск. Ушел Витя, и письма не могут найти. А, может быть, совсем и не было письма?

— Какое ты письмо ищешь? — спросил Яшка. — Не это?

И вынул из портфеля то самое письмо, которое всю ночь перед нашей поездкой писал Венька.

Венька взял это письмо и недоуменно стал читать его.

А Яшка тем временем говорил:

— Написано, как протокол вскрытия. Я читал и прямо за голову хватался. Любовное называется письмо! Я представляю себе лицо Юльки...

Венька мгновенно порвал письмо на мелкие клочки и, порывисто встав из-за стола, сказал мне:

— Пошли.

По дороге он плевался, точно попробовал что-то поганое.

Я делал вид, что ничего не заметил.

У Долгушина он слегка успокоился, спокойно причесался перед зеркалом и вошел в павильон, как всегда входил в общественные места, чуть приподняв голову и успевая, однако, рассмотреть все окружающие его предметы и людей.

Долгушин подбежал к нам, когда мы

уже были в павильоне. Венька коротко сказал:

— Ужин нам.

— И пивка позволите? — скороговоркой спросил Долгушин.

— И пивка.

Уже накрыв на стол, Долгушин, весь изогнувшись, спросил:

— Говорят, поймали вы этого самого Воронцова?

— Поймали, — сказал Венька.

— Ну, хорошо. Очень хорошо. — И Долгушин еще больше изогнулся перед нами: — Интересно, что ж вы будете теперь делать с ним? Застрелите, наверно...

— Застрелим, — механически сказал Венька.

— Ну, хорошо, — снова сказал Долгушин. — Очень хорошо. А я думал, вы его еще судить будете.

Венька не слушал Долгушина. И поэтому я, чтобы не было неясности, кратко объяснил, что мы никого не судим, мы только ловим. А это уж суд решит, что с ним делать, с Воронцовым.

— Суд? — сказал Долгушин. — Ну, это хорошо. Очень хорошо.

— Что хорошо? — сердито спросил я.

— Все хорошо, — не моргнув глазом, сказал Долгушин. — Поймали, — значит, хорошо.

Эти слова почему-то обозлили меня. Может быть, потому, что показалось, что он хвалит нас. Я пожалел, что начал с ним разговор.

А Венька ел котлету. Он ел ее неохотно, лениво ковырял вилкой и, временами морщась, как от кислого, тупо смотрел на перечницу.

Потом отодвинул тарелку, взял бутылку с пивом и налил сначала мне, затем себе. Поднимая стакан с пивом, не глядя на меня, он сказал:

— Все-таки мне здорово обидно. Я никогда не ожидал.

— Да, — сказал я. — Юлька поступила, как... я не знаю, кто. Главное — нашла кому дать письмо, Яшке!.. Он теперь будет трепаться.

— Пусть, — сказал Венька. — Я сам виноват, что поверил. Какой же я работник уголовного розыска...

Я не знал, что ответить. Я отпил полстакана пива и стал доедать котлеты.

И вдруг я услышал протяжный и странный какой-то крик. Я поднял голову. У Веньки из виска была толстая струя крови. Выстрела я не слышал. Я слышал только, как упал на дощатый пол тяжелый револьвер. Венька толкнулся в сторону и пополз со стула.

Со мной случилось что-то неладное. Я не бросился к Веньке, а торопливо стал допивать оставшееся в стакане пиво.

А когда его допил, вокруг нас уже собралась толпа. Я встал из-за стола, как пьяный, отбросил стул, деловито отстегнул кольт и пошел на толпу, рассчитывая себе путь к телефону.

Я кричал что-то, но крика своего не слышал, как во сне. Зато помню все, что сказал в трубку. Я сказал:

— Товарищ начальник, ваш помощник Малышев умер. Сейчас в саду. Я звоню из сада.

Но не помню, что мне ответил начальник, так же, как не помню, что я делал, отойдя от телефона. Я помню только, что начальник, приехав в ресторан, схватил меня за руку, в которой был зажат кольт, вырвал его и сказал почему-то шопотом:

— Нашли место, где стреляться.

И этот шопот дошел до моего сознания. Помню, что первое чувство очень ясное, испытанное мной в тот момент, было не жалость, не сожаление, а стыд, что все это произошло в таком месте. У Долгушина, которого мы презирали. А мы — комсомольцы.

Затем я удивился, увидев в дверях венькины ноги в неестественном положении. Обугые в сапоги, они болтались на весу.

И только затем я совершенно ясно понял, что Веньки больше нет.

Начальник посадил меня в свою пролетку. И сидел со мной рядом, говоря:

— Спать, спать, спать.

Проснулся я в квартире у начальника. Начальник сидел около меня на стуле и говорил голосом, необычайно спокойным и неожиданно добрым:

— Глупость есть самая дорогая вещь на свете. Я это на себе испытал.

В полдень я сидел и принимал дела покойного старшего помощника начальника по секретно-оперативной части товарища Вениамина Малышева.

Венька лежал уже в гробу в клубе. Начальник не разрешил мне идти в клуб.

Я принимал дела, рылся в чужом столе, читал бумажки. Сознание у меня все еще было затуманенное, как после болезни.

Первой мне попалась опись вещественных доказательств, в которой четким почерком было написано:

«1. Сыромятные ремешки-ушивки, имеющие большую прочность и свойство крепости при завязывании узла.

2. Охотничье ружье марки «Геха», обладающее свойством поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле.

3. Американской системы винтовка марки «Винчестер», замечательная большой дальностью».

Мне вспомнилось начало весны, первые пожары в тайге и любовное письмо, которое всю ночь писал Венька. Все это было совсем недавно, на-днях.

Но мне казалось теперь, что это было очень давно. Бумаги эти, исписанные нетвердым, почти детским почерком, начинали как будто желтеть. Я старательно перебирал их, будто разыскивая что-то самое главное.

В это время в комнату мою ввалился Васька Царицын. Он не говорил, а кричал:

— Ты знаешь, как это получилось? Оказывается, Венька влюбился в эту сумасшедшую дуру. А она его осрамила на весь город. А он взял и застрелился. Как идиот...

Я сказал, как мог, спокойно:

— Выйди, Васька, сейчас же из помещения. Или я...

Васька понял меня и ушел сейчас же. А я вылез из-за стола и отправился в кабинет начальника доложить, что в бумагах покойного ничего существенного не найдено, что могло бы дополнительно указать на причину его смерти.

Я вошел в кабинет без разрешения. Как входил Венька Малышев. Как имеет

право входить старший помощник начальника. Я имел теперь такое право.

Но начальник вдруг вскочил из-за стола и закричал:

— Кто позволил входить без стука?!

— Простите, — сказал я, обиженный, и повернулся, чтобы уйти.

Однако начальник задержал меня. И тут я увидел, что очки его запотели и что лицо его, всегда чисто выбритое, гладкое, чуть помялось и покрылось вдруг красными пятнами. Я понял, почему он закричал на меня, и опустил глаза, чтобы не смотреть на него.

Но он снова сел за стол, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— А!

Я хотел уже приступить к докладу. Но начальник не дал мне открыть рот и, опять хлопнув ладонью по столу, сказал:

— Какого парня потеряли. А? — И он взглянул в свою раскрытую ладонь, как в зеркало: — Какого парня...

Я тихонько вздохнул. И начальник вздохнул тоже.

— Если б его можно было оживить, — сказал он печально. И вдруг скулы у него зашевелились, что всегда предвещало грозу.

Начальник стукнул кулаком по столу:

— Я бы ему дал десять суток ареста, если б он был живой. Пусть бы подумал, сукин сын, как жить на свете...

Я молчал. Я знал, что десять суток мало. Венька хотел три месяца, чтобы передумать всю свою жизнь и не повторять ошибок.

Но такого срока тогда ему никто не дал бы.

Погода стояла ненастная, когда мы хоронили его. Накрапывал дождь. Но весь город высыпал на главную улицу, на проспект Коммунизма. Всем интересно было поглядеть, как хоронят комсомольца, застрелившегося из-за любви.

Впереди шагал духовой оркестр. За ним шли наши лучшие лошади, запряженные в беговые дрожки, на которых возвышался гроб. А за гробом следовало наше строгое учреждение почти в полном составе. И обыватели, как артистов, рассматривали нас.

Но мы шли, опустив головы, как и полагается ходить на похоронах.

Рядом со мной шел Васька Царицын. Он смотрел себе под ноги и тихонько вздыхал. Мне показалось, что он вздыхает потому, что ему жалко сапог, надетых сегодня в первый раз и уже до колен вымазанных в этой непролазной грязи. Мелкий человек Васька.

Мне захотелось столкнуть его в грязь, чтобы он вымазал не только сапоги, но и новенький френч и удивительно красивую фуражку-капитанку с лакированным козырьком.

Нет, такого дружка, как Венька, мне больше никогда не встретить.

Процессия шла теперь вдоль зеленых решеток городского сада. В этом саду мы гуляли с Венькой. Здесь он и застрелился. Я поднял голову и посмотрел на ворота с резными петухами. И вдруг увидел у калитки Долгушина.

В эту минуту Долгушин поразил меня, как удар. Я ведь почти забыл о нем за эти дни. И вот он стоит у калитки сада и смотрит, как мы хороним нашего товарища, застрелившегося из-за любви.

Гимназисты стрелялись, юнкера стрелялись, барышни какие-то травились уксусной эссенцией. Все это было. Но мы же говорили, что это старый мир, а мы — комсомольцы.

Васька Царицын тихонько потрогал меня за рукав и сказал, кивнув на гроб:

— Уж лучше бы его убили бандиты.

Должно быть, он догадался, о чем я думаю. И это примирило меня с ним. Я понял, что он вздыхает не потому, что вымазал грязью новые сапоги.

Дождь прекратился. Показалось солнце. Кладбищенские деревья сбрасывали на нас крупные дождевые капли. Мы пробивались меж деревьев в центр кладбища, где была вырыта новая могила. И за нами неотступно шли горожане.

Их было больше, чем нас. Много больше. И, когда мы окружили могилу, они стали за нами плотной стеной. Их томило любопытство. И они нетерпеливо дышали нам в затылки.

Может быть, среди них стоял и Долгушин. Может быть, это он и дышал мне в затылок. Но я не мог оглянуться.

У меня было такое чувство, будто я один виноват во всем.

Венька Малышев лежал в гробу, чуть повернув голову, чтобы скрыть то место, в которое вошла пуля. Он лежал, как живой, крепко сжав губы, как делал всегда, обдумывая что-нибудь. В таких случаях, я помню, он иногда закрывал и глаза.

И я готов был поверить, что и сейчас он вдруг встанет, сердито посмотрит на всех и скажет, что это все ерунда, что он никогда не умирал и не умрет, что он просто пошутил, желая проверить, как о нем будут говорить после смерти, и обыватели могут не беспокоиться: он не такой уж дурак, чтобы кончать жизнь самоубийством.

Я готов был поверить в самое невероятное.

Но Венька не встает. Вот уже разбирают доски, на которых держался гроб над могилой. Вот уже гроб забрасыва-

ют землей. Я слышу, как стучит земля по крышке гроба...

Я долго иду среди пышных кладбищенских деревьев, среди буйно цветущих на хорошо унавоженной земле цветов, среди памятников, старых и новых. Земля вольготно дышит после дождя. И над землей поднимается туман. Я долго иду в тумане.

После этого прошло много лет. Я много забыл из того далекого времени, о котором шла здесь речь. Я забыл, наверное, даже некоторые важные подробности. Но запомнилось мне особенно крепко, как на кладбище дышали нам в затылки любопытные горожане, обыватели этого уездного города, где мы были первыми комсомольцами. И, каждый раз вспоминая это, я испытываю заново все ощущения того ненастного, печального дня. И чувство скорби, гнева и сожаления до сих пор не ослабевает во мне.

Москва,
октябрь 1939 г.

Стихотворения

ШАНДОР ПЕТЁФИ

(1823 — 1849 гг.)

★

МОЛОДЕЖИ МАРТА¹

Много слов за годы рабства
Было сказано рабу.
Мы осмелились, мы вышли
Авангардом на борьбу.

И тогда, кто не был в битве,
Кто пришел, отбой трубя, —
Сняли с нас венец лавровый
И надели на себя.

И освобожденья знамя
Подняла моя страна.
Пробудили мы отчизну
От мучительного сна.

Кто вдали от жарких схваток
Спал, таился по задам,
Лишь победа, — загорланил:
— Мы боролись... слава нам...

Землю нашу звали гробом,
Нацию же — мертвецом.
Все четырнадцать миллионов
Ожили в строю одном.

Что же? Пусть за вами слава,
Золотом осыплют вас.
Не за это, не за это
Наша кровь в тот год лилась.

Все едино: слово, чувство;
Сбрасывая тяжкий гнет,
Шел, приветствуя свободу, —
Сердце в сердце, — весь народ.

Будет вновь борьба, — так снова
Наш отряд пойдет вперед!
Нам в бою — и смерть и раны,
После боя — вам почет.

Э то венгры не забудут!
Мир состарится, и дед
С гордостью расскажет внукам
О величии побед.

Пусть на всех, на всех дорогах
Вас встречает славослов:
Эти краденые лавры
С ваших не сорвем голов.

Воина встречала слава,
Был борцу почет вокруг...
Но окончен бой, и слава
Смолкла перед нами вдруг.

Нам — достойная награда:
В бой свобода нас вела,
Пусть за вами слава... только б
Наша родина цвела!

¹ Стихотворение посвящается рабочей и учащейся молодежи, начавшей революционное восстание в Будапеште 15 марта 1848 года.

ЛУЧШИЙ СТИХ

Я написал стихов не мало;
 Не бесполезен труд такой.
 Но стих, чтоб слава ликовала
 Моя, еще не создан мной.

Когда восстанет против Вены
 Народ, — и меч в руках моих
 Напишет в сердце вражьем гневно:
 С м е р т ь! — это будет лучший стих.

★

СУДЬЯ

Ты—судья. И труд рассудка—
 Не забава и не шутка:

Все обдумай и проверь ты
 Прежде приговора к смерти.

Чу... движенье губ лишь... Слово
 Произнес судья сурово.

Осужденный под конвоем,
 Свой палаш палач готовит.

Солнце над землею встало,
 Голова на землю пала.

Кровь из вены бьет фонтаном.
 Как фонтан красив багряный!

У помоста казни—яма;
 Нет холма над безымянной...

Лунной полночью унылой
 Встанет парень из могилы,

За волосы пред собою
 Голову подняв рукою,

И по городу ночному
 Он к судьи подходит дому.

— Ты казнил меня безвинно!..
 Сбросит крик судью с перины,

В дверь, к ногам, с глухим ударом —
 Голова кровавым шаром...

И с тех пор, лишь полночь, властный
 Слышит крик судья несчастный;

Парень входит, осуждая,
 Голову судье бросая.

★

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Видишь... видишь... Что ты можешь
 видеть?

Ночь глубокая вокруг, жена.
 Над землей—полночный мрак и тучи,
 Точно в трауре двойном страна.

Ветер... он—без родины бродяга,
 Он, чужой и небу и земле,
 Мечется меж небом и землею.
 Слышишь, как он стонет в этой мгле.

Хорошо нам. На диване мягком
 Дремлешь ты; я—рядом, здесь,
 с тобой.

Хорошо нам в комнате уютной
 У огня, под крышей, за стеной.

Но... есть люди... бродят по дорогам;
 Вьюга рвет лохмотья с их груди,
 Треплет волосы, с пути сбивая,
 С визгом пробегая впереди.

Улицей идут они... заманчив
 В окнах тихий свет: свечей покой.
 Но проходят мимо,—кто откроет
 Дверь бродяге поздней порой?

Кто же, кто же может знать: чем
 был он?

Станет чем? Судьбу не знаем мы...
 Так и я когда-то был бродягой,
 Без пристанища, бродягой тьмы.

Шел усталый, слабыми ногами
Грязь месил на всех дорогах я.
Но, взлетев на крепких крыльях
к солнцу,
Светлою была душа моя.

Улыбаясь, шел, мечтал: какое
В дар сокровище отчизне дам...
Что́ подумали мне вслед, кто видел?
Вором, зная, сочли меня тогда.

★

КУРИЦА МАТЕРИ

Что такое? Птичий гомон...
Курица, ты здесь — как дома!
Бог добро творит нередко:
Возвеличена наседка.

Королю живется хуже.
Чести кто такой заслужит?..
Что бы ни было с тобою, —
Яйца ты неси чредою.

Ходишь по дому всезнайкой,
Сядешь на сундук хозяйкой
И кудахтаешь, трезвоня,
И никто тебя не гонит.

Ты же, добрый Моржа, слушай,
Навостри собачьи уши:
В доме старожил известный,
Ты служил все годы честно.

Где тут гнать? С ней глаз не сводит
Мать-старуха; следом бродит
И голубит, и любовно
Кормит с рук зерном отборным.

Голодая у порога,
Ты курятину не трогай:
Все богатство в ней, дружнице,
У старухи этой нищей.

★

КОНЬ БУЛАННОЙ МАСТИ

Конь буланой масти, конь игривый,
Золотом червонным пышет грива.

Подкует кузнец тебя, и, рьяный,
Ты помчишь меня к моей желанной.

Имя у коня — Звезда. В дороге
Падающих звезд быстрее ноги.

Уголь в кузне и горяч, и пылок;
Горячее угля — взоры милой.

Захромал буланный конь мой снова:
Потерял с одной ноги подкову.

Как железо на огне, — покорным
Стало сердце перед знойным взором.

Перевод с венгерского
С. Обрадовича.

К и р о в

Сцены для кино

КОНСТ. ФЕДИН

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

<i>Сталин</i>		<i>Берг</i>	} ученые
<i>Киров</i>		<i>Линевич</i>	
<i>Петров</i>		<i>Ярошенко</i>	
<i>Иван Газа</i>	} работники «Красного путиловца»	<i>Койбин</i>	— саами
<i>Чорбов</i>			<i>Агаша</i> , его дочь
<i>Леня, его сын</i>			<i>Михаил Исавич</i>
<i>Мать Лени</i>			<i>Шатурский</i>
<i>Ольга</i>			<i>Боговик</i>
<i>Директор завода</i>		<i>Яков</i>	} зинovieвцы
<i>Мавра Савватиева</i>	} спецпоселенцы	<i>Маргоша</i>	
<i>Егорушка, ее сын</i>			

Время действия: I — 1926 г.
II — 1929—30 г.
III — 1933—34 г.

★

1926

Снежное утро. Дымы над «Красным путиловцем». Гудок.

Внутри вагономеханического цеха еще пусто, недвижны станки.

Леня перебегает от одного станка к другому. Приподнял блузу, вытащил из-за пояса брошюру, выдвинул рабочий ящик, сунул в него книжку, озираясь, побежал дальше. Следом за ним, крадучись, — другой молодой парень. Выдвинул ящик, взял брошюру, прищуриваясь, прочел название, подмигнул, — понятно, мол, — брошюра называется: «О новой оппозиции». Так они крадутся по цеху, первый, не видя второго, и первый раскладывает книжки по рабочим ящикам, второй, таясь от него, вытаскивает их оттуда.

★

Помещение заводского партколлектива. Члены бюро. В центре, за столом, — Шатурский. Леню приводят провожатые. Среди них — парень, выследивший Леню в цеху. Шатурский показывает им на дверь. Физиономии провожатых вытягиваются. Шатурский подвигает Лене пачку брошюр: «Что же, поручил тебе кто распространять или ты сам?». — «Поручил». — «Ах, вона! Кто же, если не секрет?». — «ЦК большевиков». Члены бюро смеются. Шатурский: «И давно тебе дает поручения ЦК?». Чорбов: «А кто брошюру напечатал, ЦК?». — «Это ты правильно, — с одобрением и наставительно говорит Шатурский, — мы ведь тоже не против ЦК». Леня озирается, — с кем он? — недоверчиво ждет: что дальше? Шатурский: «Мы ошиблись, ЦК нас поправил, за это мы ему по-ленински благодарны». «Чего же от меня хотите?» — спрашивает Леня. «А ведь вот ты брошюрку-то рассовывал тайком. Почему? Потому что без ведома своей парторганизации, выходит — против нее». «Нет, потому что вы есть оппозиция, про которую тут написано!» — с жаром восклицает Леня, стукнув ладонью по брошюрам. «Не кипятись, кипяток, — вступает в разговор

один из членов бюро. — Кто тебе сказал, что мы — оппозиция? Москвич какой нашелся! Или ты член организации, тогда не смей действовать через нашу голову». «Выкинуть его из партии — и точка» — злобно говорит другой. И тогда с мягким беспристрастием заключает Шатурский, разводя руками: «Сам видишь, горячая голова, члены бюро ставят вопрос о твоём исключении». Леня медленно поднимается, уходит молча. Шатурский, усмехнувшись, взял брошюрок, швырнул их в открытый ящик стола и задвинул ящик ногой...

★

Две обжитых прибранных комнаты в старом доме, за Нарвской заставой. Цветочки на окнах. Дверь в кухню открыта, у печи хозяйничает мать Лени. В большой комнате — трое. Рассказывает Чорбов, его слушают сын с Ольгой.

Рассказ Чорбова-отца

«Город Астрахань — не простой город, а ворота к нефти, в Баку, и ворота к рыбным промыслам, на Каспий, за селедкой. Белогвардейцы это не хуже нашего понимали и прямо рвались выбить нас, отобрать город. И вдруг получается от Троцкого директива. Сдать Астрахань белым, начать эвакуацию. Тут я, грешный человек, призадумался. Иду по улице, а навстречу — Киров. «Сергей Мироныч Киров, — говорю я ему, — слышал я, нам приказано эвакуироваться. Верно?». Он — хватя меня по плечу и говорит: «Чудак-человек, куда, к чертям, эвакуироваться? Ступай, крути, подбирай партизанские рабочие отряды!». Я повеселел сразу: такой он был решительный. А немного погодя узнаю: послал Киров доклад Ленину — о том, чего требует Троцкий, а Ленин в ответ приказ: «Оборонять Астрахань до конца». И сказал тогда Сергей Мироныч: «Все здесь умрем, но Астрахань не сдадим!..».

Бросив печку, подседа послушать мать Лени. Старик рассказывает всё с бóльшим увлечением: «А тут белогвардейцы в городе восстание поднимают, охватили нас кольцом, душат. Сил у нас было мало, прорвем где кольцо, а оно опять сжимается, смерть, как было тяжело. Сергей Мироныч сам всей борьбой распоряжался. И придумал он — разрушить белогвардейский штаб артиллерией. Нужен, говорит, опытный наводчик, чтобы ничуть не пострадало мирное население. Отыскали в Астрахани одного старичка артиллериста, во, какой мастер! Только — лукавит: ни за белых, ни за красных. «Пусть поцапаются хорошенько, тогда, говорит, я увижу, к кому мне пристать...». Киров сказал одно: «Пришлите его мне». И удивительное дело: поговорил он со старичком наедине, и выходит тот от него — сияет, словно чайник, доволен: «Ну, — говорит, — как я обещал тебе, Сергей Мироныч, так тому и быть, без поворота». И слышим мы — трах-тара-рах! — из пушки: снес старичок дом, в котором стоял белый штаб, до самого до основания! И пошло тогда все, как рассчитал товарищ Киров: поднялась у белых паника, смали их наши отряды и переколотили...». «А где же делся старичок-то?» — спрашивает с нетерпением хозяйка. «Артиллерия-то? А он того, — показывает Чорбов, — закладывал за это вот местечко...».

«Какая сила убеждения!» — восхищенно говорит Ляня. Ольга трогает его локоть: «Ляня, посоветуйся!». Ляня сердито отмахнулся, мать сразу настожила, и вдруг, все по-своему поняв, — одобрительно: «И правильно: надо с отцом и матерью посоветоваться! А то какой порядок завелся? Погуляли, погуляли, глядь — на тебе! — поздравьте! Мы уж записавшись!». «Да мы не про то!» — раздосадованно бормочет сын. И Ольга, улыбаясь, отворачивается к окну. «Это как же не про то?» — не хочет понять мать. «Поди, пригорело у тебя чего-то в печке!» — говорит отец, и она кидается в кухню.

Ольга опять настойчиво: «Ляня! Пойди ты к товарищу Кирову». Он не отвечает. Смотрит на отца. Отец набивает

трубочку, смотрит на сына. Вдруг сын встает. «Ну, как я к нему приду? «Ты что пришел?» — спросит он. «А меня, товарищ Киров, из партии выкидывают...». Ведь стыдно!». Он отворачивается, ему ни на кого не хочется глядеть. Отец словно продолжает свой рассказ: «Сергей Мироныч бьется за каждого что ни на есть человека. Завоюет себе человека и поставит его, куда надо: служи революции». Сын, помедлив, обращается взволнованно к отцу: «Ладно, я пойду к товарищу Кирову, скажу ему все». Отец притягивает сына к себе, обнимает его.

★

Смольный. Большая комната, много движения, люди входят и выходят. Есть что-то в напряженности картины общее с боевыми днями Октября, только не видно оружия, да одеты все складнее и однообразнее.

Ляня Чорбов появляется с Ольгой. Они вглядываются то в ту, то в другую группу людей. Очень торопящийся и занятой, проходит Боговик. Они останавливают его. «Скажите, товарищ, — обращается к нему Ляня, — как увидать товарища Кирова?». Боговик обегает взглядом комнату, видит Кирова, разговаривающего на ходу с Петровым, пожимает плечами: «Кирова? Понятия не имею!». И отправляется дальше, с еще более деловым видом. Ляня и Ольга озираются растерянно.

Вдруг Киров, в сопровождении Петрова, подходит к ним. «Вы, товарищи, какой организации?». — «С «Красного путиловца». — «Будем знакомы, я — Киров». Он берет их под руки, отводит в сторону, усаживает. «Как твоя фамилия?». — «Чорбов». «Чорбов? — переспрашивает с порывом Киров. — Постой, ты не тот Чорбов, которого исключили из партии за распространение литературы?». «А вам разве известно?» — удивляется Ляня. «Нам, брат, еще не такое известно! — говорит Киров, оглядываясь на Петрова. И вдруг со страшной строгостью вопрошает: — От кого тебе литература доставлялась, а? От старого путиловца Ивана Газа? Признавайся!». Ляня даже попятился от сму-

щенья. «От него» — признается он, помедлив. «Ну, то-то, брат!» — все так же страшно говорит Киров, и вот он неожиданно хохочет и с размаху ударяет Леню по коленке: «Ну-ка, рассказывай, как было дело?». — «Да мое дело-то маленькое». — «А у нас маленьких дел нет, — становится серьезным Киров, — рассказывай про себя, про настроения путиловцев, вали!...»

★

Ранние сумерки, кое-где торопятся озябшие люди. Старые рабочие домишки Нарвской заставы особенно неприветливы в этот час. На улице появляется военный с волосами, довольно заметно выглядывающими из-под шлема. Ему холодно, он идет самым полным шагом. Из-за угла выходит рабочий и присоединяется к нему. Они молчат, не замедляя шага. Обогнули дом, вошли в переулок. «Тебе холодно в военном-то гардеробе, — говорит рабочий, — зайдем ко мне, дам шапку». «Я привык» — отвечает красноармеец, дрожа от мороза.

Они огибают еще один дом и поворачиваются лицом к зрителю. Это — Иван Газа и Чорбов-отец. «Вон дверь, вон, где зажигают огонь» — говорит Чорбов, показывая на свой дом. «Сколько войдет народу в квартиру?». — «У меня собраний не бывало, не знаю. Сотня влезет». «Мало, — говорит Газа, — придет сотни две». «Две, поди, задохнутся» — соображает Чорбов. «Пойдем, смерим».

Они идут в дом. Огни зажигаются то тут, то там...

Деревянная узенькая лестница, двое спускаются со второго этажа, задерживаются у выхода. Чуть видны лица. Газа тихо говорит: «Значит, завтра, десять вечера». «Завтра, десять» — подтверждает Чорбов.

★

Район «Путиловца», к заводу идут рабочие: смена.

Все в той же шинельке, в шлеме, ежась от холода, марширует Газа. Он догоняет рабочего, ровняется с ним, говорит ему несколько слов. Тот коротко

отвечает. Газа отстает от него, присоединяется к другому рабочему, говорит с ним.

Эти маневры замечены одним прытким человеком, который, заглянув в лицо Ивана Газа, узнает его и бежит к воротам завода. Он быстро объединяет вокруг себя кучку людей и бросается с ними навстречу Газа. Они наскакивают на него в тот момент, когда к нему сбегаются его сторонники. «Будешь агитировать против наших партийцев?» — кричат молодцы, наступая на Газа. Но он уже под защитой: стеной оградили его рабочие, и живо вспыхивает жаркая рукопашная — летят шапки, развеваются полы, трещит чей-то оторванный наотмашь ворот. Крики, свист, топот, крик.

Гудок. Поругиваясь, драчуны ищут, поднимают с земли отлетевшие пуговицы, хлястик куртки, калоши. Оглядываются — где же виновник схватки?

Далеко по улице идет Иван Газа. Встретился со стариком-рабочим, обменялся словом, кивнул, пошел дальше...

★

Квартирка Чорбова. Обе комнатки битком набиты людьми, стоящими плечом к плечу. Это — рабочие, старики и молодые. Окна завешены. Полусвет. В переднем углу устраиваются за столом Чорбов-отец с Иваном Газа. Чорбов спрашивает: «Пора?». «Подождем, — отвечает Газа, — должен приехать один большой человек». — «Большой человек?». Чорбов испытующе вглядывается в Газа.

В сенцах у входной двери рабочие строго проверяют проходящих: «Пароль!». В нижней квартирке распевается с гармоникой песня:

С высокого неба в просторы летели
И на землю пали снега,
За снегом, за льдами, за синей метелью
Стоят батальоны врага.

Мы идем вперед
Через снег и лед,
И нигде нам не страшен враг.
Мы летим стрелой,
Чтоб над всей землей,
Вилял алый победный флаг¹

¹ Стихи Александра Прокофьева.

★

То один, то другой деревянный дом заставы вырывается из тьмы смелым блеском фар. Машина подходит к дому.

Киров спрыгнул с подножки и в два шага очутился в сенях. Там ему загородили дорогу: «Пароль». Он останавливается и слушает песню:

...Готовые к бою, победному бою —
Мы встретим отряды врагов.
Им больше не видеть ни неба, ни поля,
Ни синих карельских снегов!

«Подходяще получается» — с удовольствием говорит Киров. Рабочие вдруг дают ему дорогу — они узнали его: «По лесенке наверх, товарищ Киров». Он легко бежит по ступенькам.

★

Газа ждет его наверху, и, протискиваясь толпою, ведет вперед. Киров видит Ольгу. Сияющими глазами она встречает его взгляд. Он здоровается с ней и тут же замечает Леню. Положив ему на плечо руку, он садится с ним рядом на краешек диванчика. Тогда неуверенно и слегка обиженно говорит Чорбов-отец: «С молодыми, Сергей Мироныч Киров, здоровкаешься, а стариков не узнаешь?». Киров прищурился на него: «Встречались?». «А кто тебе в Астрахани партизанов набирал?». — «С военно-морского? Эсминцы ремонтировал?». — «Он самый». — «Да ну-у?». Киров протягивает ему руки, но что-то словно удерживает его, он оглядывается на Леню, потом смотрит на расплывшееся довольной улыбкой лицо старика Чорбова и, сразу поняв, сам улыбается: «Сын?». «Сын» — отвечает с гордостью отец. Киров дает им обоим руки, как будто соединяя старика с молодым, удивленный и обрадованный. «Тебе есть с кого хороший пример брать, — говорит он Лене и, обращаясь к отцу: — Лихо от нас в Астрахани меньшевикам перепало!». Чорбов-отец хватается за голову: «У-у-у!». «Вот мы сейчас старинуто и вспомним! — тянет Киров, слегка засучивая рукав. — Открывай собрание, товарищ Газа!» — говорит он.

★

Темно, безлюдно на улице. Только три фигуры боязливо перебегают от дома к дому, с панели на панель. Люди прислушиваются к переключкам заставы, уже отходящей ко сну. «Слышишь, — говорит один, остановившись, — гармонь?». «Айда» — отвечают ему.

Ближе и ближе песня:

Мы идем вперед
Через снег и лед,
И нигде нам не страшен враг...

«Смотри, — опять раздается голос, — машина». И правда: чуть поблескивают в темноте стеклами заглушенные фары. «Пошли!».

Со страхом все трое крадутся к автомобилю. Но едва они ровняются с домом, у которого стоит машина, как перед каждым из них вырастает из темноты по человеку. Некоторое время все молча и неподвижно стоят друг против друга. Затем происходит дуэт голосов. Посмелее: «Что скажете?». Поосторожнее: «Собрание тут?». — «Какое?». Молчание и затем — вкрадчиво и многозначительно: «Собрание против партии...». — «А-а! Валяй, заходи!».

Трое преградивших дорогу расступились, и трое других с оглядкой подвигаются к двери. Но, еще не успев войти в сени, они чувствуют, что узнаны, один из них вскрикивает: «Ловушка!» — и они кидаются назад. Их стремятся удерживать. Два-три человека сбегают, скатываются на шум сверху, но зинovieвцы вырвались и бросились врассыпную. За ними мчится погоня, и вмиг всех поглощает темнота.

★

Собрание наверху. Кончат говорит Киров. Те, кто сидит, постепенно встают, приподнимаются, вся комната подвинулась к нему. Ольга подалась вперед, охваченная, увлеченная ясностью речи. А Киров ведет речь негромко, и тем душевнее, горячее становятся его слова.

«Вам стараются представить дело так, будто москвичи берут за грудки ленин-

градцев, а ленинградцы — москвичей. Детские разговоры. Партия критикует оппозицию, а не ленинградскую организацию. Партия верит в построение социализма в нашей стране. Верит в полную возможность индустриализации страны, кооперирования крестьянских хозяйств. А оппозиция во все это не верит... Оппозиция мешает нашему движению вперед, к берегам социализма. Она должна будет посторониться... Она должна будет, товарищи, дать нам дорогу!..».

Леня ударил с порывом в ладоши, но Киров схватил его за руку. Весело взглянув на него, он сказал: «Какой же подпольщик аплодирует?». На секунду рапторившись, Леня вдруг нашелся: «А какой подпольщик, товарищ Киров, приезжает на собрание в машине?». Киров засмеялся: «Верно, чорт побери!.. Но, товарищи, ведь в действительности нам нечего прятаться: пусть прячутся оппозиционеры! Они не дают вам собираться на «Путиловце»? Но ведь мы с вами не на именинах сидим. Где это написано, что кучка фракционеров может запретить нормально жить всей партии? Организуйтесь, созывайте собрания в цехах. Боритесь за проведение в жизнь решений съезда, за единство партии под знаменем, оставленным нам Лениным, с ключами строительства социализма в руках, с теми ключами, которые он нам завещал».

Ему громко, открыто аплодируют, он пожимает руки Ольге, Лене и, прощаясь со всеми, сопровождаемый всеми, протискивается к выходу...

★

Бюро партколлектива «Путиловца». Накуруено. Шатурский и члены бюро. Один из них ораторствует: «Кто валил Керенского с его трона? Мы, ленинградцы. А кто раздавливал гниду Юденича? Опиать мы. Куда ни кинь, все—мы, ленинградские пролетарии, потомственные, почетные. А сейчас желают посадить на мое место и на твое место, товарищ Шатурский, незнакомых нам человек. Извиняюсь, это зачем же?». Другой подхватывает угрожающе: «Тут Газа

мутит! Газа допускать на завод нельзя!». Обстоятельный старикан, поправляя очки: «Как мы держались нашей ленинской линии до сих пор, товарищи, так и предлагаю впредь. Народишка на заводе нас знает, нам верит, а эти новые московские господа — кто для него такие?».

Шатурский: «Кончили, товарищи. Бюро считает свою линию правильной. Хозяева завода — мы. И других хозяев сюда не пустим. Кончили».

Он выпроваживает членов бюро из комнаты, и вот он один. Он открывает форточку, облегченно дышит врывающимся морозным воздухом, вслушивается в гул завода. Потом возвращается к двери, спускает собачку замка. Опять идет к фортке, закрывает ее. Подходит к телефону. Рука его, схватив трубку, замирает. Еще раз прислушавшись и осмотревшись, он набирает номер на вертушке. Он говорит тихо: «Здрассте, товарищ. Это с «Красного путиловца», Шатурский... Я бы хотел поговорить с товарищем Кировым... Да... Ах, соединяете?..». Секунда замешательства, может быть, даже — не повесит ли трубку?—и затем совсем новый голос: «Товарищ Киров?.. Зравствуй, товарищ Киров... Совершенно верно, Шатурский. Не уделишь ли минутку нашим делам?.. Сейчас приехать? Конечно, могу, какой разговор... Ах, не в Смольный... Будешь в Европейской гостинице?.. Выезжаю...».

Шатурский прикрывает телефон ладошью. Он точно проверяет себя — говорил ли с ним на самом деле Киров, и как будто боится: не заговорит ли вдруг опять. Снова подходит к фортке, распахивает ее. Бросается к столу, засовывает в портфель бумаги, одевается. Во всем сомнение: верно ли, точно ли он отступает? Одесля, оцупал себя, резко открыл дверь и многозначительно сказал секретарше Маргоше, приостановившись у ее стола: «Я—в Смольный».

★

Киров быстро идет коридором «Европейской». В передней комнате нoмера несколько ожидающихся встают ему навстречу. Он узнает Шатурского, кив-

ком, на ходу, приглашает его в другую комнату.

На стульях и столе — пачки брошюр и газет, книги, пишущая машинка, бумаги. На стене — план Ленинграда, карта Северо-Западной области. Во всем обилии деловых вещей, как будто пофронтовому, наскоро положенных куда попало, хорошо видна рука, любящая порядок.

«Ну, давай» — говорит Киров, усаживаясь против Шатурского. «Вот я хотел потолковать, — простовато начинает Шатурский, — у нас пролетарии удивляются, что ты на других заводах выступаешь чуть не каждый день, а для нашей гордости — «Красного путиловца» — не нашел часочка...». «Удивляются? — прищурившись, переспрашивает Киров. — А ты бы сказал: не удивляйтесь, ребята, товарищ Киров к нам давно приехал бы, да мы этого не хотим, потому что мы — оппозиционеры». Шатурский смеется, хотя игра дается ему не легко. «Лично я считаю, что наша делегация на съезде вела себя неправильно...». Киров: «Вон что! Ведь ты как будто входил в делегацию?». — «Да». — «И голосовал против резолюции съезда?». — «Создалась, понимаешь, такая обстановка. Но я полностью подчиняюсь решениям съезда». — «И потому гонишь из партии товарищей, которые стоят за ЦК?». — «У нас такой линии нет». — «А молодого парня Чорбова исключили, это чья же линия?». Шатурский жметяся: «Бюро, товарищ Киров...». «Вот что, бюро! — говорит Киров, быстро поднимаясь и подходя к Шатурскому. — Эту двойную бухгалтерию пора кончать. Где у тебя правда — когда сидишь со мной или когда у себя в бюро? Подчиняешься решениям съезда? — скажи это так, чтобы весь завод слышал. Да признай свои ошибки. Политическая ошибка — это не прыщик, который смазал йодом — и прошло. Ошибку надо изучить, чтобы она впредь не повторялась». — «Когда же все-таки к нам?». Киров идет к двери, спрашивает: «Кто первый, товарищи?». Потом оборачивается к Шатурскому: «Приеду, когда меня не будут ждать оппозиционеры, — и как будто продолжая прерван-

ный разговор: — «Какие на вашем заводе цеха недогружены заказами?». Шатурский растерянно и вместе с тем с усмешкой: «Я пришлю сведения, на память не могу сказать». — «Да ты в цехе когда-нибудь заглядываешь?». — «Наше дело — политика». «Хозяйство завода и есть политика на заводе, — говорит Киров, — а ты думаешь, политика — это выступать против ЦК партии?...». И, резко отвернувшись, Киров обращается к вошедшему товарищу: «Ну, как у тебя дело?...».

★

Комната. Горит большая люстра. На часах — около двенадцати. Спиною к зрителю сидит неподвижно Михаил Исаевич — грузный, жиреющий. К нему обращается почтительно Боговик. Яков пристроился в уголке, обложившись книгами в закладочках. Внезапно он срывается с места и, уткнув палец в книгу, вскрикивает: «Вот, посмотрите, что сказано у Каменева!...». Шатурский ловит его на ходу и возвращает на место. Боговик заканчивает: «И главное: не допускать организованных выступлений?...». Михаил Исаевич утвердительно наклоняет большую лохматую голову. «Собрание проводим мы, и только мы...». Михаил Исаевич одобряет. «Киров для ленинградской организации — чужак». Михаил Исаевич подтверждает и это.

Телефонный звонок. Шатурский снимает трубку: «...Что?.. Когда?.. Ну?». Он очень волнуется, косится на Михаила Исаевича. Все, не двигаясь, ожидают окончания разговора. Шатурский судорожно оторвал трубку от уха, и с военным оттенком докладывает: «Газа пытался проникнуть на «Путиловец». Его не пропустили... Он устроил митинг на улице... Было сотни три человек... Сейчас уже все кончилось, они разошлись...».

Все смотрят на Михаила Исаевича. Он тяжеловато встает, делает несколько шагов, останавливается. И тогда раздается очень высокий, почти фистульный тенор: «Газа следует физически... — он приподнимает и задерживает в воздухе руку, потом роняет ее, — вышвырнуть с

завода...». Он шагает к двери. Удаляющаяся, сутуловатая, жирная спина. Шатурский: «Вы меня не подбросите на машине?». Михаил Исаевич наклонил согласно голову.

★

Маленькая комнатка. Женщина у лампы, согнувшись, шьет. С тревогой она вскинула глаза на часы-ходики: около двенадцати. Она кутается в платок.

Звонок. Она бросается к двери, обронив шитье. Испуганная, она выпускает Газа и Чорбова-отца. У ее мужа странный вид: немного запрокинутая голова, бледное лицо. «Что с тобой, Иван?». Он стаскивает с головы шлем. Хочет расстегнуть шинель — пальцы не слушаются его. Чорбов помогает ему, но, когда пробует стянуть с плеч шинель, Газа вскрикивает: «Постой!». Тогда жена вскрикивает тоже: она видит, что у него волосы примерзли к шинели. «Обрежь скорей» — говорит он, дрожа. Она бежит к столу, ищет ножницы, их нет. На ее глазах слезы. Чорбов поднимает ножницы с пола, отрезает волосы Газа и, чтобы скрыть волнение, бормочет: «Мороз, понимаете... товарищ Газа говорил речь... на улице... вспотел... а потом, конечно, приморозило...».

Укладывая мужа в постель, жена говорит с мольбой: «Отлежись ты хоть один день... Поправься...». «Не могу, — отвечает Газа, — я как машинист на бронепоезде в бою: нельзя выпустить из рук рычага... Покончим с оппозицией, тогда... передохну...».

...Лежа, он пьет из блюда горячий чай, зубы стучат о блюде, и в промежутки между глотками он наставляет Чорбова: «Пробьет четыре часа — иди в партком: народ, мол, требует собрания... К этому часу товарищ Киров пришлет Петрова... Тогда начинайте...».

Чорбов вникает в каждое слово. Потом, перед уходом, попрощавшись за руку с Газа, говорит неловко: «Ты, это, не захворай: время-то какое!». Укутываясь, Газа чуть слышно, но с упрямым убеждением отвечает: «Не заховаю... Ступай...».

★

Взгляд Шатурского — бесцветный, усталый, почти безразличный: не бросить ли все к дьяволу, не уйти ли? Но постепенно лицо приобретает жесткие очертания, подбородок прячется, пропадает в воротнике, глаза суживаются, вспыхивают жаром злости, и он выеживается, насилию сдерживая приступ ненависти: «Что же, Чорбов, на старости бузить вздумал?».

Партком. Картина повторяет обстоятельства, в которых здесь недавно находился Чорбов-сын. Но Шатурский словно отказался от игры: он откровенно враждебен. Чорбов стоит. По бокам от него — двое здоровенных мартеновцев, как будто только-что отвернувшиеся от своей печи. По виду они готовы на все. Рядом с ними Чорбов кажется цупленьким, но он держится независимо, точно не примечая свою ужасающую охрану. «Вагономеханическая требует провести собрание» — решительно говорит он. Член бюро с наслаждением подливает в огонь масла: «Это ты науськал требовать, ты!». Шатурский: «Для тебя, что ж, партдисциплина не существует?...».

Чорбов делает шаг к столу, протягивает руку к настольным часам. Его движение — неожиданное и быстрое — страшно пугает Шатурского, который вскакивает, засовывает руку в карман, готовясь к отпору и вскрикивая: «Тебе чего!?!». «Который час?» — с удивлением отзывается Чорбов. Мартеновцы взяли было его за локти, он вырвался, повернул часы к себе циферблатом: начало пятого.

В эту минуту открылась дверь, вбежала испуганная Маргоша, и за нею вошел Петров. Остановившись у входа, он оглядел всех, и как будто все понял. Он подошел к Шатурскому: «Я послан из Смольного, на собрание». Шатурский обретает свою обходительность. «У нас нет никакого собрания». «Врешь нахально! — бешено кричит Чорбов. — У нас в цеху собрание!». «Выдумки, нет никакого собрания» — повторяет Шатурский. «Врешь нахально!» — ревет Чорбов.

Петров берет телефонную трубку, вызывает Смольный — Кирова. Спор сразу приостанавливается. «...да, с завода... У них здесь неувязочка: рабочие говорят — собрание есть, а организатор коллектива заявляет — нет... Я передаю трубку Шатурскому». У Шатурского вновь озлобленная мина, не выжидая с бархатным голосом: «Здорово, товарищ Киров... Да уверяю тебя, никакого собрания не назначено!». Чорбов, перегнувшись через стол, орет изо всей силы. «Врешь нахально! Врешь!». Шатурский подносит ему ко рту трубку. «Врешь!..» — кричит Чорбов. Но Шатурский прижал пальцем рычаг телефона и хохочет Чорбову прямо в лицо.

Тогда Петров тоном приказа: «Пропусти меня немедленно на собрание». «Никуда ты не пойдешь, — обрывает Шатурский, — я здесь хозяин!». «Был хозяином, — кричит Чорбов, — теперь будя!.. Айда, товарищ Петров, обойдемся без него!».

И они устремляются к выходу.

★

Внутри цеха собралось человек полтора рабочих. Петров и Чорбов взобрались на какой-то станок. Их обступают. Но почти все сразу повернули головы ко входу: в цех ворвалась дюжина зинovieвцев. Впереди — Шатурский.

Минута растерянности и разброда, которую пользуются ворвавшиеся, чтобы поднять, поставить на возвышение Шатурского. И он, держась за сердце, с видом потрясенного вероломством человека, выкрикивает: «Товарищи, что же это? Как вы могли решиться на это бандитское собрание? Как могли попасться на удочку Чорбова, пьяницы, провокатора...».

С внезапным криком, свистом, рабочие наваливаются на подручных Шатурского, теснят, отжимают их к выходу. Шатурский, нагнувшись, бежит, маневрируя между станками, людьми, вон из цеха. Рабочие кричат: «Дю, дю, дю!..».

Петров, сложив рупором руки: «То-

варищи путиловцы!..». Шум немного стихает, но волнение не может улегся, и Петрову все еще надо кричать: «Есть предложение — поставить вопрос о доверии Шатурскому». Крики негодования заглушают его. «К черту предателей! — кричат рабочие. — Долой опозицию!..». «Чорбов, говори!».

Чорбов вытер кулаком губы, откашлялся, во всей осанке его — уважение к собранию. Он словно рассуждает с собою: «Шатурский выставляет наше собрание бандитическим. Только чей поступок бандитический? Партия — она вон ли, где настоящие коммунисты нашего цеха, или партия — она вон ли, вышибленные отсюда скобари чортовы, которые произвели на нас налет? Мы желаем обсудить внутрипартийное положение. А они желают заколотить нам рот кляпом. Какое можно после того иметь доверие к Шатурскому?!».

Снова крики: «Долой предателей...».

Шум протестов отдаляется, сменяясь сосредоточенным молчанием.

★

Кабинет в Смольном. У окна Боговик и Шатурский. Они прервали разговор. Шатурский еще тяжело дышит, точно только-что взбежал по лестнице. Молча, как по сговору, они начинают закуривать. Дым закрывает их, и в тишине раздается прерывающийся голос Шатурского: «Бастион за бастионом переходит к сталинцам в руки...». Боговик отвечает иронически: «Ты, как жетя, готов вынести им ключи от крепости на подносе?». Шатурский вздергивает плечами. «Это произойдет без нас. Но пусть они думают, что — благодаря нам...». Они испытующе скрещивают взгляды.

В этот момент распахивается дверь, входит Киров. Он тоже с папироской и, остановившись, мгновение раскуривает ее. Двое у окна, не двинувшись, выжидательно задымили. Этот разговор дымок словно вырисовывает в воздухе мысли троих молчащих людей.

Киров делает два шага. «Новости с «Путиловца»?» — спрашивает он. Шатурский отрывается от окна. «Наше

партруководство хочет договориться с тобой, товарищ Киров, чтобы облегчить подход к массе». «Кому облегчить, — прищурился Киров, — тебе или мне? — Он приближается к Шатурскому и не дает ему ответить: — Ты думаешь собой загородить мне дорогу к путиловцам?...». Он быстро оборачивается, идет к двери, открывает ее коротким нажимом руки.

В кабинете появляются трое рабочих-путиловцев во главе с Чорбовым-отцом. Петров входит следом за ними. Не снимая шапок, рабочие с возмущением остановили взгляды на Шатурском. «Давно не видались?», — усмехаясь, спросил Киров. Чорбов качает головой, не сводя глаз с Шатурского: «Здорово ты драпал с нашего собрания, коли успел доскакать в Смольный!». Киров, подняв брови, лукаво спрашивает: «С какого собрания?». Чорбов расстегивает куртку, аккуратно и даже с почитательностью вытягивает из бокового кармана сложенный листок бумаги и подносит его Кирову.

Киров развернул листок. Заголовок выведен тщательной рукой: «Резолюция общего собрания коммунистов вагономеханической мастерской «Красного путиловца». Лицо Кирова отражает весь смысл документа: оно строго, сурово, гневно; оно властно-спокойно. Окончив чтение, Киров с чувством горячего отклика глядит на рабочих и потом закрепляет свое чувство в рукопожатиях — по очереди со всеми троими.

Чорбов говорит торжественно: «Это тебе, Сергей Мироныч Киров, первая ласточка с нашего «Путиловца». Киров улыбается: «Первая ласточка не делает весны... Надо, чтобы путиловцы все, как один человек, стали под знамя ЦК большевиков!...».

Он обращается к Шатурскому и Боговику, которые, замкнувшись, отошли в сторону. Протягивая им бумагу, Киров с вызовом спрашивает: «Хочешь знать, какой тебе вынесен приговор, Шатурский? Чистой отставки твоей требуют рабочие». — «Одна мастерская — еще не завод». Но Киров, словно не заметив этой реплики, вдруг под-

ходит вплотную к Шатурскому: «Скажи, ты до партработы чем занимался?». — «Я был студентом-горняком». Киров поворачивается к Боговику: «А ты?». — «Я — рабочий!». «Ну, вот, — как будто с облегчением, решает Киров, — тебе надо в какое-нибудь горное учреждение, а тебе — к станку».

Он поворачивается к двери, слегка обнимая на ходу Чорбова, и в кабинете остаются Шатурский и Боговик. Они секунду глядят на дверь. Потом Шатурский угрожающе встряхивает головою вслед ушедшим.

★

Пленум партколлектива «Красного путиловца». Огромная масса партийцев слушает Кирова, заканчивающего речь:

«Мы были в нищете, голоде, но гордо, невзирая на это, камень за камнем, понемножку делали великую работу — защищали свою республику, свое рабоче-крестьянское государство от всяких внешних поплзновений...».

Сотни людей, воодушевленных, захваченных вниманием. Но попадаютя лица замкнутые, серые, озлобленно-чуждые.

Киров легко сбегает с трибуны, разгоряченный и быстрый. Аплодисменты катятся широко, много рабочих поднимается с мест, но по углам раздается свист, крики. Киров садится рядом с Газа. Когда шум стихает, председательствующий, старый рабочий, говорит: «Переходим, товарищи, к выборам. Предлагаю выделить товарищей для подсчета голосов». Из зала выкрикивают фамилии.

В президиум летит записка. Она идет по рукам: передают Шатурскому. Он прочел, бросил взгляд на Кирова, поднялся, пробирается к выходу.

★

Необъятный двор завода. Лунный вечер. Тихо. Корпуса кажутся стеклянными. Провожатый ведет Шатурского. За углом — Боговик. Он мечтательно прогуливается. Шатурский взвол-

нованно: «Ты что?». Боговик с шутовой улыбкой: «Ничего чрезвычайного». Шатурский, вытащив из кармана записочку, трясет ею: «Ты пишешь — важное дело!». Боговик смеется: «Неважное у нас, братец, дело!». Шатурский, плюнув, хочет уйти, Боговик удерживает его: «Что на собрании?». — «Начались выборы». — «Ну?». Шатурский озлобленно: «Что — ну?.. Они сколотили такое большинство!». — «А наши?». — «Наши! Наши свищут!».

Боговик примиряюще берет его под руку, и они идут медленно вдоль стены. Посмеиваясь, Боговик показывает на луну. «Поживи созерцательной жизнью, пофилософствуй, напиши стихи...». Шатурский вырывает руку. Тогда Боговик меняется. «Слушай, — жестко говорит он, — не время лезть на рогатину. Беречь наших людей, беречь себя — ясно?». «Гнутья, чтобы тебя не сломали?» — понятно спрашивает Шатурский. «Умница! — переходит на шутку Боговик. — Пока ты еще здесь, устрой меня на завод. Киров советовал мне к станку — надо слушаться московское начальство, понимаешь? — И Боговик добавляет для ясности: — Не растерять наших сторонников на заводе...».

Шатурский мотнул головой: все понятно. И — почти бегом назад.

★

Председатель собрания объявляет: «Организатором коллектива оказался выбранным товарищ Иван Газа». Все дружнее и дружнее объединяются в общем потоке рукоплескания. «Да здравствует единство партии!» — кричат в одном конце и, отвечая на этот лозунг, в другом, о-бок с Шатурским, который пробирается в президиум, дико свистят.

Шатурский дергает свистуна за рукав. Тот озирается, ничего не понимает. Шатурский показывает ему — отставить! И затем: после, мол, объясню. Но свистун все-таки недоумевает: что же ему делать — уж не аплодировать ли?!

Киров жмет руку Газа, поздравляя

его. Народ, бросив свои места, подходит к президиуму. Шатурский протикивается вперед. Он приостанавливается в дверях, у выхода с мест президиума, хотя здесь неудобно, — его все толкают. Зато, дождавшись Кирова и Газа, он начинает аплодировать. Киров с брезгливой неприязнью пожимает плечами: «Что тебе приспичило?». Шатурский сладко и многозначительно: «Решение партии — закон для большевика». Киров, полуобернувшись: «А закон для того, чтобы его обходить?». И он подталкивает Газа в дверь, чтобы скорее разминуться с Шатурским.

★

Несколько рабочих, торопясь и волнуясь, выносят знамя путиловцев из помещения коллектива, быстро несут его оживившимся заводским двором.

Киров окружен товарищами. К ним присоединяются знаменосцы. Выстраиваются. Следом за знаменем — Киров, Иван Газа, члены нового бюро, в том числе — старик Чорбов.

И шествие движется.

Леня в рядах с молодыми своими друзьями затягивает песню, которая зовет к маршу, к походу:

Мы скоро, товарищи, встретимся с ними
Под северным небом, вдали.
От нас никогда и никто не отнимет,
Никто не отнимет земли.

Мы идем вперед
Через снег и лед,
И нигде нам не страшен враг,
Мы летим стрелой,
Чтоб над всей землей
Вился алый победный флаг...

Позади на дворе остается кучка зинovieвцев. Шатурский с ними. Кто озлобленно, кто с разочарованием глядит вслед неожиданной демонстрации, которую повел новый, до сих пор мало кому знакомый человек, перевернувший в несколько дней весь коллектив, поставивший его с головы на ноги... Зинovieвцы переводят взгляды на своего Шатурского. Он охотно стал бы под знамя и ушел бы с теми, но эти ждут от него ответа, и он делает воин-

ственную мину, которая означает: еще посмотрим!..

★

Путиловцы с песней приближаются к Нарвским воротам. Киров, выслушивая рабочих, марширующих рядом с ним, записывает себе в книжечку дела завода, дела людей.

У ворот Киров, под знаменем, прощается с путиловцами, пожимая руки Ивану Газа, Чорбовым, старикам и молодежи. «За работу, товарищи, за работу!» — повторяет он. Любуясь здоровьем и силой Лени, он хлопает его по плечу и восклицает: «Эх, какой же ты парень... подходящий!». Они оба смеются.

Киров сел в машину.

★

Большая комната на улице Красных Зорь — будущий кабинет Кирова. Строятся полки для книг. Телефоны еще на подоконнике. Два-три ящика с книгами вскрыты. В углу — чемоданы. Плотничьи инструменты. Лампа на стуле. Ночь.

Киров вынимает книги из ящиков, ставит на полки. Работает легко, быстро, с увлечением. Распознает книги с одного взгляда — все они знакомы.

Встал на ящик, чтобы поставить пачку книг на верхнюю полку. Телефонный звонок. Спрыгнул с ящика, в два прыжка — у окна.

«...Да, я просил ЦК... Хорошо...».

Секунда ожидания. Потом лицо Кирова освещается улыбкой: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович...». Улыбка растет: «Спасибо... переехал. Вот разбираю на новоселье книги, страсть как оброс книгами...». Весело смеется, взбираясь и усаживаясь с ногами на подоконник. «Это верно, книгами обрасти—

не жирком! Да в Ленинграде некогда обрасти жирком, надо поворачиваться...». Он напряженно вслушивается, становится серьезным... «Я сегодня отправил стенограммы. На «Путиловце» все кончилось в нашу пользу... Совершенно верно, это была главная цитатка, и она разрушена... Да, могу сказать: генералы от нашей оппозиции остались без армии... Песка они уползли в норы, зализывают раны...». Опять вслушивается, достает из кармана гимнастерки блок-нот и карандаш, прижав плечом трубку, пишет на коленке... «Они теперь говорят, что готовы строить социализм, но только, мне кажется, без особых хлопот и (улыбаясь) — по возможности — без нас...». Снова весело смеется: «Это верно: а мы — по возможности — без них...». Опять серьезно и с подъемом: «Да, вы правы! Расчищено поле, и пора приниматься за индустриализацию... Хорошо, Иосиф Виссарионович. Спасибо, до свидания».

Киров соскакивает с подоконника, подходит к лампе, читает записанное в блок-ноте, вписывает еще несколько слов. Мгновение — в задумчивости, как будто все еще в сфере только что прекращенного разговора. Потом поднимает палец над головой и громко повторяет: «А мы — по возможности — без них!».

С улыбкой шагает к балконной двери, отпирает ее, выходит на балкон, смотрит на улицу. Далеко внизу убегают в огнях и движении улица Красных Зорь. Летит снег, танцуя вокруг фонарей. Звонки, голоса, гудки жизни кружатся в снегу.

Киров с увлечением смотрит на новый для него прекрасный город. Из глубины улиц, поднимаемый ветром, доносится уже знакомый ему напев:

Мы идем вперед
Через снег и лед,
И нигде нам не страшен враг...

★

1929 — 30

Озеро в глубине Кольского полуострова. Солнечный весенний день. Лежит чудесный снег тундры.

Агаша перебирает рыбачью снасть. Отрывается от работы, смотрит вдаль. По нетронутому снежному покрову, устало двигая лыжами, шагает высокий человек с сумкой за плечами. Остановившись и оглядывая окрестность, он замечает девушку на берегу, взмахивает палками, с обновленной силой идет вперед.

Девушка неподвижна. К ней скатывается под гору лыжник и тормозит у ее ног. Собака выбегает ему наперерез и облаивает его ожесточенно. Он снимает шапку, лоб его блестит от пота. Он кланяется Агаше. «Где твой отец?». — «Ушел за рыбой. — «Позови его». — «Он пойдет к тебе — рыба пойдет к другому лопарю».

Агаша смотрит на лыжника, как на чудо. Собака перестает лаять, бежит прочь. Агаша оборачивается, кивает вслед собаке. «Вон отец».

С озера поднимается Койбин, собака в восторге мчит к нему. У него на кукуане два лосося. Собака идет в стороне, задрав вверх морду, зажмурившись, ноздри ее трепещут.

Койбин подходит к дочери, отвечает на поклон лыжника, отдает дочери рыбу. Секунду продолжается взаимное изучение. «Стадо еще не ушло в тундру?» — спрашивает лыжник. «Нет стада» — говорит Койбин. «Какой же лопарь без оленей?». — «Стадо хворало — сдохло. Осталась одна упряжка». — «Значит, одна упряжка есть? Будем знакомы».

Они чинно пожимают друг другу руки. Койбин приглашает гостя в вежу.

★

Крошечная вежа — полуземлянка, как ласточкино гнездо, вцепленная в расщелину скалы. Рядом — печка из дикого камня, бойкий дымок. У распахнутой дверцы-лазейки стоит жена Кой-

бина. Она кланяется гостю. В лазейку забираются по очереди гость, хозяин, его жена и дочь. Собака садится у дверцы, мигая, дергая носом на лосося, нацепленных Агашей на вешала для просушки сетей.

В веже, вокруг огня, тесно сидят все четверо, подложив под себя оленьи шкуры. Пьют чай.

«Ты подъедешь к горе с заката, — продолжает гость, — и найдешь два столба. Разгребешь снег, увидишь — куча камней».

В тон гостю, точно перенимая песню, продолжает, как песню, хозяин: «И надо везти камни на станцию, и там стоит на колесах вагон, и там будешь ждать ты». — «Да, я, начальник поисковой партии. Согласен?».

Лопарь молчит, потом качает головой: «Нет». «Почему?» — подскакивает и хочет распрямиться Ярошенко. В веже низко, он стоит, нагнувшись над Койбиным, нетерпеливо ожидая ответа. «Время ловить рыбу» — спокойно отвечает Койбин. «Через два дня вернешься». — «Два дня нельзя, — быки сдохнут». — «Ну, три дня. Согласен?». «Нет, — качает головой Койбин. — Может, там — гора камней, олени не могут везти гору». «Послушай, — горячо говорит Ярошенко, подсев к лопарю, — там камней немного, я сам их собирал. А если что случится с оленями, я заплачу за них, купишь новых».

Койбин лукаво подмигивает: «Зачем тебе камни?». «Зачем тебе камни?» — неожиданно повторяет Агаша. Все смотрят на Ярошенко испытующе. Он произносит с гордостью: «Эти камни — не простые, в них — великая сила. Мы будем их молоть и бросать в землю. Тогда родится много хлеба, и всегда будут все сыты».

Койбин смеется, за ним смеются жена и дочь. «Из камня не может расти хлеб, — вдруг сердито говорит Койбин, — ты врешь!». «Я знаю, — торжествующе говорит Агаша, — ты нашел золото!». — «Да, эти камни драгоценны, как золото».

Все смотрят на Ярошенко строго. Потом хитро улыбаются. «Золото надо везти» — соглашается Койбин. «По рукам!» — восклицает Ярошенко, и они бьют по рукам...

★

Одна рука зажала камень — светлый, с темными полосами. Другая бьет по камню молотком. Удар, еще удар. Откалывается кусок. Руки ощупывают его, испытующе поворачивают, приближают к лицу: руки и лицо Кирова.

Минералогический кабинет Берга. Коллекции камней, микроскопы, химическая аппаратура. Киров и Берг перед микроскопом. Берг кладет на предметный столик срезы руд. Киров смотрит в окуляр, поворачивает зубчатку. Берг объясняет: «Это — сфен. Он дугою покрывает апатито-нефелиновое рудное тело... Это — нефелин...». Киров не дает ему закончить. «Это — апатит» — произносит он, «Совершенно верно, — с удивлением и торжественно подтверждает ученый, — наш отечественный высокосортный фосфорит».

Киров отрывается от окуляра: «Дайте ему выход из недр земли на наши поля. Дело чести, товарищи ученые. Он оглядывается на другого ученого, стоящего все время поодаль, — Линеви-ча. Тот отвечает любезной улыбкой. Берг говорит с жаром: «Помогите нам, Сергей Миронович». — «Что вам мешает?». — «Косность человеческая! Денег не дают, Сергей Миронович, жалеют!». Киров изучает лицо Берга пристально и напрямик. «Вы отвечаете за успех». — «Сергей Миронович!..». — «Хорошо, деньги у вас будут». Берг — обрадованно и жарко: «Деньги к нам стократ вернутся! Подумайте: ведь мировые запасы апатитов! А сколько других богатств! И пирротин, и ринколит, и медный колчедан, и...».

Киров с улыбкой удерживает Берга: «Погодите, а то еще я запутаюсь...». Он энергично и дружески подает руку ученым. Линеви-ч отвечает на его рукопожатие совершенно любезно, Берг — с нескрываемым восторгом. Киров на секунду задумывается. «Вы будто не ве-

рите в успех?» — обращается он к Линеви-чу. Тот отвечает, жеманно наклоняя голову к плечу: «Я должен верить, и я верю». Киров вдруг берет со стола лупу и прищуривается сквозь нее на Линеви-ча: «Но вашу веру надо рассматривать вот через это стекло?...». Он отворачивается от него к Бергу: «Отдайте себе ясный отчет — конечно с проблемой апатитов! Мы приступаем к государственному делу: к добыче апатитов за Полярным кругом. Мы победим, если будем работать по-большевистски. Согласны ли вы, товарищ Берг?». «Да, товарищ Киров», — не колеблясь, отвечает Берг, и Линеви-ч медленно наклоняет голову. Киров опять задумался, бросил взгляд на Линеви-ча, повернулся к выходу. Берг торопится проводить гостя...

Линеви-ч, оставшись один, пожимает плечами. Недоуменно и слегка презрительно он смотрит в открытую дверь. Возвращается к своему столу, к своим штативам, берется за коробочки коллекций и лупу, приостанавливается, стучит лупой по лбу и поводит глазами вслед ушедшим...

Почти вбегаем восторженный Берг. Еще не перешагнув через порог, он кричит: «Ну, теперь мы не одни! Мечта осуществляется! Каков человек, а?». Линеви-ч неохотно бурчит: «Удивляюсь вам, дорогой коллега: разве вы мало слышали подобных обещаний?». У Берга отвисла челюсть. Он на миг окаменеет. Потом, придя в себя, отвечает: «Нет, это я вам удивляюсь, дорогой коллега, да-с!».

★

Снежная равнина. Солнце. Олень разгребает снег, жует ягель. Койбин перебирает аркан. Размахнулся, кинул. Аркан затянут на рогах. Олень упирается, Койбин, подтягивая аркан, приближается к оленю. Борьба. Собака с лаем бегаем вокруг быка. Наконец бык уступает, идет.

Пара оленей запряжена гуськом в санки. Уложенные на санках меха объявляются парусиной. Все готово. Койбин кричит. Олени тронулись. Впереди

собака. Позади санок на лыжах победил Койбин. Оглянулся. У вежи стоят и прощаются с ним Агаша с матерью.

Путь лежит равниной, затем — вдоль склонов горы. Ущелье впереди сужается. Одна за другой — ступенчатые террасы, заваленные обвалами. Олени с трудом берут препятствия. С севера — отвесная стена одной горы, с юга — обрывы другой.

Солнце исчезло. Тучи. Быстро нарастающий снегопад. Поперек пути — бурный поток, уже разметавший ледяной покров. Клокочущая вода и снежный буран. Переправа через поток: вода относит сани, олени тянут изо всех сил, оступаясь. Собака лает на них, протяжно кричит Койбин.

Ветер разорвал тучи, солнце освещает снежный вихрь. Олени выбегают на ровное место. Спокойствие. Огромная снежная поверхность озера. Впереди — куполообразная высокая гора Кукисвумчорр.

Силуэт маленькой бегущей пары оленей, санок с человеком. Они движутся по подошве горы, поднимаясь к лесной зоне. Они пробираются лесом. Койбин — пешком. Вечнозеленый папоротник, ели, кривые березы.

Высоко на склоне олени выбились из сил. Собака уже не может брехать. Препятствие из россыпи камней. Олени отказываются брать препятствие. Койбин ожесточенно бьет оленей погонялкой — длинным прутком с костяным наконечником. Отчаянный рывок — олени взвиваются вверх и перебрасывают сани через камни. От оленей валит пар.

Койбин оставляет их около кучки карликовых берез, отправляется на лыжах один. Он идет измученно, собака еле тащится за ним. Неожиданно он видит: два столба вырастают из снега. Он подходит к ним. Надпись на доске, прибитой к столбу: «Заявка геолого-минералогической экспедиции. Месторождение апатит-о-нефелина».

Койбин отыскивает снежный холм поблизости столба, разгребает его лыжей. Аккуратно сложенная горка небольших камней. Собака с усердием обноживает камни. Койбин довольно улыбается,

снимает шапку, вытирает пот с лица, гладит собаку.

Вдруг возникает и страшно ширится грозный гул: лавина низвергается по склону горы. Койбин стоит окаменело с шапкой в руках, не успев вытереть пот. Собака прижимается к его ноге.

В ужасе Койбин бежит назад, к тому месту, где оставил оленей. Шум рассеялся и погас вдали. Ветер отнесит в сторону снежные тучи, поднятые лавиной. На склоне горы — обнаженный бесснежный след лавины, как от гигантского катка. Все сметено на пути лавины. Кучка березок, у которых были оставлены олени, исчезла. Нет и оленей. Койбин глядит вниз. Он кричит и с криком отчаяния бросается вниз, путем лавины, по голым скалам.

Он бродит по краям огромного снежного вала, скатившегося к подошве. Он выдергивает из снега что-то похожее на олений рог: это сучок карликовой березы, закатанный в обвал. Но вот он кидается в глубокий снег и тянет ветвистый рог оленя. Он руками разгребает снег. Показывается морда убитого оленя. От него еще идет пар. Собака поодаль начинает выть.

Койбин, стоя на коленях перед быком, нагибается, никнет, прижимает мокрое лицо к его морде...

★

Почтенный подъезд. Стеклянная доска: «Ленинградский Областной Совет Народного Хозяйства». Люди с портфельчиками. Боговик заходит в подъезд.

★

Кабинет. Шатурский читает тонкий лист машинописи. Стук в дверь. Он скидывает лист в ящик стола. «Да!». Маргоша: «Товарищ Боговик». — «Просите».

У Боговика вид заводского мастера. Перебинтована рука. Здравуются, Шатурский показывает на руку — что случилось? Боговик: «А, чорт! Повредил у себя на «Путиловце». — «Что нового на «Путиловце»?». «Новое помешательство — тракторы. А у тебя?». — «То-

же очередное помешательство: хибинские апатиты! Слыхал?».

Он вскакивает. «Мне надоело их дурацкое хозяйство! Я, наконец, пойду к Кирову: я привык работать в партии, — либо вы мне доверяете, либо нет!». Боговик: «Доверь козлу капусту. — И вдруг подчеркнуто-наставительно: — Раскайся надо, дорогой товарищ, в проступках перед партией. Понятно?..». Шатурский насторожился, ждет — как это понять, но стук в дверь прерывает их. Боговик отходит и садится в уголке. Маргоша докладывает: «Профессор Линевиц». Шатурский делает нетерпеливый знак, но идет к двери и громко приглашает: «Профессор Линевиц». Здороваясь, Линевиц говорит торопливо, на ходу: «Я только узнать, не начинается ли свою работу комиссия по апатиту?». Шатурский, приглашая садиться: «Мы вас известим, товарищ профессор». — «Насколько я знаю, товарищ Киров придает делу большую спешность». — «Да, но... (Шатурский улыбается) нам известно также и ваше мнение: ведь завтра мы апатита не добудем?». Линевиц воздел руки над головой: вряд ли, мол, осуществимое предприятие. И он перечисляет по пальцам: тундра, чуть не круглый год — снег, рабочих никаких, жилья нет, да и вряд ли может быть построено. «Пока это — прекрасная мечта» — заканчивает он со вздохом. «Но мы — большевики, и будем дерзать!» — наигранно говорит Шатурский, горячо прощаясь с профессором.

Боговик и Шатурский смеются. Потом, достав из ящика листовку, Шатурский дает ее просмотреть Боговику. Тот одобряет текст, и Шатурский звонит.

В дверях — снова Маргоша.

Четыре глаза направлены на нее с глухой, скрытой неумолимостью. Она волнуется, хочет уйти, останавливается, опускает взгляд. Шатурский протягивает ей листовку и говорит раздельно: «Сегодня вечером, сто штук». Со страшным усилием заставляет она себя взять листовку, и похоже, что она вырывает ее из рук Шатурского. Она быстро идет к двери, держа листовку не сложенной. Шатурский бросается к ней, у самой

двери преграждает ей дорогу, выхватывает у ней листовку, складывает аккуратно в несколько сгибов — мельче и мельче, — потом грубо сует ей бумажку под блузку за воротник. Когда, не подымая взгляда, она выскальзывает за дверь, между Боговиком и Шатурским происходит мгновенная пантомима: «Своя?». — «Можно положить: трусит — значит не выдаст!».

★

Станция Белая. Это — три старых вагона на колесах, в тупике. На одном вагоне важная надпись: «Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и». Сам начальник станции чистит газеткой стекло керосинового фонаря. За спиной у начальника — рожок стрелочника и сигнальные флажки. Больше на станции ни души. Другой вагон. Другая важная вывеска: «М е д п у н к т» и рядом еще: «Д о р с т р о й».

Внутренность вагона. Столы чертежника, стальная касса, ящики, пожитки, горящая железная печка, приборы дорожников — астролябия, эккер, вешки, измерительные цепи. Ярошенко за пробирками. На столе перед ним — россыпь камней. Раскрывается дверца, начальник станции кричит: «Пришла чья-то собака».

Ярошенко выбегает наружу. Собака бросается к нему, как к знакомому, — подпрыгивая, крутя хвостом. «Койбин едет!» — восклицает Ярошенко. Вместе с начальником они кормят пса, поглядывая в лес: где же Койбин?

Наконец он показывается из леса — измученный, еле переставляющий лыжи. Ярошенко бросается навстречу. «Где олени?» — конечно, первый его вопрос. Койбин устал и просто отвечает: «Олени погибли...».

Подавленные, они заходят в вагон. Лопарю дают водки. Ярошенко спрашивает: нашел ли Койбин камни? Лопарь снимает с плеч сумку и достает из нее два небольших обломка апатитовой руды, как знак того, что он выполнил все, что было в его силах. Трунутый достоинством этого человека, Ярошенко обнимает его...

Он извлекает из кассового сундука деньги и хочет дать их Койбину, но лопарь не берет денег. Ярошенко настойчиво убеждает его: «Возьми деньги: я обещал заплатить, если олени погибнут. Возьми и удружи мне еще в одном деле». Койбин берет деньги нерешительно, кладет их на стол. «В Хибинских горах, куда ты ходил, мы будем строить жилье. Надо перевозить туда груз. Помоги достать оленей». Койбин качает головой: «Мои быки пропали, — теперь никто не даст». — «Государство заплатит каким хочешь товаром. Это — народное дело». Койбин раздумывает, потом протягивает стакан из-под водки: «Еще налей: легче думать». Ярошенко повеселел, наливает ему и себе, и они чокаются. Начальник станции быстро надеживает себе и ловко поспекает чокнуться с обоими.

★

Кабинет Кирова в Смольном. Открыты окна. Ветер. Киров за столом, секретарь перечисляет ему по записке — кто ждет приема: «Директор «Красного путиловца», председатель Общества трезвости...».

Киров перебивает: «Есть и такое?.. Скажи на милость! Чего же он от меня хочет?». Секретарь, посмеиваясь: «Чтобы поменьше пили». Киров: «Да иной раз прямо полезно выпить! А потом — ведь ни в одном уставе не написано, чтобы — пили!..». Он весело смеется: «Нет, уж, отставь его... да помягче, не огорчай... а то с огорчения еще напьется...». Оба они хохочут. Потом докладчик продолжает: «Секретарь лужского райкома». «Ну, вот, — говорит Киров, — давай сразу путиловца и лужский райком!». Он вместе с секретарем идет к двери и в дверях здороваются с вошедшими.

Директор «Путиловца», не успев сесть, вытаскивает из кармана перочинный ножичек и подносит подарок Кирову, сияя от удовольствия: «Отделочка-то, — Европа!». Киров разглядывает ножичек очень внимательно, лезвие за лезвием. Поднял взгляд на директора: «Производство «Красного путилов-

ца?». — «Можем гордиться, Сергей Мироныч». Киров изучает ножичек, как бритву, на ногте. Вдруг приближается к директору, с той же серьезностью пробует ножичек на его пиджачной пуговице, отрезает ее, запикивает вместе с ножичком директору в нагрудный карман и так же пристально, как ножичек, разглядывает самого директора. «Не гордиться, а стыдиться должен, товарищ директор» — сурово говорит он. Не двадцатый год, когда путиловцы карманные зажигалки выдeldывали. Конечно! Страна от тебя тракторов ждет, а ты что? Перочинными ножичками хочешь Европу завоевать, а?». — «Сергей Мироныч...». — «Да что Сергей Мироныч! Никуда не годится у тебя в тракторном цеху!». Киров быстро подходит к столу, раскладывает таблицу: «Вот твой план!». С карандашом в руке он нагибается над столом. Директор, прижимая к груди кулаки и все порываясь что-то объяснить, под конец покорно вглядывается в прыгающий по таблице карандаш Кирова.

Оторвавшись от цифр, Киров жестко кончает разговор: «Ты пойми: как во время войны — оружие, так сейчас — трактор. Это — генеральная линия нашей партии, а не просто — мотор на колесах».

Он берет директора под руку, подводит его к секретарю райкома, ставит их лицом к лицу. «Спроси-ка, что в колхозах о тебе говорят».

Киров опять у стола, очень умело, ловко пересматривает стопку бумаг, находит крестьянское письмо на тетрадном клочке бумаги: «Вот он (показывает на секретаря райкома) прислал мне письмо от колхозников. Что они пишут? — Без трактора не покончить с нашей вековой крестьянской нуждой. Беда только, что нехватает запасных частей... Понял?».

Киров набирает на вертушке номер, говорит: «Газа? Здорво. Это Киров. Я тебе с твоим директором посылаю письмо колхозников. Обижаются они на путиловцев. Покажи его партийцам, и рабочим покажи, да пусть и директор почитает, а то он у тебя про тракторы забыл. Все ножичками занимается...».

Как здоровье-то? Кашляешь? Дождешься, я тебя насильно лечиться отправлю...».

Он вручает письмо директору и, прощаясь, неожиданно удерживает его руку. «Ты не сердись, — произносит он с озорной и веселой миной, — за пуговицу-то: это я — чтобы отбить тебе охоту делать ножички...».

Директор с досадой на себя, но добродушно, неуклюже машет рукой, торопится уйти, а Киров, провожая его взглядом, беззвучно смеется.

Веселый, он поворачивается к секретарю райкома: «Как с кулаками, прижимаешь?». — «Да знаешь, товарищ Киров, нынче сильно прижмешь — того гляди тебе «левый загиб» прищиплят». На лице Кирова ни следа улыбки: «Вон куда ты гнешь!.. Ты что же, не понимаешь, что кулак на своем насиженном месте вреден, а там, куда мы его переселяем, там он будет полезен нашему строительству... Дай-ка твои сведения о раскулаченных в районе».

И они вместе раскладывают на коленях бумаги.

★

Вагон, набитый пассажирами—специпереселенцами. Узлы, мешки, сундуки, овчины. Кто подшивает валенок, кто спит. Снаружи сильный женский голос: «Старшина! Гляди — нас отцепили!». В вагон влезла высокая, здоровая крестьянка — Мавра Савватиева, кричит: «Отцепили, мужики!»—и кидается назад. За нею — всполошенное население вагона.

Солнце, снега. Станция Белая. Вагон. Из него выскакивает Мавра, за ней ее сын Егорушка — складный, красивый парень лет семнадцати, потом старшина партии переселенцев, кулаки с женами, ребятишки.

Поезд убегает вдаль. Все с тоской смотрят ему вслед. Молчание и неподвижность. Подходит охрана — условнец с винтовкой, рассматривает толпу, говорит: «Приехали, здрасте!». Люди недоверчиво, пугливо озираются. Бесконечны и безлюдны просторы, глубоки снега.

У Мавры подкашиваются ноги, она садится наземь, подпирается кулаками и начинает выть. Ребята и женщины подхватывают вой. Всклипывает кто-то из мужиков, плачет, глядя на мать, Егорушка. Условнец, вскинув винтовку, достает табачок, предлагает свернуть старшине. Вой и причитанья становятся громче.

Внезапно Мавра утерлась, распрямилась, глянула на сына. Он размазывает по щекам слезы, дергает носом. Мать поднялась и — повелительно: «Ладно, Егорушка, чай, ты не девка». И потом строго к старшине: «Делать, что ль, чего здесь будем?». Старшина спрашивает условнца, и тот показывает в конце развезда. Все поворачиваются, куда он показал.

✱

Три вагона в тупике. Выгружен лес, толь, железо. Ящики, тюки, бочки навалены горами. Выючится караван оленьей. Целое стадо дожидается очереди поодаль. Лопари возятся с упряжью, с саянами.

Койбин кончает выюченье оленя, пробует, хорошо ли держатся выюки. Медленно приближается Мавра с сыном. Разглядывает оленьи рога, качает головой: «Морда-то совсем телячья...». Обходит кругом: «Ноги-то у бедного тохонькие...». Говорит Койбину с упреком: «Эк ты на него навалил!». Койбин велит ей помочь, она поддерживает выюк, он подтягивает сбрую. Олень навьючен, Койбин ударяет его по крупу, олень отходит. «Хорошо» — говорит Койбин и обмеривает испытующим взором Мавру. «У вас тут тепло-то когда бывает?» — сердито спрашивает она. «Тепло!» — показывает Койбин на солнце. «А у нас в деревне сейчас Троица, березаньки распустились, зеленые стоят...». Она пригорюнилась.

Мимо пробегает Ярошенко, кричит: «Койбин, торопись, навьючивай!..».

Уже большое пространство охвачено деятельным движением. Прибывшие втягиваются в работу — помогают выючить, нагружать сани, укладывать в штабели выгруженный лес. Выстраивается, готовясь в путь, караван.

★

Начальник станции на «вокзале» списывает с телеграфной ленты текст депеши. Входит усталый Ярошенко. Начальник передает ему депешу. Он читает, выпрямляется, перечитывает вслух: «Отправлены вам бурильные инструменты, строительные материалы, продовольствие. За ходом работ наблюдает лично Сергей Миронович Киров. Счастливый путь за богатствами хибинской тундры. Берг».

Ярошенко бережно складывает депешу, прячет в бумажник, укутывается, надевает походный мешок, берет лыжи, палки. В вагон заглядывает Койбин: «Пора, хозяин». «Пора, — говорит Ярошенко, обнимая начальника станции. — Куда мы забрались, милый? На край света! Но и край света мы придвинем к нашей Советской стране! Ведь Киров с нами!..».

★

Караван навьюченных оленей. Во главе становится на лыжах Ярошенко. За ним — Койбин. У каждого оленя — лопарь. Выстраивается и толпа спешпереселенцев, с мешками, сундуками на плечах, с детьми и скарбом на самодельных салазках. Впереди — Мавра с Егорушкой. Она — высокая, прямая и выдается над всею толпою.

И вот—снега, снега, равнина, и по ней далеко-далеко движутся цепью силуэты каравана и растянувшихся гуськом людей...

★

В неряшливой, заваленной газетами и книгами комнате Якова Шатурский и Боговик сочиняют «покаянное» письмо. Они хохочут, обнявшись за столом и раскачиваясь от смеха. Между их головами — испуганная физиономия Якова. Боговик, подняв письмо, напыщенно продолжает читать: «Мы заявляем о своем полном и окончательном разрыве с оппозицией, возглавлявшейся Зиновь-

евым и Каменевым, которая объективно выражает антиленинскую идеологию». «Погоди,—останавливает Шатурский,—здесь надо вставить: «антиленинскую и антисоветскую идеологию». «Разве не все равно?». «А ты пиши, — настаивает Шатурский, — как требуется, так и пиши. Наука нехитрая!». Боговик вписывает слово, приговаривая: «Наука нехитрая. Слушайся, не рассуждай!.. (Он читает дальше.) «Мы безоговорочно признаем политику Всесоюзной коммунистической партии большевиков совершенно правильной и...». Шатурский: «Зачеркни «совершенно», надо «единственно»... Боговик: «...единственно правильной и безусловно подчиняемся решению партии и ее ЦК»... Ей-богу, здорово! На, подписывайся!».

Шатурский отстраняется, встает с независимым, пренебрежительным видом: «Это ты подписывайся, мне—зачем?». Боговик от неожиданности не может ничего выговорить. Шатурский, смеясь: «Да ты обалдел: ведь это тебя выгнали из партии, а я пока — партиец!». Кончиками пальцев он вытаскивает из кармана партбилет и машет им перед носом Боговика. «Чорт, — спохватывается Боговик, — ты меня сбил этой филькиной грамотой... Каким чудом ты до сих пор удержался в их партии?». Шатурский с самодовольной хитрецей: «Твоя школа пошла впрок: помнишь, учил меня при луне? Ласковый теленок двух маточек сосет!..».

Вдруг вскидывается и начинает бегать по комнате Яков. За все время он в перепуге и непонимании не проронил ни слова. И вот его прорвало. Газеты сыплются на пол, книжки валяются со стульев и кровати. Он выкрикивает: «Я против! Я не хочу отказываться! Считаю и считаю нашу линию правильной! И вот по каким основаниям...». Он бросается к книгам. Боговик перехватывает его, зажимает ему ладонью рот: «Перестань бредить! Ты поступишь так же, как мы!». Яков вырывается, в бешенстве кричит: «Извините! Я буду защищать свои взгляды перед кем угодно, хотя бы перед самим Кировым, да, перед Кировым!». Он хватает книжку и бежит вон, за дверь.

Тишина. Неподвижны, насторожены приятели. И в тишине отчетливы слова Шатурского: «Этот дурак для нас опасен...».

★

Приемная Кирова в Смольном. Яков отчаянно спорит с секретарем. Раскрывается дверь кабинета, — Киров. Он в старом летнем пальто-дождевике, в фуражке. Яков кидается к нему: «Товарищ Киров, к вам не пропускают!». Киров испытующе смотрит на него, суматошный, растревоженный вид Якова привлекает его внимание, он спрашивает: «От меня вы куда собирались?». — «От вас? (Яков на миг опешил.) От вас — заниматься, в Архив». — «Идем, подвезу».

Киров проходит безлюдным коридором, потом сбегает по такой же безлюдной лестнице. Яков насилу поспевает за ним, но все же на бегу принимает листать книгу.

Они в открытой машине. Скорая езда. Проспекты. Киров с любопытством искося поглядывает на Якова, тот, потеряв нужную страницу, листает, листает книгу. «Товарищ Киров. Я должен вам процитировать одно место из...». Киров тихонько закрывает его развернутую книгу. «Товарищ Киров, ведь это — Ленин!» — ужасается цитатчик и снова настойчиво листает книгу. Киров спокойно, решительно повторяет тот же жест. Пристально и с едва заметной усмешкой сощурившись на соседа, он говорит: «Когда дьяволу ничего не помогает, он цитирует священное писание». Цитатчик подсакивает. Киров продолжает спокойно: «Ведь все зиновьевцы и троцкисты клянутся Марксом и ссылаются на Ленина. Но разве вы были когда-нибудь марксистами? Разве вы способны понимать Ленина? Марксист должен учитывать факты живой жизни. Ленин всегда указывал на это. И Ленин не спасовал перед буквой марксизма. В новой исторической обстановке, в которой живет наш Советский Союз, Ленин сделал новый вывод о возможности победы социализма в одной стране. Вы, оппозиционеры, троцкисты, зиновьевцы, отвергли этот вывод Ленина. А

мы, ленинцы, мы приняли его: мы строим социализм в Советском Союзе». Яков прижимает книгу к груди: «Я — не троцкист, товарищ Киров. Я докажу». Киров, перебивая, взмахивает рукой: «Вы не замечаете действительности: народ с нами, со Сталиным, народ не хочет вас знать». Яков хватается за голову. Киров широко, освобожденно оглядывается.

★

Нева, сквер бывшей Сенатской площади, памятник Петру. «Приехали» — говорит Киров, притрагиваясь к плечу шофера. «Куда?» — вдруг не понимает Яков. «Вам ведь в Архив?». — «А это?». — «Это — Медный всадник... Вы ходите в Архив и не заметили, что рядом — Петр Великий?». «Великий!!» — в страшном изумлении вопиет Яков. Киров смеется: «Великий, ничего не поделаешь!». Выходя из машины, он говорит: «Взгляну на него: давно не видел...».

И вот — у памятника Петру. Киров неподвижен. Яков топчется позади, ухмыляется, подергивает плечами. Ехидно: «Вы, товарищ Киров, кажется, склонны преувеличивать значение личности в истории?». «Он знал народ. А вы народа не знаете» — говорит Киров, не отрываясь от монумента. Снимает фуражку, стоит с открытой головой, лицом к всаднику, и — против ветра, который треплет его волосы. Проводит ладонью по голове. «Помните, насчет окна в Европу? — говорит он, не оборачиваясь к Якову. — Окно, правда, оказалось тесновато... Надо бы рубать пошире... Ничего, мы, большевики, поправим дело... А придет час — свалим все простенки, которые отгораживают от нас Европу, Азию, весь мир...».

Вдруг, не оглянувшись, не кивнув, Киров идет к машине и уезжает. Яков медленно приходит в себя от всех неожиданностей. Спиной к Петру, лицом к Архиву, он берется за книгу и машинально перелистывает страницы...

★

Киров на «Путиловце», перед цехом запасных частей. Кругом валяется сталь-

ной лом, целая куча болванок. «Эй, — окликает Киров лениво проходящего человека, — товарищ, кто будешь?». «А что?» — нехотя отзывается человек. «А то, что зря тут добро валяется». — «Не валяется, а лежит». — «Плохо лежит». — «Кабы плохо лежало, его бы утащили, а то оно ни одному чорту не нужно». И человек скрывается в цехе.

Перепрыгивая через обломки и сплетения стали, Киров вбегает в цех. Очень малолюдно, но сразу же цех начинает заполняться: кончился обеденный перерыв. Рабочие узнают Кирова, здороваются.

Спешит навстречу Чорбов-отец. Киров протягивает руку, Чорбов, не желая ее пачкать, подает свою согнутой в запястье, и Киров уважительно пожимает запястье. Он отводит Чорбова в сторону: «Закурить есть?». Чорбов достает махорочку, клочок газетки. Киров ловко крутит «козью ножку». Когда задымили, Киров: «Скажи, старина, почему на запасных частях растет брак?». Чорбов косится на Кирова: «По правде говоря?..». — «А разве ты и по-другому умеешь?». — «По правде — я вот сейчас пообедал... а одним словом — вроде как не обедал. Плохо рабочие питаются». Киров поморщился, недоволен ответом. «А тут морщись, не морщись...» — хмурится Чорбов.

Один за другим появляются Газа и директор. У Газа одышка, он кашляет. Киров, здороваясь, озабоченно приглядывается к нему. Директор тоже задохнулся: бежал. Все вместе двигаются по линии поршневых колец, начальник цеха — позади Кирова.

У станка. Киров берет отливку детали, рассматривает ее, как техник, всесторонне: «Хорошая отливка. Но к чему такие толстые стенки? Металла у нас мало, а беречь его не умеем. Возьмите американское литье: насколько там все легче, изящнее!». Инженер: «Совершенно верно. У нас привыкли — с запасцем, по-старинке».

Вдруг вмешивается мастер: «Ни на микрон тоньше нельзя. Начнешь растачивать, враз запрешь!».

Киров тотчас узнает в мастере человека, нагрубившего ему на дворе. Инженер возражает мастеру. Тот упрямится.

Лицо Кирова вздрагивает, мгновенно изменяются все черты. Но он сдерживает охвативший его гнев, и вдруг прерывает спорщика насмешкой: «Сейчас ты стал в микронах рассчитывать! А на дворе, когда меня не признал, тебе и на тонны металла плевать было...». Под его взглядом мастер замолкает и, насупившись, отводит в сторону лицо.

Киров, круто повернувшись, уходит из цеха, вновь из последней силы подавляя бешенство: «Вот такие и подрывают работу, — чеканит он властно, — гнать его с завода, гнать!».

★

Двор «Путиловца». Приступ кашля мучит Газа, и Киров говорит с тревогой: «Ты, товарищ Газа, ступай к себе. Я загляну в столовую, потом — на жилищное строительство». Газа хочет возразить, но еще больше кашляет. «Ступай, ступай» — настаивает Киров. «Ты смотри, не захворай, — вдруг поняв мысль Кирова, говорит Чорбов, — время-то какое...».

Все заходят в столовую. Неожиданно Киров отделяется: он увидел будку телефона-автомата. В записной книжечке он выискивает номер телефона, хочет звонить, спохватывается, — нужен гривенник. Шарит в карманах: нет. Он выходит к товарищам, слегка сконфуженный, улыбаясь, просит «взаимы». Все смеются, Чорбов достает из заслуженного рабочего кошелька гривенник. Киров возвращается в будку: «Лечебная комиссия? Это Киров. Да... Кому из вас, товарищи доктора, полагается следить за товарищем Газой?.. Так вот, скажите там, чтобы его навестили да послушали. Неважно у него со здоровьем-то... Не заявлял? Да он умрет, а вы все будете ждать, когда заявит... Конечно, будет отказываться, а вы не слушайте, отправьте его, куда следует, и пусть подлечится...».

★

В столовой Киров подходит к обедающему рабочему, садится рядом, спрашивает: что тот заказал, сытны ли блюда? Рабочий: «Да ты, товарищ Киров, лучше сам поотведай». Кирову дают ложку, он пробует щи, хмурится: брандахлыст.

Он идет на кухню. Все мелочи фабрики питания привлекают его внимание.

Среди товарищей, с которыми происходит разговор, ему попадает на глаза Чорбов. «Что же, из вашей столовой с пустыми животами уходят?» — кивнув на него, спрашивает Киров у повара. «Вот я выдвигаю товарища Чорбова шефом над столовой». Чорбов хочет обернуть дело в шутку, отрешивается и смеется, но Киров неожиданно строго: «Жаловался? — так и поправляй дело. Цех питания на заводе — один из главных цехов». И, обращаясь к поварам: «Выполнение плана завода лежит и на вас, как на всех рабочих. Перестраивайтесь. Скоро я приеду к вам обедать...».

Когда Киров проходит столовой, из угла, от группы обедающих отделяется Боговик, идет наперерез. Киров узнает его, но не хочет остановиться, и Боговик едва поспекает за ним, придерживая свою забинтованную руку. «Товарищ Киров, я подаю заявление о своем восстановлении в партии». — «А что вы хотите от меня?». «Я хотел вам лично подать» — говорит Боговик, вынимая из кармана бумагу. «Это лишнее. Подайте по месту работы». И Киров распахивает дверь...

★

Чорбов провожает Кирова по заводскому двору. Взяв Чорбова под руку, Киров тихо спрашивает: «Что у вас, присматривают за этим фруктом — Боговиком?». — «Ничего не замечали как будто». — «Может, не замечали, потому что не смотрели?». Чорбов разводит руками. Он понимает, что следует «поглядывать».

Он доводит Кирова до проходной. «А как, старикан, твой сын?». — «Женил-

ся давно уж...». — «Это на той комсомолке?». — «На той самой, на Оле. Внуком меня удружили, — расплывается Чорбов, — Сергеем нарекли... в твою честь!». Киров улыбается, потом вдруг серьезно: «Я хочу послать твоего сына на работу, — Север строить». Чорбов ствечает не сразу: «Он — малый стойкий, разумный... товарищ Газа его сколько хвалил... Но, видишь, какое дело — дитё грудное...». «Дитё мы оставим тебе... сиди в столовой и нянчай!» — смеется Киров, и они расстаются.

★

Строительство огромных жилых домов. Солнце. Высоко по лесам всходит Киров, сзади него — прораб. Ему навстречу — молодая женщина. Им трудно разминуться, они взглядывают друг на друга. «Здравствуй, Оля» — говорит Киров. Она изумлена. Он хохочет. «Смотри, не упади: высоко!». Забыв поздороваться, она восклицает: «Неужели запомнили, товарищ Киров?...». — «Как мой тезка-то поживает?». Ольга не может понять, о чем он. «Ну, Сережка-то твой растет?». Она всплескивает руками: «Сергей Мироныч!...». Он хохочет еще больше, страшно довольный, счастливый, как ребенок, развеселенный ее изумлением. В полушутку поддерживая Олю, он ведет ее вверх. «Как сюда попала?». — «Профсоюз нагурился — с сезонниками работать». «Хорошо... Хорошо! — повторяет Киров, выйдя с Ольгой на стены и охватывая взглядом могучий размах простора. — Смотри, какой город, смотри, как хорошо!». Он минуту наслаждается картиной. «Какой хороший город!» — снова повторяет он, оборачиваясь к Ольге. Восхищенная, она не может ничего ответить, у нее наконец прорывается сквозь степенность недосказанное: «Какой хороший...». Она смотрит в лицо Кирова.

Киров пошел вдоль стены. Группа каменщиков, — бригадир ругается с техником, работа стоит. Киров к технику: в чем дело? Тот объясняет: приказал разобрать несколько рядов кирпича, неправильно выложенных, каменщики отказываются. Киров берет уровень,

проверяет стену по горизонту, потом — отвесом. Изучает кладку кирпича.

Подойдя к бригадиру каменщиков, он показывает вдаль, на дымящие трубы «Путиловца». «У тебя из родных никто не работает на заводе?». «Брательник» — нехотя отвечает бригадир. «Так вот, товарищ, твоему брательнику, может, и достанется квартира в доме, который ты строишь. Не ему, так другому рабочему. Думаешь, за твою негодную работу он спасибо скажет? Нет уж, не кобенясь. Сделал плохо, — переделай, исполний приказ техника».

Каменщики неподвижны. Бригадир надулся, не глядит на Кирова. Медленно повернувшись к бригаде, он отчаянно резким жестом приказывает: разбирай! И сам первый начинает рушить плохую кладку. Киров — к Ольге с шуткой: «Где же твоя профсоюзная работа?».

Прищуриваясь испытующе, он берет Ольгу под руку, отводит в сторону: «Хочу я у тебя мужа отнять, товарищ Оля... Послать его на большие дела». Она долго молчит, смотрит себе под ноги. И Киров не хочет нарушить молчание. «Куда?» — спросила она наконец. «На Север. Там нужны сильные, молодые люди, верные большевики. А он — такой». — «А я?». — «Захочешь, — поезжай!». Секунду она еще словно колеблется. Потом решительно: «Посылайте». — «Скажи, чтобы он пришел ко мне». И оба они, прощаясь, хорошо взглянули друг на друга.

★

Горы Хибин. Вот чистый, нерушимый покров снега. А вот снег, взбитый, раскиданный, затоптанный следами человека, которые разбегаются широко по сторонам.

Строится первое поселенье: возведен бараковидный шалман, торчат сваи другого шалмана. Неподалеку — палатки. Их рвет ветер. Народ зябко бежит с построек в палатки, насили-насилу одолевая противный ветер.

На Кукисвумчорре, еще белом и безжизненном, — маленькое темное пятно. Приближаешься, — видишь в этом пятне

движение: это первые горняки снимают поверхностную породу, пробиваясь в тело горы. Начальная добыча — горки апатито-нефелиновой руды сложены аккуратно.

Лицо Ярошенко — потное, возбужденное. Он сам с отбойным молотом. Горняк расклинивает, отваливает пласт породы. Разогнулся, смотрит на Ярошенко, оба вытирают пот, садятся, прячась от ветра, за кучкой камня. Крутят цыгарки, смотрят вниз: там, по ершистым, корявым макушам сосенок и берез разгуливает неистовый вихрь, подминая, тербя цепкий лесок, — вот-вот повыврывает с корнем и разметет по всему свету.

Горняк качает головой: «Серьезный здесь климат, товарищ Ярошенко!». «Наша возьме-ет!» — тянет Ярошенко. Оба одобрительно глядят друг на друга...

★

Роется канава около шалмана, жгут костры, чтобы оттаивать землю. Кучка рабочих отдыхает на дне канавы, укрываясь от вихря. Мавра развязала платок, приглаживает волосы. Очень замкнута. Взглянула на Егорушку. Тот, усталый, отвертывается от нее, бросает лопату, уходит. Мать глядит за ним сочувственно, горько, но сурово. Подперевшись, она запевает, ее поддерживают землекопы:

Отчего, певунья птичка,
Хлебных зерен не клюешь?
Отчего ты, невеличка,
Звонких песен не поешь?

Отвечала эта птица:
— Жить я в клетке не хочу,
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу¹.

★

Егорушка подошел к шалману. У дверей — плакат. Крупно написано: «Требуются горняки, кузнецы, слесаря, плотники...» — длиннейший ряд профессий, а в конце: «и всякие другие рабочие руки». Егорушка водит вдоль строчек пальцем.

¹ Стихи Александра Твардовского.

Из шалмана выходят два горняка, видят, как Егорушка вчитывается. Один спрашивает: «Чего, малый, продаешь?». Тот не понимает. «Чего умеешь делать?» — объясняет другой. «Пахать» — говорит Егорушка. «Это тут не треба, — смеются горняки, — ступай в шалман, тебе найдут дело».

Егорушка распахнул дверь в шалман, ветер подхватил, чуть не оторвал ее. В шалмане темно, тесно: и контора, и чертежная, и лаборатория, жилье, и партколлектив, и просто склад товара — все здесь.

Разбирается большой ящик с духовыми инструментами. Занят этим маленький пожилой человек, который тут же пробует инструменты — трубы, басы, понимая, видно, в них толк. Егорушку привлекает блеск меди и музыка, он смотрит на маленького человечка, разинув рот. Вдруг музыкант протягивает ему баритон — труби! Егорушка пробует, у него не получается. «Прижимай туго... дуй во-всю!» — командует учитель. Егорушка дунул. Весь шалман вздрагивает, изо всех углов озираются на страшного трубача. «Приходи сюда вечером, буду тебя учить» — с полным удовольствием приказывает учитель и хлопает одобрительно Егорушку по груди. Егорушка счастлив: сияя, он пятится к выходу.

★

В канаве разговор. Мавра, рассказывая всем сразу, громко: «Нет, говорю, корову не отдам! Нынче отберете корову, завтра — отдай вам овцу. А послы завтра — смотри, мужичонка есть у меня, Прокопий, — дай вам и мужичонку? Нет, говорю, товарищи-общественники, лучше забирайте, нате вам все сразу и гоните меня, куды хотите!».

Во время ее разглагольствования — звонок к возобновлению работы. Партия подымается. Мавра берется за лопату и, выкидывая землю наверх, приговаривает: «Не-ет... Я на корову не согласна... вре-ешь... не согла-асна... гоните меня, куды...». Постепенно разгорячась, Мавра входит в озлобление, начинает работать люто, зло и подгонять соседних

мужиков: «Кидай ровней... чего у тебя назад все катится?! Кидай выше...».

В разгар работы появляется десятник с прорабом. Прораб обращается к партии: «За вчерашний день, ребята, ваша партия план выемки грунта выполнила. Потому назначаю лучшего вашего работника бригадиром. Лучший у вас работник — Мавра Савватиева».

Она стоит молча. «Согласна, что ли?» — спрашивает десятник. Она оглядывается на своих товарищей по работе, потом говорит рассудительно: «Бригадиром я согласна... а насчет коровы, как сказала, — не-ет, делайте со мной, что хотите...». Кругом смеются, она отходит в сторону, к сыну, глядит на него исподлобья и неожиданно требует ответа: «А ты чего лопату бросил?». — «Я буду теперь в трубу дуть». — «Я те подую!.. Работай, как следует, выстроим чего, — может, полегше будет житься...». — «Да, полегше! Они тебе в глаза тыкать будут — кулачка!». — «Они, чай, разберут, Егорушка, какая я кулачка. Ведь вот меня бригадиршей сделали». — «А что толку?». Мавра вдруг рассердилась: «Ну, ты, вображай!» — и повелительно сунула Егорушке в руки лопату...

★

Детскосельский туберкулезный диспансер. Отдельная палата. Газа, приподнявшись в постели, раскладывает, сравнивая, пять одинаковых листов машинописи. Чорбов-отец — на стуле, рядом, подобравшись, как больничный посетитель. «Много нашли?» — спрашивает Газа. «Что нашли, — все тут. Эти, в масле запачканные, в станки были засунуты. А эти по цеху раскиданы». Газа, взволнованный, собирает, складывает листовки, тянется к Чорбову: «Кати на завод, — пусть пришлют машину». Чорбов перепуганно отказывается. «Скажи — надо... в Ленинград... доктора велют... на консилиум». Чорбов отказывается. Газа тянет его к себе, говорит на ухо: «К Кирову поехать» — и он показывает на листовки. Чорбов нерешительно уступает. Бережно притрагиваясь к исхудалым пальцам Газа, от-

кланываясь, он в дверях высказывает свое постоянное опасение: «Ты смотри, время-то какое... не захворай...».

★

Врачи у Газа. Кончилось выслушивание. Улыбаются, похваливают: понемножку-помаленьку поправится. «Сегодня можно посидеть в саду, полчаса», — как с ребенком, говорит профессор. Все довольны: больной держится пай-мальчиком.

Едва врачи за дверь, Газа подымается, прислушивается, и непрочным шагом — к шкапу. Вынута обычная рабочая одежда. Она кажется непослушной: руки слабы, движения неловки. Одевшись, Газа вытирает со лба пот. На пиджак напяливается халат. И перед зеркалом: как будто все в порядке.

Звонит. Сестра удивлена, что больной — уже в халате: но он так рад, что разрешено выйти в сад, и, естественно, поторопился. Его сопровождают, придерживая под руки. Он совершенно неузнаваем: ему ведь вечно всякая помощь в тягость. Вот только место в саду он выбирает сам: поближе к калитке, там — чудесная скамеечка, и все кругом видно. Маловато тени? Ничего! Немножко солнца не повредит. Он просит сестер уйти: ему отлично!

Он исследует взглядом кусты. Ворота и калитка недалеко. Пальцы барабанят нетерпеливо по коленям.

И вот — гудок знакомой сирены. Газа вздрогнул, осмотрелся: никто не видит. За куст, за другой, в калитку. Машина у ворот. В нее! Шофер в недоумении: почему — в халате, почему — один, ведь говорили — поедет с врачами!? Рукопожатие и — не разговаривай, пошел: «В Ленинград!». Уже на ходу, где-то у Египетских ворот, передохнув, Газа стаскивает с себя нелепый халат...

★

Кабинет Кирова на улице Красных Зорь. Книг много, но они еще далеко не заполняют полки. За столом наклонены две головы: Киров и его преподаватель по техническим наукам. Они раз-

бирают чертеж. Киров сосредоточенно следит за карандашом учителя, потом отходит к полкам, просматривает корешки, и зритель читает вместе с ним названия технических дисциплин. Он остановился на книге с надписью «Д е т а л и м а ш и н», просматривает ее оглавление, находит в тексте нужный чертеж. Учитель с оживлением одобряет своего ученика, познания которого в технике неожиданно велики. Они опять наклоняются над столом.

Составлен план занятий. Киров, вспоминая школьные годы, отмечает в книге заданный урок буквами: «ДСП» — «до сих пор», и оба улыбаются прошлому, глянувшему на них из-за этих наивных букв.

Киров провожает преподавателя в переднюю, и там, одевшись, тот удивленно спрашивает: «Не пойму, Сергей Мионович, зачем вам проходить такую большую программу по технике?». «А видите ли, — говорит Киров, и взгляд его делается неуловимо-лукавым, — нам, большевикам, надо знать науку о сопротивлении материалов так же основательно, как науку о сопротивлении классового врага...».

★

Он распахивает дверь и видит: на лестнице, держась за перила, старается отдышаться Газа. В два шага — Киров рядом с ним и протягивает ему руку: «Что случилось? Почему не на лифте?». Голос переполнен тревогой и в то же время требователен, строг. Лифт, как назло, не работает. Тем хуже! Киров рассержен. Правда, он терпеливо, медленно идет с Газа в кабинет. Но он заранее готов отклонить объяснения непростительному поступку. «Мне звонили о твоём здоровье. Сказали — тебе еще нельзя вставать». Газа уселся и только успокоительно трясет руками: погоди, погоди, не горячись. Он достает и разворачивает листовки.

Киров почти выхватил их у Газа. Уже это движение показывает, что он догадался — какое дело привело к нему Газа. Он отходит к окну, читает, быстро, одну за другой, сравнивает ли-

стовки, смотрит их на свет, пробует бумагу на ощупь.

Возвращается к Газа. «Не сдались еще. Сопротивляются». Сжаты его брови, туго стиснуты челюсти: «Тем хуже... для них!». Он садится ближе к Газа, наклоняется, чтобы тому было легче говорить. И Газа тихо начинает рассказ.

★

Выслушав и поднявшись, Киров потрянул головой: «Оставь мне...—и он кинул листовки на стол. — Но ты сделал неправильно, что приехал: должен был вызвать меня. Пойдем».

В передней он накидывает на плечи Газа свой дождевик и сопровождает Газа вниз, на улицу. Когда он усаживает его в машину, подлетает другой автомобиль, из которого выскакивают растерянные детскосельские доктора. Киров усмехается их перепугу. «Мы были и на «Путиловце», товарищ Киров, — торопятся они, — и в Смольном!..». «Плохо вы бережете своих больных, товарищи доктора. А таких, как он, — показывает он на Газа, — надо держать за железными замками!». И он прощается приветственным взмахом руки.

Он бежит вверх по лестнице прыжками через две ступени. На одной из площадок догоняет женщину — соседку по квартире. Женщина несет ребенка и тяжелую сумку. «Добрый день, — говорит Киров, — вам ведь тоже на пятый? Давайте я помогу». И он берет из ее рук ребенка, поднимается с ним, ставит его у двери и, дождавшись женщину, важно и почтительно прощается с ребенком за ручку.

★

Смольный. У Кирова — Петров и Ляня Чорбов. Оба они направляются Кировым в Хибины, на работу, и Киров напутствует их указаниями. Ляня едет с охотой, но у него одно сомнение: «В горном деле я не работал, Сергей Мироныч, боюсь, не выйдет». — «Надо пробовать, — выйдет. Я вот тоже в жизни своей не воевал. А в гражданскую войну попробовал — вышло!..». Все трое

улыбаются, вспомнив славно «выходившую» у Кирова войну на Кавказе, в Баку, в Астрахани. «Может, вы от комсомола меня освободите?» — спрашивает Ляня. «Сколько тебе лет?». — «Двадцать пять». «Эх, милый! — восклицает Киров. — Да если бы мне двадцать пять, я бы не то, что на комсомольскую, — на пионерскую работу пошел бы!». Они опять смеются. Киров обнимает Ляню за плечи: «Поработай с молодежью, паренек, ты для этого — ничего, подходящий!».

Петров, уходя, кивает на дверь: «Там — Боговик, говорит: ты вызывал». Киров коротко: «Зови».

★

Петров приводит Боговика и остается в дверях.

Боговик все еще с перевязанной рукой. Киров, не отвечая на поклон, с открытой прямою глядит ему в глаза. Боговик ожидал, что его пригласят сесть, но Киров стоит, и некоторое — кратчайшее — время Боговик хочет заговорить, но не может подыскать слова и тотчас решает молчать, пока не начнет говорить Киров. Киров видит эту заминку и нарастающее мучительное состояние Боговика и продолжает молча глядеть ему в глаза с подавляющим преобладанием. «Мне передали ваше заявление о восстановлении в партии, — говорит он. — Поете, как по нотам, но голос не тот». Боговик, с видом человека непонимающего и кроткого: «Если неясно, я.. объясню...».

Киров быстро раскрыл на столе папку, вынул лист бумаги, исписанный на машинке, и, протягивая его через стол Боговику, сказал: «Да, объясните... что там у вас такое?».

Боговик взял бумагу и, только-что глянул в нее, миготом отшатнулся, точно обжегшись; хотел бросить, удержался, посмотрел на Кирова, потом на Петрова, сказал: «Это — не то...». Киров, не отрывая от него взгляда: «Это — именно то!». — «Нет, это — недоразумение, какая-то прокламация...». — «Почему какая-то? Ведь вы узнали ее!». Боговик бросил листовку на стол: «Вы собра-

лись меня поймать!». — «Вы пойманы за разбрасыванием этих листовок». Разыгрывая оскорбленного, Боговик восклицает: «За разбрасыванием? уже полмесяца, как я не был в цеху!». И он показывает на перевязанную руку. «Вы, однако, знаете, что листовки найдены в цеху?». Опять мгновенная немая сцена, и вдруг Киров резко поворачивается, почти обегает стол и, остановившись за шаг от Боговика, бросает ему в лицо: «Довольно ломать комедию! Ты не такой дурак, чтобы раскидывать эту дрянь собственными руками. Но твои подручные тоже пойманы! Эти листовки, в которых ты подло клеветал на большевиков, мы их пришлем к твоему пропетому по нотам покаянию, чтобы лучше помнить цену твоим слезам и клятвам!». «Доносы!» — кричит Боговик. «Перестань. Не обманешь. Тебя тут довольно терпели. Поезжай, поработай в другом месте». Боговик глядит испуганно и озлобленно. «Где?» — спрашивает он тихо. «За Полярным кругом». — «Эго что — ссылак?». Тогда внезапно кричит Киров: «А ты думал, я смотреть буду, как ты гадишь нашей партии?! Ступай!».

Боговик идет, покачиваясь, вдруг подымает голову на Петрова, приостанавливается, хочет крикнуть, закусывает губу, уходит, сжавшись. Петров тревожно: «Товарищ Киров, это — вредная гадюка». Киров с гневом и отвращением: «А, чорт с ней!..».

★

Платформа вокзала. У поезда — прощание Лени Чорбова с семьей. Мать тихонько плачет, старик Чорбов — очень суетлив, все потирает руки, словно обделал хорошее дельце.

Звонок. Последние мгновения расставания Лени с Ольгой. Она держится мужественно, это делает ее немного сухой, напряженной. Внезапно она уткнулась лицом в плечо мужу. Леня растерялся, поглаживает ее, обнимает, неловко смотрит по сторонам. Говорит ей прерывающимся голосом: «Ты... этого... Сережку-то поцелуй, понимаешь...». Потом быстро целует ее мокрое лицо, ее глаза, и отрывается, — в поезд.

★

В Хибинах заканчивают строить первый стандартный домик, растет новый барак. Но это — все еще крошечный поселок, где горстки людей упрямо наклеивают первые ячейки сот на подножии величественных гор.

Внутри жилого барака обычная жизнь: труд, занятия, роздых, сон — все смешалось. В одном углу — заседание инженеров с техниками, спор над чертежом; в другом — пеленанье плачущего ребенка; в третьем — обед артели из общей миски. Рабочие спят на нарах мертвым сном. Какой-то человек, нащепывая, мусоля карандаш, сочиняет стихи. Рядом, у окошка, молодой ученый копается в коллекции минералов. И вон в углу увлеченно дует в трубу Егорушка. Он уже научился кое-чему, и инструмент звучит у него довольно уверенно:

Мы идем вперед
Через снег и лед,
И нигде нам не страшен враг...

Мать толкает его: «И чего-й-то все дудишь непонятное! Сыграл бы, что ль, Певунью-птичку...». Егорушка ксится на мать укоризненно, затем вытряхивает из мундштука слюну и пробует поправить: «Отчего, певунья-птичка...».

В барак вошли Петров и Леня, слушают с улыбкой Егорушку. Леня подходит к нему. Егорушка перестает играть, разиня рот, смотрит на Леню. Тот тихонько указывает пальцем закрыывает ему рот. Егорушка обиделся. Но Леня добродушен: «Кулак?» — спрашивает он. «Не...». — «А кто же?». — «Трубач». Леня смеется: «А еще кто?». «Сын бригадирши» — показывает он на мать. «А сам хочешь быть бригадиром?». — «Захочу, тебя спрашивать не буду». Егорушка хмурится, но веселость и простота Лени покоряют его, он расплывается улыбкой.

Леня с Петровым оборачиваются к соседним нарам. Там лежит Боговик. Он нехотя переводит на них глаза, молчит. «Надумал?» — спрашивает Петров. Молчание. «Будешь работать?». Молчание. «Ступай в кузницу, принимайся». Боговик вскакивает. Заложив руки в карманы, он посмеивается! «Кузница

без наковальни?». — «Сегодня наковальни нет, завтра будет». Боговик качает головой. «Не ломайся. Саботировать мы тебе не позволим». Боговик ухмыляется: «Я хочу переквалифицироваться». — «Ну?». — «Пойду в запальщики...». Петров и Леня переглядываются. «Ладно, — говорит Петров, — выходи на работу, вот твой начальник». Он показал на Леню. Боговик презрительно смерил Леню с головы до ног.

★

Разъезд Белый. Снег. Агаша принесла отцу запас сушеной рыбы. Койбин укладывает провизию в мешок. В стороне — подводы. Приближается поезд. Возбуждение на станции. Скрежет тормозов.

Из вагона выпрыгивает Киров. За ним — несколько его спутников. Им навстречу бежит все население крошечной станции и — толпою — провожает их к подводам. В толпе — Койбин с Агашей.

Киров собирается сесть в сани, когда к нему подходит Агаша и выжидательно заглядывает ему в лицо. Ее несмелость, любопытство и тонкая хитринка взгляда привлекают Кирова: «Ты что?». Вдруг, шагнув к Кирову, Агаша быстро говорит: «Отвези меня в горы». «Что будешь там делать?» — удивляется Киров. «Копать золото!». Киров улыбнулся: «А где твои родители?». Агаша кивает на Койбина, уже подобравшего вожжи. Киров обращается к нему, но Койбин сердито трясет головой, — нет, он не хочет, чтобы дочь ехала в горы. У Агашы на глазах слезы. Киров приближается к Койбину: «Почему ее не пускаешь?». Койбин отвечает сурово: «У меня было два сына. Пришла война — взяла старшего, и он не вернулся в тундру. Пришла еще война — взяла младшего, он тоже не вернулся в тундру. Теперь пришла третья война, — с горой Кукисвумчорр, — хочет взять дочь. Я не дам дочь!». «Это ты зря, — возражает Киров, — дочь научится работать, ей будет нестрашна никакая гора». — «Гора отняла у меня оленей. Хочешь воевать с горой, — надо знать слово».

«Я знаю слово» — говорит Киров. Койбин недоверчиво сторонится, но видно — ему хочется знать, о чем думает Киров. Тогда Киров привлекает его к себе и по слогам выговаривает на ухо: «Машина!». Койбин попятился, — как понять Кирова? — а тот уже командует Агаше: «Садись скорее, отец подумает в дороге!».

Они закутываются в тулупы, и, тронувшись, обоз растягивается цепочкой, исчезая в белых хвостах поземки.

★

Темно. Сквозь метель чуть светятся два-три окна барака. Один за другим выбегают из барака люди, прислушиваются, вглядываются в темноту. Свищет, распевает метель. Люди прячутся в барак.

Из тьмы, из посвистов метели показывается подвода. Весь в снегу, с залепленным лицом, вылезает из саней Киров. Насилу двигаясь, разминает ноги, скидывает с тулупа пласты снега. Подъезжают другие подводы.

Встреча необычайна: возбуждение, радость рвется наружу у всех, каждый старается помочь приехавшим войти в барак, раздеться. Лицо Кирова свело морозным ветром. Он улыбается, и обычная его ясная улыбка застыла на лице. На него смотрят все — Леня, Петров, Ярошенко, молодые разведчики, рабочие и те, кто приехал вместе с ним. Он присаживается на корточки к железной печке — погреться, а рядом уже готовятся к заседанию.

Ярошенко принес образцы апатитов. Киров сразу увлекается ими, потом — картой бурового керна, которую приколотил на стенку бурильщики.

Расселись на скамьях, и Киров занял председательское место за столом. «Разрешите, товарищи, открыть совещание и сначала выслушать вас, пионеров советского апатита. Начинайте, товарищ...». И он кивнул Ярошенко.

★

Мавра сидит, скрестив большие руки. Коптилка на нарах, в изголовье,

чуть освещает листок бумаги и голову наклонившегося над ним Егорушки. Он пишет под диктовку матери: «...а корову я нипочем не отдам... А мужик мой Прокопий был со мной согласный... И за то засчитали нас в подкулачники... и угоняли в разны стороны... меня с сынком суды... а мужика мово, Прокопия, — не знай куды... как разрезали по живому телу пополам... Окажи праведную милость, почетный товарищ Киров... воти меня, безвинную... ох, назад, на родину-у!..».

С верхних нар свесил голову Боговик. Когда Мавра охнула, он захохотал: «Дура-баба! Кого вздумала разжалобить! Он в твоих слезах ног не помое!» Мавра вскакивает, кричит: «Типун тебе на язык, окаянный!». Она нагибается к коптилке: «Давай, Егорушка», — берет карандаш, выводит крупно подпись: бригадир Мавра Савватиева. Складывает бумажку, прячет ее на грудь, решительно заматывает голову платком, уходит.

★

В окнах барака уже утренний свет. Все то же совещание. Но усталости будто нет — тишина, настороженность, внимание: слушают Кирова. Он говорит тихо, отточено, извлекая самое главное из множества вопросов. Это — не речь, обращенная ко всем, а беседа с каждым в отдельности, и каждый участвует в ней, как в личном деле.

«Надо изучить здешние реки, ручьи, подземные воды. Надо строить тепловую станцию, — на первых порах хватит...».

У самой двери народ стоит плечом к плечу. Вошел рабочий: «Скоро?». Ему не отвечают. Он — к Мавре, которая притулилась у косяка: «Кончают?». Мавра тихонько: «И, милый, я тут с ночи дожидаясь, они все говорят и говорят...». На них озираются, шикают.

«У нас, у меня, — говорит Киров, — у советской власти и нашей коммунистической партии, у товарища Сталина не останется никаких сомнений, что апатиты будут двинуты в кратчайший срок на

службу индустрии и на колхозные поля социализма. Здесь будет создано хозяйство мирового значения. Здесь будем, товарищи, строить город...».

С последними словами Киров встает, его обступают, ему аплодируют. Надев шубу, он выходит из барака. Мавра хочет протиснуться к нему, ее оттесняют. Робость, усталость вдруг нападают на нее и, выйдя со всеми на волю, зажимая в кулаке припасенную бумагу, она глядит на Кирова, не двигаясь.

Метель прошла. Киров смерил глазами могучую горную гряду, остановился на обезглавленных зимними облаками вершинах Кукисвумчорра и Юкспора, тряхнул головой: «Да, товарищи, много вам придется поработать, чтобы обломать эти скалы... Ну, пойдём!».

Он двинулся в горы. За ним — дружно — все участники совещания. И только Мавра стоит на месте и все еще мнет свою бумагу...

★

На горе Кукисвумчорр, укрываясь за выступом скалы, смотрит вниз Боговик. От напряжения подергивается лицо, вздрагивают пальцы. Далеко внизу, по уступам вытопанной тропинки, поднимается Киров с товарищами. Леня вырвался вперед и почти бегом устремился наверх.

Боговик увидел его, поднялся, быстро стал пробираться между камней на рабочую площадку.

Идет добыча руды без вскрыши: в белоснежном склоне горы — обнаженная порода, горняки дробят руду молотами, бурят. Боговик в отдалении спешит заложить запал, потом незаметно присоединяется к бурильщикам.

Вся группа во главе с Кировым поднялась, осматривает буровой станок. Киров беседует с Ярошенко, читает записи техников. Двигаются дальше...

Позади всех Агаша. Ей страшно, что вдруг спросят: откуда взялась? Но любопытство подгоняет ее, она не отстает, и ей все кажется — вот-вот сверкнет из-под какого-нибудь камня... золото!..

Леня прибегает первым на место работ, осматривает, все ли в порядке. Подходит к Егорушке, уже умело обрабатывающемуся с буром, видит Боговика. Поровнявшись с ним, спрашивает: «Ты палить не собираешься?». «Нет» — спокойно отвечает тот. Но Леня не может успокоиться, шагает дальше, оглядывает чуть ли не всякий камень. Неожиданно он нагибается: бикфордов шнур! Перебирая его, Леня видит — шнур заложен в скважину со взрывчаткой. Леня выдергивает его, подбегает к Боговику: «Что это?». Тот пожимает плечами: «Так ведь он не запален...». Боговик хладнокровен, и ответ его — вразумителен, но Леня сразу решает не спускаться с запальщика глаз и уже не отходит от него ни на шаг.

Киров появился на площадке, смотрит, как бурит молодой парень. Это — Егорушка. Он старается проявить всю ловкость, силу и горячность, и Киров невольно улыбается. Повернувшись, он видит Агашу и подзывает ее: «Ты что взбралась сюда, за золотом? Бери, сколько хочешь!». И он поводит шутливо рукой. Агаша лукаво щурится на него — знаю, мол, какой ты хитрый! «Найдешь ей подходящую работу?» — обращается Киров к Лене. «Я ее научу» — неожиданно заявляет Егорушка. Агаша взглядывает на него высокомерно. Киров берет Егорушку за локоть, подталкивает его к Агаше: «Вот тебе — чем не золото?». Она прикрылась ладонью, отвернулась и — фырк! — расхохоталась.

Киров и все кругом веселеют, один Егорушка надулся: обидели малого ни за что!

★

Жилой барак. Киров с товарищами у входа читает внимательно стенгазету. Делает заметку на память в блок-нот. Идет вдоль нар, смотрит постели, обрывисто говорит Петрову: «Ну, и департамент тут у тебя...».

Вдруг из-за нар, навстречу Кирову — Мавра. Прижимая к груди руки, она голосисто выкрикивает: «Будь отцом

родным, товарищ Киров!». У нее перехватывает дыхание.

Киров сам берет у Мавры торчащую в руках бумагу, читает, нахмурившись, Мавра всхлипывает. Киров оборачивается к Петрову. «А сын ее где?». Петров говорит, что это — бурильщик, которого только-что видели на горе. Вспомнив Егорушку, Киров чуть усмеяется. «Разбери это дело» — говорит он, передавая Петрову бумагу, и опять пишет в своем блок-ноте. «Жалобе твоей дадут ход, а пока поработай здесь, бригадир!». Мавра обнадеженно вскидывается: «Поработать я не отказывалась, товарищ Киров. Хоть сейчас и в колхоз. Несогласие мое только с королевой было...». Киров успокаивает ее, выходит из барака.

Подводы наготове. Дружески прощается Киров со всеми, и почти все высыпают на волю — проводить отъезжающий обоз. Петров, на прощанье, с последней просьбой: «Побольше людей нам сюда, да не крупных, не директоров». «Правильно, — отвечает Киров, — не вельмож, а людей с огнем, молодежь без чинов, чтобы не боялись ни критики, ничего!».

Уже сидя в санях, Киров еще раз протягивает Петрову руку: «А что, говорят, зверя да дичи здесь много?». Петров даже закрыл глаза — видимо-невидимо! «Эх, поохотился бы я!» — мечтательно воскликнул Киров и, на секунду задумавшись, ударил возницу по плечу: «Трогай!».

★

Хибины. Ночь. Гул, уходящий эхом в горы. Тревожный голос во тьме: «Обва-ал!». Человек с фонарем бьет всполох в подвешенный, вместо колокола, обрезок рельса. Другой человек с фонарем бежит. Крик: «Обва-ал!». Еще крик: «Ба-рак зава-ли-ло!». Людей с фонарями все больше. Бегут. Обрывки отчаянных криков, разговоров: «Лопаты, лопаты!..», «Так и скосило!..», «Людей не слышать, задохлись...», «Матушки! Не найдешь, где барак-то стоял!». Шум нарастает...

И сразу тишина. Полный мрак. Тяж-

кое дыхание, кряхтение человека, кот- рый бесплодно силится что-то сдвинуть. Почти неузнаваемый, задушенный голос Мавры. «Его-руш-ка! Слышь?». Молчание. Потом глухо: «Слы-шу». И опять Мавра: «Пособи... руку... выпростать...». Ответ: «Мамынька... меня самого... защемило!..». Секунду спустя: «Ой, рученька!». Потом — чей-то далекий жалобный стон... «Снегу напхалось, — медленно говорит Егорушка, — холодно». Опять — стон. «Кто-й-то стонет» — тоже со стоном жалуется Мавра. «Слушай!» — вскрикивает Егорушка. Тишина. «Копают?» — тихо спрашивает Мавра. Тишина. Егорушка: «Мамынька... трубу-то мою... поди, раздавило...». Мавра: «Ручень-ка!..». Вдруг голос Боговика: «Будь ты проклята!..». «Стучат» — громко вскрикивает Егорушка. И сам начинает стучать. Тишина. Далеко, чуть-чуть слышимый ответный стук. Мавра с воплем радости: «Ту-та мы, тута!..». Егорушка стучит изо всей силы... Молчание. Мрак...

★

Костры. Их свет дико мечется по снежным сугробам. Толпа людей, разбившись, откапывает барак. Кто чем — лопатой, доской, обломком фанерного листа. Петров расставляет людей. Показывает, в каком направлении копать. Леня с Агашей работают лопатами, углубляя траншею. Они уже по грудь в сугробе. Очень скоро и живо выкидывают они снег. Вдруг Леня остановился. «Стой!». Он втыкает лопату в снег. Она упирается в доску. Леня быстро раскапывает вокруг снег. Стучит. Ложится, прикладывает ухо к доске. Молчание. Агаша: «Дай я!». Леня уступает ей место. Она стучит, ложится. Вскрикивает: «Стучат!..». Леня бросается к товарищам: «Здесь, здесь!». Люди бегут на помощь. Дружно начинают копать, расширяя траншею. Леня с Агашей впереди...

И вот освобожденно и в то же время страшно трещит отодранная от барака тесина. Все перестали работать. Леня кричит в яму: «Есть кто живо-ой?». И — в общем безмолвни — из глубины

ямы доносится маврин ответ: «Ту-та мы, родимы-и-и!». Тогда с новым притоком сил, озверело люди кидаются копать... Наконец расчищено большое пространство, домами и топорами отдирают тес, выламывают брусья из показавшейся стенки барака. Леня первый протягивает в пробитый лаз руку, потом опускается в него, и — при свете фонарей — выглядывает наружу голова Егорушки. Не успев вздохнуть, он оборачивается, кричит в лаз: «Ма-мынька, мы сейчас!..». Он вылезает, берется за топор, рубит брусья стенки, чтобы расширить лаз.

Когда с усилиями помогают выбраться навверх Мавре, которая держит и похлопывает, как ребенка, сломанную руку, Егорушка неожиданно лезет опять в барак. Ему кричат: «Куда, куда?». Агаша, перепуганная, хватается за него, не пуская. Он отдирает ее руки от себя и — словно в прорубь. А через секунду из лаза медленно показывается егорушкина труба и за нею — его счастливая физиономия. Отсветы костров играют на вычищенной меди, на его лице, и он сразу не может взять в толк, почему его бранят и толкают прочь: надо скорее, скорее спастись засыпанных лавиной обитателей барака.

★

Угол жилого барака выделен под «больницу» для пострадавших при обвале. Двое соседних больничных нар занимают Мавра и Боговик. Оба они в перевязках, лежат с открытыми глазами. Боговик медленно поворачивает голову к Мавре, всматривается. «Уцеле-ла?» — хрипит он наשמливо. Она не отвечает. «Калекой теперь останешься, — продолжает он. — По миру с сумой... Да нынче времена не те... никто в суму не положит!..». Мавра беспокойно шевелится. Боговик: «Лучше бы сразу — насмерть... Нынче отволокли бы на свалку... вместе с другими... А то жди, когда еще сдохнешь...». Мавра отворачивается к стенке, подымает забинтованную руку, стонет. Боговик приподнимается на локоть, говорит быстро: «Бежать надо, куда глаза глядят... са-

ма тут сгниешь, и сына своего погубишь...». Мавра стонет, мечется. Боговик откидывается на изголовье, смеется: «Жалко, небось, Егорушку?..». Тогда Мавра подымается. В злобе, в ненависти извергает она, словно проклятие: «Эка жалость, что тебя не расплющило в ошметку, чертюга распогоной!..». Боговик хохочет. «Контра ты проклятушная, — кричит Мавра. — Чего-й-то тебя терпит советская власть!». Боговик хочет громче, Мавра встает с постели, держась за косяк, вопит: «Докторица, христом бо-гом! Уведи меня куда подалье отседова-а!». На ее вопль не отзываются. Она бессильно опустилась на нары, заткнула уши, и вдруг у нее вырываются рыдания. Сквозь них явственно слышен хохот Боговика...

★

По снежной дороге движется похоронная процессия. Впереди — знамя, оркестр человек из восьми с дирижером, работающим усердно: с траурным репер-

туаром он выступает здесь впервые. Егорушка шествует торжественно, пожирая глазами нотный листочек, пристроенный к трубе. Рядом — Агаша, с удивлением наблюдающая за гордым трубачом. Петров, Леня, Ярошенко, рабочие — все население поселка — маршируют плотными рядами. Высоко в горы уносится плач и звывания меди...

В отделении, за горой, неподвижная толпа окружила могилы. Видна голова Петрова. Он без шапки, поднял взгляд на горы. Его голос ясен и тверд: «Товарищ Киров учит нас преодолевать трудности, завоевывать победу. Мы строим новый город, новую жизнь. Наш путь, товарищи, — путь победителей...».

Чутко слушает толпа. В первом ряду трое разных людей — по всему складу чувств и мыслей, написанных на лицах, — Леня Чорбов, Агаша, Егорушка. Но велика, нерушима их воля к предстоящим победам, соединяющая их в эту минуту узами грозного, волнующего единства...

★

1933 — 34

Военный полигон. Идет Киров, рядом — директор завода, инженеры, командиры Красной армии. Директор говорит: «Когда везли сюда танки, поезд потерпел крушение, танки скатились под откос». Киров: «Ну?». Директор: «Вот сейчас будем их испытывать». Киров: «Уцелели, — значит, хорошо...».

Ему представляют инженера — изобретателя брони. Киров удивляется: «Такой молодой?». Пожимая инженеру руку и кивнув на танк, шутливо предлагает: «Ну, если верите в свою броню, садитесь в танк, мы вас обстреляем». Изобретатель: «С удовольствием. Только я тоже буду стрелять из танка. Согласны?». Они смеются, и Киров дает знак, чтобы начали испытание...

Стрельба по танкам. Киров у орудия, следит за работой наводчика. Наблюдает в бинокль за попаданием.

Осмотр обстрелянного танка. Киров обходит машину кругом, обращая внимание военных и инженеров на ее детали. В общем, он доволен: броня оправдала себя, местами с танка только обсыпалась краска...

Киров сидит на танке. Вокруг — командиры, инженеры. Он говорит увлеченно: «И я вам должен прямо сказать, товарищи: ни один человек в нашей партии не болеет так за оборону страны, как товарищ Сталин. И это не случайно, потому что Сталин обладает, помимо всего прочего, огромной прозорливостью. Он знает, что может случиться завтра. Нам часто приходится с ним соприкасаться, и когда приезжаешь, то он всегда спрашивает: а как с танками, как с подводными лодками?..». Киров спрыгивает на землю, держась за плечо изобретателя, и, не снимая руки с плеча, привлекая к себе молодого инже-

нера, говорит: «Еще смелее продолжайте ваши поиски. Не беспокойтесь, что будут неполадки, что придется переделывать. Мы гоним вредителей, но мы прекрасно понимаем, где вредительство, а где и необходимый производственный риск...».

Словно прощаясь с танком, Киров обходит его еще раз, замечает директора завода, хитро подмигивая, кивает на танк: «Вот, брат, какие мы научились штуки делать!.. А помнишь... — он наклоняется слегка к директору, — помнишь, как директор «Путиловца» хотел Европу перочинным ножичком завоевать?..».

Смех прорывается у Кирова неудержимый, заразительный, и весело, молодо хохочут с ним командиры Красной армии.

★

Передняя кировской квартиры. Киров подходит к вешалке, снимает пальто, начинает одеваться, и вдруг останавливается: странное чувство — словно чужое пальто. Он осматривает его. Понятно: сшито новое пальто взамен слишком поношенного, но такого удобного, привычного, заслуженного дождевика! Киров раздевается, вешает обновку на прежнее место, кричит в комнаты: «Дайте мое пальто!». Женский голос отвечает: «Оно на вешалке». — «Ладно меня морочить!». И он с неприятно пощупывает новое пальто: «Хоть бы обносил его кто сначала!..». Он идет в комнаты и, возвращаясь в старом своем дождевике, довольный, уходит из дома...

★

Трамвайная остановка на улице Красных Зорь. Осеннее ветреное, яркое утро. Киров входит в вагон. Он один на передней площадке. Молодая вагоновожатая уже на полном ходу, покосившись на него: «Здрасте, товарищ Киров...». Не двинувшись, он произносит бесстрастно: «Вагоновожатому запрещается разговаривать с пассажирами». Молодую поджимает губы, строго морщит лоб, звонит утрашающе. Потом украдкой бросает на Кирова настороженный

взгляд, видит, что он улыбнулся, и сразу показывает все зубы, звоня весело, что есть силы...

Площадь у Смольного. Несколько человек спрыгивает с трамвая на ходу. Последним — Киров. Внезапно — свисток. Комсомолец с перевязью Осмилова на рукаве, что есть мочи надувая щеки, подбегает к Кирову: «Штраф три рубля, гражданин». Киров серьезно: «Почему так много?». — «За на ходу...». — «А что вон с тех не взял?». — «Те убежали... Не пререкайтесь, гражданин...». Осмиловец неумолим. Киров шарит по карманам дождевика, конечно, как всегда, пусто! Сдерживая улыбку, он говорит комсомольцу: «Зайди, дружище, вон в тот дом (он показывает на Смольный), я заплачу». Такой вольности осмиловец решительно не может допустить: «В милицию захотели, гражданин!». И он опять лихо, с переливами, свистит. Но вдруг подбегает милиционер. Огдав Кирову честь, он одергивает усердного паренька: «Брось! Это — товарищ Киров!..».

У бедняги-осмиловца вываливается изо рта свисток. Не шевелясь, он мигает вслед уходящему Кирову. Потом его словно взрывает. Он бежит к остановке и накидывается на вагоновожатую, которая заливается озорным смехом. «А ты не могла попридержать? Ежели товарищу Кирову ногу отрежет, кто отвечает, Осмила, а?..».

★

В коридоре Смольного Берг и Ярошенко. Они прохаживаются, никто не обращает на них внимания. С лестницы сбегает Киров. Он издалека машет им рукой: «Пошли ко мне!».

В кабинете — большой ящик, приготовлены молоток, клещи. Киров берется за инструменты, вскрывает ящик. Пищат выдергиваемые гвозди, хрустят доски. Это — большая коллекция минералов и руд Кольского полуострова. С восхищением Киров разглядывает чудесные камни, определяет их, подбирается до железных руд, восклицает: «Как мы богаты, а!». Он усаживает ученых к столу, слушает их, все любясь образцами руд...

Он подводит Берга и Ярошенко к карте Карелии с Мурманским краем. Она испещрена флажками, отмечающими разведанные и разрабатываемые залежи ископаемых.

Киров поднял палец к флажку на месте Хибиногорска: «Пример этого городка нас многому научил, товарищи. Наш Север становится новым Уралом. Вот здесь, в Монче-тундре, мы построим новый город металлургии. Ленинград будет иметь свой собственный черный металл. Он будет иметь и собственные цветные металлы. Мы покажем, что нет такого места на земле, которое нельзя было бы поставить на службу социализму...».

★

Хибиногорск. Громадное, вырастающее из туч белой пыли, фантастическое здание обогатительной фабрики. Одна эта фабрика — целый мир, с особой гордой статью великой новорожденной индустрии.

В тундре много изменилось за последние годы. Поезда, груженные рудой. Автобус враскачку летит по шоссе. Грузовики везут строительный материал... За поворотом дороги встает новый Кукисумчорр. И он вдруг открывает канонаду взрывов, затягиваясь, как форт, светлосизыми дымами: это рвут в руднике породу. И в рудниковый поселок спускается с горы, рассыпавшись по склону, смена горняков...

Большой дом, квартиры рабочих. Все ново — жилье недавно достроено. Дверь одной из квартир в коридор настежь — Мавра моет полы. Петров здоровается. Она обирает подоткнутую юбку. «Есть до тебя дело. Принимаешь?». Мавра пропускает его, кое-как приводя себя в порядок.

Окно с цветочками, занавеской, на стене — егорушкина труба, картинка. «Пришла бумага с твоей родины — постановление колхоза. Вот». Он кладет перед Маврой бумагу. «Чего-й-то такое?» — осторожно спрашивается Мавра и пятится от бумаги подальше. «Разве

неграмотна?». — «Мало грамотна, товарищ Петров, совсем мало, читай-ка ты». Петров разворачивает бумагу: «Слушали: о гражданах деревни Средние Крупели Прокопии Савватиеве с женой Маврой. Постановили: принять в колхоз. А также уплатить цену коровы, как неправильно раскулаченной». Мавра, нащупывая табуретку, тихонько присаживается: «Чего-й-то они удумали?». — «Да ведь ты сама хлопотала!». — «Ой, хлопотала!..».

Мавра закрывается, как от нестерпимой боли.

В эту минуту входит Егорушка. Он с работы, в брезентовой куртке, сапогах, в шляпе и с отбойным молотком горняка. Мать, как услышала его, встала, утерлась. Сын с беспокойством глядит на нее и на Петрова, который показывает на Мавру, — спроси, мол, у нее. И Мавра говорит човым, степенным тоном: «Меня с отцом в колхоз просят». Егорушка, словно не вполне уразумев, по-прежнему косится то на мать, то на Петрова. Мавра: «За корову за нашу деньги посуляют. Звиняются». Егорушка: «Ну?». Мавра: «Хочу обратно знать, как ты скажешь?».

Егорушка все понял. Он поставил в угол молоток, стянул куртку, шляпу, сел на место матери и, как настоящий хозяин, досконально прочитал бумагу. «По этому приговору, маманя, выходит, что деньги за корову тебе и сюды, на квартиру, доставят, ежели твое желание будет... Торопиться некуда, обговорим на свободе». И, аккуратно сложив бумагу, Егорушка спрятал ее в ящичек стола, а из ящичка вынул деревянный портсигар и предложил Петрову: «Угощайся, товарищ Петров, держу для гостей: «Беломорканалы».

★

Лицо Кирова — светящееся мыслью, веселой волей к неусыпному труду. Конвейерный цех «Путиловца». Обступившие Кирова рабочие — ему по грудь, потому что он взобрался на какую-то приступочку. Он счастлив, что кругом него эти люди, верящие его речам, при-

выкшие учиться у него, как у самого достойного человека.

Киров оглядывается. На глаза подвернулась ему шайба, он сразу замечает, что она дефектна. «Кто делает у вас крепежный материал? Мастерские ФЗУ? Они обязаны пример показывать чистой работы, а они брак выпускают. Какую они вам смену готовят?...». «Ясно» — встряхивает головой старик Чорбов. «Ясно, что у вас не продумано, как устранить брак,—в тон ему говорит Киров.—Слишком вы долго ходите вокруг да около дела и покручиваете усики». Рабочие добродушно усмеваются. Чорбов мотает головой: легко, мол, говорить, а мы стараемся. «Наша продукция, — продолжает Киров, — должна конкурировать с зарубежной, и не только по точности, но и по наружному виду». «Ясно, — говорит Чорбов, — теперь будем тянуться». «Да не только тянуться, — поправляет Киров, — а так работать, чтобы за границу перегнать». Но Чорбов заладил на своем: «Я и говорю — сначала подтянуться, а потом перегонять». Киров ударяет его по плечу: «Ишь, старик упрям! Прошло время тянуться, нужно перегонять!».

Рабочие поднимают Чорбова насмех. Он, вдруг застыдившись, с сердцем махнул рукой...

★

В цеховом партколлективе Киров вносит членские взносы. Пока делаются записи и отметки, он обращается к молодой работнице, сидящей на скамье: «Что, товарищ, норму свою на работе выполняешь?». — «Нет, не выполняю». — «А почему?». Женщина говорит рассудительно и с естественной гордостью: «А потому, товарищ Киров, что я не особо давно из чернорабочих. Начучусь—буду выполнять, как обыкновенно». Киров очень доволен ответом, подсаживается к женщине: «А скажи, как, вообще, женщинам не трудно ли привыкнуть к заводской работе?». — «Когда ничего, а когда как». Вдруг на лице женщины появляется лукавство, она быстро оглядывает обступивших ее рабочих: «Очень тяжело, когда жена в одном цеху с мужем работает... Верно го-

ворю. В литейном цеху был у нас случай: муж крановщиком работал, в кабине ездил поверху, на кране, а жена чернорабочая, — внизу. Посадили к этому крановщику ученицу, молоденькую фрю такую, еще с маникюром. Ну, и пришлось жену в другой цех перевести: не могла она работать, все наверх смотрела, все наверх».

Киров хохочет, и с ним — все, кто есть в комнате. И тогда один партиец говорит: «Ты, Мироныч, спроси у нее, не она ли была той женой?». И еще больше поднимается смех, а женщина смущенно и в то же время хитро оправдывается: «Поди-ка не посмотри, — они наверху, в кабине своей, бо-звать чего затеют...».

★

По обычаю, Чорбов провожает Кирова заводским двором. Поздний осенний день. Но еще зелены газоны и насаждения, новый порядок, новый завод простирается на этих необъятных территориях, еще недавно бессмысленно загромажденных мусором и ломом. Чорбов вздыхает: «Посмотришь—жалко: не придет больше товарищ Иван Иванович Газа полюбоваться на нашу культуру». «Да, — говорит Киров, приостановившись, — вот был настоящий большевик». «Сгорел Иван Иванович, не жалел себя, — подхватывает Чорбов. — Я ему, бывало, говорю: ты, мол, не захворай! Время-то какое! А он...». Киров перебивает Чорбова: «А как сын?». Чорбов польщенно: «Горный техник стал, на инженера метит!». — «А Ольга?». — «С ним». — «Стало быть, на Севере не худо стало жить...». Вдруг он ласково говорит Чорбову: «Ты не сердись на меня». Тот так и вскинулся: «За что?!». — «Что я тебя в цеху упрямым покорил». «Сергей Мироныч!» — восклицает Чорбов. Киров обнял его и, поглаживая по плечу, — с улыбкой: «Но запомни старик: не тянуться за границей, а перегонять ее, перегонять!».

★

В январе 1934 г. в Москве собрался XVII съезд коммуни-

стической партии, который вошел в историю под именем «Съезда победителей».

Делегаты съезда — в Георгиевском зале, перестроенном, отделанном заново. Торжественное, приподнятое настроение. Встречаются и делятся рассказами и переживаниями товарищи, которых великое строительство на время оторвало друг от друга и теперь соединило в Кремле.

Товарищ Киров выступил на съезде с большой речью. Он говорил, что город Ленина выдержал экзамен, что большевики завоевали Север.

Киров на трибуне:

«То, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говорили, Макарыч телят не гонял, куда в царское время только в ссылку людей ссылали, — теперь там, волей большевиков, на базе природных богатств — апатиты, железо, молибден, слюда, торий, титан, — в полутундре, куда до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый быстрорастущий индустриальный центр заполярного круга».

Фотографы и кинооператоры наперебой снимают говорящего Кирова. Он весь погружен в трепетный свет юпитеров.

Сталин знаком подзывает одного кинооператора: «Вы мешаєте товарищу Кирову, перестаньте снимать».

Сталин взволнованно слушает Кирова. Товарищ Киров говорил о самокритике.

Киров говорит: «...У нас, большевиков, так ведется: если самокритика — доводи до конца. И ничего тут не случится, никто никуда тут не провалится. Это только поможет исправить дело, и это предохранит партию от опасности зазнайства, о чем предупреждал товарищ Сталин. Успехи, действительно, у нас громадны. Чорт его знает, если по-человечески сказать...».

Киров оборачивается, смотрит, словно в нерешительности, на Сталина. Сталин ободряюще кивает ему. И он, подняв руку, восклицает:

«...Так хочется жить и жить! На самом

деле, посмотрите, что делается. Это же факт!». Шум овации переполняет зал. «Но есть опасность: можно так увлечься всякими песнопениями, что перестанешь понимать, что кругом творится». Смех перебивает слова Кирова, и он сам улыбнулся. «А без самокритики предупредить себя от головокругления никоим образом нельзя. Самокритика — самое надежное, единственное и самое прочное оружие для предупреждения той болезни, которую товарищ Сталин назвал головокруглением от успехов. Я знаю, что и мне неприятно было бы, если бы меня немножко критиковали, может быть, и я не так весело бы об этом рассказывал, — смех зала опять врывается в речь, — но это не значит, что то, что я говорю, неверно. Это абсолютно правильно. И в этом отношении доклад товарища Сталина является совершенно исключительным». «Правильно!» — кричат с мест, и снова поднимается шум одобрений.

В президиуме Сталин, улыбаясь, зорко и с любовью вглядывается в Кирова. Шум зала все возрастает и...

★

...переходит в прибой движущихся колонн демонстрантов на Красной площади, в Москве. И лицо Сталина, только что глядевшего на Кирова из-за стола президиума съезда, многократно, бесчисленно повторяется портретами, обращенными к Мавзолею Ленина, к приветствующему демонстрацию Кирову...

Он провозглашает: «Да здравствует руководительница всех наших побед — наша славная партия, ее XVII съезд и ее славный, негнбимый великий руководитель и стратег — товарищ Сталин!».

Веселые, живые колонны, отвечая: «Да здравствует Сталин!», — движутся мимо трибун. Молодые лица нового, завоевавшего право на счастье человечества. И такой же веселый, молодой и счастливый Киров...

★

Хибиногорский клуб. Зал полон молодежи — горняки, рабочие фабрики,

много девушек, но попадают и старики. Все приодеты. Электричество, картины по стенам. Окна настежь, — лето.

Большой, тесный круг людей. В кругу — Мавра. Она в крестьянском уборе, помолодевшая, горячая, поет частушки под баян и делает «проходку». Любуется ею, в переднем ряду, Ольга, по соседству с нею — Агаша, тоже наряженная в саамский национальный убор.

У баяна занимается дух, Мавра плывет, не колышась, с опущенными глазами. Ей легонько подыгрывают в ладоши...

★

Рудник. В штреке грохотная решетка шахты поднята. Электрическая лампочка светится тускло.

Встречаются Ленья и Боговик, оба в рабочей одежде, с фонарями. «В порядке?» — спрашивает Ленья. «В порядке, — отвечает Боговик, но, пройдя, останавливается, окликает Ленью: — Товарищ Чорбов! Я хочу отсюда уезжать. Поработал. Ты меня поддержишь?». Ленья, подумав: «Нет, не поддержу». — «А, собственно, почему?». — «Ты здесь нужен. И живется тебе не худо». «Это позвольте мне знать, как живется, я свой срок отбыл...» — вдруг злобно обрывает Боговик. Тогда Ленья говорит черство: «Надо было связи с оппозицией порвать». — «Это вам откуда же известно, что я не порвал?». — «А ты нас за простофиль считаешь?..». И Чорбов, повернувшись, идет своей дорогой.

Боговик, быстро нагнувшись, схватывает с земли кусок руды, бежит вдогонку за Леньей, и слышно, как ударяет его. Потом он подтаскивает бесчувственное тело Леньи к шахте и сбрасывает его вниз.

Но, когда оборачивается, видит: под лампочкой вырос Егорушка. «Что ты?» — чуть слышно выдыхает тот. Боговик, оттолкнув его, бежит. Егорушка кидается к шахте. Упал на колени, перегнулся вниз, кричит, слушает, — тишина. И он с криком бежит по штреку, следом за исчезнувшим Боговиком.

★

В клубе. Кольцо людей стало теснее: поет саамскую песню Агаша. Сначала ее напев печален, потом в нем появилось лукавство, потом он повеселел, и вот что-то озорное влечет его к сильному обрывистому, как воинственный зов, концу. Агаша начинает танец, так же странно сочетающий чувство грусти — с кокетством, веселье — с вызовом. Ее бурно уговаривают повторить танец, — всем он пришелся по душе.

И вдруг вбегает в зал Егорушка, запыхавшийся, всклокоченный. Он противится сквозь толпу, видит Ольгу. На один миг он останавливается, и тотчас опять ринулся, но не к ней, а к матери. Еле сдерживая дыхание, он говорит ей о несчастье на руднике. Мавра хватается его руку: «Кто?». — «Боговик». «Чужало мое сердце — душегубец!» — шепчет Мавра. Все уже глядят на них, и стихло в зале, и Ольга, словно почувствовав беду, идет к ним, не сводя глаз с Егорушки. И вот, как всегда, сильная в беде, Мавра протягивает Ольге руку и произносит спокойно: «Пойдем, молодушка, Егор говорит — чего-й-то с твоим Леньей приключилось, ушибло вроде». Ольга качнулась, но рука Мавры крепка, участлива, и Ольга старается итти, идет с нею в ногу, и за ними — Егорушка, Агаша, целая толпа встревоженных людей...

★

Ночь. Киров дома, в своем кабинете, чистит разобранное охотничье ружье. Занят он этим сосредоточенно, с увлечением, но на лице его нет и тени заботы: он отдыхает. Он сдерживает промасленную тряпочку с шомпола, навинчивает щетку, протирает стволы.

Вот он начал собирать ружье, щелкнул замком, надел цевье, потом вскинул, приложился, — раз, другой, — целясь в углы комнаты. Его взгляд останавливается: мушка наведена на корешок толстой книги на библиотечной полке. «Рыбы» — видит он надпись. Что-то вспомнив, он опускает ружье, крепко вытирает тряпкой руки, подхо-

дит к полкам: обопнувшись на краешек стула, ловко подтягивается, выдергивает с полки книгу. Тут же, не снимая ноги со стула, раскрывает на коленке книгу, просматривает оглавление. Потом быстро подходит к телефону.

«Машков, не спишь? Это — Киров... Я тебе поручал проверить данные об улове Мурманрыбы... В порядке? А чего же не позвонил?.. Не хотел беспокоить? Эдак ты меня больше беспокоишь — видишь, я должен тебе опять звонить... Ну, то-то... Когда отдыхаю? А вот сейчас ружье почистил, — вроде как на охоте побывал, — прелесть, как отдохнул... Ладно, сезон начнется, съездим, попуделяем... Будь здоров».

Киров только-что положил трубку — звонок по другому аппарату. «Слушаю... Что?.. Леня Чорбов?!. Постой!.. Прочти телеграмму...». Киров резко проводит ладонью по волосам. Рука так и остается на голове. Слушает с приоткрытым ртом, впившись глазами в одну точку. Потом с силой засунул руку за пояс. Сказал отчекливно: «Затребуй сейчас же подробности следствия и розысков убийцы».

Положил трубку. Постоял. С размаху ударил кулаком по столу: «А-а, чорт!». Кинулся ходить, почти бегать по кабинету. Схватил ружье, подержал его, открыл и защелкнул замок, не замечая, что делает. Оставил ружье, воскликнул: «Какой был парень, а!». Бросился к телефону: «Это ты, Сидор Михалыч? Спал? Извини, что беспокою: машину...».

★

Белая ночь. Нева. На Троицком мосту Шатурский. Он шествует неспеша, как человек, лениво возвращающийся после отлично проведенной ночи. Вдруг он оборачивается: по мосту мчит автомобиль. На мгновение Шатурский приостановился, потом пошел быстрее, быстрее, не отводя взгляда от обогнавшего и стремительно удаляющегося автомобиля.

На улице Красных Зврь Шатурский снова видит этот мчащийся автомобиль. Машина идет ему навстречу, и он снова замедляет шаг.

Вот он около Кировского дома. Ни души. Громадный дом спит, подъезды заперты, напротив тянется пустынный забор. Шатурский круто поворачивается, идет назад. Он оглядывает перекресток — и здесь все пусто. Он все больше торопится, он уже не скрывает озабоченности, волнения. Угол Кронверкского проспекта, и снова — ни души. Он всматривается в глубокие аллеи парка — и вдруг почти бежит через дорогу.

На парковой скамье, закрыв лицо, вся сникнув, сидит женщина. Может быть, она дремлет, может быть, просто задумалась, но она не слышит шагов приближающегося Шатурского, и когда раздается его тревожный, сдавленный голос: «Маргоша, ты спишь?», — она вскакивает и кричит. Шатурский зажал ей рот, усадил ее, бормоча, подавляя свой испуг: «Успокойся, успокойся!..».

Потом они идут отдаленной, узенькой аллеей. Маргоша трет платком глаза, Шатурский, уже овладев собою, стискивая ее руку, словно вбивает беспощадные слова: «Ты должна была видеть — сел он в машину или нет? От тебя больше ничего не требуется. А ты прозевала, понимаешь?! Что же, я сам должен разгуживать у его подъезда, а?..».

Внезапно он со злобой отталкивает Маргошу: «Ну, перестань, к чорту, нюнить!..». И поворачивается от нее прочь, в перекрестную аллею.

★

Киров — в машине по Нарвскому району. Новые дома, новые кварталы, сквер с былою царской дворцовой решеткой. Машина останавливается на перекрестке. Киров идет к подъездам новых домов. Безлюдно. Он ищет квартиру, в которой прежде не бывал, — новую квартиру Ивана Чорбова. Подымается по лестнице.

Старик Чорбов открывает дверь. Секунда проходит в неподвижности. И Киров видит, что старик уже перенес первую тяжесть горя, и Чорбов понимает, зачем пришел Киров. Прежде чем впустить гостя в комнаты, Чорбов протягивает ему обе руки, и Киров тут же,

на лестнице, молча, крепко обнимает старика.

Они входят в комнаты. Мать Лени сидит, положив на стол голову, закрыв, зажав ее руками. Чорбов толкает жену, она не отзывается. Он говорит Кирову: «Вот так всю ночь». Он наклоняется к ней: «Сергей Мироныч Киров приехал, мать!». Точно поднимая тяжкий груз, она разгибает спину, мутным от слез взглядом всматривается в Кирова и опять опускает голову на стол, плача.

Киров с Чорбовым у окна. Чорбов, пытливо косясь на гостя, спрашивает: «Как ты, Сергей Мироныч, смотришь: мне в телеграмме написали — несчастный случай. А я думаю — тут не без политики, а?».— «Верно, старик. Сколько лет мы с тобой боремся за революцию, — ничего не случается в этой борьбе без политики. И Леня твой погиб за наше великое дело, погиб от руки классового врага». «Вот, поди, — рассуждает Чорбов, бодрясь, — сколько я с белогвардейцами дрался, — и как! — а уцелел. А Ленечке — надо же было!..».

Киров встает, прощается. В дверях задерживает его за руку Чорбов, хочет что-то выговорить, не может. Потом, сквозь внезапное всхлипывание, прорывается у него: «Спасибо!..». Киров машет рукой, распахивает дверь, быстро, быстро сбегает по лестнице.

★

Уже появились первые пешеходы на улицах. Машина Кирова летит по набережным. Киров без фуражки.

Троицкий мост разведен. Киров выходит из машины. Сторож-разводчик, милиционер, какая-то запоздавшая веселая парочка на извозчике. Милиционер узнал Кирова, говорит сторожу, что надо свести мост. Киров: «А скоро сводить полагается?». — «Через двадцать минут».

Киров вглядывается в большое судно, подходящее к мосту. На нем — финский флаг, на корме — флаг транзита, на носу ясно виден советский пограничник, на капитанском мостике — лоцман. «Ничего, подожду, — говорит Киров и,

чуть улыбнувшись, кивает на финляндца: — Неудобно — все-таки иностранец!..».

Он отпускает Сидора Михалыча — хочет пройти пешком. И оглядевшись, идет на площадь Жертв Революции.

Она пустынна. Братские могилы. Киров обходит их, не останавливаясь. И только у одной стоит он, наклонив голову, сжав брови. «Иван Иванович Газа» — написано на этой могиле.

★

Киров вернулся к Неве. Трое пионеров смотрят через парапет в воду. У каждого по удочке. Киров неслышно подходит сзади, перевешивается, как мальчики, через парапет, смотрит молча. Один мальчик толкнул в бок другого. Поглядели на Кирова, перемигнулись. Киров серьезно: «Вы чего не спите, а?». Мальчики опять перемигнулись, но помалкивают. «Тихонько, поди, удрали из дома?». Никакого ответа. «Ну, ладно, я не скажу». И, совсем переменяв тон, Киров «задирает»: «Зря тут торчите — это место не клюет». «Как бы не так! — немедленно отзывается один из мальчуганов. — Вчера Петька окуня вытащил — о, какого!». «Ну, да, заливай, окуня! Тут окуни сроду не водились» — поддразнивает Киров. «Да-а, не водились! — вмешивается другой мальчик. — В Неве водится что хочешь». «Тут и лосось ловится, если хотите знать» — говорит третий. «На удочку?». Мальчики смеются. Один говорит: «Не на удочку, а на спиннинг». Другой, мотнув головой на Кирова: «Да он нарочно притворяется, он все знает...». И вдруг третий, вытянув удочку из воды, спрашивает Кирова по-деловому: «А скоро можно будет карпов ловить?». — «Каких карпов?». «Думаете, мы не знаем, кто вы?» — говорит один с лукавинкой. «Что вы — товарищ Киров, — добавляет другой, — и что вы велели разводить у нас на Севере карпов». Тогда Киров смеется: «До чего пошел образованный народ!.. Вот что, ребята: приходите ко мне, я вам покажу карпов. Они у меня

в квартире плавают. Знаете, где я живу?». «Еще бы: чай, все знают» — в один голос отвечают ребята. «Ну, и образованный народ!» — опять смеется Киров, и мальчики дружно вторят ему.

Мост уже сведен, и Киров, простившись с детьми, один идет через Неву...

★

Комнатушка Якова. Он бежит из угла в угол, фыркая. Очень настороженные, сидят друг против друга Боговик и Шатурский. Ссутулив жирную спину, присел на кушетку и перелистывает книгу Михаил Исаевич. «Не принципиально, нет, не принципиально!» — в испуге выкрикивает Яков. Тонкий голос Михаила Исаевича перебивает его: «Это — наша тактика. Понятно?». Шатурский, подхватывая окрик Михаила Исаевича, раздраженно: «Когда ты бросишь чистоплюйство — троцкисты, бухаринцы, правые, левые, чорт знает, какие! Действовать с любым союзником, любыми средствами! Но действовать! Согласен, Богозик?». «А иначе как вылезешь из щели, в которую нас загнали?» — отвечает Боговик. «Именно — действовать! Да поскорее», — швырнув книжку в сторону, говорит Михаил Исаевич.

Он встает, надвигается на Якова своим грузным телом, и крикливый тон его безапелляционен: «Вот Шатурский: все время состоит в партии, а вместе с тем очень помогает нашему делу... Это я называю принципиальной позицией, понятно?». Он удаляется в сопровождении Шатурского...

На темной площадке лестницы они приостанавливаются. Михаил Исаевич распоряжается: «Болвана с книжками надо убрать». Шатурский мотнул головой. Приподнимаясь на цыпочки, он говорит Михаилу Исаевичу на ухо: «Боговик утек из Хибиногорска, оставил там хвост. У него горячий след». Михаил Исаевич рубит: «Тоже убрать. Но поворачивайся скорее, скорее!». И, боясь оступиться на лестнице, он ощупью уползает вниз, поглощаемый тьмой.

★

Поздний вечер, двери закрыты. Угол, загороженный остекленными переборками. Маргоша за машинкой, Шатурский стоит рядом, просматривая ведомости: «...железнодорожных... паровозных... транзитных...». Диктует громко, отчетливо, не отрываясь от ведомостей: «...сообщаю, что Яков дал пристанище бежавшему из Хибиногорска...». Маргоша перестает писать, закрывает глаза. «Ну? Пиши! ...Боговику, который был сослан, как участник зиновьевской оппозиции...». У Маргоши падают на колени руки. «Опять! — почти вскрикивает Шатурский. — Может, тебе валерьянки?». — «Ведь... Боговик — твой друг!» — едва выговаривает Маргоша. «Дура! Понимаешь? Дура! — Шатурский швыряет ведомости, перевортывает пепельницу, садится, чтобы как-нибудь побороть бешенство. — К стенке захотела? Вместе со мной? — Он подходит вплотную к Маргоше, наклоняется над нею. — Боговик нам опасен. Понятно?.. Кончай». Она дописывает кое-как, словно разучившись печатать. Он сам вынимает бумагу из машинки. Маргоша все с тем же испугом: «Ты... и на меня... напишешь!». Шатурский усмехается без некоторого довольства, снисходительно тербит ее завитую голову: «Не бойся, барашек. Ты у меня — особое дело!..».

★

Киров у себя в кабинете за подготовкой к докладу. Он ходит, изредка наклоняется над столом, очень кратко записывает в блок-нот какую-нибудь мысль, снова ходит. Остановился перед книгами Ленина, вынул том, читает. Садится за стол. Делает выписку из книги. Берет телефонную трубку.

«Это кто?.. Здорово. Киров говорит. Послушай, что там у вас говорилось на заводском собрании?.. Рабочие что говорили, расскажи. Кончаю готовиться к докладу, да...». Он слушает сосредоточенно, опять делает записи. Благодарит товарища, с которым говорил. Блок-нот и карандаши в карман и —

еще раз за телефон: «Киров говорит. Давай машину, к мосту... Да, через мост я пешком».

★

На Неве, за мостом, Кирова ждет машина. Он садится с шофером. Где-то на набережной, среди гуляющих, мелькнула голова Шатурского...

Смольный, Киров велит остановиться у въезда в сквер, перед пропилеями, отпускает шофера. Идет сквером. Две молодые женщины с рабочим — навстречу. Останавливают его. Он всмотрелся, узнал: «Откуда взялись?». Это — Ольга, Агаша, Койбин. Он разглядывает их по очереди, одобряюще. Ольга: «Мы — делегатами, пригласить вас на юбилей». — «Какой такой юбилей?». — «Пятилетие нашего Хибиногорска». «Пять лет уже?!» — удивляется Киров, и на одно мгновение чуть сжались его брови. Койбин торжественно: «Старики сказали: Койбин, ты первый воевал с горой Кукисвумчорр, ты первый основал Хибиногорск. Поезжай звать в гости Сергея Мироныча, он тебя послушает». «Хорошо, — весело улыбается Киров, любясь основателем города, — зайдите сейчас ко мне, столкнемся».

Он идет к боковому подъезду, приезжие — прямо, к главному.

★

Когда Ольга, Агаша и Койбин поднимаются по лестнице в Смольном, вдруг сверху, навстречу, мчится командир охраны Смольного — с открытым ртом, но безмолвный. Через секунду, обгоняя женщин, один за другим три красноармейца — вверх. Женщины замедляют шаг, переглядываются, что-то предчувствуя. Их обгоняет комендант Смольного — маленький, быстрый и легкий. Женщины добираются до площадки третьего этажа. Она заграждена красноармейцами: «Нельзя!». На их лицах страшное напряжение.

Какой-то человек выбегает из коридора, останавливается, не в силах перевести дух. «Что там?» — вскрикивает Ольга. Он с усилием выговаривает:

«Товарищ Ки-ров... — Потом в ужасе кричит: — В Кирова стреляли!».

У Ольги подкашиваются ноги. Агаша обнимает ее. Обе женщины почти падают на ступени. У Ольги — слезы. Агаша прижалась к ней. Койбин со стоном поднял над головою кулаки.

Темнота.

★

Из темноты появляется текст сообщения о смерти Кирова.

«...Нашу партию постигло большое несчастье. 1 декабря от руки злодея-убийцы, подосланного классовыми врагами, погиб товарищ Киров. Не только для нас — его близких друзей и товарищей, но для всех знавших его по революционной работе, знавших его, как бойца, товарища и друга, смерть Кирова является ничем невознаградимой утратой. От руки врага погиб человек, который всю свою яркую жизнь отдал делу рабочего класса, делу коммунизма, делу освобождения человечества...».

В своей квартире Иван Чорбов, потрясенный, слушает радио. Его жена — за столом, в той же позе, в какой ее запомнил зритель, когда она потеряла сына...

В школе, в красном уголке, пионеры, сжавшись в кучку, неподвижные, немые: холодящие душу слова вырываются из коробки радио...

Хибиногорск. Научная станция — «Тизтта». Ярошенко в лаборатории, бросив работу, не веря себе, вслушивается в речь, несущуюся из соседней комнаты, — там радио:

«...Ты был близок всем нам, товарищ Киров, как верный друг, любимый товарищ, надежный соратник. До последних дней своей жизни и борьбы мы будем вспоминать тебя, дорогой друг, и будем чувствовать горечь нашей утраты. Ты был всегда с нами в годы тяжелых боев за торжество социализма в

нашей стране, ты был с нами всегда в годы колебаний и трудностей внутри нашей партии, ты пережил с нами все трудности последних лет, и мы потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла великих побед. Во всей этой борьбе, во всех наших достижениях много твоей доли, много твоей энергии, силы и пламенной любви к делу коммунизма.

Прощай, наш дорогой друг и товарищ Сергей!».

★

Дворец Урицкого, в котором должен был делать доклад Киров. Фасад увит черным крепом. Траурные знамена. Очередь пришедших проститься с Кировым. Дети. Самодельные венки в руках школьников. Красноармейцы, моряки. Делегации заводов. Цветы. Работницы. Студенты. Советский народ в трауре... И вот зал дворца. И Киров в гробу...

Почетный караул.

Ольга и старик Чорбов — рядом, у гроба, с траурными перевязями на рукавах. Вдруг Чорбов замечает — Ольга качнулась. Он взял и сжал изо всей силы ее руку. И так они стоят, полные последней силы и предельного горя, в беспамятстве боли...

★

Колонный зал Дома Союзов в Москве. Траур. Среди пальм и цветов гроб Кирова.

В почетном карауле — Сталин. Он вложил руку в руку, как будто ему холодно. Он стоит недвижно, глядя прямо перед собою. Потом он оборачивается, подзывает кинооператора, просит прекратить съемки и уйти.

Сталин остался один. Подходит к гробу. Долго неподвижно стоит. Поднимается к гробу, целует Кирова. Быстро уходит...

★

Красная площадь.

Прах Кирова в урне.

Народ проходит мимо Мавзолея Ленина, мимо урны с прахом Кирова.

Летит снежок. На крыле Мавзолея — Сталин. Попрежнему держит он руки. И, не отрываясь, глядит на урну.

Сотни тысяч глаз устремлены на Сталина. Сотни портретов Кирова обращены к нему — как клятва. И раздается возглас из толпы: «Да здравствует Сталин!». И возглас подхватывают тысячи голосов. И тогда Сталин разнимает руки и отвечает народу своим приветствием — поднятой рукой...

У Кремлевской стены. Урна замуровывается. Сталин — с обнаженной головой. Он борется со слезами.

Кремлевские орудия салютуют навеки великой, славной памяти истинного борца за коммунизм и человека красивого, умного сердца — Сергея Мироновича Кирова...

58 лет в Третьяковской галлерее

ВОСПОМИНАНИЯ*

Н. МУДРОГЕЛЬ

★

МОЕ ДЕТСТВО В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВЫХ

Мне сейчас семьдесят два года, и так случилось, что я с самого рождения в течение всей моей жизни был непрерывно связан сначала с домом братьев Третьяковых в Лаврушинском переулке, а потом и с Третьяковской галлереей. Мой отец — Андрей Осипович Мудрогель — был крепостным крестьянином села Толмачи, Звенигородского уезда, Киевской губернии. После освобождения от крепостной зависимости в 1861 году он покинул свою родину и в поисках работы приехал в Москву. Здесь он случайно попал на работу в дом братьев Третьяковых и прослужил у Павла Михайловича Третьякова двадцать лет — до своей смерти в 1880 году.

Дом Третьяковых тогда еще не имел никаких пристроек. Это был старинный дворянский особняк, переживший нашествие французов на Москву. При доме была большая, чудесный сад. В центральном дворе, при входе в музей, росли тогда высокие вековые деревья — тополя, липы и дубы. В саду были цветы — прекрасные розы, махровые пионы и сирень, а также яблони с китайскими яблочками. За этими яблочками мы, ребята, — дети служащих у Третьякова, — иногда охотились, за что нам

и попадало от наших родителей. Цветы нашего сада изобразил художник Максимов В. М. в ряде этюдов.

Весь верхний этаж дома был занят жилыми комнатами семьи Третьяковых, а в нижнем помещалась их торговая контора, и здесь же были три комнаты лично Павла Михайловича Третьякова — основателя галлерей. Сначала оба брата — Павел и Сергей — жили вместе в этом доме, но, когда Сергей Михайлович женился, он переехал из лаврушинского дома в свой новый дом на Пречистенском бульваре, а Павел Михайлович остался со своей семьей в старом доме.

Отец мой сначала не имел определенной работы по дому. Он делал, «что укажут». Третьяковы скоро оценили его, и Павел Михайлович стал поручать ему приемку картин, оформление и развеску их и уход за ними в только-что возникшей тогда галлерее. К этому времени относится и начало сильного увлечения Третьякова собирательством картин. Теперь он мог покупать и большие картины, потому что весь обширный дом был в его полном распоряжении.

Сам Павел Михайлович тогда был еще молодым человеком и только-что начал собирать картины. В 1856 году им была приобретена первая картина художника Шильдера «Искушение», и этот год считается теперь годом основания Третьяковской галлерей. Картин у него еще было мало. До этого Павел Михайлович собирал только рисунки, акварели, гравюры и хранил их в шкафах и

* Автор приносит горячую благодарность писателю А. С. Яковлеву за помощь по литературному оформлению воспоминаний.

столах своей комнаты, спасая их от выгорания. С покупкой же картин нужно было подбирать рамы, устраивать штанги. Картины требовали развески и ухода. И мой отец мало-по-малу становится первым ответственным работником галлерей.

Помнить себя я начал рано, с 3—4 лет. Мне вспоминается большой двор перед домом, — двор выстлан камнем, огорожен решетчатым забором от улицы и от сада. На дворе и в саду всегда тихо, просторно, красиво. Какие-то люди проходят по двору в дом — в ту дверь, где висела маленькая вывесочка «контора». Изредка отворяются парадные двери — они помещались на том месте, где теперь главный вход в галлерею. Из дома выходили нарядные люди, — кучер подавал им коляску, запряженную парой лошадей...

По утрам во двор въезжали ломовые извозчики, привозили кипы льняных товаров, сгружали их в амбары, расположенные в углу двора. Эти товары доставлялись из Костромы, где у Третьяковых была большая мануфактурная фабрика. Товары из амбара развозились по магазинам Москвы.

Вечером, когда мой отец кончал работу, за чайком он рассказывал моей матери, что делалось в доме Третьяковых, что сказал или что сделал Павел Михайлович. Самого Павла Михайловича называли строгим, «неулыбой», потому что он никогда не только не смеялся, но даже не улыбался.

Он никогда не пил вина, не водил компании с теми, кто непрочь был выпить, и особенно не любил, если пили его служащие. Если замечал, что кто-нибудь из служащих имеет слабость к алкоголю, он сейчас призывал его к себе в кабинет и предупреждал:

— Если я еще раз замечу вас пьяным, я вас уволю.

И иногда, действительно, увольнял.

Зато к тем, кто хорошо работал, Третьяков относился с полным доброжелательством. Щедро помогал, когда случалась в семье беда. Моего отца он, повидимому, ценил высоко, потому что всецело доверил ему свое «самое дорогое», как он иногда называл картины.

Семья Третьяковых в те годы жила внешне так же, как и другие купеческие семьи Замоскворечья. Отец братьев Третьяковых был человек малограмотный, а мать и совсем неграмотная. Отец не дал братьям Третьяковым никакого образования. Павел Михайлович не был ни в каком учебном заведении и всю культуристость добыл уже сам, самоучкой и самовоспитанием, а также ежегодными поездками по Европе.

Служащих у Третьяковых было много — няни, кухарки, горничные, прачка, кучер, портниха, сторожа, конторщики в конторе, приказчики в амбаре, бухгалтер. Служил обычно подолгу, — так, прачка Степанида Захаровна пошла к Третьяковым, когда Павел Михайлович был еще совсем маленький. Она потом много рассказывала мне о его раннем детстве. Она уже жила у Третьяковых на покое. Кормили служащих хорошо, потому что я не помню ни одной жалобы на хозяйскую пищу, а жили они во флигеле во дворе. Домашняя прислуга получала пищу от поваров, из кухни семьи Третьяковых. В доме очень строго соблюдались праздники, и Павел Михайлович при всей своей культуристости постоянно следил, чтобы его служащие ходили в церковь. По окончании обедни служащие становились у дверей и всячески старались попасться на глаза хозяину: «Я, дескать, был сегодня в церкви». Случалось, что хозяин потом говорил кому-нибудь:

— А вы сегодня в церкви не были. Это нехорошо. Скажите-ка, почему не были?

Каждое лето семья Третьяковых уезжала на дачу в Кунцево. Дом пустел, окна занавешивались, комнаты верхнего этажа запирались. Но сам Павел Михайлович ежедневно приезжал в Москву точно к началу открытия конторы и весь день занимался торговыми и общественными делами; каждый день бывал в галлерее, справляясь, все ли в ней благополучно.

Лет семи и я стал бывать в Кунцево, — Вера Николаевна Третьякова брала меня и моего брата с собой на все лето. Мы играли там с детьми Третьяковых. Иногда Павел Михайлович за-

ставлял нас чистить дорожки, выпалывать сорную траву на грядках. В такой работе он и сам иногда принимал участие: разметал дорожки, поливал цветы. И детей своих заставлял делать то же. Я так понимаю: он не любил праздности, — ему неприятен был вид бездельного человека. Я никогда не видел, чтобы он проводил время праздно.

В воскресенье он оставался на даче, но обычно после завтрака брал маленький чемодан с бутербродами, бутылкой молока и книгами, один уходил в лес до вечера и, забившись в глушь, весь день читал.

Своей дачи в Кунцево у Третьяковых не было; они нанимали какую-нибудь дачу в Солдатенковском парке, — с большими цветниками, с массой деревьев. Кунцево мне тогда казалось сказочным местом, — так много цветов росло возле дач и так красив был парк над Москвой-рекой.

Мне было 5—6 лет, когда Павел Михайлович решил сделать первую пристройку к дому — галерею только для картин. Он боялся, что в доме может случиться пожар, — тогда картины погибнут.

Галерею строил зять Третьяковых, архитектор Каминский. Часть сада была вырублена, и в одно лето выросло двухэтажное здание с двумя обширными залами. Все картины из жилого дома были перенесены в эти залы. В залах были поставлены переборки, так как стен для картин уже не хватало.

Всю переноску и развеску картин сделал мой отец с рабочими лично. Я целыми днями вертелся возле него, для меня эта переноска была веселой забавой. Иной раз я подавал рабочим молоток и гвозди.

Павел Михайлович в эти дни был очень доволен, часто приходил из конторы поглядеть, как идет дело. В новые залы было устроено три входа: один — со двора через сад для посетителей, другой — в нижнем этаже из внутренних комнат самого Павла Михайловича и третий — во втором этаже из общей столовой для семьи и гостей.

С 1873 года галерея была открыта для всех граждан, тогда как прежде

осмотр картин допускался лишь с особого разрешения Павла Михайловича. И понятно: неудобно было пускать всех подряд в семейные комнаты дома.

Над калиткой, которая отделяла двор от сада, появилась вывеска: «Картинная галерея». Каждый посетитель входил с Лаврушинского переулка сначала во двор, потом через калитку в сад, а из сада в галерею. Посетителей встречал мой отец и пропускал в залы. Работы и заботы тогда отцу моему было достаточно. Он уже занимался только картинами, ничем больше. А картин в эти годы покупалось много. В нижнем этаже жилого дома Павел Михайлович отвел одну из трех своих комнат для обработки картин перед тем, как их вешать в галерею. В этой комнате картина вставлялась в раму, застеклялась, иногда промывалась...

Посетителей в галерею первое время было очень мало. Обычно было так: отец упустит посетителя в галерею, а сам уйдет в комнату пригонять раму или еще что делать. Посетитель ходит по залам совсем один. Иногда отец позовет меня и скажет:

— Бегика, Коля, посмотри, что гость там делает.

И я бежал в залы смотреть на гостя, потом опять к отцу:

— Дядя смотрит картинку наверху. Перед уходом посетитель звонил у двери в колокольчик, приходил мой отец и выпускал его.

Прошло только шесть лет, и Павел Михайлович решил перестроить новые залы, потому что в них оказалось мало света. Опять во дворе и в саду появилась масса кирпичей, бревен, извести. Зал верхнего этажа имел окна только под потолком. А картины висели в два три ряда, и свет из окон падал так, что трудно было рассмотреть верхний ряд. Павел Михайлович распорядился заделать окна, а свет дать через стеклянный потолок и стеклянную крышу.

Когда после перестройки картины опять были повешены, они намного выиграла, и место для развески картин увеличилось.

— Вот теперь у нас настоящая галерея, как я видел за границей! — го-

ворил хозяин, очень довольный перестройкой. — Только опять тесно; уже некуда вешать, скоро еще строить придется.

В самом деле, картин становилось больше и больше. Картины скупались в Москве, в Петербурге; Павел Михайлович сам их привозил с выставок из Петербурга, ему присылали из магазинов, иногда художники и владельцы приносили сами. Отец мой то-и-дело ездил в Петербург или в мастерские художников в Москве за новыми и новыми картинами.

В доме Третьяковых и в галлее все чаще и чаще стали появляться художники. Конечно, я тогда еще многих не знал по имени, но видел, с каким почтением говорили о художниках и сами хозяева, и служащие. Иногда для художников устраивались вечеринки в доме, — на вечеринках выступали музыканты и играла на рояле сама Вера Николаевна.

В доме была отведена комната, где художники, приезжая в Москву, могли жить. Летом, когда семья Третьяковых уезжала на дачу, художников принимала моя мать, готовила им обед, ухаживала за ними. Часто бывал у нас и подолгу жила летом художник Максимов — автор картин: «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел», «Все в прошлом». Он иногда писал этюды в саду Третьяковых. Тогда я непременно вертелся возле него, наблюдая, как холст покрывается красками, как на нем вырастают деревья, появляется стена нашей галереи.

— Ты чей, паренек? Сын Андрея Осиповича Мудрогеля? — спросил меня однажды Максимов. И с того времени у меня с ним завелась дружба.

Иногда он посылал меня за папиросами:

— Сбегай-ка, Коля, купи пачку «Дружка» за пять копеек.

И я со всех ног мчался по переулку к рынку за покупкой, за что получал от художника конфетки.

Но вот скоро вольное житье мое кончилось, — мне стукнуло девять лет, и меня отдали в городскую школу. Третьяков разрешил выдать из конторы де-

нег моей матери, чтобы мне купили приличную одежду, обувь, книги.

Учение у меня пошло хорошо, и мои родители уже мечтали, как я кончу эту школу, пойду в большую науку... Но эти мечты скоро оборвались.

СМЕРТЬ МОЕГО ОТЦА

В конце осени 1880 года в Петербурге был объявлен аукцион по продаже картин художника В. В. Верещагина. На все подобные аукционы Третьяков непременно выезжал и непременно привозил с них картины. Картин Верещагина в этот раз продавалось очень много, и об аукционе писалось в газетах.

Через несколько дней после отъезда Павла Михайловича в Петербург мой отец при мне сказал, смеясь, моей матери, что в газетах напечатано: «Третьяков купил все коллекции Верещагина, никому не дал купить ни одной картинки». И газету принес мой отец, где Стасов описывал аукцион: «Третьяков убил всех конкурентов рублем. Какую бы цену конкуренты ни назначали, он неизменно скрипел, точно скрипучая телега: «Рубль выше». И картина осталась за ним. Таким образом, все коллекции Верещагина — туркестанские и индийские — переходят в Москву, в галерею Третьякова».

Скоро и сам Павел Михайлович приехал домой — довольный, радостный. А мы уже все знали: когда у него удачная покупка в Петербурге, он возвращался в Москву с хорошим настроением, все в доме, во дворе, в конторе тоже становились радостными:

— Павел Михайлович купил хорошие картины!

Если же была неудача с покупкой, он приезжал суровый, раздраженный, мало говорил, и все в доме примолкали. Кучер, который встретил его на вокзале после покупки картин Верещагина, сразу увидел, что покупка картин прошла удачно. Ну, а на этот раз радость была всеобщая, и во дворе, помню, много смеялись над газетной статьей, в которой Павла Михайловича называли скрипучей телегой.

Третьяков сказал моему отцу: картин так много, что придется делать новую большую пристройку. И вместе с ним выходил несколько раз в сад с саженкой, чтобы наметить, где будут новые залы. Нужно было вырубать много деревьев. Вера Николаевна и дочери очень сильно опечалились, что сад погибнет.

Мать моя говорила, что у Третьяковых идет разговор:

— Где мы будем гулять? Где будут гулять наши дети?

А Павел Михайлович говорил: места хватит, надо не только о себе заботиться, но и об обществе — строить для всех москвичей и для всех русских людей.

— Я не для себя одного стараюсь. Придет время, я отдам эту галерею городу Москве. А для детей я устрою сад поменьше.

Для приемки и упаковки верещагинских картин был отправлен в Петербург мой отец. Поехал он с радостью: он тоже сильно любил картины...

Я не помню точно, сколько времени пробыл отец в Петербурге, только возвратился совершенно больной. Обычно он после такой поездки быстро переодевался и шел к Павлу Михайловичу с докладом. На этот раз даже не переоделся, лег в постель — в жару и в бреду. Мать моя перепугалась, сообщила Павлу Михайловичу. Тот приказал немедленно позвать доктора. Доктор определил воспаление легких. Отец простудился, ночуя на ящиках верещагинских картин в холодных кладовых Академии художеств. Он успел принять картины и упаковать их, но не решился оставить упакованные ящики на сторожке, сам охранял их перед отправкой на железную дорогу. А ночи были очень холодные...

Промучившись недели три-четыре, мой отец умер. Мне в это время шел двенадцатый год, моему брату было десять.

Через два года я окончил школу, и Павел Михайлович взял меня на работу в галерею, а моего брата отправил в Кострому к себе на фабрику.

ГАЛЛЕРЕЯ В 80-х ГОДАХ

Летом 1882 года я впервые, уже как служащий, приступил к работе в галерее. Старшим надо мной был бывший помощник моего отца Ермилов, но все распоряжения я получал лично от Павла Михайловича.

— Работайте так, как работал ваш отец, — иногда говаривал он мне.

Как-раз этим летом закончилась очередная пристройка галереи — шесть обширных зал, по три в каждом этаже. Картин уже было много, но особенно мне запомнились: «Неравный брак» Пукирева, «Княжна Тараканова» Флавицкого, «Возвращение с Крымской войны» Филиппова, «Привал арестантов» Якоби, «Фонтан Аннибала» Лагорио. Много было картин Перова. Тут и «Тройка» (ученики-мастеровые везут воду), и «Приезд гувернантки в купеческий дом», и «Птицеловы», и «Странник». Один зал нижнего этажа был целиком занят портретами работы художников конца XVIII и начала XIX веков — Антропова, Левицкого, Боровиковского, Аргунова, Рокотова, Матвеева, Тропинина, Венецианова, Брюллова, а также виды Рима, Неаполя и Сорренто работы Сильвестра Щедрина.

В новых залах нижнего этажа были размещены и коллекции картин Верещагина.

Моя новая работа мне очень нравилась. Посетителей тогда было еще мало: 10—15 человек в будни и 20—30 человек в праздники. И вот я шесть часов — с десяти до четырех — хожу по залам, опрятно одетый, в новых ботинках, причесанный, а кругом на стенах — чудесная жизнь, лица, цветы, города. В залах — тишина, масса света, приятный воздух. Хорошо! Я всматриваюсь в картины, изучаю каждую мелочь в них... Картина как? Чем больше на нее смотришь, тем больше видишь. Почти каждый художник дает на картине много мелочей, которых с первого взгляда и не заметишь. Надо всматриваться долго, пристально, с любовью, чтобы все увидеть. А тут еще и Павел Михайлович подзадоривал:

— Изучайте, Коля, художников, изучайте их манеру письма. Надо, чтобы вы узнавали сразу, какому художнику принадлежит картина.

Возьмёт, бывало, какой-нибудь этюд, покажет издали и спросит: «Кто писал?».

Часто, бывало, Павел Михайлович вызывал меня к себе.

— Слетайте-ка, Коля, к художнику Прянишникову, отнесите письмо. И подождите ответа. А потом зайдите к Мавковскому Владимиру Егоровичу.

Или к какому другому художнику пошлет — Васнецову, Сурикову, Репину, Верещагину...

Я с огромной радостью и трепетом иду к ним.

Входишь, бывало, в квартиру художника и ног не чувствуешь, и язык к гортани прилипнет от страха: боишься сказать не так, как нужно. Но художники меня принимали хорошо.

И не только к художникам посылал меня Павел Михайлович, но и к писателям, и к другим знаменитым людям. Дважды я побывал в рабочем кабинете Льва Николаевича Толстого в Хамовниках, говорил с ним, смотрел, как он читал письмо, поданное мной, потом писал ответ, — низко наклонившись к столу, а стул под ним был низенький, с подрезанными ножками... Вот портрет Толстого у нас в галлее был работы художника Ге, — точь-в-точь я видел великого писателя таким же и за тем же столом.

До открытия галереи каждый день приходили полотеры, натирали полы, а мы должны были обмести пыль с картин и везде. Павел Михайлович строжайше следил за этим. Он постоянно твердил нам:

— Пыль для картин — яд.

Он требовал, чтобы нигде ни малейшей соринки не было, ни пылинки.

И летом, и зимой он вставал аккуратно в семь часов, завтракал и до открытия конторы шел в галерею. Он делал нам разные указания относительно перевески картин. Отмечал, где вешать новые картины (а новые прибывали еженедельно). Он был немногословен,

никогда голоса не повышал, как бы ни был рассержен.

Очень пристально он осматривал картину за картиной, зайдет с одной стороны, с другой, отойдет дальше, снова приблизится, и лицо у него делается довольное. Но если вдруг найдет какой-нибудь неполадок, — потрескалась краска или пожелтела, — сейчас забеспокоится, нахмурится, видно, как это ему неприятно, будто заболело родное детище. А если увидит на картине пятнышко в булавочную головку, просит дать акварель и сам заделает.

Для нас он выработал правило: без белых трикотажных перчаток не браться не только за картину, но и за раму. Картину при съемке со стены класть на пол только на ковер или на мягкие подкладки, которые всегда должны быть во время работ. При переноске картин стараться как можно меньше трясти ее. Одним словом, он старался нас так воспитать, что картина — это самый священный предмет, а художники — самые достойные люди.

— Берегите произведения художников, как бережете свои глаза.

— Вы, Коля, всегда слушайте, что говорят художники о картинах, — учил он меня, — слушайте, запоминайте и говорите мне. И вообще, слушайте, что говорят люди. Мне важно знать суждение всех...

И я должен был ежедневно давать ему отчет, что говорили художники и посетители о картинах.

Когда приходил художник, я неотступно ходил за ним по галлее. Художники меня уже знали, вступали со мной в разговор, я пользовался этим и иногда расспрашивал, каково их мнение о той или другой картине.

Сам Павел Михайлович никогда не выходил из дома в галерею в те часы, когда там была публика, даже если там были его друзья или какие-либо знаменитые люди. За всю мою работу в галлее такого случая не было ни разу. Не появлялся даже и тогда, когда галерею посещали лица царской фамилии. Особенно это часто случалось в те годы, когда генерал-губернатором Москвы был брат Александра III —

Сергей Александрович Романов. Он гордился, что в Москве есть такая достопримечательность — картинная галерея — и привозил к нам своих гостей — иностранцев и своих родственников. И всякий раз спрашивал: «Где же сам Третьяков?». А Павел Михайлович нам, служащим, раз навсегда отдал строгий приказ: «Если предупредят заранее, что сейчас будут высочайшие особы, — говорить, что Павел Михайлович выехал из города. Если придет без предупреждения и будут спрашивать меня, — говорить, что выехал из дома неизвестно куда». Нам, конечно, это было удивительно. Честь-то какая! Сам царев брат, разные великие князья и княгини, графы, генералы придут в мундирах, в звездах, в лентах, в орденках, в богатейших каретах, полиции по всему переулку наставят, начиная с самых каменных мостов, всех дворников выгонят из домов мести и поливать улицы. А он: «Дома нет!». Сидит у себя в кабинете, делами занимается или читает.

Впрочем, был случай, когда Павла Михайловича вынудили присутствовать при осмотре галереи царскими особами, — это когда 15 мая 1893 года галерею посетил царь Александр III со своей свитой. С5 этом случае я расскажу потом...

В конторе Павел Михайлович сидел как-раз у окна, выходившего на дорожку, по которой проходили в галерею посетители. Он всех замечал: кто идет, сколько времени пробыл в галерее. Случалось, что посетитель войдет в вестибюль, спросит, с каких часов и до каких галерея открыта, и уйдет. Павел Михайлович тотчас пришлет за мной из конторы мальчика:

— Почему сейчас быстро ушел посетитель? Ему не понравилось?

И опишет посетителя, как был одет, в какой шапке, бородатый или безбородый.

Очень он ревниво следил за этим.

Тогда в галерею приходила главным образом интеллигенция, студенты, ученики средних школ. Рабочих было очень мало, и Павел Михайлович очень радовался, когда видел, что идут рабочие.

И вечером очень подробно расспрашивал меня, как вели себя рабочие, что говорили, перед какими картинами особенно долго стояли, мимо каких прошли, мало обратив внимания.

— Я собираю это для народа, мне надо знать мнение народа, — говорил он нам нередко.

Тогда народу больше всего было перед картинами Перова, Верещагина, Шишкина, Маковского, потом по мере появления картин — перед Репиным и Суриковым. Много также стояли перед Максимовым, Корзухиным, Савицким, Куинджи, Айвазовским. Любопытно, что перед этими картинами каменный пол с годами стал вытачиваться, — на нем появились углубления, — так много народу тут толпилось.

Вход был для всех бесплатный, каждого мы встречали радушно. Если нас спрашивали, мы старались дать самый подробный и самый вежливый ответ. Павел Михайлович внушал нам, что каждый, кто приходит в галерею, — его дорогой гость и его надо встретить именно, как гостя.

Известность Третьяковской галереи стала расти, и даже наши соседи, замоскворецкие купцы и мещане, заинтересовались ею. К одному купцу, например, приехал из провинции гость, «хвативший просвещения», и просил указать, где здесь, в Замоскворечье, галерея с очень интересными картинами.

— Где такое? Мы и не слышали, — простодушно заявил хозяин.

— Да где-то здесь, купец Третьяков собирает...

— А, Третьяков, наш сосед почти, недалеко живет. То-то к его дому какие-то люди ходят... Надо и нам сходить.

И вместе с гостем впервые пожаловал купец-сосед в нашу галерею.

Однажды мы заметили, что галерею стали посещать странные женщины: очень разговорчивые, развязные, пестро одетые. Придут — и ну расспрашивать:

— А всем можно ходить сюда? И семейно можно? И, к примеру, сразу человек двадцать? И говорить между собой можно?

— И говорить можно, и смотреть, и, чем больше народу, тем лучше, — отвечали мы.

Через несколько дней в галерею сначала пришла одна из этих женщин, потом сразу целая семья купцов с молодым сыном, потом другая семья купцов с молодой девушкой. Все разряженные влук и прах... Мы, конечно, встречаем их, готовы провожать по залам, объяснять. А те никакого внимания на картины, — смотрят друг на друга, только между собой разговаривают. И с разговорами отправились по залам, будто гулять, как на бульваре. На картины смотрят между прочим... Поговорили-поговорили, ушли. Что такое?

Через несколько дней опять подобная история повторилась, потом опять. Каждый раз народ приходил новый, лишь неизменно присутствовала та разговорчивая, развязная особа.

Оказалось, это московская сваха! У нас, в галерее, она устраивала смотрины. Скоро об этом проведали и другие свахи и тоже начали устраивать смотрины у нас. Прежде в церквах устраивали такие первые смотрины, а потом в картинной галерее. Я сказал об этом Павлу Михайловичу.

— Ну, что же, — говорит, — пускай, это их дело. Пусть хоть таким путем заглядывают в культуру.

А у нас была картина художника Пукирева «Прием приданого по описи» — там и свахи, и жених, и невеста изображены. Я тогда молодой был, посмеяться хотелось, подведу такую компанию к картине: «Вот, говорю, обратите ваше внимание на дикие обычаи, — человек не жену берет, а приданое».

Лет с десятков потом устраивались у нас подобные смотрины.

Само собой, и о них я говорил Павлу Михайловичу, а у того глаза становились веселые:

— Все-таки, на картины-то смотрят женихи и невесты?

— Смотреть-то смотрят... но ничего не видят.

— Ну, пусть. Авось, что-нибудь в их памяти останется. На первый раз и это-

го достаточно, что узнали дорогу в галерею.

Очень часто посетители (конечно, не свахи и не женихи с невестами) спрашивали меня и Ермилова, где покупает Третьяков такие картины. Узнавали цену, кое-кто старался узнать адрес художников. Видно было, люди загорались желанием иметь у себя картины.

— Вот видите, Коля? Люди начинают любить живопись, — радовался Павел Михайлович, когда я рассказывал ему об этих разговорах.

Кто-то однажды обратился к нему с просьбой разрешить снять копию с картины Перова «Рыболов».

— Очень нравится картина, хотелось бы иметь у себя хоть подобие.

Третьяков разрешил. И вот в нашей галерее появился художник с мольбертом, палитрой, красками, начал копировать Перова.

И точно взрыв какой, дождем посыпались просьбы о разрешении копировать — и от художников, и от учеников Московской школы живописи, и просто от любителей живописи. Третьяков на первых порах никому не отказывал. Копировальщики десятками приходили к нам. Даже иногда неудобно было посетителям, — так много мольбертов стояло перед картинами.

Между прочим, копировали и крупные художники. Помню, Левитан сделал копию с картины Куинджи «Север», Серов — с картины Поленова «Московский дворик». Скопировала также несколько картин дочь Льва Николаевича Толстого Татьяна Львовна.

Третьяков особенно радовался, когда копировали талантливые ученики школы живописи и молодые художники.

— Это для них лучшая школа.

Увлечение Третьякова собиранием картин с каждым годом все возрастало. В восьмидесятых годах им приобретены такие крупные вещи, как «Иван Грозный и его сын» Репина, «Утро стрелецкой казни» Сурикова, появились залы Репинский, Суриковский. Все лучшие вещи с выставок немедленно переходили в нашу галерею. Третьяков тратил сотни тысяч рублей в год на покупку картин. Каждый праздник он

неизменно объезжал московских художников, стараясь выудить у кого что можно. Ездил по антикварным магазинам. На его имя приходило много писем от москвичей и жителей других городов с предложением купить у них картины. Третьяков сначала списывался с ними — узнавал размер картины, на чем написана, какими красками, откуда попала, потом — в зависимости от ответа — или просил принести картину в галерею, или, если картина большая, посылал меня посмотреть ее на месте. Каждый раз он расспрашивал меня подробно и, если картина была интересна, он ехал сам смотреть ее.

Проходил год, много два, и места в залах нехватало; вешать негде. Тогда Третьяков начинал новую пристройку... Ко времени его смерти он успел построить 25 зал, ныне составляющих центральную часть галереи.

Число посетителей к началу девятидесятых годов сильно выросло. Галерея стала известна широким кругам москвичей, много людей приезжало и из других городов.

Вдруг произошли события, крайне неприятные и для Третьякова, и для нас.

ВРЕМЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ГАЛЛЕРЕИ

Как я уже сказал, копирование картин в галерее год от года увеличивалось, и к началу 90-х годов копировщиков стало так много, что наша галерея стала походить на школу живописи. Больше всего копировали Перова, Репина, Сурикова, Прянишникова, Саврасова, Маковского и Васильева.

Вдруг Третьяков начинает получать письма от своих знакомых о том, что там-то продается такая-то картина, бывшая в галерее, — не похищена ли она? Из Харькова сообщили, что в одном из местных магазинов продается картина Сурикова «Меньшиков в Березове», потом кто-то зашел в галерею и сказал, что в Москве продается портрет Рубинштейна работы Репина. Иногда приходили люди с картинами и, показывая их Третьякову, говорили, что купили за оригинал. Оказалось, что пред-

примчивые копировщики писали не только копии картин, но и подделывали подписи под копиями, а затем продавали их за оригинальные работы. Особенно этим отличался некий Гвоздик. Третьяков, очень огорченный этим обстоятельством, тотчас запретил таким «художникам» работать в галерее. Однажды он обратил внимание, что на двух картинах появились желтые и темные пятна. Он сильно заволновался:

— Что такое? Откуда?

Стал присматриваться, позвал нас, — вот еще пятна на третьей картине, на четвертой, десятой, пятнадцатой. Лучшие картины галереи, как-раз те, с которых больше всего копировали, оказались попорченными. Третьяков был в отчаянии. Доискиваясь причины появления пятен, мы решили, что тут виноваты копировщики. Он приказал нам присмотреться, что же делают копировщики с картинами. На другой же день мы обнаружили: копировщики, чтобы точно уловить тон картины, смешивали свои краски на палитре, а затем накладывали их на картину... Наложит, — отойдет, посмотрит: если тон подходящий, тогда кладет краску на свое полотно... А потом тряпочкой сотрет с картины сырую краску. И будто все шито-крыто. Но как сухо ни стирает такой варвар-копировщик свою краску с чужой картины, пятно остается, разъедает и лак, и ту краску, которой написана картина.

Третьяков, узнав об этом, долгое время был вне себя.

Он тотчас же категорически запретил всякую копировку кому бы то ни было. «Копирование картин в галерее запрещено навсегда». Такой он издал нам приказ. Напрасно потом ученики школы живописи и их профессора просили его о разрешении продолжать работу в галерее, — Третьяков решительно отказал: для него порча картин казалась высшим преступлением.

А тут еще неприятность: копировщики особенно сильно испортили картину Прянишникова «Порожняки», и Третьяков просил художника исправить ее. Прянишников взял ее к себе в мастер-

скую и так «поправил», что Третьяков пришел в отчаяние. Слева на картине был изображен лесок, — Прянишников его уничтожил, оставив только отдельные кустики. Небо тоже было переписано. Картина после переписки стала совсем другой, гораздо хуже.

И еще: как-раз в это время галерею облюбовали карманные воры. По праздникам, когда особенно много собиралось публики, воры залезали в карманы посетителей. Обокраденные начали жаловаться и нам, администрации галереи, и самому Третьякову.

Третьяков считал всех посетителей своими дорогими гостями, и вдруг такие случаи... Я ни до этого, ни после не видел, чтобы он огорчился сильнее. Каждый вечер он со страхом ждал моего доклада: а вдруг опять кража.

И картины стали у нас похищать. Похитили этюд Верещагина, потом этюд Поленова и небольшую картину В. Маковского «На дешевке». В то время не было у нас постов охраны, только были сквозные обходы, не так, как теперь. Мы, двое, не смогли уследить за публичкой, — и в результате такие прискорбные случаи.

Как быть дальше? Третьяков делал нам выговоры и, наконец, с горечью на сердце решил закрыть галерею для широкой публики, а пускать только по его особому разрешению и по запросам художников или знакомых. И каждый расписывался в книге посетителей галереи.

С осени 1891 года галерея была закрыта. Помню, огорчение москвичей и приезжих в Москву было чрезвычайно сильное.

ТРЕТЬЯКОВ КАК ЧЕЛОВЕК

Павел Михайлович Третьяков был редкий человек. Имелись у него, конечно, свои недостатки и, может быть, даже крупные, но в общем это была светлейшая личность, принесшая нашей стране большую пользу. Был он купец скуповатый, расчетливый, такой, что зря рубля не истратит. Иногда художники жаловались на него: «Третьяков прижимает». Вероятно, в этих жалобах была

доля правды: за годы своей работы я не раз слышал их. Однако все художники продавали свои лучшие вещи именно Третьякову. Очень мало картин уходило мимо него.

И служащие жаловались иной раз: мало платит. И слышать было, что на костромской фабрике братьев Третьяковых рабочим живется не ахти как. Одним словом, этой стороной своей жизни Павел Михайлович был истинным сыном своего купеческого класса. Но должен отметить, что и служащие, и рабочие у Третьяковых жили обычно очень долго, уходили крайне неохотно. Когда я сравниваю Павла Михайловича с другими московскими купцами и с дворянами (а их я повидал много), — тут вот и вижу всю разницу. В Москве были купцы в тысячу раз богаче Третьякова. А что они сделали для страны и для нашей культуры? Ничего! Опять же взять жизнь Павла Михайловича с детства... Человек не получил никакого образования, а достиг того, что все русские крупнейшие художники, писатели, ученые, артисты, композиторы, музыканты были его знакомыми, он с ними вел переписку, они бывали у него в гостях. За время 1880—1898 гг. я не знаю в Москве человека, равного ему по обширности своего знакомства с лучшими людьми нашей страны.

Его уважали все, с кем он соприкасался. И художники, и писатели, и артисты, и разные общественные деятели. Надо полагать, все понимали, какое огромное национальное дело делает этот человек.

Это ведь в наше время все знают: надо жить не только для себя, но и со всеми и для всех. А когда начинал жизнь свою Павел Михайлович, такое сознание только-только начинало пробуждаться. Он усвоил его, — и именно жил со всеми и для всех, а не только для себя.

Уже в детстве он отличался величайшей скромностью, не любил ничего шумного, крикливого, был замкнут, трудолюбив, аккуратен. По обычаю московских купеческих семей, Третьяковы на каждую Троицу высзжали на гулянье в Сокодьники всей семьей. Однажды, ко-

гда уже отец, мать, сестры, брат сидели в экипаже, хватились, а Паши нет.

— Где Паша? Сейчас же отыщите Пашу!

Побежали искать. А Паша спрятался под лестницу в угол, притаился, не хотел, чтобы его возили в Сокольники на гулянье, напоказ. Отец у него был строгий, приказал немедленно садиться. И Паша сел, обливаясь молчаливыми слезами.

Так всю жизнь он не любил показывать себя. Ни речей не любил, ни торжеств никаких.

В доме у него была своя особая комната, но темная, даже без окон. Он очень сердился, когда в эту комнату ходили без спросу.

Даже мать пускал неохотно. Белье на постели сменял сам.

В своей комнате он собирал книги, — особенно любил книги с картинками, собирал лубочные картинки. Книги он любил всю жизнь, ревниво берег их. А когда подрос, стал собирать гравюры, рисунки, акварели. Отец — человек, говорят, суровый и строгий — стал рано «приучать его к делу», то-есть, заставлял сидеть в конторе за торговыми книгами, наблюдать, как идет дело в амбаре, в магазинах, заставлял отпускать товар оптовым покупателям. Уже тогда у Третьяковых была в Костроме льноткацкая и льнопрядильная фабрика, но сравнительно маленькая, со старинными станками. Когда Павел Михайлович и его брат Сергей Михайлович выросли, они взяли дело в свои руки. Сергей Михайлович занялся расширением и улучшением фабрики, часто ездил в Кострому и за границу, а Павел Михайлович вел все торговые и финансовые дела в Москве.

Надо полагать, что свои торговые дела братья Третьяковы вели удачно, потому что обороты их росли быстро, и особенно быстро расширялась костромская фабрика.

Между прочим, Павел Михайлович заставил изготавливать на своей фабрике особый холст для художников. Холст получался не хуже заграничного, даже с дрезденским спорил!

Павел Михайлович тоже ежегодно —

последние 25 лет своей жизни — ездил за границу на два месяца, но почти исключительно с целью изучения музеев и посмотреть на культурную жизнь.

Весь день Павла Михайловича был строжайше расписан по часам. Не только месяцы, но и годы он жил так, что один день был совершенно похож на другой. В семь часов точно он вставал, пил кофе. Ровно в восемь часов шел в галерею. Мы с Ермиловым так и знали: часы бьют восемь, поворачивается ручка из внутренних комнат дома, в галерею входит Третьяков. Час он посвящал галерее: осмотрит все картины, сделает распоряжение о перевеске, о размещении новых картин, поговорит, посоветуется, осмотрит рамы для новых картин. И ровно в девять часов уходил в контору и сидел там до двенадцати, не сходя со стула.

В двенадцать из конторы поднимался наверх позавтракать. И тут происходило его первое свидание с семейством. Стол накрывался на 15 человек — четыре дочери, два сына, две гувернантки, кто-нибудь из гостей. В час опять обратно в контору — до трех. К трем ему подавали лошадь; он ехал в купеческий банк, где состоял членом правления, а из банка в магазин на полчаса, а к 6 часам домой обедать. После обеда он шел к себе в кабинет, и тут я ему должен был делать доклад о делах галереи: кто был, что говорили, какие картины повешены вновь, какие перевешены. Отдохнув, он шел в галерею, — опять по всем залам, — осматривал, проверял. И после в своем кабинете до глубокой ночи сидел за книгами, читал, делал пометки. Надо полагать, он чувствовал недостатки своего образования и всю жизнь старательно и много читал.

Ложился он в первом часу.

Вот так строился его будний день, без всяких изменений годы и годы. И все мы, служащие галереи, конторы, горничные, знали, в каком часу и где Павел Михайлович будет и что потребует. И невольно тоже вели жизнь самую регулярную. Кучер со смехом говорил, что даже лошадь знала, по каким улицам надо ехать, на каком углу пово-

рачивать, — так однообразен был путь. Лошадь сама подходила к тем подъездам, где хозяину нужно слезть.

Усевшись в экипаж, Павел Михайлович тотчас брался за книгу или журнал, — читал те десять-пятнадцать минут, когда ехали до банка. Он не смотрел по сторонам, старался не потратить ни одной минуты зря. Праздничные дни его — после обедни — целиком отдавались поездкам по мастерским художников и по антикварным магазинам. Вечером он рассказывал семье, у кого был из художников и какую тот начал писать картину.

Я в жизни своей мало видел людей таких молчаливых, как он. На собраниях и заседаниях он никогда не выступал.

Со служащими и рабочими, даже мальчиками лет 15-ти Павел Михайлович обращался всегда вежливо на «вы», голоса не повышал, если даже рассердится. Если сделает выговор, а потом окажется, что неправ, он потом обязательно извинится, перед кучером ли, перед дворником ли. Словом был справедлив в мелочах. И тем не менее все перед ним «ходили по нитке», все из кожи лезли, чтобы сделать так, как приказывал он.

Эта вежливость, этот распорядок во всем делал его вроде бы нерусским. Не обдумав, он не делал ничего. Без цели—шага лишнего: все у него по плану. Ну, а если что захочет — кончено: все поставит на карту, чтобы добиться.

И требователен был очень. Кучер у него служил — старик своенравный. Раз едут они из Москвы в Кунцево, а на дороге хлеба валяются, кто-то из проезжих потерял.

— Эх, дар божий лежит, нельзя оставлять! — сказал кучер, слез с козел и начал класть хлеба в коляску. А Третьяков говорит:

— Не смей брать, нас еще в краже могут обвинить!

— Возьму, — угрюмо сказал кучер. Тогда Третьяков вышел из коляски и пешком пошел на дачу. Хотел он потом уволить кучера, да Вера Николаевна вмешалась, помирила. Зато с этим кучером Третьяков потом обращался

строго и так его вышколил, что тот, когда ехал с хозяином, не смел на него оглянуться. Сидит на козлах, как истукан. Обычно, отправляясь с дачи в город, Третьяков пешком шел по кунцевскому парку до конца, а кучер ехал сзади. Только при выходе из парка Третьяков садился в экипаж. Однажды Третьяков только успел положить саквояж в коляску, а кучер вообразил, что это сел сам хозяин, и помчал к Москве. А Третьяков остался... Приезжает кучер к лаврушинскому дому, остановился у подъезда, ждет, когда хозяин выйдет из коляски. Выходит мой отец встречать, а экипаж стоит у подъезда пустой.

— Где же Павел Михайлович? Что он сегодня остался на даче? — спросил отец.

Оглянулся кучер — хозяина нет! То-то был переполох. Через полчаса Третьяков приехал на извозчике...

Я уж сказал, как он избегал встреч с особами царской фамилии. Похоже было, что он не любил носителей власти—ни светской, ни духовной. Помню, однажды нам сообщили, что «в галерею завтра прибудет Иоанн Кронштадский». А в то время этот поп пользовался такой славой, что за ним ходили десятки тысяч народа. Его считали святым, «благословиться» у него почиталось великой честью. А Третьяков, как только узнал, что ему предстоит такая честь, сейчас же собрался и уехал на два дня в Кострому.

— Скажите, что меня экстренно вызвали по делам.

В 1893 году после посещения галереи царь Александр III решил сделать Третьякова дворянином. Какой-то важный чиновник сообщил Третьякову об этом, а Павел Михайлович ответил:

— Очень благодарю его величество за великую честь, но от высокого звания дворянина отказываюсь. Я родился купцом и купцом умру.

Медали ему, конечно, давали, и мундиры также, однако, ни медалей он не носил, и никогда никакого мундира не надевал. Лишь фрак, когда необходимо нужно было. Одно только звание он принял: звание почетного гражданина города Москвы. Москву он

очень любил, — и надо полагать, признание звания ему доставило удовольствие, потому что он его принял без всяких разговоров.

Когда галерея была передана городу, художники решили отпраздновать это событие и устроили всероссийский съезд в Москве. Третьяков понимал, что на этом съезде он будет центральной фигурой, — в его честь будут говорить речи... За неделю до съезда он экстренно собрался и уехал за границу.

А художников он любил больше всего. И все-таки, от их чествования уклонился. Даже от собственных именин уезжал: накануне вечером обязательно уедет или в Петербург, или в Кострому, лишь бы не быть на именинном вечере.

Павел Михайлович был немного выше среднего роста, борода и волосы темнорусые, глаза большие, темные, пристальные. Портрет его работы Крамского очень правдив. На нем он точно живой. Всегда он был очень деятелен, — я не помню часа, когда он не был занят работой или чтением, — но всегда спокойно, без всякой суеты.

Еще одна черта скромности — это его костюм. Он одевался всегда в костюм совершенно одинакового покроя, — будто сорок лет носил один и тот же сюртук и одно и то же пальто. Шил на него известный тогда в Москве портной Циммерман. И всякий раз портной говорил:

— Теперь новая мода, ваш костюм сильно устарел.

— Вы шейте не по моде, а по моему вкусу, — просил Третьяков.

Не терпел он изысканных блюд. Бывало, каждый член семьи заказывал повару на завтра что-нибудь очень вкусное. А Павел Михайлович всегда одно: «А мне щи и кашу». Водки и вина не пил совсем, только уже незадолго до смерти по предписанию докторов выпивал одну-две рюмки «захарьинского» портвейна. (Был такой знаменитый доктор в Москве Захарьин, великий талант, но и великий пьяница, — пациентам непременно прописывал пить портвейн.)

В театры и концерты ездил, когда шла опера или пьеса в первый раз, все-

гда с женой и дочерьми. И любил музыку. На все бенефисы ему присылали билеты, и студенты приносили билеты на свои благотворительные спектакли. За билеты он платил щедро, и отдавал билеты служащим, чаще других мне.

— Сходите, Коля, сегодня в театр, хорошая пьеса идет. Вот билет.

И я нередко бывал в первом и во втором ряду кресел Большого и Малого театров.

На разные благотворительные дела Третьяковы давали значительные суммы: они построили на Донской улице приют для 200 глухонемых детей. Приют долго считался образцовым, потому что там были сделаны мастерские: переплетная, сапожная, столярная, картонажная, типография, — дети обучались разным ремеслам. Умирая, Третьяков завещал на приют крупную сумму.

Москвичи часто жаловались, что с Театральной площади и Петровки нет прямого проезда на Никольскую улицу к торговым рядам и в Зарядье, — приходится идти или через Красную площадь, или через Лубянскую. Мешала стена Китай-города. Братья Третьяковы купили участок земли с обеих сторон стены и с разрешения думы проломали стену — устроили прямой проезд рядом с нынешней гостиницей «Метрополь». Этот проезд, названный Третьяковским, и сейчас существует.

Павел Михайлович и Вера Николаевна были попечителями в разных школах, давали средства для бедных учеников. Сам Павел Михайлович был членом совета Училища живописи, ваяния и зодчества и жертвовал крупные суммы на нужды училища и учеников.

Я считаю, что этот человек жил не только для себя, но и для всех и со всеми...

ТРЕТЬЯКОВ КАК СОБИРАТЕЛЬ ГАЛЛЕРЕИ

Основное дело и увлечение Третьякова, — это, конечно, собирательство картин и постройка галлерей. Здесь он кипел, горел, о галлерее он думал день и ночь. Все его большие радости и большие огорчения связаны с галлерей.

Не помню, кто однажды назвал Третьякова маньяком. Если так понимать, что маньяк — это человек, строго преследующий одну цель,—так Третьяков, действительно, маньяк. Свою цель — собрать картинную галерею для народа — он преследовал строго, пока не достиг ее.

Я не знаю, когда у Павла Михайловича зародилась мысль о передаче своей галлерей городу. Это — до меня. Я уже помню, когда он определенно говорил:

— Картины будут принадлежать всему народу.

И нам, служащим галлерей, постоянно внушал, что мы охраняем и заботимся о народном достоянии.

В первые годы собирательства Третьяков приобретал также и картины западных художников, но потом, побывав в Петербурге у известного собирателя Прянишникова, он был так поражен красотой русской живописи, что решил собирать только русских художников.

Собирал он художников народных, вроде Перова, Репина, Крамского, Сурикова, Максимова и других. Эти художники изображали жизнь русского народа с его страданиями, горем, радостями или осмеивали в картинах попов, помещиков, купцов. Такую, например, картину, как «Крестный ход на пасхе в с. Большие Мытищи» Перова или «Крестный ход в Курской губернии» Репина, вряд ли кто бы и взял за их смелость в обличении. А Третьяков взял. И взял «Ивана Грозного с сыном», когда об этой картине ходил говор, что она — зловредная, направлена против царской власти, что ее следует уничтожить.

А вот такие картины, как царские парады, разные патриотические празднества — Третьяков не брал. Простую русскую жизнь любил он во всех ее проявлениях.

Так как художественная жизнь того времени сосредоточивалась больше в Петербурге, чем в Москве, то Третьяков очень часто ездил туда на выставки и на аукционы. Он был знаком со всеми художниками. И не только с выдающимися, но и с малозаметными. Старался не пропустить ни одного хорошего про-

изведения. Перед выставкой он объезжал мастерские художников, намечал, что купить. Первое время в мастерских покупал мало. А обыкновенно уже за день до вернисажа покупал все, что было на выставке интересного.

Когда выставка открывалась, все лучшие картины уже были за Третьяковым. Другим собирателям оставались только хвостики.

А собирателей в то время уже было много — Солдатенков, Остроухов, Боткины, Мамонтов, Цветков и другие. С легкой руки Третьякова собирательство тогда стало модным. Приедут собиратели на выставку, а купить нечего, потому что все лучшее захватил Третьяков.

Однажды на выставку передвижников приехал царь Александр III. Он тоже собирал русские картины. Ходит по выставке, смотрит... Понравилась ему одна: «Желаю приобрести». Устроители почтительно докладывают:

— Ваше величество, картина уже приобретена Третьяковым.

Царь нахмурился. «Ну, так вот эту приобрету». — «Ваше величество, и эта приобретена Третьяковым». — «А эта?» — «Тоже». — «Эта?» — «Тоже»...

Царь очень рассердился, недовольным голосом сказал устроителям:

— Хотел у вас приобрести что-нибудь, а купец Третьяков все у меня перебил.

Устроители, конечно, в трепете! И в тот же день вынесли решение: «с выставки ничего не продавать, пока на ней не побывает государь император».

Третьяков очень забеспокоился.

Перед следующими выставками он делал уже так: покупал картины прямо в мастерских художников с тем, чтобы на выставке она была с пометкой: «Собственность П. М. Третьякова», или, — когда галлерей была уже передана Москве, — «Собственность московской галлерей имени братьев Третьяковых».

Третьяков никогда не делал, как другие собиратели: купит картину, а потом прощай, художник! Нет. Он всегда интересовался художником: что он пишет, как живет. Постоянно бывая на ученических выставках, он знакомился с мо-

лодыми художниками еще на школьной скамье, покупал их ранние работы. У Левитана он купил несколько работ, когда тот еще был в школе живописи. И у многих покупал, совсем в те годы юных, — у Архипова, Нестерова.

— А зачем вам такая слабая работа? — иногда упрекали Павла Михайловича опытные художники.

— Ничего, это — талантливый паренек: он со временем будет давать сильные вещи... Тогда я заменю эту вещь новой.

И, действительно, через три-четыре года, глядишь, художник дает картину лучше. Третьяков покупал ее, заменял. Слабые вещи он или дарил знакомым, или провинциальным музеям. В запасе он никогда не оставлял ни одной вещи. Он считал, что для картины вредно лежать в запасе. Купит картину и всегда повесит, хоть под самый потолок.

Каждый праздник он с утра начинал объезд мастерских художников — Прянишникова, В. Маковского, Архипова, Сурикова, Репина...

У многих за день побывает. Он знал всегда, кто над чем работает. О картинах Сурикова и Репина, помню, он уже говорил, когда они были только в эскизах.

В Москве за купленными картинами обычно ездил я. Новую картину Третьяков несколько дней держал у себя в рабочей комнате. Обычно во время работы он нет-нет да и взглянет на нее.

И не только взглянет. Каждую картину он изучал со всех сторон: он знал, на каком холсте она написана, какими красками, какой у ней подрамник, даже какими гвоздями прибита к подрамнику.

С нами советовался он, какую раму дать картине. Тогда в Москве работал рамочник — француз Мо, очень опытный мастер. Третьяков призывал его, с ним советовался и ему заказывал раму.

Затем начинались поиски места для картины на стенах галлерей.

Экспозиция было самое большое место Третьякова. Каждую картину он старался так повесить, чтобы она не потерялась. Это бывало трудно, потому что картины поступали постоянно и все

лучшие места уже бывали заняты. Тогда начиналась перевеска.

Почти всегда — день и ночь — он думал, как лучше развесить картины. Иной раз позовет в рабочие часы:

— Вот что, Коля, не повесить ли нам Саврасова в пятом зале во втором ряду, возле угла? Подите, примерьте.

Я иду, примеряю... Иногда ночью позовет, скажет: такую-то картину повесить там-то. А утром, чем свет, опять зовет: «Нет, повесьте ее там-то, лучше будет. Я во сне видел, что она уже висит именно там, и мне понравилось».

Помню, особенно долго искали места для картины Касаткина «Шахтерка» и картины Поленова «Большое дитя». Та и другая были написаны в темных тонах. Сначала их поместили в верхнем этаже с верхним светом. Картины стусевались. Перенесли в нижний этаж с боковым светом. Стало лучше. А картину Касаткина «Смена шахтеров» пришлось поместить на отдельном мольберте-стойке под косым светом, и тогда глубина ее увеличилась. Некоторые картины Верещагина тоже были помещены на мольбертах под косым светом. Верещагин остался очень доволен.

Третьяков очень заботился, чтобы в галлерее всегда была ровная температура, чтобы повышение и понижение колебалось не больше, как в пределах двух градусов. Мы должны были тщательно наблюдать за этим. Если температура поднималась выше или падала ниже, он устраивал нам выговор за это. Иногда среди ночи он со свечой в руках обходил залы и смотрел на термометры. Мы с Ермиловым спали обычно в галлерее на походных кроватях. Засыпав шаги, мы поспешно одевались и шли ему навстречу. И втроем обходили залы. Иногда заметишь: температура ниже, а он уже начал обход. Тогда я бегу вперед, снимаю градусники со стен, встряхиваю их чтобы «наколотить» нужную температуру. Иначе беда — выговор! А выговор, — хоть и ровным тоном, хоть и вежливо, — но всегда так, что до пяток проберет. Особенно он часто делал обходы по ночам во время зимних холодов. Очень боялся, чтобы картины не «озябли».

Летом он требовал, чтобы мы настойчиво воевали с мухами, копотью и пылью. Если откроем форточку, то непременно нужно было вставить в нее сетку. Он приказал нам строго следить, чтобы посетители не приходили со съестными припасами. «Иначе мухи разведутся». А так как всякую еду приносили с собой копировщики, с ними нам приходилось сильно воевать. И некоторые посетители приносили. Один мальчик, например, постоянно приходил со сдобными булками. Ходит по залам, смотрит на картины, изучает, а сам жует. Я ему раз заметил, два напомнил, а потом выпроводил из галлерей. Этот мальчик — Петя Кончаловский — ныне известный художник, заслуженный деятель искусств Петр Петрович Кончаловский. Встречаясь в галлерее теперь, он мне иногда напоминает: «А помните, как вы меня прогоняли из галлерей?»

Картины, рисунки и акварели Павел Михайлович приказывал всемерно беречь также от солнечных лучей, теплого и сырого воздуха. Удаление пыли с картин производили только старейшие опытные служащие (то-есть мы с Ермиловым) с помощью пуховых кистей. Удаление пыли со скульптуры производили с помощью мехов и пуховых кисточек. Промывка картин и скульптур допускалась в очень исключительных случаях.

Снимать картины со стен без самой крайней надобности не разрешалось:

— Не беспокойте картину напрасно! — говорил Третьяков, будто о живом существе.

Фотографировать можно было только до того, как картину повесят, или уже прямо на стене. У нас был заведен высокий штатив для фотографических аппаратов, чтобы можно было фотографировать картину, висящую высоко. Лишь бы не сдвигать ее с места, не тревожить.

ТРЕТЬЯКОВ И ХУДОЖНИКИ

Если Павел Михайлович так уважительно и с такой любовью относился к картинам, то с каким же чувством он должен был относиться к художникам!

И на самом деле, художники для него были какие-то высшие люди, носители какой-то великой правды. Еще маленьким мальчиком я помню: в доме Третьяковых все говорили о художниках, как о самых достойных людях в мире.

— Художник пришел! Художник приехал! — с восторгом и трепетом говорили во всем доме и во дворе — кучера, горничные, служащие конторы.

Сам всегда серьезный, малоразговорчивый, Павел Михайлович вдруг оживлялся, он особенно любезно говорил с художником, как никогда и ни с кем. При встрече с художником обычно троекратно целовался.

На первых порах нас всех, помню, удивляло: к нам в галерею едут и великие князья, и графы, и генералы, выражают желание видеть Павла Михайловича, познакомиться с ним, поговорить, а он приказывает сказать: «его дома нет», «выехал неизвестно куда». А придет художник, — нет ему гостя дороже. И к себе в кабинет пригласит (а обычно звал к себе других лиц редко), и в дом поведет, во второй этаж, к своей семье, где Вера Николаевна угощает завтраком.

Художник Неврев был первым, старейшим другом, как я помню, в доме Третьяковых. Еще в 1867 году он написал картину «Воспитанница», на которой изобразил комнату в доме Третьяковых, где видна картина С. Щедрина «Лунная ночь». Картина и сейчас находится в экспозиции галлерей, и кто хочет знать, в какой обстановке жил в то время Третьяков, пусть посмотрит эту картину.

Сам Неврев жил тоже недалеко от Лаврушинского переулка — возле Краснохолмского моста. Был он коренной москвич, всю жизнь прожил в Замоскорежье, и должно быть, Третьякову особенно нравилось, что Неврев изображает близкий ему быт. Помню, художник часто приходил к Третьяковым к обеду, за обедом рассказывал анекдоты, громко смеялся. Самого Павла Михайловича он называл «архиереем», а меня «Колей галлерейным». Придет, бывало, и громко спросит:

— А что архиерей дома?

Он не шел к нему в контору, а направлялся во второй этаж, в квартиру.

Или скажет:

— Эх, галлерейный Коля, и студено же сегодня!

Он непрочь был выпить, а у Третьяковых за обычным обедом вина совсем не полагалось. Тогда он начинал спрашивать Веру Николаевну, не именинник ли кто-либо из ее родственников или знакомых.

— Да, именинник есть, вот троюродный братец...

— Так это же надо вас поздравить! — радостно говорил Неврев.

А Вера Николаевна уже знала, почему гость именинников разыскивает, и приказывала подать вина. Увидев бутылку, Павел Михайлович тотчас забрал свои газеты и книги (он всегда за столом сидел с книгами) и уходил к себе в комнату, в нижний этаж.

Неврев после обеда обычно оставался, читал вслух книгу. Читал он очень выразительно, и послушать его собиралась вся семья Третьяковых.

Неврев работал много и плодотворно. Все собиратели любили его и старались наперебой купить у него картины. Так что Неврев жил сравнительно с другими художниками неплохо: его квартира была из трех комнат с мебелью красного дерева, старинного фасона. Одну из своих комнат он изобразил на картине «Смотрини», где батька сватает сынка-семинариста за дочку попадьи. Но в первом этаже дома, в котором он жил, находились квартиры извозчиков, битком набитые людьми. Во дворе всегда стояли извозчицьи сани, лошади, телеги... Помню, когда придешь к нему (а я ходил к нему часто с письмами Павла Михайловича), на дворе шум, гам. На Николу-зимнего художник обычно справлял свои именины, — и вот тогда поздравлять его приезжали все московские коллекционеры — Солдатенков, Боткины, Харитоненко, Третьяковы — все в блестящих экипажах, на тысячных рысаках. Извозчики — соседи Неврева — гурьбой выходили на двор смотреть знатных гостей и лошадей. Двор к этому дню подметался и усыпался песком. Веселый художник угощал сво-

их почетных гостей, а потом придет в галерею, разыщет «Колю галлерейного» и начнет рассказывать, как именитые коллекционеры приезжали на постоянный двор к художнику Невреву в гости.

Дружил Третьяков с Невревым до своей смерти. После смерти Третьякова Совет галлерей предложил Невреву пост директора галлерей, но он отказался, ссылаясь на старость (ему в то время было уже 69 лет).

Другой художник, близкий семье Третьяковых, был Перов В. Г. Как художника Третьяков чрезвычайно ценил его, часто бывал у него в мастерской, следил за всеми работами, стараясь не выпустить из своих рук ни одной его картины. У Перова было под Москвой любимое место, где он наблюдал жизнь и нравы, — это село Большие Мытищи, расположенное по дороге к Сергиевской лавре. Тут он написал картину «Сельский крестный ход на пасхе» с пьяным попом и пьяными хоругвеносцами. Третьяков картину купил и тотчас выставил в своей галерее. По Москве пошел слух, что «Третьяков показывает богохульную картину». Среди духовенства и чиновников началось возмущение. В конце-концов Третьякову было предписано снять картину с экспозиции. Тогда Третьяков поместил картину в своих жилых комнатах. За эту картину Перов был привлечен к ответственности. Но он доказал, что изобразил только правду жизни: пьяный поп, действительно, устраивал такие «крестные ходы» в Мытищах. Власти принуждены были оставить художника в покое.

В Мытищах же Перов написал «Чаяпитие» — толстого иеромонаха, пьющего чай, а зади стоя пьет чай его послушник, и безногого инвалида-солдата, просящего милостыню; также — «У последнего кабака», «Семейное путешествие на богомолье частного пристава из Москвы к Троице-Сергиевской лавре» и многие другие произведения. Все они собраны в нашей галерее. Третьяков не только дружил с самим художником, но и с его семьей. Семья Перова бывала в гостях у Третьякова и в Москве, и на даче в Кунцеве. Вообще, знаком-

ство было семейное, самое тесное. Но однажды по какому-то случаю Третьяков не успел купить у Перова его большую картину «Приезд гувернантки в купеческий дом». Кажется, Третьяков уезжал за границу, а Перову понадобились деньги. И картина прошла мимо Третьякова. Когда он узнал, что картины уже нет у художника, он рассердился очень сильно, — был просто вне себя. Он не хотел ни видеть Перова, ни писать ему. А сам тайно от художника наводил справки, кто же купил картину и нельзя ли ее перекупить. На его несчастье картина была куплена богатой женщиной, которая не хотела за нее никаких денег. Третьяков, кроме денег, предлагал ей другую картину, но безуспешно! Гнев Третьякова против Перова усилился. Одно время всем, кто близко к нему жил, было тяжело: таким сердитым казался Павел Михайлович.

— Лучшая картина ушла! — жаловался он.

Жена его старалась как-нибудь смягчить гнев мужа против Перова. В переговоры была вовлечена и жена Перова Елизавета Григорьевна. Ничто не помогало. Дело дошло до того, что Третьяков и слышать ничего не хотел о Перове. А Перов... работал попрежнему... Скоро Третьяков узнал стороной, что у художника уже написана новая замечательная картина «Птицеловы», пейзаж на которой сделан Саврасовым. Тогда он посылает к Перову своего брата Сергея Михайловича, чтобы тот купил картину якобы для себя. Картина была немедленно куплена и сперва помещена в доме Сергея Михайловича на Пречистенском бульваре, а потом, спустя несколько месяцев, перешла в галерею, но на ее раме до самой смерти Перова висела табличка: «Картина принадлежит С. М. Третьякову».

Картина же «Приезд гувернантки в купеческий дом» была куплена в галерею только через несколько лет — Третьяков дал за нее другую картину и очень крупную сумму денег.

Конфликт между Перовым и Третьяковым длился довольно долго, но в конце-концов они помирились. Когда Перов заболел, Третьяков поместил его на сво-

ей даче в Тарасовке. Однако Тарасовка тогда была очень глухой местностью — без врачей, и больного Перова перевезли в Кузьминки, около Москвы, к его брату-доктору, и тут он вскоре умер (весной 1882 года).

Я помню похороны, устроенные ему Третьяковым и другими почитателями и художниками. Тысячная толпа провожала гроб до кладбища Данилова монастыря. Студенты несли вокруг гроба гирлянды из веток ели и сосны. Перов был похоронен рядом с Гоголем. На его могиле был поставлен хороший памятник. Третьяков купил почти все картины, акварели, рисунки Перова, оставшиеся в его мастерской. И, между прочим, за семь тысяч рублей купил недоконченную картину «Спор о вере». По просьбе семьи деньги он выплачивал ежемесячно.

Больше всего, как мне кажется, Третьяков ценил Сурикова. О нем он всегда говорил с очень большим почтением. И Репина, конечно, ценил. Но Репина он как-то боялся... например, боялся дать ему поправить его же собственные картины. Репин был художник размашистый, широкий. Ему ничего не стоило вместо того, чтобы поправить какое-нибудь небольшое место на картине, переписать гораздо больше. И переписывал он, как говорили знатоки, иногда и к худшему. На этой почве между Репиным и Третьяковым произошел серьезный конфликт. Я помню все подробности, потому что сам пострадал при этом.

Когда у нас появилась картина «Не ждали», вокруг нее поднялись большие разговоры. Художники и критики находили, что лицо человека, возвратившегося из ссылки, не гармонирует с лицами семьи. Об этом писали газеты и, слышно было, много спорили художники в Петербурге и в Москве. Однажды Третьяков, вернувшись из Петербурга, справился у меня, не был ли в галерее Репин. Похоже было, что он поджидал Репина в Москве.

И действительно, через несколько дней в галерею пришел Илья Ефимович, на этот раз с этюдником и красками. Как-раз в этот день Третьякова

дома не было, он уезжал куда-то на несколько дней.

— Жалко, что его нет. Ну, все равно. Дайте-ка мне лесенку, я должен сделать поправку на картине «Не ждали», — сказал он мне и Ермилову.

Мы знали, что Репин — близкий друг и Третьякова, и всей его семьи. Но как же все-таки разрешить поправку без особого разрешения Павла Михайловича? Мы смутились. Репин тотчас заметил наше смущение, усмехнулся:

— Вы не беспокойтесь. Я говорил с Павлом Михайловичем о поправке лица на картине «Не ждали». Он знает, что я собираюсь сделать.

Раз так, делать нечего, — мы принесли ему лесенку, он надел рабочую блузу, поднялся к картине и быстро начал работать. Меньше чем в полчаса голова ссыльного была поправлена. Окончив ее, Репин переходит с красками к другой своей картине «Иван Грозный и сын». Мы как ответственные хранители встревожились. Репин спокойно сказал нам:

— Вот я немного трону краской голову самого Ивана Грозного.

И действительно, «тронул», да так, что голова в тоне значительно изменилась. Потом — к нашему ужасу — видим, Репин перетаскивает этюдник с красками к третьей своей картине «Крестный ход в Курской губернии»...

— Здесь я прибавлю пыли. Тысячная толпа идет, пыль поднимается облаком... А пыли недостаточно.

И действительно, прибавил много пыли над головами толпы. «Запылил» весь задний план.

В тот же день вечером, не повидавшись с Третьяковым, он уехал в Петербург и из Петербурга написал Третьякову, что сделал поправки.

Третьяков, увидев поправки, был возмущен до крайности, — так ему не понравилось все, что сделал Репин на своих картинах. С укором он обрушился на нас:

— Как вы могли допустить?

Мы пытались оправдаться:

— Репин сослался на вас.

Много дней потом по утрам, приходи

в галерею, он останавливался перед картинами и принимался ворчать:

— Испорчены картины! Пропали картины!

Репин писал Третьякову письма, но Третьяков не отвечал. Наконец, спустя несколько месяцев, Репин приехал в Москву специально с тем, чтобы выяснить недоразумение. Когда он пришел в галерею, Третьяков позвал нас, то-есть меня и Ермилова, в Репинский зал.

— Идите-ка сюда, идите, мы сейчас устроим суд.

— В чем же вы нас обвиняете? — засмеялся Репин.

— А в том, Илья Ефимович, — отвечал ему очень серьезно Третьяков, — что вы самовольно сделали исправление на трех картинах, не принадлежащих вам.

— Разве это к худшему?

— Да, по-моему, к худшему. Лицо бывшего ссыльного мне не нравится. А ведь это же не мои картины, это все-народное достояние, и вы не имели права прикасаться к ним, хоть вы и автор.

— Ну, хорошо, хорошо. А в чем вы обвиняете вот их? — спросил Репин, показывая на нас.

— А в том, что они допустили вас к картинам. Они — ответственные хранители... Вы не имели права переписывать чужие картины, а они неправы, что допустили вас к поправкам.

— Значит, здесь для нас Сибирью пахнет? — пошутил Репин. — Вот уж, действительно, не ждали.

Он хотел отделаться шуткой, но Третьяков был очень строго настроен. С тех пор он очень боялся давать Репину поправлять его собственные картины. Когда у Репина был куплен портрет Л. Н. Толстого, Третьякову показалось, что у Толстого очень румяное лицо. Особенно лоб. Лоб совершенно красный.

— Будто он из бани! — недовольно говорил Павел Михайлович.

И все допрашивал нас:

— Вы видели Толстого. Не такой же у него румяный лоб?

— Да, — говорим, — лоб не такой румяный.

— Ну вот, и мне так кажется. Придется исправить.

— Сказать Илье Ефимовичу? — спросил я.

— Ни в коем случае! Он все перекарасит, и, может быть, сделает хуже.

Ходил он вокруг портрета с месяц и, наконец, однажды приказывает мне:

— Принесите-ка краски, масляные и акварельные.

У меня всегда имелся ассортимент красок. Несу палитру, Третьяков берет самую маленькую кисточку и сам начинает убавлять красноту на портрете Толстого. Румянец на лбу был зализирован. Так портрет и остался, поправленный Третьяковым.

Дружба и почтение у него, конечно, к художникам великие были, но картины он выбирал очень строго и не брал, что ему не нравилось, хотя и очень любил иного художника. У Верещагина он, например, купил все его туркестанские и индийские этюды и часть вещей из войны 1877—1878 годов, а московские — о нашествии Наполеона — купить не захотел, потому что считал их слабыми.

Деньги вперед под картины не давал художникам. Но в случае нужды помогал. Помогал, например, художнику Федору Васильеву, когда тот заболел. Иногда и «прижимал», как говорили художники. Вот понравилась ему картина, а он сделает вид, что к ней равнодушен. И только потом, осмотрев другие картины, спросит:

— А это в какой цене пойдет?

Если художник запрашивал слишком много, Третьяков торговался, убеждал сбавить цену, доказывая, что картина пойдет в народный музей. Обычно художники соглашались, и тогда Павел Михайлович считал их участниками в создании всенародного музея, так и говорил им об этом.

А уступали художники потому, что тогда попасть в Третьяковскую галерею имело большое значение. Если про художника говорили: «Его картины есть в Третьяковской галерее», — значит художник высокого класса. И художники гордились этим, а некоторые и чванились.

Вот чванливых Павел Михайлович не любил. Был, например, художник Яков-

лев П. Ф. У него Третьяков приобрел две картины: «Градобитие» и «Пожарище». Картины неплохие. Затем Яковлев написал картину «Право сильного» и выставил ее в отдельном зале. На выставке своей он устроил широкую рекламу, и в рекламе отметил: «Две картины этого художника имеются в галерее Третьякова». Как водилось тогда, он прежде всего пригласил Третьякова посмотреть картину. Тот приехал и, увидев рекламу, нахмурился и рассердился. Яковлев ждал, что Третьяков купит картину, а он и не заикнулся о покупке, даже напротив, вернувшись домой, приказал снять с экспозиции в галерее картину Яковлева «Градобитие», забить в ящик и отправить в Вильну, в школу живописи, где директором был его друг художник Трутнев. Мы сняли картину с экспозиции, забили в ящик и отправили. Так же хотел он распорядиться и с другой картиной «Пожарище», но прошло несколько дней, и он ее оставил у себя, хоть мы и долго боялись за ее участь. А после о Яковлеве и слышать не хотел.

Все художники понимали, что, продавая картины Третьякову, они продают их в народный музей, а поэтому некоторые снижали цену сильно. Верещагину, например, американцы предлагали гораздо больше денег за его картины, чем Третьяков, а он все-таки отдал их Третьякову. И Виктор Васнецов тоже уступал картины по более дешевой цене, чем ему давали другие меценаты.

Конечно, большое значение тут имела и личная дружба Павла Михайловича с художниками.

Мало было художников, с которыми Третьяков не дружил. И если он не ладил с художником, то по серьезным поводам. Не признавал он, например, Семирадского. В то время этот художник пользовался в России очень большим успехом, а Третьяков не хотел купить ни одной его картины.

— Почему же у вас нет Семирадского? — спрашивали часто Третьякова. И он отвечал:

— Семирадский свою лучшую картину подарил городу Кракову. Значит, он считает себя у нас иностранцем. Как

же я буду держать его в русской галлерее?

Не дружил он с художником К. К. Маковским, хотя три небольшие произведения его и приобрел в первые годы собирательства. А по какому случаю не дружил? Когда Репин написал своего «Ивана Грозного и сына», К. Маковский тоже написал «Ивана Грозного». Однажды, приехав в галлерею, он предложил Третьякову своего Грозного и говорил, что «мой Грозный не хуже репинского». Это было как-раз при мне. Маковский предлагал настойчиво купить. Третьяков отказался наотрез. Обиженный Маковский тотчас покинул галлерею, и с тех пор они разошлись навсегда.

Не ладил он иногда с Савицким К. А. Какая-то черта этого художника не нравилась Третьякову. В 1898 году он приобрел у Шишкина его большую картину «Медвежье семейство в лесу». На этой картине медведей написал Савицкий, почему Шишкин и предложил Савицкому подписаться. Савицкий подписался, но уже после того, как картина была куплена Третьяковым. Когда картина была доставлена в галлерею, Третьяков удивился, увидев подпись Савицкого.

— Я покупал картину у Шишкина. Почему еще Савицкий? Дайте-ка скипидару.

Я принес французский скипидар, и Третьяков смыл подпись Савицкого. Через несколько дней Савицкий приезжает в галлерею, — смотрит, нет его подписи. Он ко мне: «Где подпись?». Я очень смутился и объяснил ему всю историю.

Я думаю, что все недоброжелательство Третьякова против Савицкого возникло из-за другой картины художника — «Встреча иконы». Эта картина была написана в 1878 г., и вскоре белые облака на ней начали раздираться, появились трещины. Третьяков приказал нам следить за состоянием картины. Трещины год от года заметно увеличивались. Третьяков сказал об этом Савицкому; тот обещал притти в галлерею и исправить дефекты. И вот однажды в отсутствие Третьякова он при-

ходит с красками и поправляет облака. Облака вышли слишком розовыми. А общий тон картины серо-холодный. Третьяков, как увидел такую поправку, потребовал скипидару и тут же смыл новую краску, нанесенную на облака, оставив белые с крокелюрами. В таком виде картина и висит до сих пор.

С особенным уважением относился Третьяков к художнику И. С. Остроухову. Его картина «Сиверко» была приобретена тотчас, как появилась на выставке. Третьяков считал, что это лучший пейзаж во всей галлерее. Познакомившись ближе с художником, он был удивлен правильностью его суждений, глубокой культурностью, художественным чутьем. Нам он постоянно гово-

рил: — Внимательно слушайте, что говорит Остроухов о картинах. Это — самый лучший судья по живописи.

И мы видели, как внимательно он сам слушал Илью Семеновича. По его совету он снял с экспозиции несколько слабых картин и подарил их кому-то. Действительно, Остроухов был судья очень строгий, и картины любил и понимал. В одном только не соглашался Третьяков с Остроуховым, — с открытием при галлерее отдела иностранных художников. Остроухов предлагал, что этот отдел он будет собирать лично, но Третьяков говорил, что отдел будет нарушать цельность галлерей. Галлерея должна быть чисто русской. Тогда Остроухов организовал свой музей в Трубниковском переулке и стал собирать иностранных и русских художников, иконы, другие предметы искусства и книги.

После смерти Третьякова Остроухов был избран членом Совета галлерей, двенадцать лет бескорыстно, очень энергично работал над расширением и перестройкой галлерей, и только случай с картиной Репина «Иван Грозный и сын», когда сумасшедший Балашов изрезал ножом эту знаменитую картину, так подействовал на Остроухова, что он тотчас подал в отставку.

Дружба с большинством художников у Третьякова была самая близкая. Вспоминаю, очень частыми гостями в

семье Третьяковых были Прянишников и Владимир Маковский. Они запросто приходили к обеду, часто бывали в галлерее, присматривались к каждой новой картине. Оба были веселые, шутливые — Маковский звал Прянишникова Лариошкой.

— Смотри, Лариошка, как тут сделано, — покажет, бывало, он своему другу на какую-нибудь картину.

Иногда устраивались у Третьяковых и общие обеды с художниками, особенно в дни открытия выставки передвижников. Надо сказать, что хотя художественная жизнь процветала в Петербурге, но главное значение в этой жизни играла Москва: здесь жили главные собиратели художественных произведений. Художники, приезжая в Москву, непременно навещали Третьякова. Помню один большой съезд художников в доме Третьяковых, когда были почти все художники-передвижники с Крамским во главе. Кроме Крамского, были Репин, Ярошенко, Неврев, Максимов... Обсуждали вопрос, как лучше устраивать выставки и как улучшить жизнь художников.

Нередко устраивались вечеринки с шутками, смехом. Большими забавниками были художники Кузнецов и Бодаревский, жившие в Одессе. Приезжая в Москву, они часто заходили в дом Третьяковых, — и, помню, устроили однажды целое представление — «Утро в деревне». В зале потушили лампы, сделали полную ночь, потом запели петухами, будто утро идет, переключались разными голосами. На такие вечеринки приглашались и знакомые — не из художественного мира.

Художники, участвуя в таких вечеринках, одним только были чуть недовольны: вина мало. Действительно, вино ставилось в очень ограниченном количестве. Третьяков считал, что водка — огромный враг русского народа и русских талантливых людей. Он не допускал, чтобы у него в доме кто-нибудь упивался. А художники того времени очень любили выпить. Сильно пил, например, Шишкин и в пьяном виде устраивал буйства. Однажды в Париже устроил такое побоище, что его аресто-

вали и едва не засадили в тюрьму на долгое время; только вмешательство В. В. Верещагина спасло его. Художник Саврасов спился совершенно, ходил равный, в опорках.

Любя художников, Третьяков никогда не потворствовал их слабостям. Он жалел их, если они впадали в нужду или заболели. Помню, как он печалился о Саврасове, стараясь поддержать его. Но в конце-концов страсть к вину у Саврасова все победила, и талантливый человек погиб.

Часто бывая на квартирах художников, Третьяков видел их бедность. Это в наши дни художники щедро обеспечены, — у них и прекрасные квартиры, и хорошие заработки, и возможность длительных поездок, куда они только хотят. Наше государство высоко ценит труд талантливых художников и щедро дает все, что им надо. А тогда государство очень мало интересовалось делами искусства, — художников поддерживали главным образом меценаты, но меценатская помощь не так уж была велика. Умирает художник, и семья его нищенствует. И Третьяков решил построить для вдов и сирот художников дом бесплатных квартир. Он купил место в том же Лаврушинском переулке. Когда вы идете в галерею со стороны канала, на левой руке вы видите красивый дом оригинальной архитектуры. Этот дом построен на средства Павла Михайловича для вдов и сирот художников.

Особенно сильно заботился Павел Михайлович о талантливой молодежи. Он помогал ей и деньгами, и советами. Если случалось, что ученик школы живописи нуждается или не имеет чем уплатить за право учения, профессора обычно направляли его к Третьякову со своими записками. И Третьяков немедленно давал деньги. Известный ныне художник Струнников вспоминает, как он, нуждаясь, обращался к Третьякову за помощью. Третьяков тотчас помог. Или другой художник — Пчелин — вспоминает, как мать привела его, двенадцатилетнего мальчика, к Третьякову: «Вот малый бесперечь рисует. Мне посоветовали обратиться к вам, не можете ли определить его в художествен-

ное училище». Третьяков посмотрел рисунки Пчелина и помог определить его в училище.

Обращались к нему многие за советом, стоит ли им заниматься живописью и рисованием. Третьяков внимательно рассматривал работы начинающих художников, иногда советовал продолжать и всячески помогал, следил за развитием таланта. Иногда же категорически советовал бросить напрасный труд. Его племянник—сын Сергея Михайловича—тоже было возмел желание сделаться художником и некоторое время занимался рисованием. Павел Михайлович очень внимательно следил за его работами, потом сказал:

— Брось! Ничего не выйдет...

Впрочем, Третьяков помогал не только молодежи заниматься живописью, но и вообще учащейся молодежи. Мне часто приходилось ходить в знаменитое студенческое общежитие «Ляпинку», носить от Третьякова деньги нуждающимся студентам.

Конечно, и художники, встречая такую заботу и внимание со стороны Павла Михайловича, высоко его ценили. Особенно они ценили его умение высказывать все лучшее, умение разбираться в живописи. Вот, например, письмо художника Горавского к Павлу Михайловичу:

«Не забуду, с каким вниманием и удовольствием двадцать лет тому назад у себя внизу вы пристально, с любовью рассматривали картинку в тишине и, оторвавшись от своей коммерческой конторы, как самородный истинный любитель, выслушивали с любопытством беседу мою по сбору коллекции Прянишникова, который не гнался за громкими именами, а отыскивал хорошие произведения, — кем бы они ни были исполнены. Глядь, через 20 лет у моего Павла Михайловича оказалась достойнее прянишниковской галерея. В том смысле, что покойный, собирая, конечно, тоже поощрял таланты и, собравши, продал правительству, — а наш достойнейший Павел Михайлович Третьяков, собравши, подарил их отечеству».

И подобных писем Третьяков получал немало. С Верещагиным и Перовым

у него, например, была очень обширная переписка, из которой видно, как высоко художники его ценили. Для молодого художника было уже громадным успехом, если его картина приобретена Третьяковым. Художник Первухин написал картину «Зима» и послал ее на выставку. Когда она появилась на выставке, Третьяков приобрел ее, а в таких случаях на картине тотчас вешался ярлычок: «Приобретено П. М. Третьяковым». Явился автор картины, увидел эту записку и снял ее: не поверил! Приходит заведующий выставкой, видит, ярлычка нет, и делает другой. Первухин возвращается и во второй раз видит надпись: «Приобретено». Он пошел к заведующему проверить, и оказалось, что это верно.

А он жил не в своей квартире, а у своего дяди. Обстановка, очевидно, была небогатая, и он со своими полотнами дяде мешал, и дядя частенько ему говорил: «Что ты, Константин, этим делом занимаешься? Лучше бы заниял другим чем-нибудь. Таких картин, какие покупает Третьяков, мы от тебя не дождемся».

И когда оказалось, что Третьяков купил его картину, Первухин прилетел на квартиру и завертелся по комнате колесом. Дядя спросил с испугом: «Что случилось?». А он кричит: «Мою картину Третьяков купил!». Так высоко ценили художники Третьяковскую галерею.

А Третьяков, замечая молодого художника, потом уже всю жизнь не выпускал его из вида: переписывался с ним, навещал его, если он жил в Москве или в Петербурге, старался увидеть каждую его новую работу и приобретал все лучшее. Так, с первых шагов он следил за работами Нестерова, Малюткина, Архипова, братьев Коровиных, Серова, С. Иванова и множества других. У восемнадцатилетнего Левитана он уже купил его работы. К каждой просьбе художника он относился очень внимательно. Нестерову, например, почему-то не нравилось, что Третьяков поместил его картины в один зал с картинами В. М. Васнецова. Он из Уфы написал ему письмо, просил поместить его вещи в одном зале с картинами Ге. И

Третьяков приказал нам перенести нестеровские картины в один зал с картинами Ге...

ПЕРЕДАЧА ГАЛЛЕРЕИ ГОРОДУ

Я уже рассказал, что зимой 1891—1892 года галерея, к большому огорчению и самого Третьякова, и сотрудников его, и многих посетителей, была закрыта для широкого посещения публики. Посторонние лица допускались лишь с особого разрешения Павла Михайловича. Он не знал, как же быть дальше. С одной стороны, он собирал и собирал картины для всеобщего обозрения, а с другой — порча картин, кражи картин, часов и кошельков у посетителей галереи. Нужна широкая охрана. Старый порядок, когда каждый посетитель галереи считался гостем самого Павла Михайловича, отпадал. Нужен был какой-то исход. В это время, весной 1892 года, умер Сергей Михайлович Третьяков. Братья уже давно вели разговоры между собой о том, как передать городу Москве свои собрания картин и свой дом в Лаврушинском переулке (дом все время находился в их общем владении). Перед смертью Сергей Михайлович завещал, чтобы его картины, собранные им в доме на Пречистенском бульваре, были переданы в галерею Павла Михайловича, а затем, когда Павел Михайлович сочтет нужным, вместе с его картинной галереей они должны быть переданы городу Москве.

Это завещание ускорило передачу галереи городу. Павел Михайлович решил, что пора сделать то, что он уже давно задумал. Собрание картин теперь достаточно велико, а вместе с картинами Сергея Михайловича оно уже представляет огромную художественную и материальную ценность, — городу Москве будет поднесен действительно богатый дар.

Вскоре началась перевозка собрания картин Сергея Михайловича из пречистенского дома в лаврушинский и подготовка галереи к передаче городу.

Как передавать? Надо было строго учесть, что же у нас собрано. До этого

времени у нас никакого каталога и учета не было, только у Павла Михайловича имелась тетрадь, в которой он записывал, когда покупал картину, и тут же ставил цену, которую он уплатил художнику. Но и эта запись была неполной. Он и сам не знал, сколько в галерее картин. Иногда спрашивал об этом меня или Ермилова. Мы тоже учета картин не вели, но знали каждую, потому что каждый день следили за их целостью, дневали и ночевали в галерее. А все-таки, какое количество картин было в галерее, мы не знали.

Уезжая осенью за границу, Павел Михайлович поручил мне составить и подготовить опись всех картин:

— Начните опись по залам, — сказал он, — отметьте, сколько в каждом зале картин и какие именно. Перепишите всю галерею.

Я сказал, что названий некоторых картин у нас нет. Тогда Павел Михайлович передал мне очень много каталогов тех выставок, где он бывал и где покупал картины.

— Тут вы найдете названия картин. Если же не найдете, то после закрытия галереи (то-есть после 4 часов) поезжайте к художникам и у них спросите, как называется та или иная картина. И также соберите краткие биографические сведения — где родился художник, где учился, когда выставлял работы и где.

Я так и стал делать. Целое лето я рылся в каталогах, ездил к московским художникам, получал сведения от авторов картин для первой описи галереи. Когда к осени Третьяков вернулся из-за границы, он сам побывал у некоторых художников, расспрашивал их. Взяв у меня опись, он сравнил ее со своими записями в книгах, кое-что исправил, кое-что добавил, и после передачи галереи городу эта опись была отпечатана вместо каталога — первая опись Третьяковской галереи. В конторе у Третьяковых работал некто Дельцов Г. И. — человек образованный, ведший деловую переписку с заграницей. Павел Михайлович поручил ему окончательное составление описи. По моим черновикам Дельцов сделал руко-

пись каталога, Третьяков просмотрел, одобрил, и после этого я отнес ее в городскую типографию. Когда же из типографии принесли корректуру, мы смотрели ее уже втроем, причем на моей обязанности лежала главным образом проверка годов рождения и смерти художников и годов написания картин.

Первый каталог вышел в количестве 5 000 экземпляров и продавался по 10 копеек. Каталог разошелся очень быстро. Через 2—3 месяца потребовалось новое издание. Заказали его в 10 000 экземплярах, и с того времени стали выпускать по три издания в год, ценою по 15 копеек.

Дальше, готовясь к сдаче, Павел Михайлович отремонтировал всю галерею и пристроил к ней два новых обширных зала, в которых разместил картины иностранных художников, собранные Сергеем Михайловичем. Собрание это, действительно, было драгоценное. Уплата денег за картины производилась через контору, и мы знали, сколько за какую картину уплачено. Помню, например, Сергей Михайлович распорядился перевести французскому художнику Мейссонье 40 000 франков — по тем временам огромные деньги. Мы ждали, что придет большая картина. Этим, помню, были заинтересованы даже служащие конторы. А прибыл лишь небольшой рисунок. В собрании были картины Лепажо, Ренуара, Фортюни, Коро, Добиньи, Руссо и многих других известных западных художников.

Правда, Павел Михайлович говорил нам, что соединение русских художников с иностранными нарушает цельность галереи, но, разумеется, волю брата он нарушить не захотел.

Галерея перешла к городу от имени обоих братьев.

15 августа 1893 года галерея была торжественно открыта уже как «Московская городская галерея имени братьев Павла и Сергея Третьяковых». С галереей служащие—Ермилов и я—были переданы на службу города. Павел Михайлович, помню, обратился к нам с речью:

— Вы теперь должны удвоить ваше внимание, должны работать больше, чем

вы работали раньше. Я с вас буду спрашивать гораздо строже, так как теперь все стало народным достоянием.

Годовой бюджет галереи московская дума утвердила в сумме 12 000 рублей и, кроме того, постановила ежегодно отпускать по 10 000 рублей на приобретение новых картин. Сумма эта, конечно, была совершенно ничтожна, потому что за одну только картину «Боярыня Морозова» Третьяков как-раз в это время заплатил 10 000 рублей. Третьяков решил, что на деньги, отпущенные думой, он будет покупать мелкие картины, а крупные — попрежнему на свои.

Передавая городу галерею, он поставил условие, что останется пожизненным попечителем галереи, что будет пополнять ее по своему усмотрению и что он и семья его будут жить в доме до его смерти, а после смерти дом переходит городу; оставшиеся в живых члены семьи Третьяковых переезжают в другой дом.

Городская дума все эти условия приняла без всяких оговорок, и в жизни галереи как будто не наступило особенной перемены. Попрежнему в восемь часов утра открывалась дверь из жилых комнат, и Павел Михайлович начинал свой обычный обход. Попрежнему он ездил по выставкам, осматривал, покупал. Только, действительно, стал относиться построжее к нам, да сам почаще заглядывал в галерею, нет ли какого нарушения порядка. И вечером он стал аккуратно бывать, хотя прежде иногда и не бывал. Чаще, чем прежде, стал теперь обращаться за советами к художникам и вообще к людям искусства по поводу галереи, правильно ли развешаны картины, не следует ли некоторые картины убрать. Однажды, например, он позвал Остроухова и попросил его указать, какие, по его мнению, картины слабые. Вдвоем они осмотрели зал за залом, и Остроухов указал около 15 картин, по его мнению, слабых. Несколько дней после этого Третьяков присматривался к этим картинам и в конце-концов с экспозиции их снял.

О передаче галереи в то время много писали в газетах. Это считалось

очень большим общественным событием.

Со времени передачи галлерей городу число посетителей стало быстро увеличиваться. Если прежде, я помню, бывало 3—5 посетителей в день, — теперь 70—80 посетителей, а по праздникам 150 и 200. Это был уже огромный шаг вперед в жизни галлерей, и помню, как радовался Павел Михайлович, когда вечерами узнавал, что «сегодня было двести посетителей». Даже переспрашивал недоверчиво:

— Неужели двести?

Он видел в этих цифрах, что цель его трудов и забот достигнута. А что бы сказал он теперь, в наше советское время, когда у нас бывает до 6 000 посетителей в день!

ТРЕТЬЯКОВ И ЦАРЬ

Передача галлерей городу вызвала всеобщее внимание русского общества. Царь Александр III решил поощрить столь незаурядный случай и специально побывать в галлее. И вот при очередном посещении Москвы, в мае 1893 года, он вместе с министрами Витте, Воронцовым-Дашковым и другими, в сопровождении президента Академии художеств — своего брата Владимира — приезжает в галерею. На этот раз Третьяков ускользнуть не мог, потому что был заранее предупрежден: царь желает видеть всю семью Третьяковых.

Для царской семьи Третьяковыми был устроен чай в Васнецовском зале.

В назначенный день, помню, не только по Лаврушинскому переулку, но и во всем дворе была расставлена полиция. Накануне все дома переулочка были проверены, кто там живет — вполне ли благонадежные люди. Наконец приезжает царь с царицей и со всей блестящей свитой. Весь двор наполнился блестящими экипажами, а галерея — людьми в мундирах, лентах, крестах и медалях. Царь осмотрел галерею и, поблагодарив Третьякова за такой высокий дар Москве, сказал своим министрам и бра-

ту: — Вот что один гражданин мог сделать. Счастливая Москва! А у нас в

Петербурге ничего подобного нет. Да и во всей России нет.

Эти слова царя смутили его министров. Почти в тот же день было решено, что в Петербурге надо открыть такой же музей русской живописи, — благо, там много дворцов. И вскоре было сделано постановление: открыть в Петербурге, в Михайловском дворце, музей (ныне «Музей русской живописи»). Так, Третьяковская галерея стала косвенной виновницей открытия нового прекрасного музея. Но, конечно, на первых порах картин там было мало, — музеи собираются десятилетиями, — собрание Третьякова долго было единственным в России по своей полноте, да и теперь, в наши дни, Русскому музею еще далеко до Третьяковской галлерей.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ТРЕТЬЯКОВА

Заботы Павла Михайловича о галлее после передачи ее городу увеличились. Он покупал картин больше, чем прежде. Правда, у него теперь появился сильный конкурент в лице петербургского музея, но художники попрежнему считали своей честью попасть в галерею Третьякова. Они считали эту галерею основной в России.

С середины девяностых годов Третьяков начинает собирать и произведения древней русской живописи, то-есть иконы. Как-раз к этому времени относится всеобщее увлечение иконописью. Художники и любители живописи начали с восторгом говорить о неизвестной до того времени отрасли русского искусства. В Историческом музее была устроена первая выставка икон, и на этой выставке Третьяков купил первые иконы для своего собрания. Потом купил за 30 000 рублей сразу большое собрание древних икон у генерала Егорова. В собрании были иконы строгановских писем, новгородских, московских. Тогда много печаталось в газетах об этом собрании. Иконы стали собирать многие любители живописи: Остроухов, Рахманов, Лихачов. Будто открыли неизвестную страну. Но поместить иконы в галерею Третьяков не успел.

Иконы были размещены в его личных комнатах и лишь после его смерти перешли в галерею. Первую опись их составил Лихачов.

Попрежнему Павел Михайлович каждую осень ездил за границу, каждую зиму — в Ленинград, на выставки и в мастерские художников.

В его отсутствие забота о галерее лежала на нас, то-есть на мне и на Ермилове. Мы, как старшие вахтеры, должны были и охранять, и обучать наших новых товарищей, как поддерживать порядок в галерее. Теперь уже у нас образовался твердый штат служащих. Был у нас свой реставратор Федоров, которого Третьяков посылал в Петербург, в Эрмитаж, обучаться искусству реставрации у знаменитого реставратора Богословского. Были и свои рамочники. Шесть человек, наиболее близких к галерее, служащих жили в домике во дворе галереи. Этот домик Третьяков купил у соседа специально для них.

С осени 1897 года мы стали замечать, что Павел Михайлович начал худеть, похваривать. Я не помню, чтобы он до этого когда-нибудь болел. А тут как-то сразу стало заметно, что он сильно болен. Вскоре мы узнали, что у него язва желудка.

Занятый постоянно делами, лечился он плохо, и болезнь стала быстро развиваться. Осенью 1898 года он даже не поехал в свою обычную поездку за границу. Лишь поехал в Петербург на выставку. Привез он оттуда картину Попова «В школе» и рисунки Федора Васильева. Увы! Это были его последние покупки.

Вернувшись из Петербурга, он слег и больше не встал.

Попрежнему я должен был ежедневно делать ему подробные доклады о делах галереи, о посетителях, о том, что говорят художники о новых картинах. Все остальные дела он забросил, передав их служащим, интересовался только галереями. С каждым днем, он становился заметно слабее и слабее. Утром 4 декабря, в 9 часов, я, как обычно, был у него. Очень слабый, он все-таки спросил о галерее.

Не успел я выйти от него в галерею, вдруг в доме началась суeta. Что такое? Говорят, Павел Михайлович умер.

Он умер спокойно, и последние слова были:

— Берегите галерею и будьте все здоровы.

Так окончилась жизнь этого замечательного человека. Умер он в одной из комнат верхнего этажа.

Его смерть для меня была большим горем. Я и сейчас, когда прохожу по залам галереи, ожидаю встретить Павла Михайловича, как обычно приходилось встречать его ежедневно...

ПЕРВЫЙ СОВЕТ ГАЛЛЕРЕИ

Смерть Павла Михайловича взволновала Москву и Петербург. На похороны собрались тысячные толпы народа, хотя день был морозный. Кого только не было тут! И художники, и учащаяся молодежь, и профессора, и артисты, и музыканты, и рабочие, и ученики школ, где покойный был попечителем, и представители города. Похоронная процессия растянулась на два квартала. Похоронен Павел Михайлович на Даниловском кладбище. Сорок лет я хожу в свои свободные дни на его могилу. Сейчас мне специально поручили уход за могилой.

Через несколько дней вскрыли его домашнее завещание. Очень большие суммы денег он жертвовал на школы, служащим и рабочим; торговым служащим завещал магазины с товарами и капиталами в их полную собственность; галерее — крупный капитал и все картины и рисунки, находящиеся в доме. Семья его должна была покинуть дом; жилые комнаты присоединяются к галерее. Новым служащим галереи он завещал по годовому окладу жалованья, а мне и Ермилову по четыре тысячи рублей единовременно. В завещании никто не был забыт, кто к нему был прикосновенен, — кучера, дворники, горничные... Только один пункт завещания был странный: Павел Михайлович хотел, чтобы галерея больше не пополнялась, так как считал, что собрано уже достаточно картин и рисунков. Этот

пункт, конечно, пришлось нарушить в тот же год.

Для управления галлереей был избран Совет, в который вошли художники Остроухов и Серов, дочь покойного А. П. Боткина и представитель от городской думы Цветков. Место хранителя галлерей сначала было предложено художнику Невреву, но он отказался, и тогда был избран художник Хруслов Е. М., заведовавший до этого выставками художников-передвижников.

В Совет были избраны такие знатоки старого и нового искусства, как Серов и Остроухов. Хруслов проработал в галлее двенадцать лет, и эти двенадцать лет он целиком, до последних дней, отдал галлее. Мы с ним жили в одном доме: он — внизу, а я — наверху. Если он, бывало, отлучится из галлерей хотя на один час, он сообщал об этом мне.

— Вы уж посмотрите, Николай Андреевич! Я сбегая на полчаса.

Также и я сообщал ему, если уходил из галлерей. Он, усмехаясь, говорил:

— Мы с вами, как цепные псы, охраняем галерею и день, и ночь.

Действительно, мы все время отдавали галлее. Хруслов был тоже бес семейный, и все его интересы сосредоточились на галлее. Никаких праздников он не соблюдал, в отпуск 10 лет не ездил. На работе он нажил туберкулез, последний год болел, но не пропускал ни одного дня, чтобы не быть на работе. Дикий случай, когда сумасшедший Балашов порезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын», так подействовал на Хруслова, что все боялись за него. Остроухов просил меня смотреть за ним, чтобы он не кончил самоубийством, но Хруслов, сказав мне, что идет на полчаса погулять, уехал в Сокольники и там бросился под поезд железной дороги.

Огромную заботу о галлее проявил Остроухов. Пожалуй, он заботился о ней не меньше самого Третьякова. Его я знал с начала 80-х годов. Властный, энергичный, он мне казался несокрушимой силой. Он всегда говорил прямо, что думал. Иногда говорил очень резко, что многим и не нравилось. Его кар-

тины привлекали общее внимание. Третьяков очень дружил с ним, часто бывал у него в гостях в Трубниковском переулке. Будучи членом Совета, Остроухов почти ежедневно навещал галерею, а если не придет, то непременно звонит по телефону Хруслову или мне, все ли у нас благополучно. В городской думе он отстаивал бюджет галлерей перед гласными, которые не всегда понимали значение галлерей и старались урезать ассигнования на нее. По его настоянию был произведен капитальный ремонт галлерей; все деревянные части заменены железными, чтобы обезопасить галерею в пожарном отношении, а фасад галлерей перестроен по рисункам В. М. Васнецова. Затем старое амосовское отопление, дававшее копоть, заменено новейшим паровым. Он же настоял, чтобы все картины были очищены от пыли и копоти, накопившейся за много лет. Когда мы начали промывать картины водой с пеной от детского мыла, Цветков послал думе ложное сообщение, что мы портим картины. Дума назначила ревизию, но Остроухов, Васнецов и Нестеров доказали, что никакой порчи картинам нет. Однажды мы получили приказ от правительства и от городской думы — приготовить лучшие картины галлерей к отправке их на всемирную выставку в Париж. Картины должны были украсить русский павильон. Мы с Хрусловым пришли в ужас, прочитав такой приказ. Оказалось, распоряжение об отправке картин подписал царь Николай II. Никто такому распоряжению противиться не смел. Мы бросились к Остроухову.

— Ничего не бойтесь. Картин не дадим, — сказал он нам.

— Как не дадите? Ведь сам царь велел!

— Пусть так. А вы все-таки картины не готовьте.

Очень мы тогда удивились его смелости. Остроухов съездил в Петербург и вскоре получил бумагу об отмене посылки наших картин в Париж.

Остроухов настаивал, чтобы Третьяковская галерея ставилась, как лучшие западноевропейские галлерей. Он, например, добился, что каталог галле-

реи был издан на французском и английском языках, затем — каталог иллюстрированный — дорогой, и каталог без иллюстраций — дешевый. При нем была приведена в порядок библиотека при галлерее и открыта для общего пользования.

Замечательно он относился и к служащим галлерей. Когда заболел Хруслов и городская дума отказалась дать деньги на его лечение, Остроухов дал мне своих 500 рублей, с тем чтобы я передал их Хруслову якобы от городской думы.

Пробыл он членом Совета 12 лет, до того несчастного случая, когда Балашов порезал картину Репина. После пореза картины Остроухов сейчас же подал в отставку и, несмотря на уговоры, настоял на отставке; с той поры он принимал лишь косвенное участие в делах галлерей.

Другой член Совета — художник Серов В. А. — был, в противоположность Остроухову, до крайности замкнут и неразговорчив. Я не знаю другого человека, который был бы так молчалив, как он. Молча придет и молча же уйдет. Лишь в протоколах заседаний Совета коротенько отметит, согласен он с решением или не согласен. У него была манера постоянно держать папиросу в зубах. Закусит, и так все время держит. На известном акварельном автопортрете он очень правильно изобразил себя: папироса в зубах, суровое лицо, гордый поворот головы. Во время заседаний Совета он постоянно рисовал карандашом на листах бумаги, положенных перед каждым членом Совета. Иногда это были отличные, очень сложные рисунки. После заседаний он сминая их, рвал, бросал в корзину под стол, а иногда так оставлял на столе. Я сохранил три таких рисунка. На одном из них он даже подпись сделал. Другой рисунок — намек на картину, которой он в это время был занят.

Как известно, Серова на первых порах его работы многие не признавали. Художник В. Е. Маковский — вождь старых художников — долго враждовал с ним, как и со всеми молодыми. Но Третьяков с первых же лет понял, ка-

кой большой талант идет в лице Серова. Он покупал у него большое количество работ. В Совете Серов, Остроухов и Боткина постоянно отстаивали покупку картин у молодых художников — Врубеля, Александра Бенуа, Лансере, братьев Коровиных, Архипова, Малютина, Кустодиева, Рериха, Сомова. А их ярым противником был Цветков — друг Маковского. Иногда Цветков жаловался городской думе, что Совет покупает «уродливые вещи» и платит большие деньги. В думе были единомышленники Цветкова, мало понимающие в искусстве. Начинались разговоры, недовольство. Серов и Остроухов решительно защищали молодых. А. П. Боткина соглашалась с ними, и картины покупались вопреки мнению Цветкова и части гласных думы. Вообще, как я заметил, Серов и Остроухов сильно дружили; Серов часто бывал у Остроухова в гостях, и тут молчаливость Серова исчезала: он говорил много и охотно. Илья Семенович мне рассказывал, какой интересный вечер и ночь провели они вдвоем, — ночь, когда скоропостижно умер Серов. Он был необыкновенно возбужден, говорил очень интересно. Ушел он от Ильи Семеновича в четвертом часу утра, — ушел веселый, бодрый, а через два часа из его дома позвонили по телефону: Серов умер.

Ужасная, потрясающая смерть в самом расцвете таланта и сил!

В галлерее Серов руководил построением экспозиции. Как-раз развеска картин лежала на мне, и поэтому двенадцать лет подряд я встречался с Серовым очень часто. Но и с нами он был необычайно молчалив. Ходит, бывало, по залам, смотрит, думает, мысленно примеряет. Потом молча покажет мне рукой на картину и потом место на стене, и я уже знаю: картину надо вешать вот именно здесь. И когда повесим, — глядь, экспозиция вышла отличная... Иногда он нарисует, как должны быть расположены картины, — и замечательно хорошо это у него выходило.

Смерть Валентина Александровича была первой крупной потерей для галлерей после смерти Третьякова. Потом — самоубийство Хруслова, уход

Остроухова и Боткиной. Первый Совет галереи, столь плодотворно работавший, распался. В 1913 году городская дума избрала директором галереи художника И. Э. Грабаря.

НАВОДНЕНИЕ 1908 ГОДА

Весной 1908 года Москва переживала большое бедствие из-за необычайного разлива Москвы-реки. Все низкие места города и пригородов были затоплены. По улицам Замоскворечья — по Лужникам, Дорогомилову — ездили на лодках. Тысячи домов были окружены всдой. Вода подходила к стенам Кремля. Совет галереи еще задолго до наводнения начал принимать меры, чтобы обезопасить нашу сокровищницу. Были изготовлены кирпичи, цемент, доски. Впрочем, такие меры принимались и в обычные годы. Остроухов добился, чтобы городская дума распорядилась давать материалы со складов в любые часы дня и ночи. Сначала предполагалось, что можно ограничиться небольшим количеством рабочих и нашими силами. Мы — шестеро сотрудников — жили в домике рядом с галереей и старательно следили за подъемом воды. Я по нескольку раз в день сообщал по телефону Остроухову, как обстоит дело, а он и сам часто спрашивал и приезжал, пока можно было переехать через Москву-реку. Но вот вода начала быстро прибывать и скоро залила Болотную площадь, набережную канала, пошла по Лаврушинскому переулку. Рабочие заделали ворота и калитки кирпичами, кирпичную же стену возвели вокруг всей галереи. По требованию Остроухова в галерею были присланы две роты солдат-саперов. Вода прибывала с невероятной быстротой. Мы начали переносить картины из нижнего этажа в верхний. Саперы день и ночь надстраивали кирпичную стену вокруг галереи, возводили земляной вал. На лодках и на подводах вброд к галерее подвозился еще кирпич, доски, цемент. Наводнение совпало с днем пасхи, — рабочие на эти дни обычно уезжали из Москвы, склады запирались. Катастрофа для Москвы приняла огромные размеры. По

Москве-реке и по каналу плыли разрушенные избы, сараи, доски, бревна, дрова. В Замоскворечье люди сидели на чердаках и на крышах. Шесть дней мы боролись со стихией. Помню, Хруслов и мы — шестеро — почти не спали, наблюдая за стеной: не просачивается ли вода. Солдаты работали самоотверженно. Лаврушинский переулок и все соседние переулки и улицы были похожи на бурные реки, по которым ходили волны. А в нашем дворе — ни капли воды. Солнце в эти дни сияло ярко, кругом была необыкновенная, очень жуткая картина. Слышать было, как вопят женщины, шумит вода, по переулку едут лодки и гребцы переключаются тревожно. К концу шестого дня вода пошла на убыль, а еще через три дня показалась мостовая. Мы торжествовали: не только к стенам галереи, но и во двор мы воду не пустили. Но в эти дни выяснилась другая опасность — вода сквозь почву проникла в подвальный этаж галереи, где находилось отопление. Часть помещения была залита, так что пришлось вызвать пожарную команду для откачки воды насосом. Через несколько дней мы заметили, что сырость из почвы поползла по стенам вверх, и нам пришлось убрать часть картин нижнего этажа, чтобы спасти их от порчи. Два месяца потом потребовалось для просушки и для ремонта подвального помещения. О днях наводнения я вспоминаю, как о днях большой борьбы за художественные произведения, находившиеся в опасном положении. Все работали самоотверженно день и ночь и успокоились впервые в тот день, когда вода пошла на убыль. Дума потом благодарила эту маленькую группу за работу по спасению галереи от наводнения.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГАЛЛЕРЕЯ

За время с 1913 года до Октябрьской революции самым крупным событием в галерее была перевеска картин, сделанная директором И. Э. Грабарем. Игорь Эммануилович находил, что прежняя экспозиция, устроенная еще самим Третьяковым, не соответствует на-

учным требованиям. И он решил сделать новую экспозицию. Почти полгода у нас шла перевеска. Многим художникам и любителям живописи новая экспозиция не нравилась. И в газетах, и среди художников поднялся большой шум. Но в конце-концов все согласилось, что новая экспозиция лучше прежней.

В начале русско-германской войны 1914 года количество посетителей вдруг резко упало; война отвлекла внимание от искусства. Однако уже через полгода в галерею пошли раненые солдаты, лечившиеся в московских лазаретах. Приходили они к нам командами с сестрами милосердия. Количество их все увеличивалось и увеличивалось. В Февральскую революцию опять число посетителей упало. И настолько упало, что одно время залы пустовали. Московская дума совсем перестала интересоваться делами галереи. Нас держали на старом жалованье, а жизнь безумно дорожала. Служащие галереи устроили собрание, выбрали делегацию из троих человек к последнему городскому голове Астрову. В эту делегацию попал и я. В думе нас встретили очень нелюбезно, едва допустили к Астрову. Тот нехотя обещал устроить наши дела, но ничего не сделал. Лето и начало осени 1917 года прошли в каком-то неопределенном, очень томительном настроении. Однажды ночью меня разбудили близкие винтовочные выстрелы. Я вышел во двор галереи. Сторожа, закутанные в тулупы, стояли у ворот.

— Что такое?

— На Красной площади стреляют.

Взволнованный, я не спал всю ночь. К утру выстрелы усилились. Далеко, на Ходынке, ахнул первый пушечный выстрел, и снаряд разорвался над Кремлем, где находились белогвардейцы. Так начался Октябрь в Москве. Почти никто из служащих, живущих вне двора галереи, в этот день на работу не явился. Остались только шестеро, чьи квартиры были во дворе. Мы заперли все ворота, все двери, решили никого не пускать к себе и самим не уходить из галереи и со двора.

Пушечная и ружейная стрельба усиливалась. Стреляли на Каменном и Москворецком мостах; из-за Замоскворечья к Кремлю пытались пройти дружинники и восставшие войска. Юнкера и офицеры стреляли в них из пулеметов. Кремль служил крепостью белогвардейцам и стал центральным местом боя. Восставшие обстреливали его со всех сторон. А мы — вот рядом, под боком у Кремля. Вся Москва была полна грохотом выстрелов, воем снарядов, свистом пуль.

Из своих квартир мы, шестеро, перешли в залы галереи, — здесь провели все дни и ночи, пока в Москве шел бой. Свет потух. По ночам, бродя по темным залам, я прислушивался к тому, что делалось за стенами. Иногда шальная пуля попадала в стеклянную крышу галереи. Звон разбитого стекла проносился по залам. Он вызывал жуткое чувство тревоги. На третий день нам сообщили из Замоскворецкого революционного штаба, что на галерею готовится налет и чтобы мы приготовились. А у нас — никакого оружия. Мы как можно крепче заперли двери, придвинули к ним скамьи, столы, сделали нечто вроде баррикад, чтобы бандиты в самом деле не пробрались к нам. Ворота и калитки были забиты. Шесть дней и шесть ночей мы провели без настоящего сна и не раздевались. Иногда мы подходили к воротам, заглядывали в переулки. Нигде ни одного человека. Только видно было, как над Кремлем рвались снаряды. Пища у нас скоро вышла. Пробраться за ней было невозможно. Мы сидели голодные, но сторожили крепко. В ночь на седьмые сутки, наконец, стрельба прекратилась, и мы смогли выйти на улицу. Революционный народ победил. В скором времени мы выбрали местный комитет для управления галереей. В этот комитет вошел и я. Из Замоскворецкого революционного комитета был получен нами приказ: никакого имущества из Третьяковской галереи не вывозить и не выдавать его никому ни при каких условиях. Этот приказ мы исполнили в точности: из галереи не ушла ни одна вещь, даже самая незна-

чительная. Наоборот, в галерею огромным потоком хлынули картины и рисунки из частных собраний. Собиратели, вроде банкира Гиршмана, фабриканта Морозова и множества других, старались поместить свои картины в галерею «на время, на хранение». Кто-то им обещал, что «по их первому требованию художественные произведения будут возвращены». Значительная часть картин была развешана на стенах, а на рамах отмечено: «Из собраний такого-то лица. В галерее помещена временно». Эти произведения висят у нас до сих пор и, разумеется, будут висеть вечно.

Годы военного коммунизма галерея пережила тяжело, но вполне благополучно. Главная нужда наша была в топливе. Для отопления галереи ежедневно требовалась бочка нефти. А нефть тогда была самым дефицитным топливом. Наш комитет возложил на меня тяжелую обязанность — добывать нефть. И вот я ежедневно с самого раннего утра отправлялся по разным учреждениям просить бочку нефти. Надо было пройти три, а иногда и четыре учреждения, где выдавалось разрешение на нефть. Везде — огромные очереди, в которых стояли представители от больниц, школ, учреждений. Иногда мне пытались отказать.

— Галерея? Ну, галерея может подождать, картины не замерзнут. У нас в больницах больные лежат, сначала их надо обеспечить.

Тогда я принимался доказывать, что в галерее собраны произведения художников нашей страны за целые 300 лет. Они могут попортиться в холоде. Конечно, надо согреть больных, но надо беречь и народное достояние — картины.

И почти всегда разрешение мне давали. Однако окончательное разрешение, с четырьмя печатями, я получал обычно к концу дня и измученный возвращался в галерею. Тут другой товарищ ехал за нефтью в деревню Хохловку, где тогда были нефтяные склады. К ночи нефть доставлялась.

Скоро минули трудные времена; началась мирная жизнь, мирное строи-

тельство, и наступил небывалый расцвет жизни нашей галереи. При советской власти было построено двадцать пять новых зал, а коллекции картин, акварелей, рисунков и скульптур увеличивались во много раз. Сейчас в галерее 50 зал, а количество художественных произведений дошло до 26 000. Главное, необычайно увеличилось число посетителей. Бывают дни, когда по галерею уже трудно ходить — так в ней много народу. Советский народ высоко оценил и полюбил свою национальную сокровищницу.

ПОСЕТИТЕЛИ ГАЛЕРЕИ

Я полагаю, в нашей великой стране нет ни одного культурного человека, который не бывал бы в Третьяковской галерее или не слышал бы о ней. Теперь у нас количество посетителей доходит до шести тысяч в день. Идет народная масса, — рабочие, колхозники, интеллигенция, красноармейцы, школьники. Число только экскурсий в день иногда достигает двухсот. И мне странно вспоминать дни, когда галерея была совсем пуста или когда по залам бродило 2 — 3 посетителя. Прежде наших постоянных посетителей мы знали наперечет. А теперь, поди-ка, узнай... Идет масса приезжего народа со всего СССР.

Я с уверенностью могу сказать, — все знаменитые русские люди бывали в галерее. Конечно, я не всех знал в лицо, но видел и знал очень многих.

Вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Он нередко бывал в галерее, особенно в восьмидесятых годах, когда жил в Хамовниках. Придет в своей обычной блузе, долго бродит по залам, пристально рассматривает отдельные картины. Особенно ему нравилась картина «Притихло» Дубовского. Помню, однажды он пришел с каким-то знакомым, показал на эту картину и говорит: — Смотрите, как чудесно! Хорош дождь будет.

Подолгу он стоял перед картинами Сурикова. У нас говорили, что с Суриковым он дружил, бывал у него в мастерской. Это он посоветовал Сурикову «закапать воском» руку стрелца,

держашего зажженную свечу в картине «Утро стрелецкой казни»...

Нравились ему картины Ге и Орлова Н. В.

Мне легко было узнавать знаменитых людей, бывавших в галлерее, потому что портреты их висели у нас же. А Льва Николаевича я видел и у него дома — в его рабочем кабинете.

Помню Чехова, как он, улыбаясь, постоял с полминуты перед своим портретом и ушел поспешно. И Григоровича помню.

Помню также нашего великого ученого Павлова; он приходил к нам уже старый, и за ним по всей галлерее носили стул. Сядет перед какой-либо картиной и смотрит долго-долго.

Знаменитого нашего путешественника Миклуху-Маклая помню, — бородатый такой, быстрый. Это было еще в восьмидесятых годах, галлерей только зачиналась. Он обошел залы два раза, с ним ходила по галлерее семья Третьякова.

Нансена помню, — это было уже в советское время: он приезжал для оказания помощи голодающим Поволжья и заходил в галлерей.

Лет тридцать пять назад однажды в галлерей пришел высокий, сутулый человек в русских сапогах, с длинными волосами, зачесанными со лба назад, по виду рабочий. И с ним бритый, тоже высокий, гражданин в сюртуке. Слышу публичка зашептала:

— Горький, Горький! И Шаляпин!

Как-раз оба они тогда были в начале славы. Наши посетители стали смотреть не столько на картины, сколько на них. Алексей Максимович бывал потом — и до революции, и после революции. Любил он нашу галлерей.

Артисты Художественного театра бывали часто все: Качалов, Москвин, Книппер-Чехова, сам Станиславский... Очень мне было интересно видеть их у нас потому, что я хорошо знал их по сцене.

Теперь-то каждый отдельный человек тонет в массе посетителей. Теперь стали часто бывать группы представителей разных народностей нашей страны. Иногда приходят в национальных ко-

стюмах, — узбеки, таджики, черкесы, калмыки, киргизы...

Во время лета иностранцы тоже бывали, некоторые осматривали галлерей очень внимательно. И вот я заметил: некоторые иностранцы особенно интересуются отделом нашей древней живописи — иконописью. Андрей Рублев и Прокопий Чирин привлекают сильно их внимание.

Но некоторые иностранцы осматривают галлерей так, будто отбывают какую-то повинность; пробегут бегом, потом — в автомобиль и назад. Чаще всего большими группами приезжают американцы. А то иногда придет целая экскурсия на автобусах, но некоторые даже из машин не вылезают.

Не так осматривают наши советские люди. Почти всегда с руководителями, — серьезно, основательно. Профессиональные организации Москвы и многих других городов ставят в свою программу работ непременно посещение нашей галлерей. И вот видишь, идут рабочие, работники фабрик и заводов, идут пожарные, милиционеры, дворники, кондуктора трамвая, домашние хозяйки. Красноармейцы приходят отдельными командами. Как радовался бы Павел Михайлович Третьяков, если бы видел галлерей теперь.

КАК ЖИВУТ КАРТИНЫ

Пятьдесят восемь лет я работаю в галлерей, и по пальцам можно пересчитать дни, когда я не был в галлерей за эти долгие годы. Картины я вижу изо дня в день, и они для меня стали самыми близкими. Ни родных, ни жены, ни детей у меня нет. Дом мой — галлерей, и самые близкие мои — картины. И очень я люблю тех, кто приходит смотреть картины в нашей галлерей. Почти о каждой картине я мог бы рассказать историю ее жизни, особенно о тех картинах, которые были приобретены самим Третьяковым. Картины, как и люди, неповторимы: каждая имеет свой путь, свою судьбу, как живое существо. Картина рождается, живет, умирает. Позвольте я вот расскажу жизнь одной картины. Вы ее все знаете: это —

«Иван Грозный и сын его Иван» художника Ильи Ефимовича Репина.

Это еще в начале моей работы было — в 1884 году. Павел Михайлович Третьяков приехал из Петербурга очень довольный.

Однажды во время утреннего обхода Павел Михайлович говорит:

— Купил я у Репина большую картину. Не знаю, куда повесить. Повидимому, придется еще пристройку делать — новые залы нужны. А картина — «Иван Грозный и сын его Иван».

Обыкновенно так было: Третьяков покупал картины у художников прямо в мастерской, потом художники выставляли их на передвижной выставке, а после выставки картина уже поступала в Третьяковскую галерею. В начале 1885 года в Петербурге открылась выставка передвижников, и на ней самая выдающаяся картина была именно репинский «Иван Грозный». О картине много тогда писали газеты и много разговоров было. Третьяков ездил на открытие выставки и вдруг вернулся мрачный, тревожный. Картина сильно не понравилась правительству и высшим чинам.

— Эта картина — оскорбление царя! Это — цареубийство!

Третьяков очень беспокоился, как бы картину не уничтожили. Но вот в марте выставка передвижников из Петербурга была перевезена в Москву. И «Грозного» привезли. Однако московские власти запретили картину показывать народу. Она была снята с экспозиции перед открытием выставки. Третьяков тотчас взял картину к себе. С очень большим нетерпением мы открывали ящик с картиной, — столько мы о ней уже слышали. А картина, конечно, и нас поразила. Третьяков очень был доволен, что «Грозный» наконец у него. Он намеревался выставить ее в галлее для всеобщего обозрения. Но власти тотчас прислали ему приказ: картину для публики не выставлять. Волей-неволей мы поместили ее в отдельной комнате, закрытой для посетителей. Когда выставка передвижников открылась в Москве, все тотчас бросились искать «Грозного». А картины

нет. Многие знали, что ее купил Третьяков. Приходят в галерею — ее и здесь нет. Павел Михайлович приказал нам ничего публике не говорить. А нас ежедневно сотни раз спрашивают: «Где картина?». Мы же только плечами пожимаем. По Москве пошли самые дикие слухи: картина сожжена, картина изрезана...

Так весну и лето картина была заперта у нас. В конце лета через Москву в Крым проехал царь Александр III со свитой. В свите у него были художники Зичи и Боголюбов. Они зашли в галерею и, конечно, спросили, как все: «Где же Грозный?». Павел Михайлович объяснил им, что картина запрещена по распоряжению царя. «Нельзя ли попросить его, чтобы он запрет снял?». Боголюбов и Зичи обещали. Что они там в Крыму говорили царю, — неизвестно, только вдруг московский генерал-губернатор вызывает к себе Павла Михайловича и объявляет ему, что запрет с картины снят, ее можно выставлять. Ну, у нас целое торжество было. Как-раз поспела и пристройка, картину мы выставили в новом зале, во втором этаже. Вся культурная Москва хлынула к нам. Посетителей стало, как никогда прежде!

И с тех дней перед картиной всегда толпа посетителей. Она да две картины Сурикова — «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни», — пожалуй, самые любимые картины нашей галереи.

Никогда мне не забыть того дня, когда в январе 1913 года душевнобольным преступником Балашовым эта картина была изрезана.

В обычное время — в десятом часу — я уже был в галлее, прошел по залам, посмотрел, все ли в порядке. Без пяти минут в десять все служащие уже стояли по своим местам. Сейчас должен появиться хранитель галереи художник Хруслов. Он пройдет и все проверит. В десять часов двери открылись. Хруслов по обыкновению начал обход. На этот раз он пошел по залам нижнего этажа. Я пошел наверх. Мимо меня наверх же быстро прошел посетитель — молодой человек лет двадцати пяти. Не рассматривая картин первых

зал, он направился прямо в залу Репина. В галлерее посетителей еще не было, тишина стояла такая, что слышен был каждый шаг. Вдруг резкий звук пронесся по всей галлерее. Точно что треснуло. Я сначала подумал: «Картина упала». Вдруг снова удар — тррр! И еще — тррр! Начался шум, какая-то беготня в Репинском зале. Я бросился туда. Туда же бежали другие служители и Хруслов. В Репинском зале два служителя держали за руки молодого человека и вырывали у него финский нож. Молодой человек кричал: — Довольно крови! Долой кровь!

Лицо у него было бледное, глаза безумные. Я сначала не понял, в чем дело, что за звуки были? что за человек с ножом? Но, взглянув на картину «Иван Грозный», я обомлел. На картине зияли три страшных пореза. Один порез шел по лицу Грозного от правого виска через ухо, по скуле, бороде, плечу и рукаву; другой — по лицу Грозного от щеки вниз, и дальше по лбу, глазу и краю носа царевича; третий от левой щеки Грозного по его руке, затем по щеке царевича, по бороде и шее. Края порезов резко белели. На них обнажилась из-под краски заготовка. Нити холста, на котором написана картина, точно мелкие длинные зубчики тянулись по краям порезов. Мне показалось, что картина испорчена навеки. Я увидел: Хруслов дрожит, весь бледный, растерявшийся. Мы повели преступника вниз, по телефону вызвали полицию. Преступник все кричал: «Довольно крови!». Мы тотчас закрыли галлерею, чтобы прекратить доступ публике, известили городскую думу, как хозяина галлерей, о несчастье. Я позвонил по телефону художнику Илье Семеновичу Остроухову, который в это время был председателем Совета галлерей. «Как случилось? Как случилось?» — растерянно спрашивали мы один другого. Оказалось, преступник вошел в Репинский зал в то время, когда служитель находился в другом конце, далеко от картины. Перед картиной был барьер из шнура. Преступник быстро перешагнул через барьер и с большой силой нанес три удара фин-

ским ножом по полотну, целясь как раз в головы фигур. Он мог бы порезать картину до нижнего края рамы, но позади полотна, как раз посредине, проходила проволока, на которой висит картина. Нож, прорезав холст, наткнулся на проволоку. От этого и получился такой сильный звук, всполошивший всех нас.

Скоро появилась полиция, начался допрос. Преступник назвался Абрамом Балашовым. Он был сыном московского старообрядца, букиниста, сам причастен к живописи, писал иконы. В галлерее он бывал нередко. Когда его допрашивали, он все повторял: «Довольно крови! Довольно крови!». Было ясно: он сумасшедший. Прямо из галлерей его отправили в дом умалишенных. Как впоследствии я узнал, его, действительно, признали умалишенным и, продержав два месяца в больнице, отдали на поруки отцу. А мы... я до сих пор помню, какое горе охватило всех нас, когда мы все опять очутились перед искалеченной картиной. Тридцать один год я уже прослужил в галлерее, двадцать восемь лет смотрел ежедневно на эту картину — и вдруг такое несчастье!..

Остроухов и Хруслов были вне себя. Хруслов плакал. Остроухов неистово ругался, бранил нас, что мы не убергли. Я не мог слова сказать от крайнего волнения. Как самого дорогого покойника, мы сняли картину со стены, вынесли в особый зал... Тяжелый это был день. Остроухов подал прошение об отставке, а Хруслов, и без того больной, слег в постель, стал задумываться, а через несколько дней окончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд в Сокольниках.

А картину? Сперва не знали, что делать. Репин тогда жил в Финляндии, в Куоккале. Остроухов боялся, что на Репина произведет тяжелое впечатление этот случай, написал ему письмо: «Зделаем порезы, а вы исправите». Тем временем председателем Совета галлерей вместо Остроухова избрали Грабаря, а ему помощником — Черногоубова. Остроухов тоже оставил дело не сразу. Все обсуждали, как быть с

картиной. Наконец вызвали из Петербурга, из Эрмитажа, реставратора Богословского — самого знаменитого мастера своего дела. Тот решил наклеить картину на новый холст. Картина была написана на очень толстом холсте, — и если наклеивать прямо на новый холст, то получится, что края порезов будут похожи на рубцы. Тогда Богословский искусно утончил прежний холст и только после этого уже наклеил на новый, а края порезов подтянул так близко, что оставались только небольшие белые полосы левкаса. Репину дали телеграмму: «Все подготовлено, приезжайте исправлять». Наконец Репин приезжает. Мы все ждали его со страхом. Остроухов сказал мне: «Вы, Николай Андреевич, будьте возле него все время, как бы чего с ним не случилось». Как раз в это время ни Грабаря, ни Остроухова не было в городе. Репина встретили Черногубов и я. Мы повели его в зал, где была картина. Я с большой тревогой ждал момента, когда Репин увидит искаленную картину. Ведь любимое детище! А Репин подошел и... будто ничего. Постоял одну минуту молча, посмотрел. Ни один мускул в его лице не дрогнул.

— Ну, что ж... Это не велика беда. Я думал, что картина испорчена безнадежно. А это легко заделать.

Краски свои он привез с собой. Он быстро переделался и принялся за работу. Сначала он исправил порезы. Вот прямо на моих глазах, разом белые полосы исчезли, — и картина стала прежней. Он работал очень быстро. Потом отошел, долго смотрел на картину, и, снова подойдя, вдруг начал переписывать всю голову Ивана Грозного. Мы переполошились. Покойный Третьяков делал мне выговоры, если я допускал, чтобы художники без самого Третьякова переписывали картины. Но тут мы сделать ничего не могли. Репин быстро переписал голову Ивана и сейчас же уехал на вокзал. Он спешил домой, в Куоккалу, к очередной работе. К концу дня приходит Грабарь, мы говорим ему: «Был Репин, исправил картину». Грабарь очень заволновался, поспешил к картине.

— На чем, — спрашивает, — Репин писал? На скипидаре или на керосине?

— На керосине.

Грабарь потребовал сейчас же вату, керосин, — и все, что сделал Репин, смысл начисто...

— Голова лиловая, она не в тоне картины. Масляные краски через год, через два изменятся... Исправить надо красками акварельными.

И Грабарь сам исправил только места порезов, — оставив голову Ивана так, как она была написана самим Репиным в 1884 году.

Через несколько месяцев Репин приехал в галерею, долго стоял перед своей картиной, повешенной на старом месте, и не сказал ни слова. На картине ни порезы не заметны, ни исправления. От печального случая не осталось никаких следов.

Вот картина Флавицкого — «Княжна Тараканова». Присмотритесь к ней, у героини четыре руки. Художник сначала нарисовал ее руки сложенными спереди. Так картина и засохла. Потом ему не понравилось положение рук. Он переписал их, вот так, позади. Картина потом долго путешествовала по выставкам и однажды в дороге была подмочена и с тех пор заболела. Первая пара рук, когда-то записанных художником, выступила ясно. Картинные доктора несколько раз пробовали лечить ее. И безуспешно. Болезнь стала хронической. Едва залечат, а руки опять вылезут...

Вот картина Куинджи «Березовая роща». Она у нас висит с самого начала 80-х годов. На первых порах перед ней стояло много зрителей, — все в восхищении рассматривали странный свет. Потом однажды кто-то спросил: «А что, собственно, это солнечный свет или лунный?». Одни говорили — солнечный, другие — лунный. И с той поры как-то странно — интерес к картине у зрителя пропал. Некоторые говорят, что картина поблекла и стала неинтересной. Это бывает: картины блекнут. Вот картины Врубеля поблекли — это правда. Все серебристые тона на них постепенно исчезли. Картины его жухнут. А Куинджи все такой же, краски его не пожухли. Но только интерес к его искусству

пропал. Бывало, например, о его картине «Украинская ночь» и говорили много, и писали в газетах. А ныне мало кто всматривается в нее пристально. Картины, как и люди, имеют пору своей славы и пору бесславия.

На картине В. М. Васнецова «После побоища Игоря с половцами» вы видите странные пятна вокруг входящего солнца. Они образовались вскоре, как картина попала в галерею, и, помню, очень обеспокоили Третьякова. При ежедневном обходе он подолгу останавливался перед картиной, расспрашивал меня и Ермилова, увеличиваются пятна или нет. Наконец, и самого автора он привлек к этому делу: как исправить пятна? Виктор Михайлович пообещал притти с красками и поправить картину. И вот через несколько дней, действительно, приходит с красками, переписывает все места вокруг солнца. Это было в отсутствие Третьякова. Когда он увидел исправления, нахмурился, заугрюмел, походил вокруг картины, потом потребовал у меня скипидара и стер все поправки, сделанные Васнецовым. Картина осталась в прежнем виде. Через несколько времени приходит Васнецов в галерею, смотрит: на картине те же пятна.

— Куда же девались исправления? — с удивлением обратился он к нам.

И очень было неудобно объяснить, куда девались его исправления. Васнецов обиделся на Третьякова и даже некоторое время не ходил в галерею. И картина до сих пор висит с теми же пятнами. Исправлял также Виктор Михайлович и картину «Богатыри». Когда картина была у нас повешена, ему что-то не понравилось в лице Добрыни Никитича. А Добрыню он писал с себя. Однажды приходит с красками, просит принести лесенку. Мы принесли лесенку.

— И еще принесите зеркало.

Я принес и зеркало, и Виктор Михайлович начал поправлять лицо Добрыни, поминутно заглядывая в зеркало на свое лицо.

Необыкновенный случай произошел с картиной Версиловой - Нерчинской «Монах в своей келье». Третьяков

приобрел эту картину в Петербурге у самой художницы и приказал нам повесить ее в зале верхнего этажа. Через короткое время мы заметили, что краска освальд на картине растопилась и в виде густой смолы поползла по полотну вниз, почему-то обойдя по контуру голову и плечи монаха. Потом поползли и другие краски, образуя валы. Мы сняли картину с экспозиции, поставили монаха вниз головой, надеясь, что краски потекут назад. Но краски так и застыли. Тогда мы сами сняли лишнюю часть красок, и картина опять была повешена на место. Так она и висит до сих пор, исправленная нами.

Вот у нас портрет графини Зубовой работы Тропинина. Третьяков приобрел его у одного антиквара, а затем, просматривая по книгам статьи о Тропинине, наткнулся на снимок с этого портрета. Но там портрет был несколько иной: под подбородком была изображена белая лента, которой на нашем портрете не было видно. Третьяков забеспокоился: не копию ли он приобрел? Если портрет подлинный, лента должна быть. Он смыл спиртом краску, и из-под тонкого слоя появилась лента. Она и сейчас видна на портрете. Третьяков был очень доволен, что лента есть и портрет — подлинный.

Сейчас самым большим успехом у посетителей пользуется Суриковский зал. Здесь всегда полно народу. Я очень хорошо помню, как этот зал собирался. Сейчас вы, подходя к этому залу, видите «Боярыню Морозову» издалека, зал за пять. Знаменитая картина повешена не случайно. Она еще была в мастерской художника неоконченная, а Третьяков уже старательно искал для нее место в галерее, постоянно советовался с нами, где ее можно устроить.

— Картина очень большая, смотреть надо издали. И техника живописи требует дальнего отхода.

После долгих поисков он остановился на том зале, где она помещена теперь.

Помню торжественный день, когда картину привезли. Ее везли на извоз-

чищем полке, свернутую трубой, кра-ской, конечно, наружу. Помню чувство восторга, когда мы начали ее развертывать, и она засияла своими изумительными красками. Раму для картины приготовили заранее, — рама составная, из шести мраморных кусков, очень тяжелая. Каждый кусок рамы поднимали четыре-пять человек. Все это — и картина, и рама — тяжести непомерной. Устанавливали мы картину довольно долго, но, когда установили и сняли занавесы со входов в зал, все испытали большую радость. Павел Михайлович ходил довольный, все свои обычные часы, которые он проводил в галлерее, теперь простаивал перед картиной. И тут он впервые заметил, что подписи Сурикова на картине нет.

— Напомните Василию Ивановичу, что подписи нет. Просите подписаться, — сказал он мне.

Когда все было готово, Третьяков послал меня к Сурикову с письмом, — приглашал автора посмотреть, как устроено его произведение. Суриков пришел на следующий же день. Издали, за несколько зал, он увидел картину. Он сразу повеселел, такой довольный, улыбающийся.

— Очень хорошо. Очень, — сказал он, подходя к картине.

Он осмотрел все подробно и все хвалил, как это ловко мы повесили такую большую вещь. Тут я ему и напомнил, что нужна его подпись на картине. Он обещал притти в следующий раз с красками. И через несколько дней, действительно, пришел с красками и при нас подписал картину.

— Вот теперь не скажут, что это копия, — проговорил он с улыбкой, кончив работу.

Третьяков был так восхищен картиной, что решил сделать Суриковский зал. Он приказал принести сюда все остальные произведения Василия Ивановича: «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», академические этюды. С того времени у нас образовался Суриковский зал — любимый зал наших посетителей. Произведений Василия Ивановича при Третьякове у нас было сравнительно мало по

количеству, но выдающееся было уже все. Только после революции число их очень сильно увеличилось. В конце 1917 года, когда в Москве было тревожно, Остроухов сказал однажды мне, что семья Сурикова очень беспокоится за те произведения, которые еще остались у них. Остроухов просил меня, нельзя ли на время приютить эти произведения в Третьяковской галлерее. И дочь Василия Ивановича — Ольга Васильевна Кончаловская — просила. Я поговорил с товарищами, и мы предложили привезти произведения к нам. У них было два сундука картин, рисунков, альбомов. Я поместил их в кладовой, завалил разным хламом. Когда все в Москве успокоилось, Ольга Васильевна взяла сундуки обратно. В 1937 году в галлерее была устроена выставка всех произведений Василия Ивановича. Многие из того, что мы хранили у себя в бурные московские дни, было доставлено семьей художника на выставку, и посетители видали много работ нашего великого художника.

Михаила Васильевича Нестерова я помню еще совсем молодым, когда он только-только продал Третьякову свою первую картину «Пустынник», написанную им в Уфе, в доме своего отца. За картину Третьяков уплатил 500 рублей, и на эти деньги Нестеров съездил за границу. Затем через год у нас появляется другая большая картина — «Видение отроку Варфоломею». Эта картина вызывала большие споры среди художников и любителей, — особенно много спорили о глазах отрока. Они, как я знаю, написаны с глаз чахоточной пятилетней девочки. Больше пятидесяти лет я знаю Михаила Васильевича, — он на пять лет старше меня, — но все еще дает новые и новые произведения высокой художественной ценности. Последние его работы так же прекрасны, как и первые.

И Репина я знал больше пятидесяти лет. Еще в первый год моей работы Павел Михайлович однажды дал мне письмо и велел отнести Репину. Репин тогда жил близ Новодевичьего монастыря, в Теплом переулке.

Как-раз в это время он кончил картину «Царевна Софья в келье Новодевичьего монастыря» и собирался уезжать в Петербург.

Перед его отъездом Третьяков несколько раз был у него в мастерской, купил много эскизов и за ними послал меня. Репин тогда был еще молодой, слава его только-что началась. Он был полон бодрости, энергии. Он сам помогал мне упаковывать купленные у него вещи, весело шутил, смеялся. Уже тогда заметил я у него особенность: он держал палитру не в левой руке, как обычно все художники, а на ленте через плечо и шею, как лотошники носят свои лотки. И палитра у него была четырехугольная, большая.

Переселившись в Петербург, он бывал в Москве только наездами и, конечно, каждый раз заходил к нам. Работ его становилось все больше и больше, слава его быстро росла. Иногда он спешил так, что работы оставались будто незавершенные. Когда к нам в галерею поступили этюды к его картине «Заседание государственного совета», я невольно обратил внимание на один этюд: головы Горемыкина и Гергардта написаны одним тоном, волосы тоже одним тоном, хотя люди эти совсем разные. Я обратился за разъяснением к И. Э. Грабарю. Он сказал мне, что, действительно, здесь ошибка художника, точно одного тона быть не может. «Но это, вероятно, потому, что у художника было слишком мало времени» — пояснил мне Игорь Эммануилович.

Это, конечно, исключение, — редко встречается у нашего гениального художника даже маленькая фальшь в тоне.

Дольше всего и ближе всего мне пришлось наблюдать жизнь Василия Васильевича Верещагина — нашего великого баталиста. В начале 80-х годов, вернувшись из Парижа, он решил писать серию картин из нашествия Наполеона на Россию. В глухом месте, на окраине Москвы, между селениями Нижние Котлы и Коломенское, на пустыре, пересеченном оврагами, он строит большую мастерскую и при ней квартиру

для себя и семьи. Местность эта в то время была глухая, там бывали грабежи и убийства. Третьяков и мы говорили художнику, что жить там опасно.

— Ничего, я всякие страхи видал! — гсворил Василий Васильевич.

У него были очень большие собаки, которых он привез из путешествий по Средней Азии, собаки, действительно, охраняли его от воров и грабителей.

Мастерскую свою он построил на высоком берегу Москвы-реки, на обрыве; одна стена, обращенная к Москве, была сделана сплошь стеклянной; перед ней был сад, а за садом, точно на ладони, виднелся Кремль. Отряды войск, одетые в мундиры времен 1812 года, с пушками, с лошадьми приходили в сад, и Верещагин писал их сквозь стеклянную стену. В это время он вел жизнь очень замкнутую: ни сам не ездил ни к кому, ни к себе не приглашал никого. Жена его Лидия Васильевна и двое ребят — мальчик и девочка — вот все его общество этого времени. Лишь изредка он приезжал к нам по делу. У него была своя лошадь: зимой маленькие санки, летом — маленькая коляска. Въезжая во двор, он привязывал лошадь у решетки сада. С Третьяковым он дружил, но изредка спорил с ним о войне. Очень было для меня удивительно, что Верещагин, всю жизнь изображавший главным образом войну, ненавидел ее всеми силами души:

— Война — это позор человечества!

У Верещагина во время туркестанского похода был убит брат Александр Васильевич, и свою картину «Забывтый» он писал под впечатлением этой смерти. Когда он устроил выставку своих туркестанских работ в Петербурге и на выставку приехал царь Александр II, ему эта картина не понравилась и еще две — «У крепостной стены» и «Окружили, преследуют». В этих трех картинах, как известно, война, изображена во всем ее ужасе. Угодливые генералы стали говорить царю, что художник сгустил краски. Царь сказал: «Этого не может быть!». И Верещагин тут же вынул из кармана ножик и изрезал все три картины, а потом сжег их

куски. Остались только фотографические снимки и рамы от уничтоженных картин. Он понимал, что, если он оставит эти картины, его закроют, замнут...

Бывая в галлерее, он иногда останавливался у своих работ и вспоминал, когда и где писал их. Он охотно рассказывал нам подробности походов, боев...

На картине «Под Плевною» (30 августа 1877 г.) была изображена ставка верховного главнокомандующего. В этот день справлялись именины царя, и командование решило преподнести ему подарок — взять Плевну. Во время атаки было уложено 30 000 русских солдат, и все-таки Плевна не была взята. Верецагин на картине справа изобразил стол с бутылками шампанского. Командование собиралось отпраздновать взятие крепости.

Верецагин, участвовавший сам в походе, изобразил все, как было. Но картину ему запретили, и столы с шампанским пришлось отрезать, только тогда картина была разрешена. Об этом страшном эпизоде под Плевной сохранилась студенческая песня на мотив «Дубинушки»:

Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату...

Василий Васильевич всегда говорил прямо, резко и смело. Других художников он мало кого любил, а тех, кто придерживался классицизма, ненавидел. Он нам рассказывал, что когда он поступил в Академию художеств и получил задание написать картину на классическую тему, картину он выполнил, но сжег. Он так ненавидел все академическое, что отказался принять звание профессора и академика. Он ценил искусство свободное, независимое. Однажды до него дошел отзыв одного художника: «Верецагин плохо пишет». Он меня подвел к своему этюду — две мужские фигуры в полосатых халатах на солнце — и сказал:

— Пусть-ка попробуют так написать.

Очень ему нравился этот этюд.

Про свою картину «Торжествуют» он рассказывал, что эта картина во

время путешествия по выставкам была прорвана на месте неба.

— Вот пришлось птицу нарисовать, где была дыра, — показал он мне место прорыва.

Однажды Верецагин решил устроить выставку в Америке и попросил Третьякова дать те картины, которые уже были куплены в галлерее. Третьяков никогда картин на выставки не давал, но на этот раз, правда, очень неохотно, но все-таки дал. Выставка в Америке была сделана очень богато, в чисто русском стиле. Служащие были одеты в русские костюмы, в буфете подавался русский чай, на каждый стол самовар. Выставка пользовалась большим успехом. Но когда пришло время уплаты по счетам, то оказалось, что расходы гревывшали доходы по выставке. Администрация наложила арест на картины. Верецагин с трудом выручил картины, принадлежащие Третьякову, а остальные были проданы с аукциона...

Когда Василий Васильевич закончил свои картины из войны 1812 года, он пригласил к себе Третьякова. Помню, Павел Михайлович ездил к нему с Верой Николаевной. Однако ни одной картины Третьяков не купил: он считал их слабее тех, которые уже были в галлерее. Часть картин из этой серии попала к нам уже много спустя.

Между прочим есть у нас в галлерее этюд Шишкина «Сосны, освещенные солнцем», — очень хороший этюд. Третьяков так ценил его, что одно время держал не на стене, а на особом мольберте. Так много солнца здесь, так ярко все!.. Верецагин рассказывал мне историю этого этюда. Однажды Шишкин пригласил его посмотреть новые работы. Между прочим, и этот этюд. Верецагин резко сказал, что этюд ему не нравится, он слишком записан. Шишкин протянул палитру Верецагину:

— Ну, поправьте, как вам нравится.

Верецагин взял палитру, усилил свет солнца и тени на первом плане сосен и на траве, кое-где насадил выпуклые цветочки, ручкой кисти процарапал сучья у сосен, усилил просвет облаков и глубину неба между веток, местами

тронул краской ветви сосен. Эту сра-ву заиграл. Третьяков, увидев его, сей-час же купил и ценил его, как лучшую вещь Шишкина...

С письмами Третьякова я часто бы-вал у Верещагина в Кокоревском по-дворье, возле Кремля, где он жил пер-вое время, и в его мастерской у Коло-менского. Василий Васильевич был все-гда прост и любезен. Он подарил мне свои книги о путешествиях с любезной надписью. Когда умер Третьяков, он все собирался написать нас — меня и Ермилова — в залах галереи.

— Изобразу вас, как вы работаете с Третьяковым.

И не успел.

Отправляясь на русско-японскую вой-ну, он приходил к нам в галерею про-щаться. Уезжал он бодрый, полный сил. И не прошло месяца, — вдруг весть: Василий Васильевич погиб на броненосце «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым. Жена его была так потрясена, что заболела и в боль-нице кончила жизнь самоубийством.

Некоторые художники доставляли Третьякову большую тревогу, особенно Н. Н. Ге. Его картины вызывали очень большие споры. Из-за картины «Что есть истина?» Третьяков выдержал много нападок, выставив ее в начале 90-х годов в галерее. Когда Н. Н. Ге умер, его сын пожертвовал в галерею многие его работы и между прочим «Распятие» («Три креста»). Третьяков решил устроить посмертную выставку работ художника. Мы уже приготовили выставку. Вдруг за три дня до откры-тия из Костромы приезжает директор фабрики Третьяковых. Каждый раз по приезду он обычно заходил в галерею и спрашивал меня:

— А ну покажи, что вы купили с Павлом Михайловичем?

Я повел его в галерею, показал при-готовленную выставку. Директор ужас-нулся.

— Неужели вы будете это показы-вать публике? — спросил он, указывая на «Распятие».

Я сказал, что через три дня выстав-ку откроем. Директор, возмущенный, пошел к Третьякову и прямо заявил

ему, что такую выставку нельзя от-крывать.

— Это не картина, а ужас!

Третьяков смутился. Он обратился к своим служащим:

— А вы что думаете об этой карти-не?

Те ответили: выставлять не следует. Тогда Третьяков приказал отложить открытие выставки, а сам написал пись-ма Льву Толстому, сенатору Кони и другим лицам, прося их высказаться о работах Ге. Как-раз в это время он сильно заболел, — выставка так и не была открыта, а картина «Распятие» была возвращена жертвователю.

Вот картина Неврева «Торг» — поме-щик продает свою крепостную девушку другому помещику. Тяжелая картина! Всмотриваясь в нее, я вспоминаю рас-сказы моих отца, матери и деда о страш-ных временах крепостного права. Эта картина была куплена у Неврева каким-то богатым помещиком, потом она вдруг не понравилась, и помещик выки-нул ее на чердак своего московского дома. Картина была порвана как-раз на лице девушки, которую продают. Воз-можно, что кто-то порвал ее по злобе, кому-то она не понравилась за свой об-личительный сюжет. Третьяков, отыски-вая все, что было написано Невревым, напал и на след этой картины, извлек ее с чердака, отдал знаменитому тогда реставратору Арцыбашеву, и картина теперь занимает почетное место в на-шей галерее. Она стала правдивым до-кументом, изобличающим ужасы старо-го строя. Третьяков сам выбрал для нее лучшее место.

Вот еще работа Неврева: портрет Марии Ивановны Третьяковой — двою-родной сестры Павла Михайловича. Для меня она — живой человек. Она заведывала всем домашним хозяйством Третьякова, так как ни сам Павел Ми-хайлович, ни его жена в домашние дела не вмешивались. И нам, служащим, живущим на «хозяйских харчах», по-стоянно приходилось иметь дело именно с ней: Мария Ивановна кормила нас.

И сколько, вообще, я вижу знакомых лиц на многих и многих картинах! На картине Пукирева «Неравный брак» в

роли шафера за невестой художник изобразил себя... И вообще, вся картина, как я знаю, является отголоском личной драмы художника: невеста с картины должна была стать его женой и не стала. — богатый и знатный старик сгубил ее жизнь. Я еще помню Пукирева красивым, бодрым мужчиной. Конечно, не таким, как он изобразил себя на картине, а все же красивым. Позади жениха стоит художник Шмельков (отдельный портрет его работы Пукирева имеется в галлерее), а за Шмельковым сбоку видна голова рамочника Гребенского. Гребенский был приятелем Пукирева, — у него была столоярная и позолотная мастерская. Когда Пукирев написал эту картину, Гребенский решил сделать для нее раму, «каких еще не было». И в самом деле, он сделал раму, равной которой нет в нашей галлерее. Эта рама уже сама по себе художественное произведение. Она вся резная из цельного дерева — и цветы, и плоды. Третьякову эта рама так понравилась, что он стал заказывать рамы Гребенскому. Для всех этюдов художника А. А. Иванова, например, рамы сделаны им. На другой картине Пукирева «В мастерской художника» художник тоже изобразил себя, а в роли купца-покупателя — известного в то время железнодорожного подрядчика Губонина (владельца Гурзуфа). О Губонине ходило множество смешотворных рассказов. Например, однажды он купил на какой-то выставке бронзовую люстру огромной тяжести. В эту люстру вставлялось сорок пудов свечей. Люстру он пожертвовал в церковь Параскевы в Замоскворечье, где он жил. Но повесить в маленькой церкви такую большую люстру было нельзя — потолок провалился бы. Тогда Губонин ломает старую церковь и на ее месте строит новую, большую, и в этой церкви вешает люстру в качестве паникадила. Он же построил в Замоскворечье самую высокую колокольню с самым большим колоколом, «чтобы гудело на все Замоскворечье». В лице попа, хваливающего икону, на картине изображен поп церкви Параскевы Романовский, а в качестве эксперта-энатока —

учитель рисования одной из школ Замоскворечья.

На картине Литовченко «Царь Алексей и Никон у гроба митрополита Филиппа» художник изобразил в лице Никона известного художественного критика Стасова, а в роли царя Алексея — натурщика Академии художеств. В группе бояр вторым стоит сам художник.

Особенно много знакомых лиц на картинах Репина. В картине «Крестный ход в Курской губернии» в лице полицейского, бьющего нагайкой народ, Илья Ефимович изобразил художника Прянишникова. И этого же художника он изобразил в роли другого полицейского, идущего рядом с купчихой. В роли певчего (с длинной шеей) изображен художник Аполлинарий Васнецов, а в роли гражданина, отгоняющего палкой горбуна, — художник Николай Кузнецов, автор картин: «Объезд владений», «Праздник», «Ключница» и др. Этого же художника Илья Ефимович изобразил на картине «Николай-чудотворец» в роли палача. На картине «Иван Грозный и сын» в лице убитого сына изображен писатель Гаршин. На картине «Перед казнью» приговоренный — художник Первухин.

В 1901 году мне пришлось близко наблюдать, как Репин пишет портреты. Совет галлерей заказал ему большой портрет Третьякова: «Вы хорошо знали Павла Михайловича». Репин решил писать портрет на фоне картин в одной из зал галлерей. Предварительно он сделал много эскизов. Для перспективы он ставил или меня, или Хруслова, или свою жену Северову-Норман, которая вместе с ним всегда приходила в галерею. Позу он выбрал, ту обычную позу Павла Михайловича, когда он рассматривал картины.

— Ну-ка, станьте так! — скажет он, сам поправит мои руки, плечи, отойдет, смотрит долго, потом опять быстро подойдет, еще что-нибудь поправит. Портрет он написал, помнится, дней в восемь. Работал неотрывно, пока был полный дневной свет. Портрет очень похож, но той глубины, как на портрете Крамского, в нем нет.

Художника Крамского Третьяков особенно ценил, как портретиста. Помню, я был еще мальчиком, однажды Павел Михайлович заболел, никуда из дому не выходил, — и мой отец говорил матери, что какой-то художник пишет с него портрет. Это и был Крамской.

Портрет его работы я считаю единственным портретом, на котором так живо изображен Третьяков. При жизни Павел Михайлович не любил писаться — известный портрет работы Репина был сделан уже после его смерти. А тот, Крамского, — с него, в самую лучшую пору его жизни.

Со времени, когда портрет был написан, началась тесная дружба семьи Третьяковых с Крамским. Летом 1876 года Крамской начинает писать портрет Веры Николаевны Третьяковой. Портрет писался на даче, в Кунцево. Сам Крамской с семьей жил в деревне Давыдково и каждый день приходил в Кунцево. А вечером вся его семья бывала у Третьяковых. Я с братом в то время тоже жил в Кунцево у Третьяковых, и нам было очень интересно посмотреть, как работает художник. Но смотреть вблизи нам не разрешалось.

Крамской изобразил Веру Николаевну идущей по тропинке кунцевского парка — с непокрытой головой, в белом платье, с красной шалью на левой руке. Он сделал много эскизов, рисунков, и уже в конце лета, когда все переехали в Москву, он начал писать портрет во весь рост прямо в зале галереи. Вера Николаевна позировала мало. Тогда фотограф сделал большой снимок с Веры Николаевны как-раз в той позе и в том платье, как писал Крамской. Потом уже Крамской писал прямо с фотографии. Начал он писать летом, когда все было зеленое, а кончил осенью, при желтых листьях. Так он и изобразил на портрете осенний пейзаж. Когда он кончил писать, он отдал фотографическую карточку Веры Николаевны моему отцу, а от него карточка перешла ко мне.

И я теперь сравниваю портрет, сделанный художником, с фотографическим снимком. Будто все одинаково, а какая глубокая разница!

Но Третьяковы были недовольны этим портретом, и Крамской в следующее лето переделал его. И еще раз переделывал, но все же портрет не удовлетворял семью Третьяковых и в галерею долго не был выставлен. Еще через год Крамской сделал там же, в Кунцево, новый портрет с Веры Николаевны — небольшой, поколенный, в кресле. Этот портрет считался лучшим. Сначала все три портрета Третьяковых висели в жилых комнатах и только после смерти Крамского их перенесли в галерею.

На картине «Неутешное горе» Крамской изобразил свою жену Софию Николаевну и гроб своего умершего ребенка. Очень интересно здесь то, что, несмотря на большое горе, Крамской имел силу написать эту картину.

Большие рассказы сохранились в моей памяти о картине Крамского «Лунная ночь». Картина была написана в Петербурге, где на даче жил С. М. Третьяков с женой Еленой Андреевной. Как я уже говорил, Сергей Михайлович, в противоположность Павлу Михайловичу, вел жизнь чисто великосветскую, вращался в аристократических кругах. Жена его была особа довольно странная. Например, она не выносила колокольного звона. А в Москве в то время колокольного звона было очень много. И на беду возле их дома на Пречистенском бульваре были две церкви, в которых с раннего утра начинали звонить колокола. Сначала Елена Андреевна посылала попам просьбу, чтобы не звонили. Один поп слушался, приказывал звонарю прекратить звон. А другой, наоборот, приказывал звонить еще сильнее. В доме во всех комнатах были сделаны толстые ставни из ваты. Перед обедней и всенощной слуги закрывали ватными ставнями окна, а звон все-таки доносился. И главным образом поэтому семья Сергея Михайловича избегала Москвы, жила больше в Петербурге, Петергофе и Париже. Увидев картину Крамского «Лунная ночь», Сергей Михайлович купил ее. На картине в то время была другая женская фигура. Сергей Михайлович попросил Крамского вместо натурщицы

написать его жену. Крамской с неохотой согласился. Так картина «Лунная ночь» превратилась в портрет Елены Андреевны Третьяковой. И тут опять каприз: она не пожелала изменять название картины,—так осталась «Лунная ночь». Картина до смерти Сергея Михайловича находилась в его доме на Пречистенском бульваре и только после его смерти перешла вместе с другими картинами в нашу галерею.

На неоконченной картине «Осмотр старого дома» Крамской изобразил себя,—я помню, зимой он именно так ходил, в глубоких калошах, в коротком теплом пальто. Эту картину Третьяков приобрел уже после смерти художника. Помню, Третьяков особенно любил работу Крамского, сделанную в Ментоне: «Крамской пишет портрет своей дочери». Он считал эту работу своим ценнейшим приобретением, очень берег ее, в свободное время часто подходил к ней, любовался. И все художники признавали ее очень ценной. Почему-то теперь эта работа снята с экспозиции галереи.

Года этак с 1923-го у нас стали вешивать на стенах объяснения к картинам, сначала коротенькие, потом длиннее, длиннее. И на бумаге, и на холсте, и на стекле. И под картиной, и над картиной, и сбоку. Потом даже стали подвешивать на проволоках к потолку. Так все залы запестрели,—не столько картин висело, сколько разных записок да пояснений. Войдет посетитель в зал и не знает, то ли записки читать, то ли картину смотреть. А записки были разные. Иногда случалось так, подойдет посетитель ко мне и тихонько спросит: — Послушайте, почему у вас так много мусора висит на стенах?

— Какой такой мусор?

— Да вот эти записки с объяснениями.

Тут и не знаешь, то ли смеяться, то ли призвать этого гражданина к порядку, чтобы он не называл записки мусором. Ну, вскоре вышел приказ: снять всякие надписи, картина должна говорить сама за себя, а объяснения дадут наши опытные экскурсоводы.

Одно время очень печально мне бы-

ло, когда в галерею стали покупать произведения крайних левых «художников». Я понимаю так: художник должен владеть и формой, и краской, и итти от жизни, хоть какой ни будь он мечтатель и сказочник. На картине все должно быть понятно, чтобы сердце трогало.

А тут пошли произведения очень даже странные. Наклеит «художник» на холст глиняную тарелку или железное колесико, прилепит петушиное перо или бутылку и стекло привяжет проволокой,—вот это «картина». А краски иной раз налепит так, будто из тюбика выдавил кучей и дал засохнуть. Смотришь, точно разрезанный арбуз, а читаешь подпись, это не арбуз, а «Балерина перед зеркалом». Было одно такое «произведение», что дом был кверху дном, а лошадь ногами кверху. Или какие-то крючки и загогулины нарисованы, тут же прибит башмак. И подпись: «Мальчик играет на скрипке». Одно время у нас два зала внизу были заняты такими «произведениями». И вот зритель после Сурикова, Репина, Перова, Александра Иванова, других великих наших художников спускается в эти залы и просто в ужасе:

— Это что же такое? Почему здесь повесили старые башмаки и разбитые тарелки? Безобразия!

Ну, конечно, мы, само собой, должны объяснить: это «новое направление» в искусстве, и ежели вам, товарищи посетители, непонятно, то это только ваша вина. А экскурсоводы прямо из сил выбивались, разъясняя посетителям такое «искусство».

Иные посетители прямо зубами скрежетали.

Раз во время очередной уборки да перевески вхожу я в зал, где висели такие «произведения», — смотрю, нет одного.

— Батюшки мои, пропажа!

Я — туда-сюда, к вахтеру, к уборщицам: где такая-то картина?

Уборщицы на меня: никакой тут картины не было.

— Ну, произведение?!

— И произведения никакого не было. Лежала тут железная воронка старая,

на доске прибита пивная бутылка с проволокой.

— Да это же и есть «произведение»! — закричал я. — Где оно?

Уборщицы растерялись.

— Мы, — говорят, — выбросили все в мусорный ящик...

Я, как ошпаренный, побежал с ними к мусорному ящику. Ну, и воронка, и доска, и бутылка с проволокой были целы. Мы притащили все назад, приладили, повесили на место, — висит, «произведение»! И подпись «художника» особенно четка была внизу... впрочем, не стоит называть этого «художника».

А года через три получено было распоряжение: снять весь этот мусор. И сняли. С большим удовольствием сняли!

Я — не против новой живописи или против нового искусства. Напрасно некоторые меня обвиняли, что я «остановился на Маковском». Нисколько! Искусство растет, развивается, ищет новых форм. Когда я пришел в галерею, у нас были только передвижники, ну и художники первой половины XIX века — Брюллов, Венецианов, Щедрин... И портретисты — Левицкий, Аргунов... И когда появились такие новаторы в искусстве, как Нестеров, — споров было много. Особенно помню споры из-за картины «Видение отроку Варфоломею». И даже о «Пустыннике» спорили. Многие «знатоки» не признавали такой живописи. А уже художников из «Мира искусства» и совсем не считали за художников. Ни Врубеля, ни Головина, ни Сомова. Против них в московской городской думе был поднят протест. А теперь попробуйте отрицать Врубеля или Сомова! Почему их признали? По-

тому что тут истинное искусство. А там — фокусы, умничанье, поленья да пивные бутылки... Люди ни формой, ни краской владеть не умеют. А какой же художник без формы и краски? Нет, я за пятьдесят восемь лет работы много видел и многое понял. И картину знаю. Левитан, конечно, — огромный художник, и очень я люблю его, но если сравнить его воду в «Над вечным покоем» или в «Омуте» с водой на картине Остроухова «Сиверко», то левитановская вода куда суше остроуховской!

Это понять надо.

Когда я теперь смотрю на десятки тысяч людей, посещающих нашу галерею, мною овладевает большая гордость. Третьяковская галерея на моих глазах из маленького любительского собрания выросла в национальную галерею всей великой страны. Советский народ гордится ею. Мне 72 года, и уже недалек день, когда моя жизнь оборвется. У меня не было никогда семьи — ни жены, ни детей, родные мои давным-давно померли, и все, что есть на свете дорогого и близкого мне, — это галерея и ее картины. И я люблю тех, кто приходит к нам. Ах, как много их теперь стало! Как же мне не гордиться? Я волей или неволей всю жизнь проработал здесь, посильно помогал собирать, хранил картины, ухаживал за ними. Нет в галерее ни одной картины, к которой бы не прикасались мои руки. Каждую я хранил от пыли, от мух или сам вешал на стену, или помогал вешать. Я сознаю и чувствую: капля моей крови есть в деле создания нашей национальной галереи. Моя жизнь прожита не напрасно!

Университет миллионов

НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИН

★

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ

Каждому советскому человеку, будь он профессор или молотобоец, генерал или лесоруб, прежде всего нужно знать основу социалистического единства народов своего отечества, — Сталинскую Конституцию, — и посещение Главного павильона выставки открывает страницы этой великой книги.

Огромное панно при входе в этот павильон показывает, как страна идет выбирать свою высшую власть — Верховный Совет. Колхозница с перекинутым через плечо золотисто-червонным снопом пшеницы выступает в первом ряду, ребенок идет рядом, уцепившись ручонкой за материнский локоть; моряк в поднебесно-синей, с белыми полосками, тельняшке; девушка с букетом цветов; железнодорожники, красноармейцы, ученые, шахтеры, сталевары, пахари, ткачи и чабаны, народы многомиллионного Советского Союза во всем многообразии своих одежд — проходят с портретами своего любимого вождя, творца простой и мудрой программы человеческих прав на счастье.

Здесь, в Главном павильоне, показаны вкратце все республики нашего Союза. Каждый стэнд — будто волшебное окно...

Вы идете вдоль стены высокого двухсветного зала и, останавливаясь поочередно перед каждым, раскрытым в мир окном, видите ту или иную страну, республику советов, со всеми характерными признаками ее пейзажа, неба, ветра и облаков.

Пестрые толпы людей обычно начинают осмотр выставки с этого именно павильона.

Приходя рано утром и уходя с последним сигналом окончания выставочного дня, я видел здесь богатейшее людское многообразие моей родины.

Сюда шли славные пахари, садоводы, мастера виноделия, чародеи чудесных игристых напитков, искусные выращиватели невиданных дынь и арбузов, шелководы, хлопководы, табаководы, выхаживатели чая, роз, риса и кукурузы, воспитатели льна и конопли, картофеля, капусты, нежинских продолговато-зеленых и муромских белогубых огурцов, опытные сеяльщики проса и гречи, кощы клеверов и заливных луговых трав, сыровары, маслоделы, доярки, свиноводы, конюхи и наездники, художники тканей и ковровых узоров, — всех перечислить трудно, — и вместе с ними шли рабочие промышленных предприятий, бойцы и генералы Красной армии, витязи воздуха, моря и подводного царства, художники, писатели, артисты и работники кино, охотники и рыбаки.

Они шли смотреть и учиться и делиться друг с другом своим опытом, соревноваться, спорить и удивлять.

«Бывает и так, что новые пути науки и техники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди, а совершенно неизвестные в научном мире люди, простые люди практики, новаторы дела».

Так сказал Сталин.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Наша земля больше не может жить без колхозов, как колхозы не могут жить без земли. И чем лучше колхоз, тем лучше его земля. Чем культурней, чем устойчивей колхозные кадры, тем культурней его хлеба, тем устойчивей урожай.

Устойчивые колхозные кадры есть результат большевистской заботы о людях. Ведущая роль коммунистов в колхозном производстве показана здесь наглядно и убедительно.

Задача третьей пятилетки — «обеспечить посевы зерновых и других культур исключительно высокосортными и улучшенными отборными семенами как селекционных, так и местных сортов» — говорится в резолюции XVIII съезда партии, и это решение проводит- ся неуказательно в жизнь.

Посетителю выставки наглядно показана огромная роль партии в деле улучшения сельского хозяйства и ее повседневные заботы о земле.

Еще Энгельс сказал, что производительность земли может быть бесконечно повышена. И советская наука, а вместе с наукой и люди практики, работают, не покладая рук, над повышением производительности земли и улучшением ее природных качеств.

Исследовано почв свыше 340 миллионов га для сельскохозяйственного производства. Более 72 миллионов га почв изучено для применения удобрений.

По материалам выставки люди изучают, как проводятся правильные севообороты, зяблевая вспашка, поднятие чистых паров, сортовые посевы многолетних трав; какие огромные работы проведены по орошению и какие планы намечаются в этой области на ближайшее время. Одним Куйбышевским гидроузлом будет орошено более четырех миллионов га; это даст в советские закрома лишних девяносто миллионов центнеров зерна ежегодно.

Посетитель выставки видит, как воля и настойчивый труд советских людей превращают в культурные почвы бросовые земли и болота, как осваиваются

целинные земли, как советская наука, рука об руку с замечательными людьми практики, дает социалистическому земледелию лучшие сорта сельскохозяйственных культур.

ЗЕЛЕННЫЕ ДЕННИКИ

Живые экспонаты — высокие кровей конь, корова, свинья или курица — благополучно прибывают в Москву на территорию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и получают уже готовое помещение со всеми удобствами.

Еще легче доставить кочан капусты, виноград и даже дерево.

Но как быть с хлебом? Как поступить с растением на корню, которое нужно показать в процессе развития, в натуре?

Знаменитую пшеницу, рожь или ячмень, выведенные колхозной и совхозной землей и давшие рекордные урожаи, перевезти в Москву гораздо сложнее, чем оленя, коня или зеркального карпа. Хлебное растение не выведешь из стойла, на него не наденешь уздечки, чтобы в поводу ввести в товарный вагон. Оно цепко ухватилось за родную почву всей своей сложной корневой системой, а подрезать целый кусок земли, какую-то часть пашни и вместе с хлебом погрузить на платформу, — тоже нельзя. Хлеб же в зерне не дает такого наглядного представления о характере своего произрастания, как хлеб на корню, в натуре. Здесь он, как занятая книга, которую хочется повторять и перечитывать.

И вот на выставке, перед павильоном «Зерно», есть целое поле хлебов, так называемые сортопоказательные участки, поля экспонатных посевов, зеленые денники тонкостебельных колосистых гостей.

Колосящийся буйно растущим хлебом игрушечный участок, отведенный экспонату, строг и серьезен, как настоящая нива; над каждым участком, на тонком шестке красуется дощечка с указанием имени колхозника или колхоза, селекционной станции и т. п., а также сорта и вида растения.

Вот работа доктора биологических

наук т. Бреславца, Ботанический сад МГУ. Высокая, выше пояса, кустистая озимая вятская рожь, подвергнутая перед посевом воздействию лучей Рентгена. Рядом — озимая рожь Нефедова, Кузнецкой опытной станции. Выведена путем естественной гибридизации нескольких сортов.

А вот озимая рожь, — тоже «вятка», — выведенная рядовым колхозником А. Ф. Фахрулиным из колхоза имени Калинина, Илишевского района, Башкирской АССР; эта рожь дала в 1938 году урожай в 32,5 центнера с одного гектара. Или озимая пшеница колхозницы Е. И. Трыхтанкиной из колхоза «Красная звезда», Рязанского района, давшая в 1939 году 34,42 центнера с га.

Большой ветер большой страны проходит над выставкой. Он ударяет тугим крылом в красные паруса флагов, — флаги здесь огромны и величавы, — и, опускаясь на лету, задевает зеленые страницы волшебных книг, листая их ласково, за уголок. Вот шелестит красавица «белоколоска», озимая пшеница, выведенная колхозником П. Ф. Сергеевым из колхоза «Новый бор», Борецкого района, Ленинградской области. Она зимостойкая, устойчивая против осыпания.

Хорошо идти по дорожке между этими высокими хлебами и думать о своей великой стране и ее великих — заметных и незаметных — людях.

А хлеба растут и шумят, шумит пшеница «украинка», «ульяновка», «кузнецчанка», «безенчукская желтозерная», «безенчукская зимостойкая», «новозыбковская», «елисеевская» и знаменитая тяжелоколосная «лисицынская» Шатиловской селекционной станции. Когда узнаешь о местах распространения этих высокородных хлебов или, как здесь говорится, местах районирования, когда слышишь о том, сколько земель засеивается в нашем Союзе тем или иным сортом, цифры очаровывают.

Необозримые пространства нашей родины покрыты сейчас этими прекрасными хлебами, над которыми опржекнуто синее небо и летят по небу полногрудые кучевые облака. Шумит по хлебам радостный ветер.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ-ОВЕС!

Там, где начинается овес, начинается песня про хлеб, про коня, про смелость и удале способного русского человека. Овес — самый древний, самый дородный, искони-русский злак. Он — и в песне, и в сказке, и в пословице, и в прибаутке. Когда идешь по овсам, слышишь старинную русскую песню, а за ней, в ковьялах, татарскую волюнку, и, как живого, чуешь возле себя коня, под тяжелым чепраком, сытно накормленного, ладно оседланного.

Вот он, знаменитый «шатиловский», тонкопленчатый, крупнозерный, солидный, тяжелый, — «якористый», как говорят знатоки. Сеют его в северных нечерноземных областях европейской части Союза, на Урале, в таежных предгорных районах Сибири и многих других местах нашей родины. А вот овес «золотой дождь», вот «тулунский», который устойчив против самых низких температур Бурят-Монголии, Читинского и Красноярского краев. По выносливости и привычности к холодам с ним соперничает овес «енисей», районированный в самых суровых местах Восточной Сибири.

А вот более нежный, позднепелый киевский — «магистраль». Однако и он не боится морозов и успешно растет в Кировской области, как сосед его «местный одногривый», культивируемый в Марийской и Удмуртской АССР и Молотовской области.

В тесную гущу советских овсов затесался американец «маркитан», выведенный в США и улучшенный на таджикской селекционной станции. Он — скорспел, засухоустойчив и крупнозернист, как «шатиловский». И рядом с американцем гордо кустится русский «голозерный Осипова», выведенный колхозником Осиповым в колхозе «Победа», Кузнецкого района, Пензенской области. Он стеблист и густозерен, не уступает другому своему иноземному соседу — «баннеру», вывезенному из Канады и улучшенному сейчас на Амурской селекционной станции.

По-особенному выглядят три участка с краткими, порхающими над ними над-

писями: это три родственных сорта, может быть, таких же древних, как русский овес-князь, но здесь они совсем новички, три зеленых брата: «осмо», «пельсо» и «кюто». Они выведены в Финляндии и в первый раз в жизни попали на советскую землю. Они урожайны, особенно в заболоченных почвах, слабо легают, влаголюбивы и не боятся холодов. Районируются в Карело-Финской республике.

Солнце идет к закату. Ветер стихает. Слышно, как на главной площади шумят фонтаны. Дорожки между хлебами становятся золотисто-розовыми.

По правую и левую руку нежно шестит уже пошедшая в колос яровая пшеница «ледовка мягкая» из Белоруссии, «вологдская», «красноколоска», которую сеют в Чувашии, Башкирии, знаменитая «гирка» из Ростовской области, «дельсти» из Армении, «сурхан» из Таджикистана и, наконец, «дика мягкая, скороспелая» — красивое детище плодородных долин Грузии.

Какое богатство, какое разнообразие хлебов и мест, где они произрастают! Велика, необъятна наша родина!

БОРЬБА ЗА ХЛЕБ — БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Этот исторический лозунг Ленина — над центральным стэндом первого, так называемого здесь «вводного» зала павильона «Зерно», одного из семи просторных зал, которыми располагает этот гигантский павильон. Площадь его равна 3 300 квадратным метрам.

Я познакомился с группой колхозников Калининской области и с ними прошел по всему павильону. Молодой экскурсовод, студент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, давал нам пояснения, останавливаясь перед стэндами, фотомонтажами, экспонатами сортового зерна и моделями всевозможных сельскохозяйственных машин и установок.

Рассказывая о знатных людях страны — колхозниках, комбайнерах, ученых и трактористах — он называл их по имени и отчеству, как старых своих знакомых.

— Михаил Ерофеевич Ефремов, — говорил он, — называется разведчиком сталинских урожаев. Он не какой-нибудь маститый ученый, он колхозник из колхоза «Искра», Алтайского края, однако, имя его известно теперь не только всей нашей стране, но и за границей. Михаил Ерофеевич не один. Звеньевая Сергея Александра Сергеевна, колхозник Чуманов также прославили свою родину.

— Это что же, такие орлы все из одного колхоза? — спросила старая колхозница с завистью.

— Нет, — сказал экскурсовод. — Это не из одного колхоза, а со всей Сибири...

Приемы работы Ефремова самые простые: строгий отбор семян. Он выбирает самые лучшие, самые ядреные: глубокая заделка зерна, — не на три сантиметра, как практикуется, а на восемь-девять, потому что верхний слой почвы скоро высыхает, а в глубине сохраняется влага; когда растение сильное, что само собой разумеется, если заложены отборные семена, то ему нужно дать и обильное питание. Отсюда — подкормка. Подкормку он производит три раза: на всходах, перед кущением и после кущения; подкормку можно производить простейшим способом, — какая-нибудь бочка на двух колесах или даже подконопаченный ящик, туда наливается навозная жижа, которая через небольшие отверстия внизу вытекает на пашню.

Часто во время пояснительной беседы экскурсовода можно было слышать замечания:

— Вот, вот, именно...

— Мы тоже так...

— И у нас...

Высеивает Ефремов зерно не по условному весу на га, как принято, а по количеству семян: 500—700 зерен на квадратный метр, причем заботится о том, чтобы зерно ложилось как можно ровней.

Сейчас Ефремов работает над разрешением вопроса о так называемой «скороспелой залежи», т.е. вместо того, чтобы, создавая отдых земле от хлебов, засеивать ее травами, на что требуется

3—5 лет, он заставляет отдыхать землю и набираться новых сил под злакобобовыми, на что требуется только два года.

Все, что мы узнали о работах Ефремова и его товарищей, наглядно показано в павильоне.

В зале механизации группа остановилась перед огромной картиной, на которой изображена бедная пахота в старой царской России. Тощая, выбившаяся из сил кляча, запряженная в соху, поникла, свесив голову к бурой и комковатой земле.

— Вот, — указал экскурсовод на картину, — мы, молодежь, уже и не знаем теперь, как пахали сохой, негде посмотреть. Сеяли, тоже говорят, из лукошка, а сейчас — агрегатом из шести сеялок. Или возьмите уборку. Жали хлеб серпом... Доля ты! — русская долушка женская!.. А сейчас убираем комбайнами. Агрегат знаменитых братьев Оськиных состоит из сцепки двух комбайнов «Сталинец» и заменяет при уборке 300 человек и 150 лошадей.

— В Павильоне механизации, — продолжал экскурсовод, — вы видели машины, сотни разнообразных советских машин, а здесь, в зале механизации павильона «Зерно», мы видим, как при помощи этих машин получается высокий урожай. В 1919 году Ленин мечтал иметь сто тысяч тракторов, а мы сейчас уже имеем пятьсот тысяч тракторов и не останавливаемся на этом, будем иметь еще больше!..

Мы шли дальше. Слушали о достижениях селекционных станций, о сортовых посевах. Колхозники интересовались, какой процент сортовых посевов имеют отдельные области в общей площади высева.

— А вот посмотрим, — сказал экскурсовод, подходя к большой карте СССР. Он нажал кнопку, и на карте, на месте Калининской области, вспыхнула световая цифра 64.

— Вот видите, ваша область высевает 64 процента сортовых семян. А с кем соревнуетесь?

— С Ленинградской.

— Посмотрим Ленинградскую.

— Ну-ка, ну-ка!

Вспыхивает на карте световой знак 60.

— Значит, у вас больше на 4 процента. А вот Крымская АССР имеет 98 процентов. Она стоит на первом месте в Союзе.

— Нельзя ли посмотреть Московскую область? — просит кто-то из группы.

— Пожалуйста. — И световые знаки показывают 63.

— Обогнали и Московскую на 1 процент.

— Не намного.

— Ничего. К концу третьей пятилетки мы непременно будем стараться завоевать все сто, — говорит бородатый тверяк и записывает что-то себе в блокнот.

Дальше экскурсовод подробно объясняет колхозникам устройство однозерной сеялки для селекционных и опытных станций, знакомит группу с работами известной всем Моршанской селекционной станции по травосеянию и переходит, наконец, к знаменитым опытам советских ученых — Цицина, Державина и Лысенко, к интересной работе колхозника Осипова с голозерным овсом.

— Объясните нам скрещивание растений, — просят колхозники.

Молодой человек подходит к большой, метра в два высоты, модели пшеничного колоса. Приподымает краешек его одежды — зеленую чешуйку, — обнажая органы зачатия, цветков.

— Вот видите — это мужские органы зачатия, тычинки, а вот пестик, — это женские органы. Когда в них попадает мужская пыльца с тычинок, растение оплодотворяется. При скрещивании делается иначе: мужское начало из цветка удаляется, тычинка срезается, т.е., проще говоря, колосок кастрируется временно, а в пестик вводится пыльца с пырея, от другого отца. Таким образом, в растение вводится новая кровь, и оно, следовательно, дает новое потомство.

Колхозники слушали с глубоким вниманием, серьезно переглядываясь, только один бородач улыбнулся:

— А у нас ведь считали, будто подрезают колосок и надставляют.

Много говорилось о работах Лысен-

ко, о его приемах и научных методах яровизации, имеющих большое значение для нашей страны, о внутрисортном скрещивании для обновления семян.

Эти работы сначала производились на небольших опытных участках, а теперь ими занято более 15 000 колхозов.

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА

От павильона «Зерно» открывается просторная площадь, за которой красуется дугообразный и стройный, как чудесный мост, весь стеклянный Павильон механизации.

Перед павильоном, в центре площади, возвышается гигантская скульптура самого великого и самого простого советского человека, чьей мудрой волей вдохновлялось создание этого замечательного всесоюзного университета.

В Павильоне механизации представлены семнадцать заводов сельскохозяйственного машиностроения, четыре автомобильных завода, четыре научно-исследовательских института, не считая многих других экспонентов.

Здесь показаны образцы более трехсот машин: тракторы, комбайны, сеялки, веялки, жнейки, плуги и бороны, машины по обработке хлопчатника, сахарной свеклы, льна, конопли, картофеля и бахчевых культур, машины по удобрению почв, раскорчевке, по борьбе с вредителями сельского хозяйства, автомобили, вездеходы и самолеты.

Многие машины приводятся здесь же в действие, и группы людей с глубоким вниманием изучают их работу.

Одни интересуются глубокой вспашкой, правильным разбросом семян, другие — скоростями, чистотой работы комбайнов и льнотеребилок, а третьи — просто любят красоту и точностью отделки советских машин.

Все, что мы видели в павильоне «Зерно», все, что увидим во многих других павильонах, все это обязано своим существованием замечательной советской машине и человеку, который ее сделал и ею управляет.

«Реконструкция нашего земледелия на основе новой, современной техники — уже завершена в основном».

Так сказал Сталин, и эти несколько сотен разнообразных, сверкающих на солнце машин служат могучим подкреплением великих слов.

ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ

На фоне светлого, как раннее утро, цветущего сада — бронзовая фигура гениального советского ученого, новатора и революционера в науке, великого садовника Ивана Владимировича Мичурина.

Здесь, в павильоне, струится тонкий аромат яблок, лимонов и апельсинов.

Сверкают красками в решетках черешня, сочная ягода — клубника и земляника, достигающая величьи грецкого ореха. Сравнение с орехом напрашивается естественно: орехи лежат рядом, их здесь более пятидесяти сортов, — золотисто-каштановый «барселонский», рыженький «гальский», точеный, как мытые морем камешки, «ордубатская смесь» и крупный рубцеовато-овальный «грецкий».

Рука гениального садовника Мичурина незримо помогает разобраться в сложных тайнах научного садоводства и плододоводства. Стэнды рассказывают, как великие опыты по преобразованию природы претворяются в жизнь, внедряются в практику колхозов.

Перед посетителем раскрываются интереснейшие факты гибридизации плодовых деревьев. Нежным вкусом, сочностью и ароматом славится груша «бере-рояль». Но она живет в южной Франции. Она хрупка и теплолюбива. В суровых условиях многих наших областей она не привьется. И вот ученый находит выход: он берет уссурийскую дикую грушу; выносливую, морозоустойчивую. Это — мать. От нее, суровой и привычной к холодам, и нежного теплолюбивого отца «бере-рояль» родится дочь, унаследовавшая от матери выносливость и неприхотливость, а от отца — сочную нежность вкуса и южную красоту.

Так работал Мичурин над созданием новых видов плодов, обогативших советские сады.

Посетители павильона, знакомясь с опытами и достижениями прославлен-

ных и рядовых людей, ученых и практиков, в то же время видят факты большого политического значения: положение Мичурина в царской России и положение его в Советской стране.

Нельзя без волнения читать телеграмму Совнаркома тамбовскому губисполкому о том, чтобы губисполком срочно прислал обстоятельные сведения об опытах и работах Мичурина в Козловском уезде для доклада председателю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину.

Это было в 1922 году. Страна боролась и крепла в борьбе и побеждала.

В 1934 году Мичурин пишет Сталину о том, что советская власть превратила маленькое, начатое на жалком приусадебном участке земли дело, — в центр промышленного плодоводства и научного растениеводства, с тысячами гектаров садов, великолепными лабораториями, кабинетами, с десятками высококвалифицированных научных работников; о том, как руководимая Сталиным партия превратила самого Мичурина из одиночки-опытника, непризнанного и осмеянного официальной наукой и чиновниками царского департамента земледелия, в руководителя и организатора опытов, — и благодарит за полученную им высшую награду: орден Ленина.

И тут же рядом посетители читают знаменательное письмо, до глубины души взволновавшее гениального садовника, — письмо великого Сталина:

«От души приветствую Вас, Иван Владимирович, в связи с шестидесятилетием Вашей плодотворной работы на пользу нашей великой родины. Желаю Вам здоровья и новых успехов в деле преобразования плодоводства. Крепко жму руку.

И. Сталин».

Опыты Мичурина — румяные плоды «бель-флер китайки», янтарно-душистая груша «бере-рояль» и многие другие виды выращенных им плодов — не только предмет науки, это не тепличные неженки: они пошли по нашей земле — в колхозы и совхозы, они цветут и плодоносят под Москвой, в Рязани, на Волге, в Белоруссии и в далекой Сиби-

ри. Это имел возможность увидеть еще при жизни великий преобразователь природы.

«Сбывается мечта всей моей жизни. Выведенные мною новые ценные сорта плодовых растений двинулись с опытных участков не к отдельным кулакам-богачам, а на массивы совхозных и колхозных садов».

ПО УЛИЦАМ, АЛЛЕЯМ И САДОВЫМ ДОРОЖКАМ

Садится солнце за стеклянной дугой Павильона механизации, за красными парусами нашумевших за день флагов, за черными зубьями останкинских елей.

С глубоким волнением вступает посетитель на территорию отдела «Новое в деревне».

Белый домик с большими окнами приглашает заглянуть в него своей гостеприимной чистотой и открытой враспах дверь. Это сельсовет. В нем же помещаются почта, телеграф, телефон и сберегательная касса.

Дальше — клуб с небольшим, уютным зрительным залом, с библиотекой-читальней, комнатами для занятий кружков.

Еще дальше — родильный дом, детские ясли. Окруженное соснами светлое здание школы. Напротив, через улицу, — длинный ряд служебных колхозных построек: мастерская по ремонту сельскохозяйственных машин, пожарный сарай и т. д. За ними начинаются коровник, свинарник, птичник.

Все это не только показывается, как в музее, — все это живет, движется и дышит, работает.

На территории этого раздела выставки показано то новое в нашей колхозной деревне, — сельсовет, клуб, родильный дом, ясли, мастерские, службы, электричество, ветродвигатель, — чего не было никогда и нигде в старой царской деревне.

Здесь есть чем заинтересоваться, есть чему поучиться. И, обходя чистенькие домики-павильоны, показывающие новую, по-советски культурную деревенскую жизнь, посетителю хочется видеть

перед собой и самое жилье колхозника, учебу и отдых его ребят, занятия, работу и развлечения — здоровый спорт — колхозной молодежи и свободный, не подневольный, труд на свободной земле.

В стороне, по широкому кругу, проводят рогатый молочный скот, застоявшийся за день на привязи. Песок на кругу был влажен от недавно прошедшего дождя. Красавицы ярославки и холмогорки выступали медлительно, оставляя в песке печатки копыт. Молодая скотница вела на поводу быка. Замшево-серая бугровина его хребта была много выше ее головы, торчащие вкось рога отливали бронзой. Седой подгрудок мотался, почти доставая до земли. Можно было залюбоваться, как маленькая сероглазая женщина ведет такое чудовище, обладающее живым весом более 1 000 килограммов.

Конюх в синей спецовке вывел из конюшни нежносерую, почти голубую кобылу, рысистую, тонконогую, и увел ее мимо круга по боковой дорожке в зеленые сосны. Вскоре из другой конюшни и на другую дорогу два конюха выставили на двух тесьменных концах жеребца, такого же нежносерого, почти голубого, как матка. Но он был выше ее, лебединая шея еще тоньше, сам он казался подбористой и стройней, весь — одно горячее дыхание, один перебор волнующихся ноздрей и чутко стригущего уха. Жеребец попробовал повода, чуть-чуть дернув вправо и влево, метнул огненным глазом на конюхов и, присанившись, — отчего он стал еще красивей и легче. — залиvisto заржал.

★

Группа колхозников остановилась у скульптурного изображения лошади с жеребенком и коровы, против павильона «Животноводство».

— Гляди-ко, — указала на корову женщина, — совсем, как наша Купава.

— А ведь верно ты говоришь. Очень схожа, — подтвердил мужчина.

Двое других колхозников разглядывали лошадь и жеребенка.

— Жеребенок ни дать, ни взять наша Забава, вороненкая, а кобыла — портрет нашей Ласки. Верно я говорю?

СОКРОВИЩА ПЕРЕДОВОЙ НАУКИ

Богатства выставки неисчислимы. Чтобы видеть все, там нужно жить. Учиться там можно на каждом шагу, на каждом метре. Любоваться сокровищами выставки — каждую минуту. Любить и восхищаться ею — все время, непрестанно. Там есть чудные пруды с водоплавающей птицей, там есть водоемы с бобрами, есть водные уголья с зеркальным карпом. Там есть лошади, верблюды, черные и серебристо-черные лисицы, олени, лоси, изюбри, козы, овцы, свиньи, куры, пчелы и почтовые голуби.

За прудами, на горке, есть клетка, в которой царует громадный беркут Ак-Гык, привезенный из Казахстана знатным охотником Естей Утенбергеквым.

По левую сторону от Павильона механизации начинаются сады — сотни яблонь, груш, вишен, слив и ягодника. Многому можно учиться в павильонах «Хлопок», «Лен и конопля», «Шелководство», «Овощеводство», «Животноводство», «Нефть», «Торф», «Сахарный завод» и др.

Я не говорю уже о павильонах отдельных республик, где каждая республика принесла плоды своей земли и своего свободного труда на показ, учение и восхищение всего советского народа.

Выставка способствует тому, что колхозники, наглядно изучив, скажем, содержание скота на образцовой ферме, улучшают у себя уход за скотом, а следовательно, улучшают и его качества: раздаивают коров, пересматривают вопрос о сезонности отела, подсаживают или подслащивают корм, чтобы вызвать у животного больший аппетит, и т. д.

Вот что сказал звеньевой колхоза села Елизаветполь, Днепропетровской области, Иван Семенович Евченко:

«Свое пребывание на выставке я посвятил изучению ефремовской агротехники. Я записывал в блок-нот, как надо почву го-

товить, как сеять, полоть, убирать. Все, чему научился на выставке, применю на практике, чтобы в будущем году собрать с каждого гектара по 50 центнеров озимой пшеницы».

Опыт выставки внедряется в колхозное производство.

Колхозники артели имени Папанина и «Червоный Жовтень», Сталинградского района, по приезде с выставки организовали третью прополку зерновых.

Учеба на выставке повышает культурный уровень людей: они становятся преобразователями деревни.

— У нас в Софьине, — говорят колхозники, Раменского района, Московской области, — раньше не слыхали о высокопродуктивном скоте, а теперь наш колхоз — один из ведущих в Раменском районе. В истекшем году 82 дойных коровы дали в среднем по 4 139 литров молока. Лучшие доярки колхоза — Настя Воробьева, Ольга Прохорова и Матрена Жукова — не остановились на этом. Они ввели новые приемы ухода и корма и получили от коров по 5 000 литров молока.

Доярка Жукова награждена орденом, Воробьева и Прохорова — медалями.

Вместе с посетителями учатся и обогащаются опытом методисты и экскурсоводы выставки.

Вот, например, что говорит один из экскурсоводов:

«Не скрою своего волнения, с которым я приступил вначале к работе. Радость и в то же время робость охватили меня, когда я вывел на середину зала первую группу. Это была группа колхозников с Киевщины.

Уже первая экскурсия многому меня научила. Опыт нескольких дней работы помог мне кратко и ясно говорить, уметь отобрать в павильоне все самое главное, важное, решающее».

Часто объяснение экскурсовода приобретает характер живой, развернутой беседы:

— Я рассказывал группе колхозников Адыгейской области, — говорит он, — у стэнды колхоза имени Сталина аула Чох о том, как передовые чабаны этого колхоза получили к отбивке от ста маток сто двадцать девять ягнят.

Слушавший мои объяснения чабан из колхоза «Свободный труд» Кошехоблянского района заметил, что он сам вырастил в прошлом году от ста маток сто сорок четыре ягненка, а в этом году — сто сорок семь.

Я присоединил свою группу к группе соседнего экскурсовода, и чабан у стэнды «чужого» колхоза замечательно рассказал о методах своей работы.

Это научило меня находить себе помощников из числа посетителей.

Так учатся граждане нашего Союза в этом великом Университете миллионов, в этой сокровищнице передовой социалистической науки, учатся и учат других и, посетив выставку в прошлом году, в нынешнем уже сдают зачеты за пройденное.

«ЧТОБ ВЕСЬ КРАЙ БЫЛ ПОЛОН ХЛЕБОМ!..»

16 июня в 4 часа вечера на выставке открылась новая большая аудитория — павильон Карело-Финской Советской Социалистической республики.

Двенадцатая сестра пришла в наш просторный и светлый, убранный красными флагами и живыми цветами дом, — двенадцатая, родная, села за широкий семейный стол.

Выйдет тысяча колосьев, сотня веток
разрастется,
где вспахал я и посеял, где я много
потрудился,
чтоб поляны украшались, чтоб леса здесь
красовались,
чтобы взморье богатело, чтоб весь край
был полон хлебом.

Эти строки из «Калевалы» вспоминаются в новом павильоне.

Девять больших перелетных птиц, распластав тугие крылья, треугольником идут на север, летят над головой, летят туда, где уже тают непроходимые снега, журчат первые потоки весенних талых вод, спадая в озера, еще затянутые бледно-голубым хрусталем сверкающего на солнце льда.

Это — панно, которое проходит по всему потолку и передней стене павильона. Скульптура женщины со снопом и каменотеса украшают стену справа; сле-

ва — скульптура наших пограничников: стрелка и матроса. В руках у них винтовки и бинокли. Зорко глядят часовые в суровую даль, через сосны и скалы.

При входе в зал — искусно сделанный макет Беломорско-Балтийского канала.

Сменяющиеся один за другим кадры движущегося фото показывают героическую борьбу Красной армии с финской белогвардейщиной: вот наши бойцы пробираются в угрюмом заснеженном лесу, выслеживая врага; вот крас-

ная артиллерия продвигается лесом, сквозь снеговые сугробы; вот два бойца в железных касках укрепляют на новом месте советский пограничный столб.

А девять больших перелетных птиц, распластав дугвые крылья, летят над головой, летят на север, где за белыми скалами и черными соснами восходит солнце, и человек, окончив битву, приступает к мирному труду, «чтобы взморье богатело, чтоб весь край был полон хлебом!».



П. И. Чайковский

А. С. ОГОЛЕВЕЦ

★

Трудно назвать композитора, который был бы более популярен в нашей стране и на Западе, чем Чайковский. Его творчество любят широчайшие массы, его любят все те, кто ищет в музыке безыскусственность, искренность и проникновенность. Музыка Чайковского захватывает взволнованностью чувств и силой мысли, глубиной и мощью своего языка, пробуждая в слушателе лучшие силы души. Сколько знает история композиторов, известных при жизни, сочинения которых забывались на другой же день после их смерти. Чайковский же представляет собою редкий пример художника, чья слава возрастает с каждым годом в неизмеримой прогрессии. Он признан классиком и на Западе. Он сломал узкие локальные рамки своего времени и своей страны и дал в своем творчестве высочайшие образцы всечеловеческого искусства, оставаясь в то же время глубоко национальным русским композитором.

Многое в Чайковском нам станет понятным, если мы будем рассматривать его деятельность сквозь призму его эпохи. Сам Чайковский прекрасно представлял себе, что он «в качестве человека своего века... (выделено мною. — А. О.) надломлен, нравственно болезненен» (1 апр. 1878 г.). Творчество всякого художника отмечено печатью его времени. И Чайковский не хотел, чтобы его творчество рассматривалось вне времени и пространства, — за два с половиной года до

смерти он пишет своему ученику С. И. Танееву:

«Если я в чем уверен, так это в том, что в своих писаниях являюсь таким, каким меня создал бог и каким меня сделало воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны (выделено мною. — А. О.), в коей я живу и действую. Я не изменил себе ни разу. А каков я, — хорош или дурен, — пусть судят другие». Это отнюдь не заявление эмоционального характера. Великий художник, многого не понявший в противоречиях своего века, как мыслитель, понимал, что «каждое произведение искусства, как бы оно ни превышало художественный уровень той эпохи и того общества, в среде которого жил человек, его создавший, неизбежно должно нести на себе печать своего времени». (Музыкальные фельетоны, стр. 20.) Это Чайковский подчеркивает неоднократно в других своих статьях.

Чайковский родился в 1840 году в состоятельной семье директора Воткинского завода и учился в училище правоведения, которое окончил в 1859 году. Надо отметить, что в этом училище, куда принимались только дети дворян, господствовал реакционный дух, ибо правительство пополняло окончившими «правоведами» кадры чиновников, к тому времени «засоренные» разночинцами. Чайковский после окончания училища три года служил в департаменте министерства юстиции и только в 1862

году занялся музыкой профессионально, решил сделаться «цеховым музыкантом».

Это была для того времени совершенно необычайная дорога. Дело в том, что до шестидесятых годов в России музыкального профессионализма, в нашем понимании слова, еще не было. Регулярных концертов на открытой эстраде Россия не знала; музыка не выходила за пределы салонов. Единственным видом профессионального музыкального искусства были опера и балет. Единственными концертами были устраивавшиеся солистами театров благотворительные концерты, где выступали главным образом любители. Подвизались в России, кроме возникших в стране кадров оркестровых музыкантов и оперных певцов, приезжие преподаватели фортепиано. Изредка концертничали гастролеры. Профессионалов же композиторов, живших на доходы от своего труда, не было вовсе. Любительские занятия композицией, правда, широко были распространены в дворянской среде.

Музыкально-профессиональное движение возникло на гребне общественной волны, которая вызвала к жизни громадную активность во всех слоях демократической интеллигенции. Ленин дает такую характеристику этого периода 60-х годов прошлого столетия: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их как липку, коллективные отказы дворян-мировых посредников применять такое «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях... самодержавное правительство... не могло поступать иначе, как беспощадно истребляя отдельных лиц, созна-

тельных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации... запутывать и подкупать небольшими уступками массу недовольных»¹.

Таков был тот период, в начале которого, по выражению Николая I, революция стояла «у ворот России».

Ничтожные уступки, данные царским правительством, выразившиеся в ослаблении цензурных рогаток, разрешении открывать вечерние школы для взрослых и т. п., вызвали к жизни громадное оживление в так называемом «обществе». При этом усиленно подогревались в широких кругах интеллигенции либеральные иллюзии о прогрессивных намерениях царя Александра-вешателя, о возможностях прогрессивного развития царизма, распускались слухи о доброте и мягкости царя (превзошедшего в жестокости своих предшественников, например, в «Деле 193-х»), практиковалась неприкрытая демагогия в виде приема различных делегаций от дворянства и т. п. В кругах интеллигенции, согретой радужными иллюзиями (которые захватили было и Герцена), зародились новые направления общественной мысли, и в искусстве в том числе: передвижничество в живописи, «кучкизм» в музыке, разночинская поэзия и проза в литературе и др. И одновременно возникло русское музыкальное общество в 1859 году в Петербурге и отделение его в Москве в 1865 году. В 1862 году была основана в Петербурге Антоном Рубинштейном консерватория, куда в 1862 же году поступил учиться Чайковский, а в 1865 году была основана Николаем Рубинштейном консерватория в Москве, где с 1866 года он был профессором. Учился Чайковский у Н. И. Зарембы и у А. Рубинштейна.

Таким образом, мы видим, что Чайковский здесь выступает в роли «первой ласточки» композиторского профессионализма, но ласточки, которая сделала могучую и чудесную весну русской музыки. И поразительно то, что именно Чайковский представляет собою образец профессионального служения искусству.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. IV, стр. 126—127.

Скачок — от обычного интеллигента, шедшего проторенной дорожкой обычных дворянских сынков своего времени, правда, музыкально одаренного, импровизировавшего на рояле в салонах у знакомых, охотно «таперствовал» во время танцев, дилетантски любящего музыку, к тому Чайковскому, которого знает все передовое человечество, — поистине огромен, иррационален на первый взгляд.

Чайковский писал сестре в начале этой своей дороги: «Ты знаешь, что во мне есть силы и способности, но я болен той болезнью, которая называется обломовщиной, и если я не восторжествую над нею, то, конечно, легко могу погибнуть». Работал он в консерватории необычайно усердно. Известен случай, когда в консерватории он принес своему учителю Антону Рубинштейну, вместо обычного десятка-двух вариаций на заданную тему... более 200 вариаций. Рубинштейн говорил, что на просмотр их пришлось бы затратить больше времени, чем на писание.

В письме к Н. Ф. Мекк¹ от 24 июня 1878 года Чайковский сообщает чрезвычайно ценные сведения о своем творческом методе. Он работал ежедневно положенное количество часов. Это дало повод некоторым критикам обвинять его в ремесленничестве, потому что, мол, вдохновение не есть ежедневная гостья художника. В своем письме Чайковский вскрывает тайну своего вдохновения. Он бичует дилетантское отношение к творчеству. «Прежде всего, — пишет он, — я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида: 1) сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности; 2) сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя,

по заказу... Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и, наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее...

Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего, усилия воли... Забываешь все, душа трепещет от какого-то... невыразимого сладкого волнения, решительно не успеваешь следовать за ее порывом куда-то, время проходит буквально незаметно...

Для сочинений второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, неохоту... Иногда вдохновение ускользает, не дается. Но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. Вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают ее...

Нужно, необходимо побеждать себя, чтобы не впасть в дилетантизм, которым страдал даже такой колоссальный талант, как Глинка... Он работал как дилетант, т.е. урывками, когда находило подходящее расположение духа».

Сам Чайковский признавался, что он «не вправе противиться своей натуре, когда она загорается огоньком вдохновения». Он признает праздность только тогда, «когда она оправдывается необходимостью отдыха, когда она заслуженная награда за прилежную работу». Отдыхать ему никогда не удается. Вне работы он начинает чувствовать тревожное настроение, хандрит и успокаивается, приступив к работе; он сам рассказывает об этом.

И если в конце 70-х годов Чайковский

¹ Н. Ф. фон-Мекк — богатая меценатка, вдова строителя железных дорог, концессионерка, миллионерша. С 1876 по 1890 год она выдавала Чайковскому ежегодную субсидию в 6 000 рублей. До конца своей жизни оба они лично не были знакомы друг с другом. Их переписка опубликована изд-вом «Academia» в 3 томах.

изредка, по его словам, и с п ы т ы в а е т счастье от успешной работы, то тут же вскоре он жалуется, что вынужден «вечно торопиться и приходиться в отчаяние от ограниченности своего времени и способности». За несколько лет до смерти он ужасается от того, сколько ему еще предстоит сделать: «Теперь передо мной такая бесконечная вереница всяких задуманных, обещанных работ, что страшно и заглянуть в будущее. Как наша жизнь коротка!» (2 февраля 1887 г.). Этот мотив все чаще и чаще звучит в его высказываниях.

Надо помнить, что композиторская работа Чайковского заключалась не только в простом писании нот, это была и громадная чисто техническая работа, непрерывные «корректорские терзания».

Темпы его творческой работы поразительны: «Пиковая дама» сочинена в 44 дня, «Спящая красавица» — в три недели, 1-я часть Патетической симфонии — в 5 дней, фантазия «Буря» — в 10 дней и т. д.

Три десятилетия (1865—1893), в которые развернулась творческая деятельность Чайковского, целиком входят в пореформенную, но дореволюционную эпоху (по определению В. И. Ленина).

«Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.

...«Разговоры об урожае, найте рабочих и т. п., ...теперь для Левина казались одни важными... у нас теперь, когда все это перевернулось и только укладывается, вопрос о том, как сложатся эти условия, есть единственный важный вопрос в России», — думал Левин».

«У нас теперь все это перевернулось и только укладывается», — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов. То, что «перевернулось», хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что «только укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе на-

селения. Для Толстого этот «только укладываемый» буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии...». И далее:

«Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «перевернутился», и когда масса... не видит и не может видеть, как «укладывающийся» новый строй, какие общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»¹. Этот же период характеризуется Лениным, как «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России»².

Чайковский, как и Толстой, был сыном своего времени. Но его жизнь сложилась иначе. Она протекала в тесном соприкосновении с широчайшими кругами демократической интеллигенции как в России, так и на Западе.

Он принадлежал к тому слою русских людей (характерная черта шестидесятников), которые хотели: «просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России...»³. В то же время как мыслитель, не находя в настоящем ответа на постоянно мучившие его «проклятые вопросы», Чайковский обращается ко всякому опозитизированию прошлого феодальной России XVIII века... Просвещенный европеец, рационалист, он в то же время иногда бросается «в объятия веры». Обладая творческой волей и способностью побеждать себя, он не находит в настоящем ответа на «проклятые вопросы» о смысле жизни, о добре и зле, о смерти и т. д. Отсюда — колебания, припадки пессимизма, фатализма, нелюдкости, доходящей до ненависти к людям, и одновременно пламенная и чистая любовь к близким, братьям-близнецам Модесту и Анатолию, ко всей семье своей сестры, к детям и т. д. Испытывая страх перед тем,

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 100—102.

² В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 405.

³ В. И. Ленин. Соч., т. II, стр. 314.

что «укладывается», т. е. перед действительностью, и мечтая о конституционной монархии, он ненавидит чиновничьи порядки. Нетерпимый к проявлениям революционного движения, он в то же время проникнут высоким гуманизмом. Чайковский любил подчеркивать, что он всегда был «поборником свободы совести». Он был ярым враг чиновничьего самодурства и самоуправства. После общения с дирекцией петербургских казенных театров он пишет: «Возмутительно гадко, хочется бежать куда-нибудь подальше из этого проклятого города, где царит чиновничье самоуправство». Он возмущается порядками, которые заведены были в московской консерватории Н. Рубинштейном, и называет ее мерзкой лакейской. Он негодует по поводу того, что есть люди, осмеливающиеся поднимать перед лакеем нос только из-за того, что он лакей.

Искренность, исключительная честность, любовь к музыке, к своему труду, — к труду разностороннему: творческому, педагогическому (1865—1877), теоретическому, публицистике (1872—1876), дирижерству (в последние годы жизни), — вот характерные черты Чайковского.

Для того, чтобы представить себе все значение деятельности Чайковского для русского музыкального искусства, надо вспомнить о тех двух совершенно противоположных тенденциях в развитии искусства, которые осуществлялись с одной стороны братьями Антоном и Николаем Рубинштейнами, совершенно отрицавшими какие-либо особые пути развития русской музыки и построившими всю свою деятельность и все преподавание в обеих консерваториях на слепом и безоговорочном усвоении классического наследия и внедрении традиционных методов и техницизма во все области преподавания, в том числе и композиторского. С другой же стороны, организовавшаяся в Петербурге упомянутая «могучая кучка» выступила с полным отрицанием какой бы то ни было необходимости обращения к классическому наследию и к школьному обучению композиторской технике из боязни шаблона, рутинности. Лозунги «кучкистов» о са-

мобытном развитии русского искусства, об обращении в связи с этим к сокровищам народной песни в ее наиболее неискаженном, старинном виде и т. д. были одним из коренных вопросов их программы, рассчитанной исключительно на «нутро». Объективно это означало установку на дилетантизм (в силу специфики музыкального искусства), на отрыв русского искусства от общего потока мирового искусства, на отгораживание его от западного искусства. Вся деятельность «кучкистов» была построена на неопределенных либерально-демократических основах. Прямолинейность и ограниченность взглядов «кучкистов» были так же чужды Чайковскому, как и односторонность братьев Рубинштейнов.

Очень отчетливо выразил свои взгляды на пути развития молодой русской музыки Чайковский в письме к Танееву, который также, хотя и с несколько иных позиций, стал увлекаться вопросом о русской народной песне, за что в одном из писем Чайковский назвал его «славянофильствующим Дон-Кихотом».

«По поводу Вашего сравнения, — писал Чайковский Танееву, — музыки с деревом, скажу Вам, что, продолжая замечать уподобления из растительного царства, я бы сравнил европейскую музыку не с деревом, а с целым садом, в коем произрастают деревья: французское, немецкое, итальянское, венгерское, испанское, английское, скандинавское, русское и т. д. Почему Вы совершенно произвольно только русским народным элементам дозволяете быть растительным индивидуумом, а все остальные заставляете соединиться в одно дерево? Я этого совершенно не понимаю. По-моему, европейская музыка есть сокровищница, в которую каждая национальность вносит что-нибудь свое на пользу общую. Каждый западноевропейский композитор прежде всего или француз, или немец, или итальянец и т. д., а потом уже европеец. В Глинке национальность сказалась ровнехонько настолько же, насколько и в Бетховене, и в Верди, и в Гуно; если в моих сочинениях Вы слышите русские отголоски, то в сочинениях Массенэ, Бизе на каждом шагу я обоняю французский запах. Пусть наше-

му зерну суждено дать роскошное дерево, характеристически отличающееся от своих соседей, — тем лучше: мне приятно думать, что оно не будет так тщедушно, так хило, как английское, так хило и бесцветно, как испанское, а напротив — сравнится по высоте и красоте с немецким, итальянским, французским. Но как бы мы ни старались, — из европейского сада мы не уйдем, ибо наше зерно, волею судеб, попало на почву, возделанную прежде нас европейцами; корни оно пустило там уже достаточно давно и глубоко, и теперь уже у нас с Вами нехватит сил его оттуда вырвать. Вообще, желая от души, чтобы наша музыка была «сама по себе» и чтобы русские народные песни внесли в музыку новую струю, как это сделали другие народные песни в свое время, — я не люблю, когда преувеличивают их значение и хотят основать на них не только какое-то самостоятельное искусство, но даже музыкальную науку. Не вижу никакой надобности учиться и учить иначе, чем это делается в Лейпциге и Берлине, да и нельзя иначе по причинам, достаточно выясненным выше... Вообще, и в творчестве, и преподавании музыки мы должны стараться только об одном: чтобы было хорошо, нисколько не думая о том, что мы — русские, и поэтому нам нужно делать что-то особенное, отлично от западноевропейского» (15 августа 1880 г.).

Чайковский противопоставил тенденциям «классиков» и «кучкистов» свою линию. Это была линия на овладение всем наследием музыкального искусства и рост «русского дерева» на этой почве, чудесного дерева русской национальной музыки, которое до Чайковского было только зерном, пустившим свои корни в европейском саду.

Вне борьбы нет развития. Борьба рубинштейновских и «кучкистских» тенденций должна была привести к синтезу. Но этот синтез, не будь Чайковского, мог бы и должен был быть притти, возможно, не через один десяток лет. В том-то и заключается многогранность и гений Чайковского, что он дал в своих произведениях, во всем своем творческом *specto*, синтез обеих этих линий п а р а л-

л е л ь н о с развивающейся их борьбой, таким образом, предвосхитив на много лет то, что должно было притти в результате сложного процесса борьбы. Чайковский поэтому и является одним из наиболее передовых русских художников. Он считал возможным создание подлинного национального стиля русской музыки лишь в тесном сочетании использования сокровищ русской музыки и овладения всем сложнейшим наследием мировой музыкальной культуры. От классицизма и мировой музыкальной культуры он взял в процессе ее изучения все лучшее и умело использовал традицию в интересах своего искусства. Он строил свое искусство на основе всестороннего овладения всеми лучшими достижениями композиторской техники и музыкального языка во всех жанрах, опасаясь и избегая всего, что он почитал отжившим, не разделяя увлечения некоторых своих современников «вновь открытой» в то время музыкой XV и XVI веков. Он не любил авторов XVII и начала XVIII веков, — например, примитивный язык Люлли и Рамо остался чужд ему. Чайковский как художник смотрел не назад, а в современность и вперед. Он язвительно посмеивался над деятелями, во имя своей «передовитости» ниспровергавшими «все и вся, кроме самих себя». Чайковский взял от установок «кучкистов» (но сквозь призму своих установок) обращение к народному музыкальному языку. Необходимо отметить, что, по мере овладения отвергаемой ими в принципе композиторской техникой, гениальные «кучкисты» — Римский-Корсаков, Мусоргский и Бородин — достигли в своем творчестве громадных результатов. Они создали произведения, вошедшие в золотой фонд мирового искусства. Гениальные народные сцены в операх Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»), Римского-Корсакова («Псковитянка» и др.), Бородин («Князь Игорь») — это неповторимые страницы русского музыкального искусства. Мы не можем здесь развивать эту тему, но должны указать, что Чайковский не всегда был абсолютно объективно справедлив по отношению к «кучкистам». По воспоминаниям

А. К. Глазунова, их взаимные отношения всегда существовали на базе «вооруженного нейтралитета» (но взаимного уважения), причем надо указать, что «кучкисты», например, Стасов и Балакирев, оказали на Чайковского прямое влияние, дав ему темы для осуществленных им симфонических произведений: «Буря», «Ромео и Джульетта», «Манфред»...

До Чайковского русской музыкой не было еще одержано значительных побед в области таких основных видов музыкального искусства, как балет, симфония, квартет, трио, сюита и т. д. (лишь в области оперы был внесен громадный вклад Глинкой и Даргомыжским). Эти жанры выпстояло создать, — и эту задачу выполнил Чайковский, создавший гениальные произведения, глубоко народные по своей сущности.

Великий национальный русский композитор представляет собою исключительное явление по необычайной многогранности своего дарования и по тому огромному наследию, которое он оставил. Не надо забывать, что, например, Шопен был почти исключительно фортепианным композитором, Вагнер — почти исключительно оперным (если не считать малозначительные увертюры и марши), Мусоргский не писал симфоний и сонат и т. д. Чайковский оставил 27 произведений для симфонического оркестра (6 симфоний, 4 симфонические сюиты, 7 программных произведений, 10 концертов для сольных инструментов с сопровождением оркестра), 12 сценических произведений, 9 опер (не считая двух уничтоженных) и 3 балета, свыше 200 романсов и фортепианных произведений, трио, квартеты и другие сочинения. Каждое из этих произведений отмечено печатью гениальности.

Не могу не привести слов пианиста Генриха Нейгауза, одного из интересных художников нашего времени:

«...До сих пор для снобов и эстетов Чайковский «не существует», «обыкновенность» его отталкивает их, они упрекают его в «банальности». Но когда эта мнимая «банальность» захватывает в плен человека, когда она заставляет его трепетать от радости, когда она исторгает из него слезы, когда она всецело вла-

ствует над ним, — не лучше ли ей дать другое, более подходящее, имя, — то, которого она действительно заслуживает, — имя гениальности, самой обыкновенной, самой простой, самой несомненной гениальности... Если таланты горят, так сказать, только по праздникам и имеют досуг и терпение отшлифовать каждое свое произведение до отказа, то гении творят почти непрерывно, — работа их мозга напоминает эманацию радия, а так как степень их вдохновения, естественно, бывает различна (в самой природе интуиции лежит прерывистость), то и произведения бывают различной ценности».

Чайковский различал «две жизни» — обыденную и творческую. Но и в жизни, и в творчестве он был правдив до конца, он был яростным врагом всякой лжи, фальши, беспринципности. Как человек в обыденной жизни, как публицист, как композитор, как педагог, Чайковский был страстным поборником правды. В искусстве он искал средств правдивого выражения своих чувств на музыкальном языке, боялся какого бы то ни было «оригинальничания», «придуманности». Искусство его глубоко связано с русским народом, с его культурой.

Выращивая «дерево русской музыки», Чайковский уделял огромное внимание изучению русской народной песни, любил знакомиться с народным творчеством. Он чутко вслушивался в интонационный склад народной песни, который бытовал в народе, в его широких массах. Он хотел говорить на своем языке с живыми массами и отбирал то, что проверено временем.

Он четко выразил свое отношение к народной песне, как к материалу для творчества, в следующих словах: «Будучи взята сама по себе в своем первобытном виде, русская песня, как нечто, лишенное законченно художественной формы, как результат исключительно инстинктивного творческого процесса, не может считаться произведением искусства. Это только семя, из которого художник может, при условии таланта и знания, вырастить роскошное дерево».

И, как зоркий художник, он любовно и кропотливо собирал эти зерна. Не

случайно, что бытующий городской романс у него встречается наряду с деревенскими народными песнями. Даже в том случае, когда он брал западный фольклор, он создавал произведения русской музыки.

Должен сделать небольшую оговорку. Творческие поиски «кучкистов» были обращены к народной песне, как к самой стоятельной ценности. Некоторые из них расценивали песни, как творческий материал, лишь в зависимости от того, действительно ли это деревенская и очень старинная песня, отвергая городской романс, как «банальность», «европейский штамп». В основу своего творчества старинную песню брал и Чайковский, но если она не стала анахронизмом. И если мы возьмем русскую песню «Во поле березанька стояла», на которой Чайковский построил финал 4-й симфонии, то ведь это одна из самых древних русских песен!

На материале народных песен Чайковским созданы финалы 1-й, 2-й, 4-й симфоний, 1-й фортепианный концерт, скрипичный концерт, музыка к «Снегурочке» Островского и т. д. Примечательно, что знаменитая 2-я симфония, финал которой построен на теме украинской песни «Журавель», была встречена «кучкистами», как принятие Чайковским их уставов... Сам Чайковский называл шутя композитором этой симфонии старого буфетчика Каменки (именно сестры Чайковского) Петра Герасимовича, который постоянно подходил к композитору во время сочинения этой симфонии, напевая «Журавля».

Чайковский всегда глубоко ощущал свою кровную связь с русским народом. Во время его частых выездов за границу его охватывала тоска по России. В одном из своих писем к Мекк он пишет из Флоренции в 1878 году: «Стихотворение Лермонтова, которое Вы мне присылаете, превосходно рисует только одну сторону нашей родины, т. е. неизъяснимую прелесть, заключающуюся в ее скромной, убогой, бедной, но привольной и широкой природе. Я иду еще дальше. Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи.

Лермонтов говорит, что «темной старины заветные преданья» не шевелят души его, а я даже это люблю».

Дальше Чайковский говорит о «влюбленности в русский элемент вообще» и добавляет страстно: «Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа или русской природы. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями, — он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей... Люди эти ненавистны мне; они топчут в прязи то, что для меня несказанно дорого и свято». Еще раньше Чайковский писал ей же: «Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это величайшее удовольствие. Но жить можно только в России».

А каким чувством гордости русского художника проникнуты следующие слова: «Я бы очень помог распространению своих сочинений за границу, если б делал визиты тузам и говорил им комплименты. Но, боже мой, до чего я это ненавижу! Если б знали, с каким оскорбительно покровительственным тоном они относятся к русскому музыканту! Так и читаешь в их глазах: «Хоть ты и русский, но я так добри и снисходителен, что достаиваю тебя своим вниманием... В настоящую минуту, само собой разумеется, что меньше, чем когда-либо, я расположен ездить к этим господам на поклоны». И в такие моменты Чайковский становится снисходителен к «кучкистам», признавая их деятельность, как русское явление.

Примечательно, что прежде всего за границей современники признали Чайковского чисто русским явлением, что видно по ряду отрицательных, в сущности, моментов. Так, например, Чайковский сообщал, что дирижер Рих-

тер в Вене хотел исполнить его «Третью симфонию и пробовал ее на репетиции, но комитет этого общества нашел симфонию слишком русской и единогласно отверг ее» (1877). Можно назвать и другие такие факты...

Упрекая Танеева в письме от 8 апреля 1878 года за его протест против «балетной музыки» в 4-й симфонии (т.е. против плясовых мелодий. — А. О.), Чайковский пишет: «Мне остается... предположить, что не нравящиеся Вам балетные места симфонии не нравятся Вам не потому, что они балетны, а потому, что они плохи. Вы, может быть, совершенно правы, но я все-таки не постигаю, почему в симфонии не может эпизодически появиться плясовая мелодия, хотя бы и с преднамеренным оттенком площадного, грубого комизма. Я опять ссылаюсь на Бетховена, который не раз прибегал к этому эффекту».

Цена этот драгоценный материал, создаваемый народом, и беря его, как зерно, для своих великих творений, Чайковский любил повторять слова Глинки о том, что создает музыку народ, а композиторы ее только аранжируют. Но композитор никогда не использовал этого материала в застывшем состоянии, — он служил у Чайковского той первоосновой, плавившейся в горниле его творчества и принимавшей те формы, которые ей придавала опытная рука мастера.

И вместе с приобретенными в процессе музыкального воспитания навыками и впитанными влияниями эта русская народная основа и образовала тот неповторимый язык Чайковского, благодаря которому всякий мало-мальски музыкальный человек молниеносно узнает его произведения. Ларош говорил о музыкальном языке «Евгения Онегина», что он изобилует «оборотами, известными нам из Верди, Шумана, Гуно, Даргомыжского и других. Эта, повидимому, пестрая смесь не порождает никакой бесстильности, она, напротив, составляет особую и плотную амальгаму, какую мог придумать только зрелый мастер, только самобытный творец». Сам Чайковский шуточно отзывается о своей музыке, пропитанной «помимо... воли

шуманизмом, вагнеризмом, шопенизмом, глинкализмом, берлиозизмом и всякими другими новейшими измами», очевидно, намекая на своих «критиков».

Основа этого языка — его человечность, правдивость и та простота, которая, по выражению Дени Дидро, является неотъемлемым свойством возвышенного.

Творец «Онегина» пишет в 1877 году Мекк: «Те... которые способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от трагичности, от театральности — обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, могут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой». Через семь лет, возвращаясь к тому же вопросу, он писал: «Все это очень просто, обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы». (Выделено мною. — А. О.) Своему ученику Танееву он пишет за два года до смерти: «Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте. Правдивость же и искренность не суть результат умствования, а непревзойденный результат внутреннего чувства. Дабы чувство это было живое, теплое, я всегда старался выбирать сюжеты, в коих действуют настоящие, живые люди, чувствующие так же, как и я». Он называет себя при этом реалистом и коренным русским человеком.

Всегда непримиримый враг лжи и пошлости в личной жизни, Чайковский был таким же и в своем творчестве. И его художественная правда тем более прогрессивна, что она проникнута духом человечности, любви к своему народу, к простым, обыденным людям с их горестями и радостями...

Чайковский рассказывает, как он работал над формой сочинений, — той формой, которая при всей своей внутренней сложности обеспечивает доходчивость музыки до массового слушателя, облегчает ее восприятие. Надо сказать, что при всем этом основным стержнем этой музыки является свободно льющаяся мощным потоком мелодия. Едва ли можно во всей мировой литературе найти композитора с таким громадным ме-

лодическим даром, кроме разве Моцарта, которого обожал Чайковский, называвший его своим кумиром.

О своей работе над формой композитор оставил следующие ценнейшие сведения. 25 июня 1878 года он писал о том фазисе работы, «когда эскиз приводится в исполнение». «Фазис этот имеет капитальное значение. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено критически, исправлено, дополнено и в особенности сокращено ввиду требований формы. Иногда приходится делать над собою насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, т.-е. совершенно урезать места, сделанные с любовью и вдохновением. Если я не могу пожаловаться на бедность фантазии и изобретательности, то зато я всегда страдал неспособностью отделять форму. Только упорным трудом я добился теперь, что форма в моих сочинениях более или менее соответствует содержанию. В былое время я был слишком небрежен, недостаточно сознавал всю важность критической проверки эскизов. От этого у меня всегда были заметны швы, недоставало органического слияния и последования отдельных эпизодов. Недостаток этот был капитальный, и только с годами я стал мало-помалу исправляться, но образцом формы мои сочинения никогда не будут... Я с радостью вижу, что постепенно иду все-таки вперед по пути совершенствования, я страстно желаю достигнуть высшей точки того совершенства, на какое по мере способностей могу рассчитывать».

Здесь художник оказался не совсем прав в одном. Его многие сочинения стоят в разряде образцов формы, на той высшей точке совершенства, которая доступна человеческому гению на высшем уровне мастерства. Следов описанного выше процесса они не содержат. Наиболее строгих ценителей и знатоков искусства они могут только удивлять своей необычайной органичностью, жизненностью, мудростью распределения звуковых средств, гармонических, мелодических и т. д., подчиненных единой цели максимальной музыкальной выразительности. И это одинаково относится к любому роду произведений, будь

то симфония, опера, романс или что-либо другое. Могучий резец гения высекает искры неугасимого огня вдохновения в любом роде сочинения. Чайковский ставит на службу своим задачам сложнейшие и тончайшие средства техники неизменно в любом жанре музыкального искусства.

Но нельзя сказать, чтобы он сам этого не создавал. Он пишет в одном из уже цитированных писем Мекк от 19 марта 1878 года: «Я имею репутацию скромности, но я должен исповедаться перед Вами. Моя скромность есть не что иное, как скрытое, но очень большое самолюбие. Между всеми живущими музыкантами нет ни одного, перед которым я добровольно могу склонить голову... Я давно свылся с мыслью, что мне не дожить до всеобщего признания моих способностей... Мне кажется, что артист не должен смущаться недостаточностью оценки его современниками. Он должен трудиться и высказать все то, что предопределено было ему высказать. Он должен знать, что верный и справедливый суд доступен только истории. Я Вам скажу больше. Я, может быть, оттого так равнодушно переносу свою скромную долю, что моя вера в справедливый суд будущего непоколебима. Я заранее, при жизни, вкушаю уже наслаждение тою долею славы, которую удалит мне история русского искусства».

Здесь Чайковский оказался прав во всем.

Но он был далек от того, чтобы возводить мастерство в самоцель. Как он относится к Вагнеру, например, или к Брамсу, сочинения которых, с точки зрения ценителей чистого конструктивистского мастерства, «возражений не вызывают». О Вагнере он говорит: «Гоняясь за реальностью, правдивостью и рациональностью в опере, он совершенно упустил из виду музыку, которая по большей части блистает полным отсутствием в его последних четырех операх. Ибо я не могу назвать музыкой такие калейдоскопические, пестрые музыкальные кусочки, которые непрерывно следуют друг за другом, никогда не приводя ни к чему и не

давая Вам ни разу отдохнуть на какой-нибудь удобовоспринимаемой музыкальной форме. Ни одной широкой, законченной мелодии...». Об опере Кюи «Ратклиф» он говорит, что вся она склеена из кусочков. О музыке Брамса: «Он никогда ничего не высказывает, а если высказывает, то не досказывает, искусно склеенные между собой кусочки чего-то составляют его музыку».

Вообще, на Западе ко времени Чайковского были забыты многие великие принципы искусства начала XIX века: оно находилось на распутье, переживая муки брожения и измельчания, оно совершенно отошло от великих демократических заветов Бетховена. Германия после 1848 года была, в сущности, полицейской могилой талантов. С болью писал Чайковский Танееву (да и в дневниках, и почти всем своим корреспондентам): «Мне кажется, что эпоха наша отличается стремлением композиторов не к великому и грандиозному, а к хорошенькому и пикантному. Что такое, например, наша русская школа, как не фантастический культ всего приятного, вкусного? (Очень характеристическое выражение!) Прежде сочиняли, творили, теперь подбирают, изобретают разные вкусные комбинации. Идея перестала быть целью: она — средство, повод к изобретению того или другого гармонического или оркестрового эффекта. Если привести мою мысль в ясность до последней крайности, то можно доказать, что эпигонами золотого века музыки были: Мендельсон, Шопен, Шуман, Глинка, Мейербер, но что они уже (вместе с Берлиозом) определяют переход к периоду вкусной, а не хорошей музыки. Теперь же только вкусное и пишется, и в сущности даже Вагнер и Лист суть жрецы вкусной музыки».

И Чайковский смело ставит идею во главу угла своей деятельности, как композитор-симфонист, выражая общечеловеческие темы на доступном массам всего мира языке. Никому из русских композиторов ни до Чайковского, ни после него не были свойственны эти качества, которые придают его искусству мировые масштабы. Возрождая на но-

вой, русской, почве великие традиции искусства Бетховена, Чайковский говорил с массами на их языке. «То, что чуждо человеческому сердцу, не может быть источником музыкального творчества» — писал Чайковский в 1884 году.

Чайковский глубоко чтит Глинку. «Я готов плакать от досады, когда думаю о том, что бы нам дал Глинка, родился он не в барской среде!». И Чайковский развивает принципы симфонизма Глинки в своих многочисленных произведениях. Он часто говорил, что весь русский симфонизм заключен в «Камаринской» Глинки подобно тому, как в жолуде сидит будущий дуб. Чайковский на русской и национальной почве как бы подводит итоги развития музыкального искусства в его лучшем выражении за XIX век. Симфония, по определению самого Чайковского, — это «самая музыкальная из музыкальных форм».

Вопрос о симфонизме Чайковского — это проблема огромной глубины. В симфониях его, более чем в других произведениях, сказываются те противоречия, из которых искал и не находил выхода гениальный художник. Противоречия в его взглядах были неизбежны, равно как и противоречия во взглядах Толстого. Это была «не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века»¹. Чайковский не понял, как и большинство людей его времени, сути происходящей ломки. Пессимизм, припадки которого посещали его, был неизбежным выражением обстановки, его окружавшей. Смятенность духа Чайковского нашла свое отражение в его симфониях. Поскольку его первые четыре симфонии написаны в период 1866—1877 годов, когда еще не были до конца изжиты в кругах русской интеллигенции либеральные иллюзии, когда казалось, что есть какой-то выход, в них Чайковский еще далек от безысходности. Высокую душу Чайковского разьедали сомнения. Особенно они сказались в последней из четырех симфоний этого периода, программа которой случайно дошла до

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XII, стр. 332.

потомков благодаря переписке его с фон-Мекк.

Интродукция симфонии, по словам Чайковского, — «это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу...».

«Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы?..»

О радость! По крайней мере, сладкая и неясная преза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронесся и манит куда-то...

Как хорошо! Как далеко уж теперь звучит неотвязная первая тема аллегро. Но презы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, вот оно, счастье!..

Нет! Это были грезы, и фатум пробуждает от них...» — пишет он.

И далее:

«Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот приблизительно программа первой части».

Вторая часть — это другой фазис тоски «меланхолическое чувство, которое является вечерком...». «Третья часть не выражает определенного ощущения... На душе не весело и не грустно...». «Четвертая часть: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам... Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно». (Выделено мною.—А. О.).

В 80-х годах Чайковский писал симфонические сюиты, ибо у него на симфонии, как он говорил, «пороху нехватало». Это было время мрачнейшей реакции, когда были совершенно разбиты всякие радужные иллюзии. На политическую арену выдвинулись такие деятели, как

Победоносцев и И. Толстой, контрреформы которого вызвали такое возмущение, что даже министры подали в отставку. Российская действительность была безысходной. И для Чайковского «не было сладких грез после срыва шестидесятилетия. Он стоял между двух крайностей: мечта, греза, чистый, светлый мир юной человечности (вот Ленский) или же обман, мираж, тупой натиск злой силы, печаль, скорбь, смерть (вот Герман). Оба не знают реальной жизни. А разве русская интеллигенция знала жизнь?! Она философствовала, грезила, любила пылко и горячо, но не жила, а подвижничала, протестовала, даже юродствовала или изживала себя: одни трагически, другие по-свински...» — говорит известный музыковед Б. Асафьев.

В 5-й и 6-й симфониях и в симфонии «Манфред» настроения обреченности, рока уже звучат сильнее. И если мы видим светлый, мажорный конец в 5-й симфонии, то 6-я симфония, Патетическая, кончается тяжелым, мрачным по колориту финалом, для чего Чайковский даже нарушил традиционную последовательность частей симфонии.

Программы ее Чайковский не оставил нарочито, хотя программа эта была, и сам автор ранее хотел назвать ее программной симфонией. Он писал: «Пусть догадываются». Ныне эта симфония (которую сам Чайковский, плакавший, по его признанию, при мысленном ее сочинении, любил больше других своих «музыкальных чад»), воспринимается как глубочайшее произведение, будящее в человеке все сокровеннейшие чувства, потрясающее его и заставляющее задуматься его о смысле жизни. И если на весь круг поставленных симфонией философских проблем нет никакого словесного ответа, то он и не нужен: музыка последней симфонии говорит с человеком на своем могучем языке, поднимая его до своих высот и показывая ему оттуда весь мир, очищая и совершенствуя его.

Программные произведения Чайковского «Франческа», «Ромео» и др. (да и его сюиты) не стоят особняком от симфоний. У них, правда, есть программа, написанная перед их сочинением, но это не программы романтиков (Листа, Бер-

лиоза). Чайковский лишь изредка прибегает к условному звукописанию (шум моря в «Буре» и т. п.). Он всегда говорит со слушателем, какую бы музыку он ни писал, ибо автору, по его признанию, «есть что сказать». Но сам Чайковский не любил чисто программной музыки. Он пишет в 1885 году Танееву: «После некоторого колебания я решился написать «Манфреда», ибо чувствую, что, пока не исполню обещания, неосторожно данного Балакиреву зимой, — не буду покоен. Не знаю, что выйдет, но покамест я недоволен собой. Нет! в тысячу раз приятнее писать беспрограммно! Сочиняя программную симфонию, у меня такое ощущение, как будто я шарлатаню и надуваю публику: плачу ей не звонкой монетой, а дрянными кредитными бумажонками».

Громадный вклад внес Чайковский в развитие оперного искусства. Творец «Онегина» и «Пиковой дамы» ценил оперу за то, что на ее языке он мог говорить с широчайшими массами. Он пишет: «Я пришел к тому убеждению, что опера вообще должна быть музыкой наиболее общедоступной из всех родов музыки. Оперный стиль должен так же относиться к симфоническому и камерному, как декорационная живопись к академической. Из этого, конечно, не следует, что оперная музыка должна быть банальнее, пошлее всякой другой» (1879). В том же году он пишет: «Симфония и опера составляют во всех отношениях две крайние противоположности». Через год он пишет: «В симфонии или сонате я свободен, нет для меня никаких ограничений и никаких стеснений, но зато (не свободная от стеснений. — А. О.) опера имеет то преимущество, что дает возможность говорить музыкальным языком массе». (Подчеркнуто Чайковским. — А. О.)

В операх Чайковского, особенно в «Евгении Онегине» (а эту поэму Белинский считал подлинно народным произведением) и «Пиковой даме», сконцентрированы лучшие стороны его таланта. Если в них мало действия, то это окупается проникновенным психологическим реализмом, силой и глубиной музыкального выражения, взволнованно-

стью чувств, простотой и правдивостью музыкального языка. Сам Чайковский оставил интереснейшие документы о процессе сочинения этих опер, в особенности «Онегина». Он пишет Танееву: «Я написал («Онегина») потому, что повиновался непобедимому внутреннему влечению. Уверяю Вас, что только под этим условием следует писать оперы... Если мое увлечение сюжетом «Онегина» свидетельствует о моей ограниченности, тупости, о моем невежестве и незнакомстве со сценическими условиями, то это очень жаль, но по крайней мере то, что я написал, в буквальном смысле вылилось из меня, а не выдуманно, не вымучено».

Сам Чайковский не ждал успеха этой своей оперы. Но он все же знал, как это видно по оставленным им документам, что успех придет не сверху, а снизу (подлинное выражение Петра Ильича). Более всего он боялся рутины казенной оперы, с ужасом думал, что там будет исполнять Ленского «толстопузенький Додонов или лабазник Орлов, или безголосый старый Комиссаржевский» и т. п. Он добродушно пишет брату: «Для такой постановки нужно, чтобы исчезли рутинные, ходульные, казенные приемы и чтобы я имел право требовать всего, что я считаю необходимым для того, чтобы опера была поставлена как следует. Вот почему я никогда не сделаю первого шага к постановке оперы в казенном театре и буду ждать, чтобы меня униженно просили об ней. Тогда я скажу: извольте, но в таком случае так и так, а не так, — так ну вас к матери!».

Чайковский восставал против ходульности, манекенов, против таких исторических сюжетов, где действуют не люди, а куклы, против ходульности героев оперы Вагнера, считая, например, что «Парсифаль» может быть сюжетом для балета, но никак не оперы. Борясь за реалистический показ в опере живых людей, Чайковский называл «Тристана и Изольду» Вагнера «томительной и жуткой канителью». «Вагнер убил в себе огромную творческую силу теорией. Всякая предвзятая теория охлаждает непосредственное творческое чувство».

Правда, в своих нападках на Вагнера Чайковский часто был несправедлив.

★

Он много и страстно работал над оперными либретто, поняв, что «для успеха и прочности судьбы оперы необходимо как можно внимательнее относиться к подробностям сцены», переделывал свои оперы, как, например, «Кузнец Вакула», из которого он сделал «Черевички». Он видел свои ошибки, допущенные в опере и заключавшиеся в переуснащении оркестровой фактуры в ущерб пению, работал над упрощением мелодического элемента, сжигая неудачные оперы («Ундина», «Воевода»), вечно напряженно искал сюжет. Правдиво до конца раскрывая духовную жизнь своих героев, Чайковский поднимался до недостижимых вершин оперного искусства, совершенно сломав условность этого жанра.

В этом смысле интересно его замечание о советах Толстого, особенно, если учесть, что в принципе оба они стояли (как и Репин) на позициях психологического реализма:

«Лев Толстой, — вспоминает он в 1883 году, — ...очень советовал мне бросить погоню за театральными успехами, а в «Воине и мире» он заставляет свою героиню недоумевать и страдать от фальшивой условности оперного действия. Человек... подобно Толстому, проводит долгие годы безвыездно в деревне... должен живее другого чувствовать всю фальшивость и лживость оперных форм. Да и я, когда пишу оперу, чувствую себя стесненным и несвободным, и мне кажется, что, в самом деле, не пишу более никогда оперы. Тем не менее, нужно признать, что многие перво-степенные музыкальные красоты принадлежат драматическому роду музыки, и авторы их были вдохновлены именно драматическими мотивами... Конечно, с точки зрения простого здравого смысла, бессмысленно и глупо заставлять людей, действующих на сцене, которая должна отражать действительность, не говорить, а петь». Далее он говорит о «Дон-Жуане» Моцарта: «Я... просто наслаждаюсь красотами музыки... забыв отсутствие

правды в самой сущности дела, а поражен глубиной условной правды, и восхищение заставляет меня умолкнуть».

К сожалению, мы не можем здесь за недостатком места коснуться трех балетов Чайковского («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), заказанных ему дирекцией казенных театров. Надо здесь сказать, что Чайковский во всех трех случаях преодолел шаблонность сюжетов, дав в целом музыку психологически-реалистическую, содержательную и говорящую со слушателем на языке подлинной человечности и драматизма. Не можем мы здесь говорить и о романах Чайковского, этих жемчужинах, столь щедро рассыпанных на его творческом пути. И пусть многие из них написаны на мало удачные тексты, музыка поднимает их и сливается с ними в органическое единство.

Чайковский был многогранен и как художник, и как человек. Изумительные качества его натуры — это всепоглощающая любовь к детям, сопровождаемая заботами об обогащении детской музыкальной литературы, простота в обращении с людьми, умение веселиться искренно, от души. На спектакле в Каменке среди родных он выступает... суфлером, на вечеринках — тапером. Наряду с жизнерадостностью — боязнь новых знакомств. Обязанность поддерживать разговоры с людьми для Чайковского — «общественный бич». Он радуется, когда находит у себя сходство в этом отношении с Руссо. Визиты к родным называет «данью скуке», страдает «страхом публичности»...

В заключение вспомним, что Чайковский тяготится даже знакомством с Толстым. 19 февраля 1879 года он пишет фон-Мекк: «...Толстой несколько раз был у меня, и, хотя из этого знакомства я вынес убеждение, что Толстой — человек несколько парадоксальный, но прямой, добродушный, по-своему даже чуткий к музыке (он при мне расплакался, когда я ему сыграл по его просьбе Andante моего первого квартета), но все-таки знакомство его не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как всякое знакомство...».

★

Пусть будет позволено мне здесь поставить один вопрос перед музыкальными критиками, не понявшими до конца в Чайковском многогранности его внутреннего облика, стремившихся изобразить его пессимистом по существу, фаталистом, нытиком и т. п.

Творчество Чайковского в целом представляет собою единство, в котором выражены два полюса, противоположных, но нераздельных, неотъемлемых один от другого.

Один из этих полюсов — свет: жизнерадостность, любовь к людям, к жизни, добродушие, просветленность. Недаром же писал Ларош, что есть и Чайковский, «добрый, веселый, полный цветущего здоровья, склонный к юмору... и этот Чайковский... судя по той неизвестности, в которой пребывают самые оптимистические его излияния, гораздо менее замечен и признан... Он имеет неиссякаемый запас мелодий... легких, грациозных, полных движений и чувственной прелести...».

Другой полюс — это мрак: весь тот несложный лексикон, который привлекался некоторыми критиками прошлого, когда они хотели характеризовать Чайковского, и который заключается в эпитетах: скорбность, элегичность, тоска, разлад, пессимизм, надломленность и всякого рода синонимы, легко отыскиваемые в словаре Даля, выигрывающие от прибавления словечек: лирический, трагический, страстный, бурный и т. п. Это может создать словесно «убедительную» характеристику, подчас подкупающую своей «искренностью».

И на одном полюсе этого единства — прочная линия от кантаты «К радости» на слова Шиллера (которой молодой Чайковский открыл себе дорогу в композиторскую жизнь) до оперы «Иоланта», с ее просветленным сюжетом и музыкой, написанной одновременно с последними симфониями.

На другом полюсе — линия, завершающаяся грандиозным зданием 6-й симфонии. И поскольку речь идет о единстве, то в светлой музыке, например балетов,

мы ясно ощущаем драматургический подтекст, пронизанный чувствами, навеянными как бы неразрешимыми вопросами человеческого бытия. В его же симфониях, посвященных вопросам рока, мы не можем не ощущать жизнеутверждающей силы гения, веры в светлые стороны жизни, в красоту и радость человеческого существования.

Профессионализм Чайковского, его творческий метод, его отношение к долгу артиста перед своим народом и перед собою самим — это есть высокий образец для советских композиторов, для тех, кому вверены судьбы нашего музыкального творчества. Имея в лице Чайковского перед своими глазами образец пламенного служения своему искусству, советские композиторы многого могут достичь в совершенствовании своего творческого метода.

В данной статье я не могу углубляться в специфику самой музыки Чайковского, что является делом музыкального журнала, где читателю ясна вся сложная специальная музыкальная терминология, где есть возможность приводить нотные примеры. Здесь легко впасть в соблазн «говорить о непонятном». Мы попытались дать ответ на вопрос, что собой представляет музыка Чайковского. Мы говорили о ее особенностях — о народности, о ее общественных корнях, о ее эмоциональном содержании, о связи ее с мировой музыкальной культурой, о ее современности и массовости, о ее самобытности, о неповторимости, о многосоставном своеобразии музыкального языка Чайковского.

Мелос, гармония и ритм — вот три могучих фактора, вне взаимодействия которых немислимо никакое произведение музыкального искусства. Эпоха классической музыки завершается могучей фигурой титана — Бетховена, у которого в чудесном сплаве органически слиты все эти три стороны. Начавшийся в конце XVIII, начале XIX столетий перелом, приведший к романтизму, вызвал развитие средств музыкального выражения, направленных на углубленный показ чувств. Мелодия

приобретает подчас большую вычурность, появляются увлечения и гипертрофия мелодической линии, уснащение ее изысканной, утонченной орнаментикой, в ущерб ее певучести, простоте. Это усиливается к концу XIX века в связи с измельчением искусства. В области гармонии появляются изыскания новых звукосочетаний, которые подчас уже не служат цели драматизации музыкального изложения, а превращаются из средства в самоцель, в поиски эффектных звучностей ради них самих, ибо поиски чувств заменяются поисками ощущений. Появляются изыскания в области усложнений ритмов. Некоторые представители новейшей (ко времени Чайковского) музыки злоупотребляют этой стороной и занимаются конструктивистскими поисками различных своеобразных ритмов. Оркестр Бетховена пополняется новыми инструментами, имеющими такой характер тембров, который соответствует романтическим (и особенно впоследствии импрессионистическим) устремлениям композиторов, отдающих немалую дань области мистического, «сверхчувственного». Потребности оперного искусства и драматической музыки в свою очередь вызывают к жизни расширение оркестровых средств.

Чайковский с самого начала своей композиторской деятельности обратился к ресурсам нового оркестра. Модест Ильич Чайковский со слов Лароша рассказывает, как Петр Ильич еще в консерватории нарушил запрет А. Рубинштейна, который считал бетховенский оркестр наиболее совершенным: «Петр Ильич должен был написать большую увертюру и сам выбрал себе программу «Гроза» Островского. Оркестр он взял самый что ни на есть еретический, с большой тубой, английским рожком, арфой, тремоло в разделенных скрипках, большим барабаном и тарелками. Вероятно, он со свойственным ему оптимизмом надеялся, что отступления от предписанного ему режима пройдут безнаказанно». (Описание воспоследовавшего скандала мы опускаем.) И Чайковский, завершая в своем творчестве XIX век, использовал

все достижения нового оркестра, заставив каждый инструмент с его средствами служить своим идеям, дал ему надлежащую роль в драматургии оркестровой партитуры.

Но в его музыке нет погони за внешними эффектами. Гибкость его распоряжения средствами поразительна, но все они подчинены главной художественной цели. Нет погони за оригинальным ради оригинального, нет беспочвенного новаторства. Гармонический и мелодический язык Чайковского поразителен тем, что вы решительно не встретите в нем каких-либо элементов, не известных до него, не использованных так или иначе раньше. А между тем его музыкальный язык неповторимо оригинален: с первых нескольких звуков слушатель узнает музыку Чайковского. Так велика сила культуры, сила эмоционального подтекста, так велика тайна рождения этого необъяснимого явления.

Мелодия Чайковского — это первооснова его сочинений, непрерывно льющийся поток звуков, органический и естественный. Лишь изредка он прибегает к орнаментации мелодии, но это всегда делается не ради «игры звуков», а преследует вполне определенную внутреннюю цель.

Только в виде капризов гения мы встречаем такие произведения у Чайковского, как части его сюит: «Игра звуков», «Сны ребенка», где Чайковский на мгновение отдается «звукописи», пробуя свои силы в этом роде музыки. Гармонический аккордовый язык музыки Чайковского также не «блещет» нарочитой изысканностью, будучи подчинен целям доведения до слушателя его намерений. В его сетованиях по поводу «новой русской школы» видна эта направленность художника: «Что такое так называемая новая русская школа, как не букет разных пряных гармонизаций, оригинальных оркестровых комбинаций и всякого рода чисто внешних эффектов? Музыкальная идея ушла на задний план. Она оказалась не целью, а средством, поводом к изобретению того или другого сочетания звуков» —

пишет он фон-Мекк 17 июля 1880 года.

Необходимо затронуть вопрос о ладовой стороне музыки Чайковского. Если «кучкисты» обратились к народным ладам, не совпадавшим с принятыми в европейской музыке XVIII — XIX столетий мажором и минором (и в этом был коренной пункт разногласий их с Чайковским), то Чайковский выступил как певец мажора и минора. Он не дал таких своеобразных по ладовому колориту произведений, как многие нетленные страницы Мусоргского, но его произведения написаны на языке всечеловеческом.

В своем походе против «западничания» «кучкисты» не учли того, что мажор и минор родились, как наиболее универсальные ладовые прототипы, из недр колоссального процесса ассимиляции, нивелировки и развития ладового народного языка и, как таковые, являются глубоко народными в своей сущности. И Чайковский придерживается вполне сознательно диатонической (семизвучной) стороны этих ладов, избегая хроматизмов (т.-е. добавочных сверх диатоники звуков), которые, как известно, повышают эмоциональную, энергетическую зарядку мелодико-гармонической стороны музыки. В этом отношении Вагнер, например, достигал экзальтированности, страстности, напряженности своей звуковой палитры.

Если учебник гармонии Чайковского предостерегает от неумеренного употребления хроматизмов, то сам автор в обыденной жизни подчас называл вагнеровский язык «пакостными хроматизмами» (об этом рассказывал покойный М. М. Ипполитов-Иванов, да и Танеев, судя по воспоминаниям Сабанеева, говорил об этом).

Мы говорили о работе Чайковского над формой своих сочинений. И здесь он преследовал только цели сделать свои идеи наиболее воспринимаемыми. Специфика музыкального искусства работала твердые формы изложения материала в последовательности, при-

обретшие в эпоху классицизма значение своеобразных канонов. Чайковский придерживался в основном этих форм. Но если основная в музыке крупных форм так называемая сонатная форма эпигонами классицизма была принята, как мертвая схема, если академические течения в музыке недавнего прошлого понимали музыку, как «звучащую форму», более всего заботясь о приглаженности музыки, о соблюдении внедренных школой «законов» и т. п., — то Чайковский, не ломая этой формы, раздвигает ее рамки. Он не идет в симфониях вслед за романтиками, которые, подобно Листу, Берлиозу и др., занимались безоговорочной ломкой классической формы и поисками новой. Последовательность частей его симфоний в основном (за исключением 6-й симфонии, где части переставлены) соответствует принятым в классической симфонии. Но выделение главного материала и его контрастность по отношению к побочным, динамизм развития, например, в обновлении и усложнении материала при его обязательных повторах, разработка темы, что является, вообще, основой симфонического развития, кульминаты у Чайковского достигают поразительного мастерства и глубины в неразрывном единстве формы и содержания.

Его симфонизм, глубоко лиричный по существу, органически развивая симфонизм Глинки, впитывает в себя все лучшее, что мы находим в достижениях романтической музыки, — трагический драматизм и теплоту Шумана, страстность и блеск Берлиоза, Вагнера и т. д. Мы видим подчас и влияния Бизе, Делиба, Массенэ, но уже претворенные в оригинальный язык Чайковского, который никогда не стремился к оригинальности ради нее самой. 6-ю симфонию Чайковского крупнейший после Чайковского симфонист нашего времени и верный продолжатель его традиций профессионализма Н. Я. Мясковский называет по глубине 10-й симфонией Бетховена.

Бесконечно можно говорить о музыке Чайковского, и никогда не скажешь всего.

Музыка Чайковского сделалась популярной уже при его жизни, концерты его посещались многочисленной публикой, у него была большая переписка со слушателями.

Слава его докатилась даже до берегов далекой Америки, о чем свидетельствует приглашение его туда на «баснословно выгодных», по словам самого Чайковского, условиях.

Неуклонно ширится круг его почитателей и слушателей и в наши дни. Советские люди хотят знать своего художника и как человека, хотят и должны знать его поучительный творческий путь. Но до сих пор, к сожалению, нет ни одной, хотя бы небольшой, серьезной биографии Чайковского.

Влияла ли музыка Чайковского на его современников на Западе и на последующие поколения западных композиторов? В настоящем смысле слова — нет. Ибо весь ее смысл в человечности музыкального языка, в отрицании формализма, внешних эффектов. Музыка на Западе мельчала, рождались новые течения, знаменующие собой распад тонального, ладового единства музыкальной речи с единовременным провозглашением тезиса аэмоциональности музыки, с уходом в область пустого звукоизыскательства, грубого натурализма — явлений, характеризующих распад отношений и анархию капиталистического общества. Это сделало музыку Чайковского неприемлемой (в смысле неспособности многих западных композиторов воспринять то лучшее, что есть в Чайковском), исключило возможность

этих влияний. Но Чайковский — любимый композитор широких масс Запада. Филармонии Лондона, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорка делают сборы и поддерживают свое существование репертуаром, составленным из произведений Чайковского. Широкие массы котят слушать Чайковского, поднявшего русское искусство на общечеловеческую высоту, они любят и ценят его музыку.

Чайковский весь в XIX веке, но остается живым и родным человечеству на все времена. Наше время выдвигает перед советскими художниками и теоретическим фронтом ряд новых задач, одной из которых является создание правдивого и искреннего стиля советской музыки, стиля социалистического реализма. Наша эпоха поведет человечество на недостижимые вершины искусства и завоюет их, создав могучие произведения Сталинской эпохи. Большие успехи, оцененные всем нашим народом, уже одержаны советским музыкальным творчеством. Но, не успокаиваясь на достигнутом, советские композиторы должны неустанно работать, беря при этом от Чайковского его правдивость и искренность, его человечность. Они должны всячески стремиться использовать творческий метод Чайковского, чтобы стать профессионалами в том смысле, как этого требовал гениальный художник, — неустанно работать над повышением своего идейного уровня, одновременно овладевая вершинами мастерства.

Широкие массы советского народа чтут Чайковского, который стал им доступен и близок в связи с победой Великой Октябрьской социалистической революции.

Заметки о поэтическом наследии П. И. Чайковского

Ф. Н. МАЛИНИН

★

Мало кому известно, что П. И. Чайковский является автором многих стихотворений, экспромптов и эпиграмм.

Еще с ранних лет у Петра Ильича обнаруживается влечение к поэтическому творчеству. Будучи ребенком, он писал в стихах поздравления и приветствия своим домашним, а вскоре по поступлении в Училище правоведения принял деятельное участие в поэтическом отделе журнала «Училищный вестник», основанном его ближайшим другом и однокашником А. Н. Апухтиным. Хотя здесь он «соперничал» с Апухтиным довольно неудачно, однако это обстоятельство ничуть не охлаждало поэтического пыла будущего композитора. М. И. Чайковский, в своей известной трехтомной монографии «Жизнь П. И. Чайковского», приводит для примера отрывки из одного ученического стихотворения своего брата, Петра Ильича, которое начиналось так:

Раз когда-то в свете белом
Русь прекрасная цвела
И одна на свете белом...

Продолжение биограф запомнил, а конец был таков:

Покорялись ей цари,
К ней стекались народы
От зари и до зари...

Подобные упражнения юного Чайковского, появлявшиеся почти в каждом номере школьного журнала, само собою разумеется, всегда вызывали дружный

смех товарищей, а многообещавший уже тогда поэт Апухтин спешил немедленно отвечать на каждое выступление своего неудачливого собрата по перу. Однако в таких постоянных литературных турнирах Петр Ильич развивал свой вкус к поэзии и способность к свободному и быстрому версификаторству. Впоследствии Чайковский не придавал большого значения своему «поэтическому творчеству». Увлеченный целиком музыкой, он лишь в дружеской компании да в письмах к знакомым любил выражаться рифмованными экспромптами, даже целыми посланиями в стихах, а подчас упорно трудился над созданием лирического произведения. Приведем несколько примеров только-что сказанному.

Собравшись как-то с друзьями поехать в Троице-Сергиевскую лавру, недалеко от Москвы (ныне г. Загорск), П. И. Чайковский, П. И. Юргенсон, И. А. Клименко, Н. А. Губерт, Н. Д. Кашкин и Н. Г. Рубинштейн всю дорогу смеялись и балагурили. Петр Ильич был особенно в ударе. Юргенсон, заглянув в окошко, напомнил своим спутникам, что сейчас будет ст. Хотьково, а следующая остановка уже и лавра. Композитор вдруг замолчал и перестал принимать участие в общей беседе. На это не могли не обратить внимания компаньоны по экскурсии, и один из них спросил: что с ним? «Да вот, никак не могу найти рифмы на Хотьково, — разве так:

На чашку чаю пригласил
Тебя твой друг Чайковский;
Скажи: колы «ча й» тебе не мил,
Так, может, мил хоть «к о в с к и й»!».

Когда им показывали всякие досто-
примечательности лаврской ризницы, то
при осмотре драгоценных панагий Петр
Ильич не преминул рассмешить Климен-
ко таким экспромптом:

Поп и дьякон в панагии —
Два танцуют рас нагие.

По осмотре в главном соборе «мощей»
основателя лавры — Сергия Радонеж-
ского вся компания тронулась обедать
в монастырскую гостиницу, обсуждая по
пути меню обеда. Когда кто-то замети-
л, что хорошо было бы поесть знаме-
нитых монастырских щей с рыбой, Петр
Ильич как бы в раздумье произнес:

Когда видел мощи Сергия,
Уронил во щи — серьги я...

Как-то Г. А. Ларош заявил, что на
его фамилию трудно найти рифму, но
Петр Ильич, сидевший рядом, почти мо-
ментально произнес:

Уж пожелтела рожь,
И в духоте Ларош
День и ночь над бумагою...

(и т. д.).

Несравненно удачнее, впрочем, была у
Чайковского «поэзия на гастрономиче-
ские темы», как в шутку именовал Апух-
тин многочисленные произведения своего
приятеля, касавшиеся обедов, ужинов и,
вообще, всякого рода яств.

Вот, например, совершенно неизвестное
доселе поздравление в стихах А. И.
Масловой от 13 декабря 1880 года:

Хотел сегодня быть у Вас,
Чтобы поздравить с днем рожденья,
Прибыть в обеда чудный час
И кушать, ах, до объеденья.

Хотел сулить я Вам мешки
Сребра и злата полны кадки,
Но, ах, коварные кишки
Моя — в ужасном беспорядке.

Итак, лишь письменный привет
Вы ныне от меня примите
И уж, пожалуйста, обед
На ту седмицу отложите...

Петр Ильич, приглашая к себе на ве-
чер И. А. Клименко послушать, как он

будет играть в четыре руки с Н. Д.
Кашкиным, заканчивает письмо словами:

Как только кончится игра —
Подастся свежая икра.
А к ней очищенная водка
И даже, может быть, селедка.

В. И. Сафонову, ехавшему концерти-
ровать с К. Ю. Давыдовым по югу
России и заезжавшему в Полтаву,
было вручено Петром Ильичом «Посла-
ние в стихах И. А. Клименке» (который
служил полтавским городским архитек-
тором) такого содержания:

Вонми, Иванушка, мой свет!
Четыре старичка привет
Свой шлют полтавскому Браманте,
Чтоб не забыл о музыканте
Петре Чайковском, Кашкине,
Лароше, Губерте, вине,
Что часто в здешней стороне,
Вкушая яства дороге,
Пивали вместе в дни былые,
О днях веселых, вечерах
И о лукулловских пирах,
И о беседах философских,
И грязных улицах московских.

Само собой разумеется, что подобного
рода творчеству Чайковского в то вре-
мя ни он сам, ни его друзья не прида-
вали никакого значения; все писалось
ad hoc, имело интерес минуты, а после
этого бросалось, в лучшем случае, в
общий ящик письменного стола и скоро
забывалось. Поэтому до нашего време-
ни дошли лишь ничтожные крупницы
этих стихотворных шалостей компози-
тора и то только совершенно случайно.

Когда М. И. Чайковский приступил
к созданию своего трехтомного труда
«Жизнь П. И. Чайковского», он просил
всех друзей, приятелей и хороших зна-
комых своего гениального брата сооб-
щать ему в виде воспоминаний, выдер-
жек и просто отрывочных фактов все,
что им известно о Петре Ильиче, а
равно присылать, по возможности в
подлинниках, его письма, записки и про-
чие материалы не только для использо-
вания их в своем труде, но и хранения
в устраиваемом им доме-музее Чай-
ковского в г. Клину. В числе других на
этот призыв откликнулся и приятель
покойного композитора И. А. Клименко,
приславший и свои воспоминания, и все
сохранившиеся у него письма Чайков-

ского. Так как М. И. Чайковский почти совершенно не воспользовался этими материалами в своей монографии, мы приводим здесь ненапечатанные им конец письма П. И. Чайковского к И. А. Клименко от 12 сентября 1871 года и записку от 1872 года, — то и другое в стихах:

Ты помнишь ли, как Кисловским проулком
На Знаменку свой направляя бег,
Резвились мы, подобно «добным булкам,
Попавшим с печки прямо в мокрый снег?

Ты говорил: «Люблю тебя, Петруша,
Как хладный ум ночного фонаря,
Как легкий пар преступного Картуша
Иль балахон московского царя!

Люблю тебя, как моря примиренье,
Как магнетизм, как шир лихой чумы,
Как самовара «страстное томление,
Как кругозор индийского ламы!».

А я в ответ: «Оставь, оставь, Климена,
Ты про любовь мне песенки не пой!...»
И нам в тот миг и в уши, и в колена
Пахнуло вдруг живительной весной.

В объяснении к этому стихотворению И. А. Клименко сообщает М. И. Чайковскому: «...мы с ним (П. И. Чайковским), действительно, возвращались откуда-то домой, были очень весело настроены и всю дорогу дурачились, говоря стихами всякий вздор, причем стихи у Петра Ильича выходили гладко и без заминки, у меня же бывали нередко задержки, разрешавшиеся иногда довольно корявыми стихами, что также нас смешило и дало повод Петру Ильичу сказать мне:

Мой милый друг,
Хотел бы я,
Чтобы твой стих
Скорее... стих!

А вот записка в стихах, написанная в 1872 году:

В театр билеты нам не взяты,
И очень просто почему:
Там «Лес» дают. Зачем, о брате,
В лесу блудить нам — не пойму.
У нас (в Консерватории) сегодня будет
вечер.

Туда, поверь, я устремлюсь,
Как тянется к Шекспиру Кетчер
Иль к Индии святая Русь,
Приди ж и ты туда, Климена;
Я жду тебя к 8 часам;
И если — да (подла измена),
Свой долг я весь тебе отдам.

Но не только в таких шуточных произведениях проявлялось литературное творчество Петра Ильича. Он пробовал свои силы в качестве либреттиста к своим операм. Так, в музее имени Н. Г. Рубинштейна при Московской консерватории хранится либретто оперы «Опричник», собственноручно написанное композитором. Сюжет ее заимствован из одноименной трагедии И. И. Лажечникова, написанной в стихах, но был значительно изменен самим Чайковским, в связи с тем, что в оперу было искусственно внесено много музыкального материала из уничтоженной оперы «Воевода». Сочинение «Опричника» начато было в конце января 1870 года и окончено в апреле 1872 года.

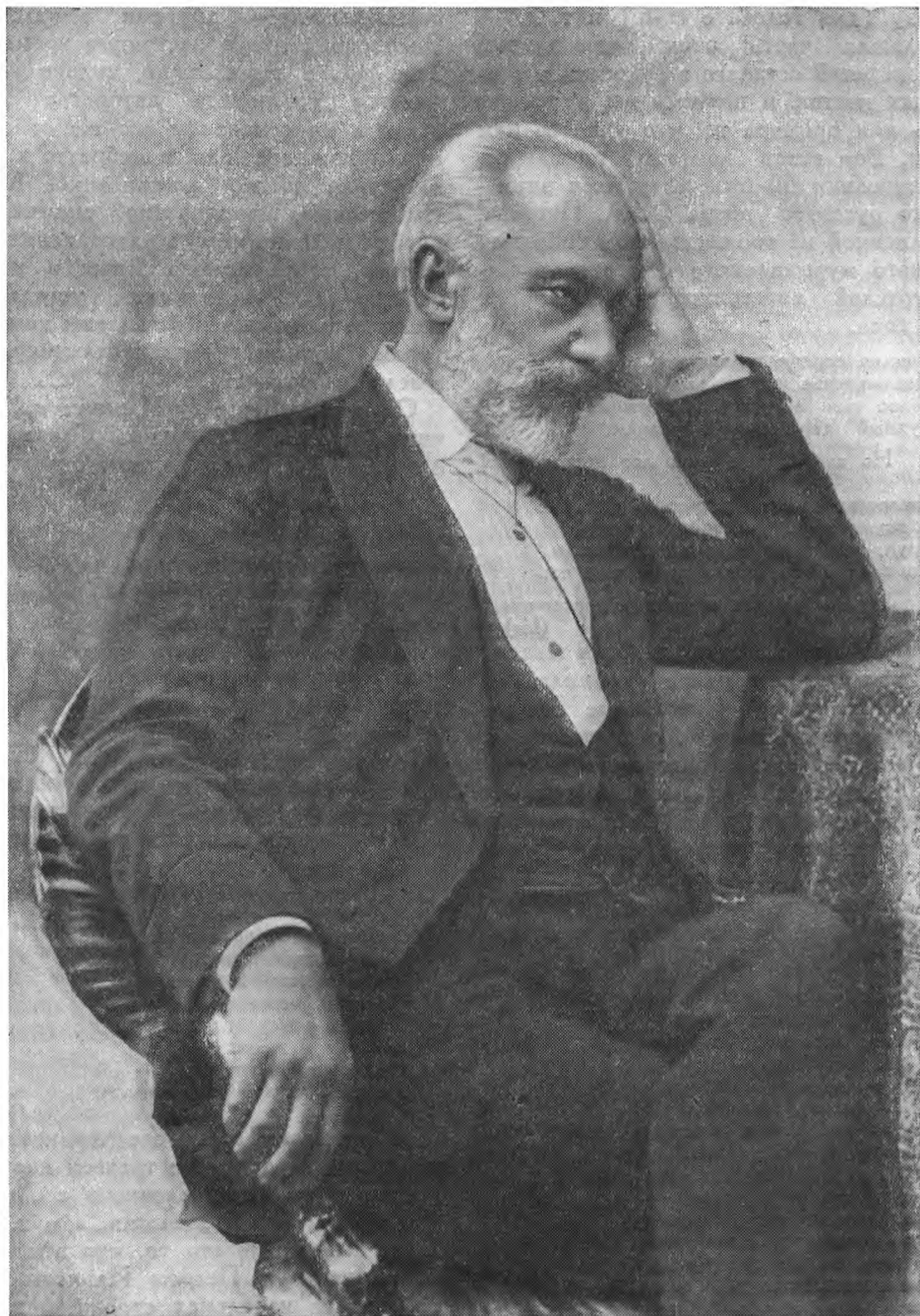
По заказу П. И. Юргенсона Чайковским в 1870 году был сделан перевод текста 12 персидских песен (ор. 34) А. Г. Рубинштейна. Наконец, Петр Ильич писал слова и для своих романсов, хотя тщательно скрывал это, печатая в заглавии, что «музыка Чайковского, а слова NN».

Поэтический текст романсов «Флорентийская песня», «Страшная минута», «Так что же?», «Простые слова», несомненно, принадлежит перу самого композитора.

Есть основания предполагать, что слова романса ор. 28 № 4 «Он так меня любил» также принадлежат композитору.

Кроме того, Чайковский иногда составлял тексты к различным хорам, кантатам и куплетам, когда самая музыка также писалась им, например, в следующих пьесах:

1. Гимн «К радости» Шиллера (1865 год).
2. Хор цветов и насекомых из фантастической оперы «Мадрагора» (1869—1870 годы).
3. Серенада в дни именин Н. Г. Рубинштейна 6 декабря 1872 года.
4. Кантата к 50-летию юбилею знаменитого певца О. А. Петрова (1876 год).
5. Кантата в честь 50-летнего юбилея Училища правоведения в 1885 году.
6. Куплеты графа Альмавивы (1872 год).



П. И. Чайковский.

7. Куплеты на тему «Славься» (1883 год).

8. Шуточное обращение к В. Л. Давыдову (для голоса с ф.-п.) и т. д.

Большая часть этих музыкальных произведений осталась в рукописи в различных местах, и поэтому мы приводим здесь для примера то, что удалось нам найти. Вот текст кантаты по случаю празднования 50-летнего юбилея знаменитого русского певца О. А. Петрова, исполненной на торжественном собрании Русского музыкального общества в Петербургской консерватории 24 апреля 1876 года.

Умиляя сердце человека,
Наслажденье чистое дая,
Голос твой не умолкал полвека:
Чудный дар певца-богатыря!

Не слабей под игом лет преклонных!
(bis)

Воплощая русское искусство
В звуки жизни, страсти, красоты,
Труд, любовь и творческое чувство
На алтарь его всегда приносишь ты.

Не слабей под игом лет преклонных!
(bis)

Кантата эта никогда не была издана и до последнего времени хранилась в рукописном виде в библиотеке Ленинградской государственной консерватории. В рукописном отделе Института литературы Всесоюзной Академии Наук мы нашли следующие слова Петра Ильича к торжественному хору в честь 50-летнего юбилея Училища правоведения. Эта хоровая кантата была исполнена 5 декабря 1885 года, но также не была издана.

Правды светлой чистый пламень
До конца в душе хранил
Человек, что первый камень
Школе нашей положил.
Он¹ о нас в заботах нежных
Не щадил труда и сил,
Он из нас сынов надежных
Для отчины возвратил.
Правовед! Как он, высоко
Знамя истины держи,
Предан чести будь глубоко,
Будь врагом ты всякой лжи.
И, стремясь ко благу смело,
Помни школьных дней завет,
Что стоять за правды дело
Твердо должен правовед.

¹ Основатель и первый попечитель Училища П. Г. Ольденбургский.

Было бы чрезвычайно интересно выявить все стихотворные вставки самого композитора в либретто к своим операм, составлявшиеся другими лицами. К сожалению, это в настоящее время сделать почти невозможно, только иногда удастся установить авторство Петра Ильича на основании его же собственных признаний. Так, в либретто к опере «Пиковая дама», составленное М. И. Чайковским, композитор многократно вносил исправления и дополнения: например, слова ариозо Лизы в шестой картине «Ах, истомилась, устала я...» целиком написаны и вставлены композитором вопреки первоначальному замыслу либреттиста.

Он пишет Модесту Ильичу: «...Я сочинил ариозо для Лизы... Слова были написаны (мною) уже, так сказать, на готовую музыку и вышли не очень-то стихи:

Ах, истомилась, устала я.

Ночью ли, днем,

Только о нем

Думой себя истерзала я!

Жизнь мне лишь радость сулила.

Туча нашла —

Гром принесла.

Все, что я в мире любила, —

Счастье, надежды — разбила...».

В том же письме, несколько выше, Петр Ильич пишет: «Еще я позволил себе прибавить заключительный хор (в пасторали):

Хор:

Блещет солнце красно,
Зефиры пронеслись,
Ты с юношей прекрасным,
Прилепа, веселись.
Пришел конец мученьям.
Невеста и жених
Достойны восхищенья...
Любовь! Спрягай ты их.

То же самое было сделано композитором во второй сцене третьей картины (разговор князя Елецкого с Лизой: «Вы так печальны, дорогая...» и т. д.). Стоит ли доказывать то, что эти строки, написанные Петром Ильичом, а в особенности начальная строка «Ах, истомилась, устала я...» сообщили этой замечательной арии Лизы ту силу и прелесть, которая волнует миллионы слушателей. Иногда композитор передде-

лывал по-своему стихотворный текст своего брата, в особенности тексты, которые Модест Ильич оставлял без рифмы. В этом случае не раз выходили веселые *qui pro quo*: например, Петр Ильич нашел, что молодые люди в четвертой сцене первой картины поют без рифмы. Это ему не понравилось, и он изменил так:

Солнце, небо, звезды,
 Соловья напев
 И румянец яркий
 На ланитах дев.
 То весна дарует —
 С нею и любовь
 Сладостно волнует
 Молодую кровь.

Эти стихи давали повод друзьям композитора смеяться над поэтическим «вдохновением и вольностью» композитора, так как у него звезды блистали при солнце, соловьи распевали в летнем саду чуть ли не в полдень, когда сад был полон гуляющей публики, а главное, их интриговало таинственное «то», даруемое весной, и они упрашивали смущенного композитора-поэта показать им воочию это «то».

Справедливость все же требует отметить, что поэтические вольности П. И. Чайковского касались не только одного содержания, но — даже и общепринятой формы. Вот один из забавных эпизодов в этом роде. Как-то у П. И. Юргенсона состоялся обычный карточный вечер. Партнеры после игры, в ожидании ужина, оживленно беседовали, когда один из них, Г. А. Ларош, взглянув на часы, схватился за голову и воскликнул с тоской: «Боже, как уже поздно. Когда же это я успею еще сегодня написать свою статью?». Чайковский по этому случаю тут же настроил импровизиацию в стихах раздосадованному Ларошу. Но так как отдельные строчки не укладывались в общий размер стиха, то композитор не задумался их по-своему стиснуть, и получились такие, например, сокращения:

А он, вмство, чтоб сттью писать,
 Вздумал с нами в ералаш играть.

Сокращая отдельные слова и даже сливая два различных слова в одно,

Петр Ильич отводил тексту, как таковому, второстепенное, чисто служебное место. В письме из Флоренции от 25 февраля (8 марта) 1890 года к брату Модесту Ильичу по поводу отдельных частей либретто к опере «Пиковая дама» композитор считает допустимым случай, когда печатное либретто не соответствует клавираусдугу. Он буквально пишет следующее: «... это ничего, что клавираусдуг не вполне будет сходиться с печатным либретто».

Вместе с тем Чайковский не всегда признавал принцип незыблемости, цельности и нерушимости чужого текста, равно как и не находил нужным считаться с метрикой и ритмикой самого стиха в том случае, если неровности текста мешали его музыкальным замыслам. Если начать сравнивать слова некоторых романсов Чайковского с подлинными текстами их авторов, бросается в глаза то обстоятельство, как иной раз великий композитор «выправлял» по своему личному усмотрению чужие стихотворения. Столь своеобразный «эксцентризм» в обращении с текстами приводил иногда самого композитора к совершенно неожиданным результатам. В неизданных воспоминаниях С. П. Кашнева мы находим такой рассказ, который, однако, приводим со значительным сокращением из-за недостатка места. За ужином в веселой дружной компании с участием братьев Чайковских присутствующие стали, каждый по очереди, задавать различные загадки, шарады, каламбурные вопросы и т. д. Дошла очередь до Апухтина, и он предложил пировавшим ответить—где, в чем именно и когда «Демон» Лермонтова тесно соприкасается с «Евгением Онегиным» и даже предшествует появлению последнего на свет? Такой, даже не недоуменный, а на первый взгляд дикий, вопрос вызвал особое оживление. После поголовного отказа всех найти хотя бы частичный, более или менее правильный, ответ, Апухтин с тем же невозмутимым видом сказал: «В творчестве нашего несравненного Пети». Первый же вскочил с вопросами—где, когда, в чем—сам Петр Ильич. После долгих приставаний всей компании не мучить дольше

с ответом Апухтин произнес: «На балу у Лариных. Там, где Петя заставляет «своего», а не Пушкинского Ленского сравнивать Ольгу с демоном... Помните, как он поет про Ольгу, что она, «как демон, коварна и зла...». Конечно, последовал долгий несмолкаемый хохот присутствующих. В такой шутливой форме поэт сделал в сущности справедливый упрек по адресу либреттистов оперы «Евгений Онегин». Как острит Апухтин, это «либретто было «состряпано» Чайковским в содружестве с неукротимым родителем московского «тигрёнка» (К. С. Шиловским, автором весьма известного в те годы вальса «Тигренок»).

Однако нужно отметить, что в жизни Петра Ильича бывали счастливые моменты, когда он приходил в большое восхищение от своих поэтических творений. 15 декабря 1878 года из Флоренции Петр Ильич посылает брату Модесту Ильичу только-что написанное им большое лирическое стихотворение «Ландыши» и сообщает: «...Вчера, во время гулянья, не знаю, почему, я вспомнил, как мы весной ездили в лес (Зрубанец) за ландышами. Оттого ли, что погода стоит отвратительная, оттого ли, что, вообще, я был вчера грустно настроен,— но вдруг мне захотелось воспеть ландыши в стихотворной форме. Целый день и все сегодняшнее утро я провозился над стихами... Я ужасно горжусь этим стихотворением. В первый раз в жизни мне удалось написать в самом деле недурные стихи, к тому же глубоко прочувствованные (подчеркнуто в подлиннике. — Ф. М.) Уверяю тебя, что хотя они мне достались с большим трудом, но я работал над ними с таким же удовольствием, как и над музыкой. Пожалуйста, дай сему моему творению самую широкую публичность: прочти его—Леле (А. Н. Апухтину), Ларошу (Г. А.), у Давыдовых, Саше и Тане, (сестре композитора А. И. Давыдовой и ее дочери Татьяне Львовне, очень любимой композитором), АLINE Ивановне (Конради), Жедринскому (В. А.) с Толей (А. И. Чайковским) и т. д. Я хочу, чтобы все удивлялись и восхищались...». Почти в тех же выражениях

31 декабря 1878 года Петр Ильич писал из Кларенса Н. Ф. фон-Мекк: «...Я ужасно мучительно и затруднительно корпел над каждым стихом, но в результате вышло стихотворение довольно приличное и внушающее мне большую гордость...». Впрочем, когда Модест Ильич задумал было его опубликовать, композитор срочно предупредил брата 31 декабря 1878 года: «Как я ни горжусь «Ландышами», а все-таки не нахожу их годными для печати и потому отказываюсь от своего предложения напечатать их... Нет. Распространяй мою стихотворную славу, труби, греми, но тиснению не предавай». Вот копия с автографа этого произведения, хранящегося в доме-музее П. И. Чайковского в г. Клину:

Ландыши

Когда в конце весны в последний раз
срываю

Любимые цветы,—тоска мне давит грудь,
И к будущему я молитвенно взываю:
Хоть раз еще хочу на ландыши взглянуть.
Вот отцвели они. Стрелой промчалось
лето,

Короче стали дни, умолк пернатых хор,
Скупее солнце нам дает тепла и света,
И разостлал уж лес свой лиственный ковер,
Потом, когда придет пора зимы суровой
И снежной пеленой оденутся леса,
Уныло я брожу и жду с тоскою новой,
Чтоб солнышком весны блеснули небеса...
Не радует меня ни книга, ни беседа,
Ни быстрый бег саней, ни бала шумный
блеск,

Ни Патти, ни театр, ни тонкости обеда,
Ни глеющих полен в камине тихий треск.
Я жду весны. И вот волшебница явилась,
Свой саван сбросил лес и нам готовит
тень,

И реки потекли, и роща огласилась,
И, наконец, настал давно желанный день!
Скорее в лес!.. Бегу знакомого тропю.
Ужель сбывлись мечты, осуществились
сны?..

Вот он! Склоняюсь к земле, я трепетной
рукою

Срываю чудный дар волшебницы весны.
О, ландыш! Отчего так радуешь ты
взоры?

Другие есть цветы роскошней и пышней,
И ярче краски в них, и веселей узоры,
Но прелести в них нет таинственной твоей.
В чем тайна чар твоих? Что ты душе
вещаешь?

Чем манишь ты к себе и сердце веселишь?
Иль радостей былых ты призрак
воскрешаешь?

Или блаженство нам грядущее сулишь?

Не знаю. Но меня твое благоуханье,
 Как винная струя, и преест, и пьянит.
 Как музыка, оно стесняет мне дыханье
 И, как огонь любви, питает жар ланит.
 И счастлив я, пока цветешь ты, ландыш
 скромный,

От скуки зимних дней давно прошел и след,
 И нет гнетущих дум, и сердце в неге
 томной

Приветствует с тобой забвенью зол и бед.
 Но ты отшел. Опять чредой однообразной
 Дни тихо потекут, и прежнею сильней
 Томиться буду я тоскою неотвязной,
 Мучительной мечтой о счастье майских
 дней.

И вот, когда-нибудь весна опять
 разбудит
 И от оков воздвигнет мир живой,
 Но час пробьет. Меня среди живых не
 будет, —
 Я встречу, как и все, черед свой роковой.
 Что будет там?.. Куда, в час смерти
 окрыленный,
 Мой дух, вельню вняв, беззвучно
 воспарит?
 Ответа нет! Молчи, мой ум неугомонный,
 Тебе не разгадать, чем вечность нас дарит.
 Но, как природа вся, мы, жаждой жить
 влекомы,
 Зовем тебя и ждем, красавица весна!
 Нам радости земли так близки, так
 знакомы, —
 Зияющая пасть могилы так темна!

Друг Петра Ильича — композитор
 А. С. Аренский написал красивый романс на отрывок из этого удачного

произведения для сопрано в сопровождении виолончели и фортепьяно.

Делая первую попытку собрать и выявить стихотворное наследие нашего великого композитора, мы заранее учитываем, что еще очень и очень многое не обнаружено из того огромного наследства, которое оставил после себя Чайковский. В столетнюю годовщину со дня его рождения мы считаем не лишним познакомить читателей хотя бы с тем, что удалось нам собрать.

В заключение, приведем собственные слова Петра Ильича, лучше всего характеризующие его отношение к поэзии, извлекая их из неопубликованной пока переписки композитора с его братом Модестом Ильичом: «Так как я не поэт, а только стихоплет, то, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что стихотворение никогда не может быть вполне серьезно, вполне вылиться из души. Законы стихосложения, рифма (особенно рифма) обуславливают деланность. Поэтому я скажу, что музыка все-таки бесконечно выше поэзии. Само собой разумеется, что и в музыке бывает то, что французы называют *emprise*, но оно менее чувствуется. При внимательном анализе во всяком стихотворении можно найти строки, существующие только для рифмы». (Письмо из Флоренции, от 15 декабря 1878 года.)

К проблеме народности в литературе

А. ГУРШТЕЙН



С некоторых пор вошло у нас в обиход говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, — но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность».

Так писал Пушкин более ста лет тому назад, в 1825 году. Слова эти в какой-то мере сохранили свою силу и по нынешний день. И мы часто говорим сейчас о народности, предъявляем нашим писателям требование народности, но вкладываем порой в это требование самое разнообразное содержание. Цель настоящей статьи и состоит главным образом в том, чтобы попытаться определить содержание понятия народности и с этой точки зрения сформулировать некоторые задачи, стоящие перед нашей советской литературой.

1

До недавнего времени в нашей литературной науке и критике чувствовала себя очень привольно, почти по-хозяйски, так называемая вульгарная социология. В ее обиходе для понятий «народ» и «народность» вовсе не находилось места. Ведь в том, что связано с народом, народностью, ощущается живое дыхание жизни; а жизни лучше всего боялись эти аскетические и меланхолические схематики из породы «sociologus vul-

garis». Они себя почитали рыцарями «классового анализа», но подлинному марксистско-ленинскому классовому анализу литературных явлений со всем их жизненным богатством, разнообразием, сложностью и часто противоречивым содержанием они предпочитали весьма упрощенную классификацию по надуманным классовым группам и группочкам.

Вульгарная социология у нас разгромлена. Но на смену ей появилась новая доктрина, которую условно можно назвать «неонароднической». Носители ее не занимаются классификацией художников прошлого, они просто объявляют их всех «народными». Дело дошло до анекдотов: какой-то диссертант с серьезным видом доказывал недавно «народность» Кукольника (по свидетельству тов. У. Фохта). Слово «народный» стало магическим, «щучьим» словом, стало «сезамом» нашей критики.

Первое место среди критиков «неонароднического» толка принадлежит, бесспорно, тов. М. Лифшицу, давно претендующему на звание «учителя». Еще первую свою книгу, вышедшую в 1935 году, он склонен был рассматривать, как «попытку представить взгляды Маркса на общий ход исторического процесса с той стороны, с какой они до сих пор еще ни разу не излагались»¹.

¹ М. Л и ф ш и ц. Вопросы искусства и философии, М., 1935, стр. 156.

Являясь таким «новатором» в области марксизма (ведь до него еще никто «ни разу» не дал всестороннего изложения учения Маркса), тов. М. Лифшиц, естественно, сделал целый ряд «открытий», дотоле марксистам не известных. Под видом борьбы против вульгарной социологии, которая, действительно, грубейшим образом искажала понятие классового анализа, тов. М. Лифшиц предложил по существу совсем отказаться от классового анализа в литературной критике. Он взял под сомнение самое существование классов; он договорился до того, что в русской действительности начиная с 60-х годов прошлого столетия и вплоть до самого 1905 года, т.е. вплоть до «генеральной репетиции» нашей революции, якобы не было четких граней в классовом членении, в классовой структуре, а существовала, как он говорит, «объективная классовая путаница»!¹ Каково сказано!

В этой «классовой путанице» тов. М. Лифшиц пытался найти теоретическое оправдание для той невероятной собственной путаницы в мыслях, которая выдавалась им за «новое учение». Классовый характер он свел лишь к «субъективной окраске». А раз нет классов, то, естественно, с классовым анализом делать нечего; да здравствует литературно-критическая импровизированная отсебятина, являющаяся по существу дешевым перепевом старых добродетельных мелодий, звучавших еще в либеральном литературоведении!

Соратники и последователи тов. М. Лифшица стали склонять слово «народ» на все лады, выделяя его курсивом². Тов. В. Кеменов объявил Шекспира народным поэтом Англии и был искренно уверен, что этим он до конца ре-

шил задачу критика-марксиста. В разных журналах стали появляться статьи, построенные по новому трафарету. Старые статьи спешно перелицовывались: где раньше стояло слово «класс», сейчас появилось — «народ».

Высказывания тов. М. Лифшица и его сподвижников антиисторичны. Попытаемся сдвинутые исторические факты поставить на свои места.

2

Что же есть «народность»? Как ее определить? Мы наперед должны разочаровать читателя, который ждет сложных и многословных «дефиниций», на которые так падки иные наши литературоведы. Придется также разочаровать и тех, кто ждет готовых рецептов по изготовлению «народности». Еще Гегель иронизировал над такого рода охотниками, которые «хотели бы иметь как бы некоторый рецепт, некоторое правило, которое научило бы, как изготовлять такое (художественное. — А. Г.) произведение, в какие условия и состояния следует себя поставить, чтобы создавать нечто подобное»¹.

Для того, чтобы подойти к определению народности, я напомним известное высказывание Ленина о социальной дифференциации в каждой национальной культуре. «Есть две национальные культуры, — писал Ленин в 1913 году, — в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.». И еще писал Ленин: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую»².

¹ Это замечательное «открытие» тов. М. Лифшиц сделал в статье «Ленинизм и художественная критика», напечатанной в «Литературной газете» за 1936 год (№ 4).

² В своих новейших статьях в связи с разгоревшейся на страницах «Литературной газеты» дискуссией тов. М. Лифшиц — со свойственной ему подвижностью мысли — сам ополчился против сплошной «народности» в литературе, стыдливо умалчивая о том, сколь эта сплошная «народность» обязана его собственным недавним «теоретическим» изысканиям.

¹ Гегель. Собр. соч., т. XII, стр. 288.

² В. И. Ленин. Соч., т. XVII, стр. 143 и 137.

Мы сейчас не ставим вопроса о взаимоотношении этих разных частей в каждой национальной культуре, но, конечно, совершенно ясно, что именно те ее элементы, которые выражают демократическую и социалистическую идеологию, составляют основное ядро и основное богатство каждой национальной культуры. И когда Ленин говорит о национальной гордости великороссов, то ленинское чувство национальной гордости зиждется на таких явлениях русской культуры, которые все входят в фонд, если можно так выразиться, ее демократической и социалистической «части». Народное нельзя отождествлять с национальным, но подлинно национальное есть всегда народное.

В каждой национальной культуре огромное место занимает и огромную роль играет литература. И в литературе, какой бы исторический период ее развития мы ни брали, есть, хотя бы не развитые, демократические и социалистические элементы. Вот эти демократические и социалистические элементы, наличие которых Ленин отмечал в каждой национальной культуре, по существу и составляют, поскольку они проявляются в литературе, то, что мы привыкли называть народностью.

В произведениях народного творчества в собственном смысле, в которых с особенной силой и верностью передаются идеи, настроения, стремления, склад мысли и чувств определенного народного коллектива на известном историческом этапе его развития, народность проявляется в непосредственной форме. Это одинаково относится как к безымянным эпическим произведениям, складывавшимся на протяжении многих поколений («Давид Сасунский», «Манас», «Джангар» и др.), так и к песне акына, чье имя вырвала из забвения и неизвестности и возвысила наша великая революция (пример: Джамбул и многие другие народные певцы).

В истории литературы есть имя поэта, чье творчество является феноменальным и, может быть, единственным с точки зрения тех огромных художественных вершин, которых достиг простой человек, непосредственно вышедший из на-

родной среды, крепостной крестьянин. Это — прекрасное имя великого украинского поэта Шевченко. Шевченко был народным поэтом в самом подлинном, в собственном смысле этого слова, и народность его поэзии может служить лучшим примером той народности, которую мы обозначаем как народность в непосредственной форме. Эту особенность Шевченко отмечали лучшие представители нашей критики, от Добролюбова до Горького.

Добролюбов писал о Шевченко: «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда удаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан»¹.

Горький писал о Шевченко: «...Он заслуживает высокой оценки именно как первый и воистину народный поэт, не искажавший субъективными добавлениями народных дум и чувств.

В его жалобах на личную судьбу — слышна жалоба всей Малороссии, в его воспоминаниях о казацкой воле — вы почувствуете воспоминания всего народа»².

Мы, действительно, встречаем в поэзии Шевченко полное слияние с народными переживаниями и народными чаяниями. Шевченко жил исключительно жизнью народа. Основные стремления народа были его основными стремлениями. И не только содержание его поэзии, но и поэтические ее формы неразрывно связаны с украинской народной поэзией. Они представляют собой единое целое. Даже тогда, когда Шевченко выступает как тончайший лирик, он не перестает быть «кобзарем»; в его поэзии ни на одно мгновение не перестает

¹ Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., 1935 г., т. II, стр. 562—563.

² М. Горький, История русской литературы, 1939, стр. 189.

звучать голос народной поэзии (украинский фольклор, между прочим, обладает богатейшей лирикой). Где источники этого замечательного явления? Александр Веселовский, опираясь, очевидно, на Гегеля, говорил применительно к эпохам создания великих памятников народного творчества о существовании так называемого «эпического» сознания, т.е. некоего коллективного (народного) сознания, когда личность не выступала еще со своими притязаниями и со своими собственными, обособившимися переживаниями (говоря словами Горького — «субъективными добавлениями»). Но Шевченко ведь жил в другое время; это была богатейшая личность, ярчайшая индивидуальность, подлинный сын времени, стоявший с веком наравне, лично и мысленно общавшийся с лучшими и передовыми людьми того времени. Однако все, что Шевченко приобрел как личность, как человек, он употребил лишь на то, чтобы с большей силой, с большей выпуклостью, с большей глубиной, с большей осмысленностью обнаружить, проявить, выразить чувства, помыслы, стремления закрепощенного народа.

Но гораздо чаще народность проявляется в литературе не в непосредственной, а в опосредствованной, весьма и весьма осложненной форме. Опосредствующей средой является класс, эпоха, творческая личность автора. Здесь играют огромную роль те «субъективные добавления», о которых говорит Горький. Они всегда порождены той конкретной, иногда весьма сложной исторической обстановкой, в которой возникают и развиваются. Мы наблюдаем здесь самые различные и разнообразные явления. Мы можем говорить о различной мере народности у разных писателей, понимая под «мерой», конечно, не количественно-арифметическую категорию, а историко-философскую категорию качества и содержания. Обычно бывает так: чем писатель значительней и глубже, тем в большей степени присутствует в его творчестве народность. Но здесь, как и всюду, надо беречься формул-рецептов: конкретная история всегда богаче наперед заготовленных схем.

В. И. Ленин говорил о «мужицком демократизме» Чернышевского и Добролюбова; в то же время Ленин писал о том, что в творениях Л. Н. Толстого нашло отражение «великое народное море, взволновавшееся до самых глубин...»¹. Это значит, что и в произведениях Чернышевского и Добролюбова, и в творчестве Толстого живет народность. Но Л. Н. Толстой и по характеру своего творчества, и по своим стремлениям глубоко отличен от Чернышевского и Добролюбова. Задача исследователя и заключается в том, чтобы конкретно определить «меру», границы, реально-историческое содержание их народности. Где, в чем, когда, как слышится здесь голос народа, — и какие другие голоса звучат в творениях каждого из писателей?

Когда мы имеем дело с художественной индивидуальностью, то народность обычно проходит сквозь ряд посредствующих звеньев и видоизменяющих призм. Здесь порой образуются такие широкие и густые наслоения и напластования, что народность оказывается скроненной глубоко под спудом, и ее иногда бывает невозможно различить простым глазом. Глубоко ошибется тот, кто будет измерять народность по внешним признакам, например, — близости к фольклору. Уже Белинский и Добролюбов предупреждали о том, что в данном вопросе нельзя быть на поводу у внешних признаков.

Ленин с особенной настойчивостью искал в литературе отражения протеста и борьбы народа против эксплуатации и угнетения, т.е. искал того, что составляет один из существенных элементов подлинной народности. Именно с этой точки зрения Ленин подошел к творчеству Л. Н. Толстого. Историю русской публицистики начиная со второй половины XIX столетия Ленин воспринимал как историю «протеста и борьбы самых широких масс населения с 1861 по 1905 год против остатков крепостничества во всем строе русской жизни...»². И в настроении, которое сказалось в

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 407.

² В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 219.

письме Белинского к Гоголю, Ленин видел также зависимость «от настроения крепостных крестьян».

Отношение к народу (или скажем по-своему: мера и глубина народности) было для Ленина самым точным мерилом при определении характера и объема общественного явления (в том числе и литературного). С особенной рельефностью это проступает в знаменитой ленинской характеристике трех поколений, действовавших в русской революции. Первое поколение — дворянские революционеры, декабристы и Герцен. Их круг узок. «Страшно далеки они от народа» — пишет Ленин. Потом пришли революционеры-разночинцы. «Шире стал круг борцов, — говорит Ленин, — ближе их связь с народом». И, наконец, в 1905 году грянула подлинная буря: «это — движение самих масс»¹, во главе которых стал пролетариат. Эта замечательная ленинская характеристика дает нам ключ к пониманию народности.

Герцен, как и другие дворянские революционеры, был, по словам Ленина, страшно далек от народа. Но разве то дело, за которое он ратовал, не было народным делом, разве не о счастье народа и не о народных интересах были его думы и заботы, его смелая борьба? Герцен был среди тех, кто, по пушкинскому слову, «вышел рано, до звезды», когда еще не вспахана была народная нива, когда еще не созрел гнев народный против поработителей. «Не вина Герцена, — писал Ленин, — а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидел его в 60-х — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции»².

И часто бывало так, что искусство, всеми своими устремлениями направленное к народным массам, не находило доступа к этим массам. Столетия рабства

и угнетения держали народ в темноте и невежестве, часто создавая пропасть между ним и художником. Ленину принадлежат замечательные слова о том, что иногда длительное время отделяет в истории посев от жатвы. Ленин писал в статье о Герцене: «...беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...»¹. В объективном ходе истории посев никогда не пропадает даром; поколением раньше или позже, но жатва будет собрана. В субъективном же восприятии художника этот разрыв отзывается часто непомерной болью. Одна из драм великих людей прошлого, в том числе и великих художников, драма одиночества, имела часто своим источником именно отсутствие контакта с народом, ради которого и для которого художник творил. Вязанка хвороста, которую добрая поселанка подбросила в костер Гуса, есть ярчайший и печальнейший символ этого одиночества. Тема одиночества не раз звучала в произведениях Пушкина, который главную задачу и обязанность поэта видел в том, чтобы «глаголом жечь сердца людей».

В творчестве Л. Н. Толстого нашла широкое отражение русская народная жизнь. В беседе с Горьким Ленин говорил, что «до этого графа подлинного мужика в литературе не было». В творчестве Толстого Ленин услышал голос «самых широких народных масс в России указанного периода (т.-е. переходного периода между 1861 и 1905 годами. — А. Г.), и именно деревенской, крестьянской России»². А между тем творчество Толстого было до революции известно лишь ничтожному меньшинству, потому что огромная масса населения оставалась неграмотной и поэтому не читала книг. Ленин писал в 1910 году о Толстом: «Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки мил-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 468.

² Там же.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 469.

² В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 405.

лионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»¹. Лишь Великая Октябрьская социалистическая революция, раскрепостив народ, раскрепостила и великое искусство прошлого, вернув его народу и сделав «достоянием всех».

3

Не отказ от классового анализа поможет нам определить подлинную народность великих мастеров прошлого, а правильное и глубокое применение марксистско-ленинского анализа к явлениям художественной литературы. Так именно поступал Ленин по отношению к творчеству Л. Н. Толстого. Видя в Толстом гениального художника, который отразил в своем творчестве «великое народное море, взволновавшееся до самых глубин», отмечая в нем великое и объективно ценное, Ленин в то же время указывал и границы, которые полагал правильному восприятию действительности классовый «предрассудок» писателя. Ленин показывает, что Толстой правильно понял и воспринял в революции и чего он не понял, потому что Толстой стоял не на точке зрения революционного рабочего класса, который единственно и может дать правильную оценку явлений. Ленин отделяет в творчестве Толстого то, что «выражает предрассудок Толстого», от того, что выражает его «разум»; Ленин различает в наследии Толстого то, «что принадлежит в нем прошлому», и то, «что принадлежит будущему»². К этим своим положениям Ленин приходит, исходя именно из классового анализа толстовского творчества.

Так поступали и Маркс, и Энгельс. Даже говоря о таких колоссах человеческой мысли, как Гегель и Гете, Энгельс считал необходимым отметить те ограничивающие их черты, которые порождались классовыми и временными условиями. «Гегель, как и Гете, — писал Энгельс, — был в своей области настоящий Зевс-олимпиец, но ни тот, ни дру-

гой не могли вполне отделаться от духа немецкого филистерства»¹.

Конечно, смешными и беспомощными оказываются те квази-марксистские исследователи, для которых Пушкин является «дворянским писателем». Но мы ничего не поймем в народности Пушкина, если его творчество не поставим в связь с деятельностью «дворянских революционеров» и, с другой стороны, не учтем тех ограничений, которые вносили в творчество Пушкина порождаемые его принадлежностью к дворянству консервативные элементы его общественно-политического мировоззрения. Без классового анализа мы здесь ничего не поймем и не разберем.

Очень не повезло в нашем литературоведении Гоголю, его судьба здесь поистине печальна. До революции мракобес Мережковский написал жуткую, фантастическую книгу, где Гоголь сблизился с чортом. Другой критик, почитавший себя столпом марксизма, написал не менее фантастическую книгу о Гоголе, в которой он доказывал, что гоголевский чорт есть мелкопоместный дворянин. Так в реестрах вульгарных социологов Гоголь и остался по мелкопоместной части. Надо ли говорить, что в этих безжизненных и сумасшедших конструкциях и следа не остается от гоголевского творчества, от его бессмертных произведений, положивших начало «гоголевскому периоду» в нашей литературе и уготовивших путь Салтыкову-Щедрину; и следа не остается от Гоголя, о ком с такой страстью говорил Белинский, кого так ценил Чернышевский, кого так высоко ставил Ленин!

Несколько лет тому назад И. Иванов (существо, безусловно, псевдонимическое и типическое) напечатал на страницах «Литературного обозрения» (1938 г., № 8) елейную статью о Гоголе. Всю проблему творчества писателя он свел к следующему: «Мучения Гоголя были результатом его страстной любви и тревоги за будущее своего народа, своей страхи». Но какая же тогда разница между Гоголем и, скажем, Шевченко? Что

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 400.

² В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 403.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 639.

это — явления одного социального порядка или нет?

Могут ли что-нибудь объяснить нам в творчестве Гоголя и, в частности, в его народности либерально-елейные речи разных Ивановых о «народе» и «стране»? Такие речи мы ведь в изобилии слышали от либеральных ученых и публицистов. Разве могут помочь делу рассуждения И. Иванова (и всех тех, кто стоит за его псевдонимической спиной) о том, что внутренний надлом Гоголя был обусловлен «ничтожностью тех общественных сил, которые могли противостоять николаевскому режиму»? Но ведь то же самое время в условиях той же николаевской России не исключало возможности появления такого борца-просветителя, как Белинский, который резко и страстно осудил Гоголя за его «Переписку с друзьями»!

Право, гораздо глубже подходил к проблеме народности у Гоголя Добролюбов, который писал в 1858 году:

«... Гоголь хотя в лучших своих сочинениях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической оцупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже все вопросы жизни пересмотреть с той же народной точки зрения, оставивши всякую абстракцию и всякие предрассудки, с детства привитые к нему ложным образованием, тогда Гоголь сам испугался: народность представилась ему бездной...»¹.

Перед нашим литературоведением остро стоит вопрос о марксистско-ленинском осмыслении богатейшего литературного наследства, доставшегося нам от великих мастеров прошлого. Классики были сынами своего времени, сынами определенных классов. Но, несмотря на это, творчество их пережило века, как и все ценное и великое, созданное в прошлом. Могучие творческие влияния, которые идут от трудящегося человечества, от народных масс, находили свое осуществление — хоть порой и в весьма опосредствованной форме — в

произведениях великих мастеров прошлого, часто в противоречии с классовыми предрассудками этих мастеров. Творческие влияния, идущие «снизу», из народа, находят самые разнообразные каналы для своего проникновения в литературу. Это — влияния огромной силы, и они часто пробиваются даже через толщу чужеродной среды. Народность, о которой говорит Ленин, не есть какая-то абстрактная категория; во всех случаях понятие народности у Ленина имеет определенное историческое содержание, потому что всегда определены ее границы и определена социальная, классовая сущность той творческой среды, в которой эта народность сказывается. Не зачеркивать классовый характер литературного творчества прошлого, — надо понять и объяснить величие классиков, определив и те пределы, те границы, которые полагала их творчеству исторически обусловленная классовая их природа. Это даст возможность определить и меру их народности, ее границы, ее, так сказать, колорит, ее определенное конкретно-историческое содержание.

4

Еще Белинский отличал народность от простонародности. Здесь нет ничего от презрения к народному, к народным массам, наоборот, есть замечательное и полное большого смысла различие между внешне эмпирическим, лежащим на поверхности, и тем глубоким содержанием, что в этих народных массах таится. Такой взгляд позволил Белинскому прийти к выводу, что «Евгения Онегина» «можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением». Пушкинская поэма, по словам Белинского, «была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!». Этот шаг был богатырским размахом, и после него состояние на одном месте сделалось уже невозможным...» (из статьи 1845 года).

Также Добролюбов различал содержание и форму народности. Под формой ее он разумел внешнее проявление и окружение народной жизни; овладеть

¹ Н. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. I, стр. 244.

формой народности значило уметь «изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п.». Этого, конечно, недостаточно, «чтобы быть поэтом истинно народным»: истинно народный поэт должен отразить содержание народной жизни.

Мера народности того или иного писателя и определяется тем, как глубоко он отразил в своем творчестве именно содержание народной жизни. Глубоко отразить содержание народной жизни значит не только дать широкую и правдивую картину действительности, но и осветить ее с точки зрения правильно понятых народных интересов, осветить происходящие в ней глубокие, иногда скрытые от невооруженного глаза процессы, выразить народные нужды и стремления. Мера народности писателя определяется и его борьбой против эксплуатации и угнетения, борьбой против отживших общественных форм, задерживающих развитие народа, степенью предвидения будущего. В творчестве большого, подлинно народного писателя все эти элементы даны в своей совокупности; у другого писателя они выступают разрозненно. Тут, конечно, могут быть самые разнообразные сочетания. Так и оправдывается выдвигаемое нами понятие меры народности.

При определении народности писателя мы часто склонны отдавать предпочтительное признаку происхождения писателя; мы говорим: писатель—народный писатель, потому что он вышел из народных низов и т. д. Конечно, писатель, вышедший из среды народа, живущий с ним одной жизнью, знающий хорошо его быт и нужды, приносит с собой в свое творчество народность. Но понятие народности в литературе и гораздо шире, и гораздо значительней, потому что речь идет не только об отображении народного быта и народных нужд. Добролюбов, например, говоря о народности Кольцова, в то же время отмечает ее ограниченность, так как Кольцов уединен от общих интересов и его поэ-

зии недостает «всесторонности взгляда». И Белинский, и Чернышевский видели в художественной литературе выражение народного самосознания. Подлинная народность, ее высшее проявление и заключается в этом народном самосознании. А здесь невольно приходят на память всем нам известные слова Ленина («Что делать?») о том, как выросло учение социализма, т. е., как выросло сознание рабочего класса.

«Мы сказали, — писал Ленин, — что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание трэд-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции»¹.

Эти слова Ленина применимы и к вопросу о росте народного самосознания вообще. Иные критики видят народность только в произведениях таких писателей, как Кольцов, Никитин и т. п., забывая, что народное самосознание находило свое замечательное и глубокое выражение в творчестве великих художников, порою не имевших непосредственного соприкосновения с народом, но «извне» (по слову Ленина) посвящавших ему свою творческую мысль. Тысячу раз был прав Горький, который гово-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. IV, стр. 384—385.

рил, что именно народ является величайшим и неисчерпаемым источником всего творчества. Но, черпая из этого источника, великие художники всегда платили народу сторицей, возвращая ему же обогащенные высокой творческой мыслью, оплодотворенные богатейшей художественной культурой всего человечества создания своего гения.

На основе средневековой народной легенды вырос гетевский «Фауст». Но Гете подверг старинную легенду гениальной обработке и привнес в нее все богатство ищущей и мятущейся человеческой мысли. Разве поэтому мы должны почитать Гете менее народным, нежели безымянного создателя средневековой легенды? В долгие зимние вечера своей деревенской ссылки Пушкин слушал рассказы Арины Родионовны, которые потом преобразились под его пером в перлы нашей поэзии, засверкав и заблестав всем богатством поэтической речи. Почему же эти произведения Пушкина должны почитаться менее народными, нежели сказки его няни? Пушкин был по рождению, воспитанию и положению дворянином, его общение с народом было по преимуществу мысленным. Но в своих бессмертных произведениях Пушкин дал широчайшую картину России и ее обитателей, от Онегина и Ленского (который при известных обстоятельствах мог бы «быть повешен, как Рылеев») до безвестного «станционного зрителя» и убогого мужичка, который, без шапки, «несет под мышкой гроб ребенка». Считая Степана Разина самым поэтическим лицом в русской истории, Пушкин пытался переосмыслить прошлое русского народа, с особенным интересом останавливаясь на тех моментах, когда народ выступает в качестве субъекта истории. Пушкин, наконец, с тревогой и с настойчивостью глядел вперед, вглядываясь в будущее, стремясь разгадать судьбу народа, воспрянувшего «на обломках самовластья» к новой жизни. Недаром Белинский возвращался много раз к теме «Пушкин и будущее». Что же, присутствует во всем этом народность, подлинная, высокая народность? Только один ответ может быть дан на этот вопрос. Пушкин «из-

вне» развивал и обогащал народное самосознание. Путем конкретно-исторической характеристики пушкинского творчества мы сможем определить меру его народности, глубину ее, как и «временные», «классовые» границы.

Не только то, что идет непосредственно из народа, обозначается нами как народность, но и то, что — для народа (пусть даже «извне»). Потому что и здесь чувствуется в конечном счете никогда не угасающее дыхание народных масс, их могучее творческое воздействие.

5

Еще Белинский указывал на теснейшую связь между народностью и реализмом. Эта связь начинает особенно ощущаться на заре новой истории, в эпоху Возрождения, когда гуманизм приходит на смену мифологическому и религиозному сознанию древности и средневековья. Уже в творчестве Шекспира, где присутствует огромный народный мир, реализм достиг величественных вершин своего выражения. И недаром Маркс и Энгельс видели в шекспировском реализме прообраз художественного воплощения широких народных движений. «Просветители» пришли с эстетическим обоснованием реализма, и этого нельзя не поставить в связь с одной из характерных черт Просвещения, которую Ленин формулирует следующим образом: «отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому»¹.

В классицизме с его космополитическим универсализмом народность могла проступать лишь в самой абстрактной форме. Культивировавшийся романтизм и интерес к народной поэзии, его пристрастие к «*couleur locale*» (местный колорит) привлекли — правда, в односторонней форме — интерес к народно-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. II, стр. 314.

сти и сыграли известную роль в развитии литературы, явившись своеобразным мостом к реализму. Лишь торжество реализма в XIX столетии с упрочением национально-реалистического романа как одного из ведущих литературных жанров создало широчайшее поле для развития народности в литературе. С огромной силой звучала народность в произведениях критико-реалистического направления. Народность становится формирующим началом в литературе, и недаром Добролюбов озаглавливает одну из своих статей: «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858 г.). Перед марксистским исследователем стоит благодарнейшая задача рассмотреть с этой точки зрения развитие всей художественной литературы.

Нам хочется только предостеречь от релятивизма в понимании народности, того релятивизма, который все явственней начинает звучать в выступлениях некоей «кучки» исследователей, «кучки», склонной считать себя «могучей» и именующей себя «течением». Представители этого «течения» всячески тщатся доказать, что реакционное мировоззрение не только уживается с художественным творчеством, но и является благодатной почвой для его развития. Стерн в своем «Сентиментальном путешествии» говорит о «sensorium» (чувствилище), о «пиршестве ощущений», — «пиршеством предрассудка» можно было бы назвать работы нашего нового «течения»: «предрассудок» здесь поистине справляет неистовые оргии! И в угоду все тому же «предрассудку», все той же реакционной мысли создается новая «теория» народности. Я имею в виду недавнюю статью В. Кеменова «Ленин и вопросы народности в искусстве», напечатанную в «Советском искусстве» (1940 г., № 6).

В. Кеменов приходит к чудовищному выводу: «Народность в искусстве великих писателей, — пишет он, — отражает не только рассудок масс, но и их предрассудок». Что дает право Кеменову делать такое обобщение, выводить такой общий закон для всего «искусства великих писателей»? Белинский умел сто лет тому назад отличать народность от

простонародности, а вот тов. Кеменов хочет обязательно включить в понятие народности и «предрассудок» народных масс. Без «предрассудка» В. Кеменов, как и другие его товарищи по «течению», никак обойтись не может! Это не значит, что у народных масс нет предрассудков и иллюзий; именно об этих предрассудках и иллюзиях миллионов масс русского патриархального крестьянства и говорит Ленин в известных статьях о Толстом. Предрассудки эти и иллюзии, действительно, нашли отражение в противоречивом характере творчества Толстого (наряду с силой стихийного чувства протеста и негодования). Но значит ли это, что Ленин, как утверждает В. Кеменов, «показал двойственный характер народности»? Ленин показал противоречивый характер общественного поведения определенных народных масс в определенный исторический период, но разве от этого сама категория «народности» стала в глазах Ленина «двойственной»?

Во-первых, не надо забывать, что Ленин говорит лишь о патриархальном крестьянстве. Несмотря на огромную его численность в тогдашних русских условиях, с ним нельзя отождествлять понятие всего народа. Не знаем, как Кеменов, но Ленин включал рабочий класс также в понятие народа. Во-вторых, народность вовсе не есть решительно все, что свойственно всем слоям народа. Ведь, говоря, например, о человечности, тов. Кеменов, надемся, исключает из этого понятия отрицательные свойства целых человеческих групп, как, например, эксплуататоров, социальных преступников, полоумных и т. д., и т. п. Почему же тов. Кеменов обязательно хочет включить в понятие народности темноту народную? Пусть тов. Кеменов не вздумает обвинять нас в логицизме и антиисторизме. Темнота народная в определенные исторические периоды есть исторический факт. Но ведь и в рабочем классе есть отсталые элементы; что же, говоря о сознании рабочего класса, тов. Кеменов включит и отсталые понятия его отсталых слоев? Но классики марксизма учили нас в та-

ких случаях ориентироваться на передовое сознание, на авангард, потому что он, этот авангард, выражает подлинные тенденции целого, выражает его сущность. Мы поэтому настаиваем на том определении народности, которое мы выдвинули выше: при всей своей историчности и при всей своей изменчивости именно в силу историчности народность включает в себя демократические и социалистические элементы культуры.

Не тот художник более народен, который выражает народную отсталость, будь эта отсталость даже распространенным, массовым явлением, а тот, кто идет впереди, даже в том случае, если между ним и народом есть еще большее, отделяющее их расстояние. В минуту горечи, оглядываясь на неграмотную Россию, Добролюбов писал: «Напрасно также у нас и громкое название народных писателей: народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа». Но тем не менее народность присутствует в искусстве великих художников даже тогда, когда народу это искусство еще не доступно. Великий художник часто видит и воплощает народное раньше, нежели оно созрело в сознании народных масс. Такой художник является глашатаем, борцом, учителем. Такой художник осуществляет подлинное значение великого искусства.

6

У нас часто ассоциируют народность с детскостью, наивностью и непосредственностью. Наивность, действительно, звучит в древних памятниках народного творчества. Но народ не стоит на одном месте, он движется вперед. Свою старую народную поэзию сам народ в своем дальнейшем развитии вспоминает, как детство (правда, как неповторимое и, следовательно, обладающее всей прелестью и очарованием неповторимого); вспоминая ее, как детство, он так ее и расценивает.

Этого чувства исторического развития, которым обладает сам народ, вспоминающий всегда свою старую народную поэзию с чувством превосходства, с чувством перспективы, с чувством дистанции, отделяющей его нынешнее состояние от прошлого, — этого чувства не доставало, например, консервативным романтикам (как впоследствии и народникам). У этих романтиков с их культом средневековья был чрезвычайно развит интерес к рудиментарным формам народности; последние заслоняли от романтиков живую, непрерывно развивающуюся народность во всех многообразных ее проявлениях.

Почти в одно и то же время выступили против консервативного романтизма и Гейне, и молодой Энгельс.

Гейне ехидно и зло издевался над романтическим культом наивной «народной» молодости и, направляя свои стрелы против Тика, рассказывал анекдот про старуху-горничную, которая пользовалась отсутствием хозяйки и выпила до дна все содержимое флакона с волшебной жидкостью, к которой прибегала ее молодящаяся хозяйка. Необычная доза так подействовала на старуху, что та превратилась в крошечного ребенка. Энгельс упрекал романтиков в том, что они, наряду с реставрацией подлинной народной поэзии, культивируют средневековое религиозное суеверие. Двадцать лет спустя Добролюбов в том же упрекал Жуковского¹.

Толстовская идея «опрошения» бесконечно далека и чужда народности, потому что народ видит свое счастье в дальнейшем движении вперед, а не в реставрации или консервировании старых форм. Народ, создающий на заре своей истории наивные верования в неведомые силы природы, непрерывно растет, все более проникая в их тайну и научаясь их себе подчинять. Художественное творчество народа и является одной из ярчайших форм его все растущего самосознания. Мы говорим о мудрости на-

¹ Добролюбов писал: «Одно только из русской народности воспроизвел Жуковский (в «Светлане»), и это одно — суеверие народное».

рода; она достигается жизненным опытом столетий и тысячелетий, долгим путем исторического развития. Отождествление народности с примитивом есть романтическая химера или эстетский снобизм, есть одна из форм мистифицированной, искаженной народности. Подлинная народность включает в себя все богатейшее содержание живой, развивающейся, непрерывно изменяющейся народной жизни.

Мистифицированная, искаженная народность знает самые разнообразные проявления. Сюда, например, относятся различные формы «мессианизма», понимаемого чаще всего в религиозно-мистическом плане, иногда в плане историко-аллегорическом. Таков «мессианизм» позднего Мицкевича, русских славянофилов, еврейского поэта Бялика. «Умом — Россию не понять, аршином общим не измерить» — писал Тютчев, создавая метафизическую, трансцендентальную формулу народности.

В 1880 году при открытии памятника Пушкину в Москве Достоевский произнес свою знаменитую речь, в которой он славословил пушкинскую Татьяну за взятое ею на себя бремя страдания, за «кротость», какую проповедывал сам Достоевский, объявляя ее основной чертой русского народа. Между тем Пушкину было совершенно чуждо обожествление страдания, потому что он не мог найти оправдания для рабства. «Долготерпенье» русского народа (о котором говорит и Тютчев) не было исконной, «субстанциальной» категорией, а было лишь временной чертой, обусловленной характером исторического развития. «Кротость» русского народа — это выдумка, неправда, такая же фальсификация, как уже в наше время прозвучавшая бухаринская клевета о присущей русскому народу «обломовщине». Русский народ сбросил цепи рабства и совершил (вместе с другими народами нашей страны) величайшую в мире революцию.

Демократическая фразеология в пушкинской речи Достоевского, постоянная апелляция к народу скрывает ее глубоко реакционный смысл. Пушкин гораздо глубже Достоевского понимал задачи

народности и тогда, когда он с сокрушением писал о том, что закрепощенный народ — «раб», и тогда, когда он всей своей поэзией прорубал «окно в Европу». Достоевский связывает народность с противопоставлением своего иноземному, чужеродному, между тем как подлинная народность глубоко интернациональна; проблема «своего» и «чужого» не заключается здесь в противопоставлении разных национальных культур, а в совершенно ином, социальном противопоставлении: свое — это то, что на стороне угнетенных и эксплуатируемых, а чужое — это то, что на стороне эксплуататоров и насильников.

Искаженные формы народности воистину неисчерпаемы. Ленин неустанно разоблачал ложное понимание народности народниками, которые фетишизировали и стремились канонизировать отжившие формы народной жизни. В творчестве такого писателя, как Глеб Успенский, начинается проступать подлинная народность, подлинная жизнь тогда, когда он преодолевает ложные схемы народничества, когда он освобождается от них, а не тогда, когда он находится в их власти. Противоположна народнической мистификации кулацкая, которая стремится отождествить народность с кулацкими понятиями и представлениями.

Говоря о мистифицированной народности в литературе, необходимо выделить явления чисто литературной мистификации, когда автор выдает свои произведения за народные (фольклорные). Можно привести такие известные примеры, как макферсоновские подделки Оссиана (XVIII век), как сборник Мериме «Гузла» (1827), из которого Пушкин заимствовал большинство своих «Песен западных славян». Здесь уже встает вопрос о стилизации, где центр тяжести переносится с народности содержания на народность формы.

В этой связи мне хочется сказать несколько слов об эволюции понятия народности формы. Необходимо подчеркнуть, что народность формы и фольклорность не являются понятиями тождественными. Уже давно прошло то

время, когда фольклорная форма была единственной народной формой художественного выражения. Тут надо вспомнить все то, что мы говорили о сказывающемся в искусстве развитии народного самосознания, которому сопутствует и развитие форм его выражения. Расстояние между фольклорной и художественно-индивидуальной формой в процессе исторического развития все более уменьшается. Художественно-индивидуальная форма, с другой стороны, становится по своему существу народной.

Является ли пушкинская форма народной? Современная Пушкину критика, как враждебная, так и дружеская, сразу заметила тот переворот, который Пушкин произвел в области формы в смысле ее приближения к народной. Уже появление «Руслана и Людмилы» вызвало недоброжелательное замечание «Вестника Европы» о том, что «в... благородное собрание... вторся... гость с бо-родою, в армяке, в лаптях, и закричал... зычным голосом». В отношении формы народность следует обычно рядом с простотой (не с примитивом, а именно с большой, великой простотой). Одним из средств достижения этой простоты было для Пушкина приближение стиха к живой, разговорной речи. Это не значит, что это — единственное средство и что метафоричность чужда народности (хотя она характерна для более ранних форм народности). Аристотелю не были по душе ямбы, «так как, — писал он, — ямб более всех метров подходит к разговорной речи»; Пушкин любил ямбы именно за это их качество. Ими легче изобразить «фламандской школы нестрой сор», легче нарисовать простой и строгий русский пейзаж:

...песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины...

Народность содержания не всегда, правда, идет рядом с народностью формы. Мы часто находим народность содержания у писателей, у которых, с точки зрения выражения этой народности, мы наблюдаем еще довольно большое расстояние от способа народного выражения. В этом смысле очень по-

учительна эволюция формы у Маяковского.

Нет сомнения, что в творчестве раннего Маяковского мы находим элементы так называемой «затрудненной формы», являющейся результатом определенных литературных влияний. Идеальная эволюция Маяковского отразилась и на его поэтической форме. Чем глубже, чем полнее поэт стал выражать чувства и мысли, присущие всему советскому народу, тем он становился и всенароднее в смысле формы, тем все больше и больше приближался к простоте, стремясь выразить свою поэтическую мысль, по его же собственным словам, «вернее, короче, сжате».

7

Понятие народности кардинально изменилось у нас сейчас, в условиях социалистической страны. Весь народ наш пережил за годы Великой Октябрьской социалистической революции процесс глобчайшего как внешнего, так и внутреннего изменения. Исторически сложился единый советский народ, единый во всех своих устремлениях, единый в своем творчестве, единый морально и политически. Это единство советского народа охарактеризовал тов. В. М. Молотов в докладе, посвященном двадцатилетию Октябрьской революции. Тов. Молотов говорил:

«Моральное и политическое единство народных масс Советского Союза выковано в испытаниях героической борьбы с буржуазно-помещичьими классами и иностранными интервентами. Оно окрепло на основе союза рабочих и крестьян в деле подъема народного хозяйства. Но только после создания социалистического общества, в котором закрыты все двери для эксплуататоров и для всякой эксплуатации человека человеком, стало сказываться то новое морально-политическое единство народа, которое представляет величайшую силу. Такое моральное и политическое единство, проникнутое глубоким интернационализмом, окончательно сплотит в одно целое народы и народности Советского Союза. В нем будут видеть прообраз своего будущего и народы других стран».

Это единство советского народа называется и в создаваемой им культуре. И если применительно к капиталистическим условиям Ленин различал в каждой национальной культуре две культуры, социально противостоящие, то мы сейчас, опираясь на замечательное по своей глубине определение Сталина, говорим о единой нашей социалистической культуре. «Что такое национальная культура при диктатуре пролетариата? — писал товарищ Сталин. — Социалистическая по своему содержанию и национальная по форме культура, имеющая своей целью воспитать массы в духе интернационализма и укрепить диктатуру пролетариата»¹.

Среди тех новых понятий, которые породила Великая Октябрьская социалистическая революция, возникло и новое понятие (новое содержание понятия) национальной культуры, потому что — в силу происшедших у нас огромных социальных изменений — происходит на наших глазах отождествление понятий нации и народа (в социальном плане). Буржуазные идеологи охотно прибегали к отождествлению нации и народа, но это была демагогическая ложь, придуманная для обмана народных масс во имя «общенациональных» задач. Сейчас же, в условиях нашей социалистической страны, с ликвидацией эксплуататорских классов, нация и народ становятся реальным тождеством. Поэтому и наша народность обогатилась совершенно новым содержанием. Речь идет уже не об отдельных демократических и социалистических элементах культуры, речь идет о культуре, с о ц и а л и с т и ч е с к о й в своем существе. Мы можем, следовательно, говорить — применительно к нашей советской литературе — о народности с о ц и а л и с т и ч е с к о й. Это есть высшая форма народности, народность, освобожденная от искажений капиталистического общества, озаренная сознанием авангарда нашего народа и трудящихся всего мира — коммунистической партии.

Взаимоотношение между народным и социалистическим в наших советских условиях прекрасно охарактеризовал в уже цитированном нами докладе тов. В. М. Молотов:

«Мы не можем сказать, что все народное уже стало социалистическим. Но на наших глазах действительно социалистическое становится народным, близким народным массам. С другой стороны, каждый может видеть, что трудящиеся массы нашей страны воспринимают как антинародное, как чуждое народу, все антикоммунистическое, будь то в практических делах или в научнотворческой области. У нас стало привычным, что врагов коммунистической партии и советской власти считают врагами народа...».

В этих словах тов. Молотова замечательно охарактеризован весь процесс общественно-идейного перевоспитания народных масс, построивших под руководством коммунистической партии социализм в нашей стране. Здесь же подчеркнута роль партии, как авангарда всего народа, авангарда, несущего коммунистическое сознание в народ и создающего высшую, социалистическую форму народности.

Советская литература, воспринявшая сталинский лозунг социалистического реализма, стремится осуществить те требования, которые Ленин выдвигал по отношению к искусству. Искусство, — говорил Ленин в беседах с Кларой Цеткин, — «должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их». Советская литература и стремится стать таким подлинно народным, всенародным искусством. Народность всегда общечеловечна; социалистическое содержание нашей народности делает ее глубоко общечеловечной и интернациональной при всем богатстве и разнообразии национальной формы.

Расцвет национальных культур братских народов Советского Союза приводит к максимальному раскрытию народности у всех населяющих нашу великую

¹ И. Сталин. Сб. «Марксизм и национально-колониальный вопрос». Изд. 1939 г., стр. 249.

страну народов. И поэтому неудивительно, что мы являемся свидетелями небывалого расцвета народного творчества, которое поражает нас особенной яркостью красок в созданиях народов, только благодаря Октябрьской революции получивших впервые письменность.

Но надобно сказать, что самое понятие «народного творчества», которое обычно употребляется в смысле «фольклор», «устное творчество», также подвергается коренному изменению, чрезвычайно раздвигая свои границы. Это есть один из результатов происходящего у нас в стране процесса уничтожения противоречия между умственным и физическим трудом. Раньше интеллигенция всегда ощущалась как противопоставление народным массам. Даже когда она шла с народом, не исчезало это противопоставление, которое имело разные границы и разное содержание. Сейчас эта грань все более и более сглаживается, уничтожается противоречие между индивидуальностью и народом. На XVIII партийном съезде товарищ Сталин говорил о создающемся у нас новом типе интеллигенции, которую Сталин назвал народной. Мы, значит, приближаемся к тому времени, когда можно будет понятие «народного творчества» не ограничивать только так называемым «фольклором», «устным творчеством», а применять его ко всему нашему художественному творчеству. Понятие «народного творчества» у нас все более теряет свои ограничительные, локальные признаки и приобретает характер всеобщности или, как говаривал Дობролюбов, «всесторонность взгляда». Наша советская социалистическая лите-

ратура в принципиальном своем существе, в своих наиболее значительных достижениях и является новой, до сих пор невиданной формой народного творчества.

Родоначальник советской литературы А. М. Горький отобразил в своем творчестве глубокие социальные процессы, происходившие в народе в период подготовки нашей революции, показал путь ее подготовки, путь роста нового революционного сознания. Ленин писал о Толстом: «Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества»¹. Ленин имел в виду революцию 1905 года. Аналогичное художественное дело делал Горький — применительно к эпохе подготовки Великой социалистической революции 1917 года, и его громадная художественная работа, в которой воплотился уже принципиально новый реализм, реализм социалистический, есть поэтому также «шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Советская литература стремится отразить существеннейшие социальные процессы нашей действительности, нашей народной жизни. Советская литература продолжала и продолжает развивать дело воплощения новой народности. Показать это на конкретных примерах нашей литературы — благодарная и заманчивая задача для исследователя. Но это — большая тема для специального исследования, и автор надеется вернуться к ней в последующей статье.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 400.

Происхождение жизни

А. И. ОПАРИН

★

Вопрос о происхождении жизни, о появлении на Земле первичных живых существ уже давно, со времен глубокой древности, привлекает к себе человеческую мысль. Можно смело сказать, что он принадлежит к числу величайших проблем естествознания. В различные эпохи и на разных ступенях культуры он решался различно, но всегда вокруг него разрывталась острая философская борьба, отражающая в себе борьбу классов общества.

В наши дни эта борьба отнюдь не ослабела. Напротив, в течение последних десятилетий вопрос о происхождении жизни приобрел особую остроту. Исходя из учения Дарвина, современная биология накопила громадный фактический материал, с несомненностью доказывающий, что высшие формы растений и животных, в том числе и человек, произошли путем длительной эволюции от простейших живых существ. Невольно встает вопрос, откуда же произошли, как возникли эти простейшие первичные существа. Без ответа на этот вопрос не может быть создано законченное научное мировоззрение. Но этот вопрос разрешается различно, в зависимости от того, как мы понимаем самую сущность жизни; рассматриваем ли мы жизнь как проявление какого-то высшего духовного начала, или мы считаем, что она так же, как и весь остальной мир, материальна по своей природе. Эти две позиции — позиция идеализма и мате-

риализма — непримиримы между собой. Поэтому мы видим, что как в прошлом, так и в наши дни проблема происхождения жизни является ареной интенсивной борьбы между идеалистическим и материалистическим мировоззрениями.

В течение всей истории развития человеческой мысли идеализмом было выдвинуто два принципа, исходя из которых философы этого лагеря трактовали вопрос о происхождении жизни. Первый принцип состоит в том, что живые существа создаются, внезапно возникают (самозарождаются) во вполне организованном, окончательно сложившемся виде из безжизненной косной материи в результате формирования этой материи тем или иным духовным началом, в результате ее одухотворения или одушевления. Согласно второму принципу жизнь существует вечно, потому что она воплощает в себе вечное духовное начало, «абсолютную идею», или «сознание». Поэтому жизнь никогда не может возникнуть из безжизненной косной материи. Она существует вечно и только меняет свои формы.

С первого взгляда кажется, что эти два принципа весьма различны, даже взаимно противоположны, но на самом деле они покоятся на одном и том же философском основании, на представлении о первичном существовании «духа». Все различие сводится только к тому, что с точки зрения «самозарождения» этот дух может вселяться в кос-

ную материю откуда-то извне и ее таким образом одушевлять и оживлять, а согласно теории вечности жизни это жизненное начало, подобно огню Весты, может лишь непрерывно передаваться от одного живого существа к другому.

Механистический материализм считает, что возникновение живых существ из неорганического материала происходит чисто механическим путем. Живые существа могут спонтанно, внезапно возникать из различного рода веществ в настоящее время, или, по крайней мере, это имело место в прошлом, в отдаленные периоды существования Земли.

С совершенно иных, принципиально отличных от всего вышеизложенного позиций подходит к вопросу о происхождении жизни диалектический материализм. Диалектический материализм считает, что жизнь представляет собою особую форму движущейся материи. Эта форма возникает, как новое качество материи в процессе ее исторического развития. Поэтому жизнь не могла существовать вечно и не может спонтанно самозарождаться в результате воздействия духовного начала или механически формироваться непосредственно из неорганических веществ. Первичные живые существа возникли из безжизненной материи, но они могли сложиться лишь как результат эволюции этой материи, лишь как определенная ступень, как определенный этап в ее историческом развитии. Поэтому появлению жизни должна была предшествовать длительная эволюция материи, причем в процессе этой эволюции возникали все новые и новые качества, подчиняющиеся все более и более сложным закономерностям.

В настоящей краткой статье, конечно, совершенно невозможно изложить историю каждого из вышеуказанных четырех направлений, по которым шла человеческая мысль, стремясь разрешить проблему происхождения жизни. Мы здесь отметим лишь отдельные наиболее яркие моменты этой истории, сосредоточив основное внимание на том, насколько добытые в настоящее время науки

объективные факты опровергают или подтверждают каждое из указанных направлений.

Представление о возможности самозарождения живых существ из безжизненной, косной материи возникло на базе непосредственного, наивного, некритического наблюдения окружающей природы. Даже в наше время человек, не искусленный в исследовании природы, подчас думает, что черви, различного рода насекомые, паразиты и т. д. сами собой зарождаются непосредственно из ила, навоза, гниющего мяса, в отбросах и грязи. От его поверхностного наблюдения ускользает, что грязь и отбросы являются лишь тем местом или гнездом, куда паразиты откладывают свои яички, из которых развивается новое поколение этих живых существ.

Подобного же рода поверхностные наивные наблюдения лежали и в основе учения о самозарождении живых существ, которое было развито в свое время еще Аристотелем. Весьма важным является то обстоятельство, что этот философ дал указанным наблюдениям определенное теоретическое истолкование, которое сыграло исключительную роль для всей последующей истории учения о происхождении жизни. Аристотель считал, что живые существа, как и прочие конкретные вещи («сущности»), образуются благодаря соединению некоторого пассивного начала — «материи» — с активным началом — «формой». Формой для живых существ является «энтелехия тела» — душа; она формирует тело и движет его. Таким образом, материя сама по себе не имеет жизни, а целесообразно организуется при помощи силы души. Поэтому наряду с рождением животных от себе подобных происходит и всегда происходило появление живых существ из неживой материи. В своих сочинениях Аристотель приводит большое число разнообразных живых существ, которые, по его мнению, могут самозарождаться в иле, навозе, гниющем дереве, экскрементах, грязи всякого рода, укусных осадках и старой шерсти.

Учение Аристотеля через посредство римских философов было воспринято

«отцами христианской церкви», что на многие века вперед предопределило дальнейшую судьбу учения о самозарождении жизни. Такой богословский авторитет, каким являлся «блаженный» Августин, принимал самопроизвольное зарождение живых существ как несомненную истину. В своих сочинениях Августин стремился только обосновать это явление с точки зрения христианской церкви. Он писал, что бог обычно создает вино из воды и земли через посредство виноградной лозы и виноградного сока, но в некоторых случаях (как в Кане Галилейской) он может создавать его и непосредственно из воды. Подобно этому, в отношении живых существ он может заставить их рождаться от семени или происходить из неорганической материи. Таким образом, Августин видел в самопроизвольном зарождении живых существ выявление божественного произвола, нарушающего обычный закономерный порядок вещей. Он утвердил учение о самозарождении как непреложную догму, поддерживаемую авторитетом христианской церкви.

Поэтому дальнейшее развитие разбираемой нами проблемы долгое время не выходило из рамок учения о самозарождении. Средневековые ученые в своих сочинениях лишь подтверждали описанные Аристотелем «факты» возникновения живых существ из гниющей материи или пополняли их еще более фантастическими наблюдениями. Лишь в конце XVII века эта вера в самозарождение живых существ начинает постепенно отступать под натиском углубленных наблюдений и эксперимента. Поворотным пунктом в этом отношении явились опыты тосканского врача Франческо Реди. Реди следующим простым экспериментом опроверг общепринятое тогда мнение, что черви самозарождаются в гниющем мясе. Он показал, что мясные черви могут развиваться лишь из яиц, которые откладываются в мясе мухами. Для этого он помещал мясо или рыбу в большой сосуд, покрытый кисеей, преграждавшей доступ мухам к хранящимся продуктам. При этом, хотя мясо и рыба загнивали, но на них ни

когда не появлялось червей. Исходя из этого, Реди пришел к совершенно правильному заключению, что гниющие вещества представляют собой лишь место для развития насекомых, которые возникают из отложенных сюда яиц.

В начале XVIII века уже никто из серьезных ученых не сомневался в том, что все видимые простым глазом животные и растения могут происходить только от себе подобных. Однако еще спорным оставалась возможность самозарождения открытых к тому времени микроорганизмов. Эти мельчайшие видимые только при больших увеличениях живые существа—инфузории, бактерии, дрожжи и пр. — представлялись ученым того времени чрезвычайно просто устроенными образованиями, простыми комочками или кусочками живого вещества, лишенными какого-либо внутреннего строения. Самопроизвольное возникновение такого рода образований из различных гниющих материалов казалось вполне естественным, и оно было тем более вероятным, что всюду, где только наблюдалось гниение или брожение, можно было установить присутствие микроорганизмов, которых ранее там не было. Естественно возникала мысль, что микроорганизмы зарождаются здесь непосредственно из гниющих материалов.

Эту мысль поддерживали многие ученые как в XVIII, так и в XIX веках. В частности, в середине XVIII века шотландский священник Нидгэм стремился ее обосновать специальными опытами. Он помещал баранью подливку в плотно закрывающиеся сосуды и непродолжительное время нагревал их на огне. При этом, по его мнению, должны были погибнуть все находящиеся в бульоне зародыши жизни. Тем не менее, спустя некоторое время, в жидкости появлялись микроорганизмы. Нидгэм видел в этом доказательство самозарождения микробов и считал, что оно происходит в результате действия особой «жизненной силы». Подобные же опыты ставил в середине XIX века французский ученый Пуже, причем он давал им то же виталистическое толкование, что и Нидгэм, видя в самоза-

рождении микроорганизмов результат воздействия какого-то духовного начала, которое предсуществует в каждой частичке органического вещества.

Все эти представления и опыты были в корне опровергнуты в начале второй половины прошлого века блестящими работами гениального французского ученого Пастера. Пастер на громадном экспериментальном материале с несомненностью показал, что не микробы возникают в процессе гниения, а, наоборот, самое гниение или брожение являются результатом жизнедеятельности микроорганизмов, зародыши которых рассеяны повсюду и легко могут попасть в органические жидкости из воздуха, со стенок сосудов и т. д. Если, прокипятив исследуемые настои или бульоны, убить все находящиеся в них зародыши и сделать невозможным попадание новых извне, то никакого гниения или брожения впредь происходить не будет. Во всех случаях без исключения жидкости останутся неизменными, и в них не удастся обнаружить никаких живых существ.

Все последующие многочисленные попытки опровергнуть положение Пастера и найти случаи самопроизвольного зарождения того или иного микроорганизма оказались тщетными. Таким образом, было доказано, что микроорганизмы всегда происходят только от себе подобных живых существ. Но уже в наше время некоторые из западноевропейских ученых стремились вновь возродить похороненную Пастером теорию самозарождения. Дело в том, что сейчас нам известны еще более мелкие живые существа, чем микроорганизмы. Эти существа, не различимые даже в наиболее совершенные современные микроскопы, получили название ультрамикробов. Было высказано предположение, что эти ультрамикробы могут непосредственно зарождаться из веществ неорганической природы. Но это предположение ни в какой мере не удалось обосновать экспериментально. Напротив, в настоящее время с определенностью показано, что ультрамикробы и прочие аналогичные образования могут возникать лишь в присутствии живых существ.

Таким образом, учение о самозарождении жизни не согласуется с теми объективными фактами, которые мы устанавливаем при детальном, тщательном изучении окружающего нас мира. Поэтому мы должны категорически отвергнуть эту первую выдвинутую идеализмом концепцию и искать иного объяснения для возникновения жизни на Земле.

Второй из указанных нами выше принципов, принцип вечности жизни, тоже берет свое начало в глубокой древности. Но для нас особый интерес представляют те теории, которые возникли на основе этого принципа лишь в середине прошлого и начале настоящего века.

Опыты Пастера настолько поразили умы его современников, что они стали их трактовать как абсолютное доказательство полной невозможности перехода от косной материи к живым организмам где-либо и когда-либо. Самый вопрос о происхождении жизни был объявлен праздным. Жизнь никогда не возникает из неорганического вещества. Она является воплощением вечного духовного начала и поэтому существует вечно, непрерывно передаваясь от одного организма к другому. Всякое живое существо может возникнуть только лишь от себе подобного.

Но как же тогда быть с нашей земной жизнью? Ведь сама наша планета не является вечной: она когда-то возникла, отделилась от Солнца и, конечно, во время своего формирования не была еще заселена живыми существами. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сторонники вечности жизни выдвинули предположение, что живые организмы существовали еще до возникновения Земли на небесных телах, откуда их зародыши были занесены через межзвездное пространство на нашу планету после того, как она сформировалась и на ней создались подходящие для жизни условия температуры и влажности. В частности Либих писал, что «атмосферы небесных тел, а также вращающихся космических туманностей можно рассматривать, как вековечные хранилища оживленной формы, как веч-

ные плантации органических зародышей».

Много труда и изобретательности было затрачено на то, чтобы объяснить, каким образом зародыши жизни могли быть перенесены с других небесных тел к нам на Землю. Гельмгольц считал, что они попадают на нашу планету вместе с метеоритами. Но это предположение вскоре пришлось оставить. Взамен его в начале XX века Аррениус разработал теорию переноса зародышей жизни на поверхность нашей Земли из межзвездных пространств. Он считал, что мельчайшие споры живых существ могут с большой скоростью перемещаться в пространстве от одного небесного тела к другому в результате давления света.

Однако основным является вопрос, могут ли зародыши жизни перенестись через межзвездное пространство в живне способном состоянии.

Несмотря на все старания сторонников разбираемой теории доказать возможность такого переноса, данные последних лет с несомненностью показывают, что зародыши жизни в межзвездных пространствах, безусловно, должны погибнуть в очень короткий срок. Дело в том, что эти пространства пронизаны коротковолновыми ультрафиолетовыми лучами, от которых мы защищены окружающей Землю атмосферой. Исследование этих «лучей смерти» показало, что они в течение нескольких минут или даже секунд убивают не только бактерии, но и их споры. Они действуют разрушающе непосредственно на белковые вещества. Поэтому все живые существа, построенные из белков (а только такие организмы нам, вообще, и известны), должны погибать при непосредственном воздействии этих лучей. Следовательно, зародыши жизни не могли быть занесены к нам на Землю откуда-то извне. Жизнь на Земле не вечна, она возникла на нашей планете, когда для этого создались необходимые условия.

Итак, теории, основанные на идеалистических концепциях, при столкновении с объективными фактами потерпели полное фиаско и должны были быть

отброшены наукой. Механистическому материализму также не удалось разрешить вопрос о происхождении жизни. Мысль о том, что жизнь присуща всей материи, что вся материя является живой, мы находим уже у самых истоков европейской философии, у древнегреческих философов, милетцев (Фалес, Анаксимандр и Анаксимен). Однако наиболее ярким выразителем идеи о механическом самоформировании живых существ является, безусловно, Демокрит, который объяснял возникновение организмов как результат случайного сочетания или столкновения атомов в их механическом движении.

Этот принцип Демокрита в дальнейшем совершенно заслоняется идеями Платона, и поэтому он отсутствует как в начале христианской эры, так и в средние века. Лишь в первой половине XVI века он находит свое отражение в учении Декарта. «В своей *физике* Декарт приписывает материи самостоятельную творческую силу и механическое движение рассматривает как проявление жизни материи»¹. С этой точки зрения организмы животных и растений есть лишь весьма сложные механизмы, машины, движение которых определяется взаимостолкновением и давлением частиц вещества, подобно движению колес в башенных часах. Согласно Декарту живые существа могут самозарождаться из косной материи, но для этого не требуется вмешательства какого-либо духовного начала. Самозарождение представляет собой лишь естественный процесс механического самоформирования сложных машин — организмов.

Основные нити механистических представлений Декарта тянутся через учение материалистов XVII и XVIII веков к тем взглядам по вопросу о происхождении жизни, которые получили особенное развитие во второй половине XIX и начале XX веков. В основном эти взгляды сводятся к утверждению возможности непосредственного возникновения живых организмов из косной материи. Наиболее ярким представите-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. III, стр. 154.

лем этой точки зрения является Геккель. Этот выдающийся ученый считал, что хотя в настоящее время согласно опытам Пастера самозарождение жизни и невозможно, но оно, безусловно, имело место в прошлом при своеобразных физических условиях, существовавших когда-то на Земле.

Геккель весьма упрощенно считал, что нет никакого принципиального различия между возникновением кристалла и возникновением организмов. Простейшее живое существо — «безъядерная монара» когда-то выкристаллизовалась, по его мнению, чисто механически из безжизненной материи. Это произошло в определенный период существования Земли под влиянием каких-то физических сил и неведомых нам условий. Сейчас этого не происходит только потому, что указанные физические силы утеряны Землей. Они были в прошлом, но их нет в настоящем. Весь вопрос зарождения жизни сводится, следовательно, только к наличию каких-то особых внешних физических сил, обуславливающих такого рода переход от безжизненного вещества к живому существу.

Легко видеть, что в этом вопросе убежденный материалист Геккель совершил ошибку. В принципе он лишь заменил «жизненную силу» виталистов какими-то специфическими неведомыми нам внешними условиями. Но сейчас же возникает вопрос: что же это были за внешние физические силы, которые могли формировать жизнь? На поиски этих таинственных сил и даже на попытки их искусственного лабораторного воспроизведения было затрачено немало труда и времени многочисленными учеными. Но все эти попытки оказались тщетными. И это вполне понятно. Даже наиболее просто устроенный первично возникший организм должен был быть наделен всеми атрибутами живого существа. Его внутренняя организация, строение должно было быть приспособлено к несению определенных жизненных функций. Но возникновение этой приспособленности, этой «целесообразности» внутреннего строения в результате «счастливой» случайности или в результате воздействия каких-то внешних

физических «слепых» сил является крайне невероятным, невозможным. Эта характерная для всех живых существ приспособленность внутренней организации к определенным жизненным функциям могла возникнуть лишь в процессе эволюции материи. Таким образом, мы подходим к тем позициям, с которых проблема происхождения жизни разрешается диалектическим материализмом.

Мысль о том, что жизнь является особой качественно новой формой существования материи, формой, возникающей, как определенный этап исторического развития материи в процессе ее эволюции, высказывалась как древними философами, так и в последующие века. Но в наиболее ярком, отчетливом виде она была сформулирована только Фридрихом Энгельсом. Энгельс в своей «Диалектике природы» подверг сокрушительной критике как принцип самозарождения, так и идею вечности жизни. Жизнь не существует вечно, она возникает в процессе эволюции материи всякий раз, когда для этого создаются благоприятные условия. Но Энгельс высмеивает и теорию самопроизвольного зарождения. Он иронически замечает: «...было бы нелепо желать принудить природу при помощи небольшого количества вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались тысячелетия»¹. Этим Энгельс особенно подчеркнул значение эволюции материи в процессе возникновения жизни. В введении к изданию «Диалектики природы» 1880 года он, рисуя картину постепенного развития звездного мира и нашей планетной системы, отмечает те основные этапы этой эволюции, которые привели к возникновению органической природы².

Со времен Энгельса наши знания в области астрономии, геологии, химии и биологии чрезвычайно сильно возросли. Весь этот научный материал создавался, конечно, независимо от проблемы происхождения жизни, но, основываясь на нем, мы можем не только убедиться

¹ Ф. Энгельс. «Диалектика природы». Партиздат. 1933 г., стр. 25.

² Там же, стр. 94—95.

в правильности основного диалектического принципа, но и довольно отчетливо нарисовать себе картину той последовательной эволюции материи, которая привела к возникновению первичных простейших живых существ.

Мы начнем рассмотрение этой эволюции с изучения истории углерода, этого элемента, который лежит в основе всех органических веществ, всего того материала, из которого построены тела животных и растений. В каком виде, в форме каких соединений впервые появился углерод на земной поверхности? Для того, чтобы в достаточной степени обоснованно ответить на этот вопрос, нам нужно ознакомиться с теми соединениями углерода, которые мы встречаем на других небесных телах. Это позволит нам правильно подойти к разрешению вопроса о превращениях углерода во время образования Земли и на первых стадиях развития нашей планеты.

Благодаря успехам спектроскопического исследования звезд мы в настоящее время знаем, что углерод находится во всех без исключения светящихся собственным светом небесных телах. В атмосферах наиболее горячих звезд, с температурой от $15\,000^\circ$ до $28\,000^\circ$, атомы углерода находятся в свободном состоянии. При указанных температурах еще не может быть, по видимому, никаких химических соединений. Признаки этих соединений появляются лишь при $12\,000^\circ$ в виде спектральных полос, характерных для соединения углерода с водородом. Но особенно отчетливо эти соединения могут быть обнаружены в атмосфере желтых звезд с температурой $6\,000^\circ$ — $8\,000^\circ$, к которым принадлежит и наше Солнце. Здесь значительная часть углерода находится в виде его соединения с водородом (CH —метан). Наряду с этим можно установить присутствие соединения углерода с азотом (CN —циан). Кроме того, в атмосфере этих звезд впервые появляется соединение типа C_2 (дикарбон), в котором два атома углерода соединены друг с другом. Это соединение интересно с той точки зрения, что оно показывает исключительную способность углерод-

ных атомов ассоциироваться между собой даже при тех высоких температурах, которые царят на поверхности Солнца.

Наряду с исследованием химического состава звездных атмосфер в течение последних лет удалось подойти к разрешению вопроса о составе атмосфер, окружающих планеты нашей солнечной системы. В частности, такому исследованию подверглись атмосферы больших планет (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна). Оказалось, что атмосфера Юпитера в значительной своей части состоит из аммиака и метана (углеводород — CH_4). Имеются основания предполагать здесь наличие и других углеводородов, но вследствие низкой температуры (-135°), господствующей на поверхности Юпитера, они в главной своей массе находятся уже в жидком и твердом состоянии. Такого же рода соединения мы можем обнаружить в атмосферах и остальных больших планет.

Исключительно значение для разрешения разбираемой нами проблемы представляет изучение метеоритов. Это единственные «неземные» тела, которые могут быть подвергнуты непосредственному химическому анализу и даже минералогическому исследованию. По всей вероятности, они являются кусками, обломками небесных тел, весьма родственных по своему происхождению нашей планете. И по характеру элементов, и по принципу их строения метеориты тождественны с наиболее глубинными зонами земной коры и центральным ядром Земли. Отсюда легко понять, какое исключительное значение имеет изучение состава метеоритов для разрешения вопроса о формах первичных соединений, возникших при образовании наших планет.

Углерод присутствует почти во всех без исключения метеоритах. Он находится здесь или в самородном виде (например, в форме графита или алмаза), или в соединении с металлами (в форме карбидов). Так, например, весьма распространенным в метеоритах карбидом является характерный для них минерал когенит, который представляет собой соединение углерода с железом.

никелем и кобальтом. Наряду с этим во многих метеоритах было установлено наличие углерода в соединении с водородом. В некоторых случаях удалось даже выделить из метеоритов небольшое количество углеводородов, похожих на озокерит (горный воск).

Так как в настоящее время с полной определенностью доказано полное отсутствие на метеоритах каких-либо следов жизни, можно считать, что углеводороды метеоритов, как и углеводороды других описанных нами выше небесных тел, возникли первично, т.е. вне какой-либо связи с органической жизнью. То широко распространенное мнение, что органические вещества, какими в частности являются и углеводороды, могут в природных условиях возникать лишь в результате жизнедеятельности организмов, является совершенно превратным. Не подлежит никакому сомнению первичное возникновение этих соединений в атмосфере таких небесных тел, где они могли образоваться лишь чисто неорганическим путем, вне какой-либо зависимости от жизни.

Вся совокупность геологических и геохимических фактов убеждает нас в том, что и при возникновении нашей планеты углерод появился на ней в форме тех же соединений, которые мы сейчас наблюдаем на других небесных телах. То исключительное сходство, которое существует между элементарным составом солнечной атмосферы и составом нашей планеты, с несомненностью доказывает, что Земля, как и другие планеты нашей солнечной системы, образовалась из той газовой струи, которая когда-то оторвалась от Солнца. Наряду с другими элементами солнечной атмосферы в тот газовый сгусток, из которого впоследствии образовалась Земля, перешел и интересующий нас углерод. Среди всех других элементов углерод выделяется своей исключительной способностью к ассоциации атомов. Мы видели, что уже при температурах, близких к температуре поверхности Солнца, его атомы были соединены попарно, а при дальнейшем охлаждении начали образовываться молекулы с еще большим числом атомов (типа CN). Вследствие этого при фор-

мировании нашей планеты из раскаленных газовых масс тяжелые пары углерода должны были довольно скоро сгуститься в капли или в твердые частицы и в виде углеродного дождя или снега войти в состав первичного земного ядра. Здесь углерод пришел в непосредственное соприкосновение с другими элементами, образующими это ядро, — тяжелыми металлами, главным образом с железом, играющим такую исключительную роль в составе центрального тела нашей современной Земли. При этом углерод, безусловно, должен был вступить с ними в химическое взаимодействие, в результате чего образовались наиболее устойчивые по отношению к высоким температурам соединения углерода — карбиды.

Присутствие углеродистого железа в составе современного центрального ядра нашей планеты доказывается целым рядом фактов. В некоторых, правда, исключительно редких случаях можно даже наблюдать непосредственный выход этих карбидов на земную поверхность. Так, например, когениты, найденные в базальтах острова Диско (Западная Гренландия), представляют собою образец таких наиболее глубинных пород. Однако в настоящее время карбиды центрального ядра одеты такой мощной корой из горных пород, что их появление на земной поверхности исключительно редко. Не то было в прошлом Земли. В раннюю эпоху существования нашей планеты расплавленные карбидные массы легко вырывались на земную поверхность, так как, во-первых, земная кора в то время была еще сравнительно тонкой, а во-вторых, тогда имели место чрезвычайно мощные перемещения и сдвиги земных масс. Вследствие этого карбиды извергались или изливались на земную поверхность и здесь приходили в соприкосновение с тогдашней атмосферой Земли. Эта атмосфера существенно отличалась от современной нам.

В настоящее время не подлежит никакому сомнению, что первичная земная атмосфера не содержала в себе свободного кислорода или азота. При формировании Земли эти газы не могли

удержаться на ее поверхности. При существовавших тогда температурах они рассеивались в межпланетном пространстве. Лишь тот кислород и азот был удержан земным притяжением, который успел войти в соединение с другими элементами, образовав совместно с ними молекулы или частицы, наделенные более или менее значительным молекулярным весом. Как показали исследования Гольдшмидта и Вернадского, кислород и азот современной нам атмосферы образовались значительно позднее разбираемой нами эпохи в результате жизнедеятельности организмов. Если бы сейчас на Земле погибла вся растительность, то весь свободный кислород нашего воздуха исчез бы через сравнительно короткий промежуток времени, так как он был бы поглощен ненасыщенными в отношении его горными породами. Зато первичная атмосфера Земли изобиловала перегретыми водяными парами. Вся вода современных морей и океанов находилась тогда в этом состоянии. С этими перегретыми водяными парами атмосферы и вступили в химическое взаимодействие извергнутые на земную поверхность карбиды. Как показали исследования Менделеева и других химиков, при такого рода взаимодействии всегда возникают простейшие органические вещества — углеводороды и их производные. Несомненные результаты описанного нами грандиозного процесса образования углеводородов сохранились и до настоящего времени в атмосфере больших планет и в метеоритах. На земной поверхности эти первичные углеводороды не сохранились до наших дней потому, что здесь они стали изменяться дальше и, как мы увидим ниже, дали начало для образования сложных органических соединений.

Подобно тому, как мы разобрали историю углерода, можно проследить и историю другого чрезвычайно важного для нас элемента — азота. Детальный разбор всех относящихся к этому вопросу фактов показывает, что азот должен был впервые появиться на земной поверхности в соединении с водородом в виде аммиака, который и сейчас мы можем обнаружить в большом количе-

стве в атмосфере Юпитера, Сатурна и других планет.

Возвращаясь к углеводородам и их дальнейшей эволюции на земной поверхности, мы должны прежде всего отметить, что эти простейшие органические соединения таят в себе громадные химические возможности. Пользуясь ими как исходным материалом, химик-органик может в своей лаборатории синтезировать все то многообразие органических веществ, которое мы встречаем в природе. Он может искусственно построить почти все те сложнейшие соединения, которые входят в состав тел животных и растений и являются строительным материалом живой клетки.

В живых организмах эти сложнейшие разнообразнейшие вещества также образуются из простейших производных углеводородов, и здесь это происходит в результате сравнительно простых и довольно однообразных химических реакций. Внимательное рассмотрение этих реакций показывает, что все они имеют одну общую характерную черту, все они совершаются при непосредственном участии воды. Все те бесчисленные превращения органических веществ, которые происходят в настоящее время в естественных условиях в организмах, в конечном итоге могут быть сведены к взаимодействию между водой и органическими веществами. Но и вне организмов, химии уже давно известно большое число синтезов, протекающих благодаря такому же взаимодействию.

Так, например, Бутлеров при простом стоянии водного раствора формальдегида в присутствии известки получил из формальдегида сахар. Курциус оставил стоять на окне стакан с водным раствором сравнительно простого органического соединения — этилового эфира гликоколя. Через некоторое время он заметил, что в растворе образовались слизистые нити. Эти нити обладали рядом свойств, характерных для простейших белковых веществ. Впоследствии выяснилось, что в данном случае Курциус имел дело с образованием довольно сложных соединений, которые по своему строению приближаются к бел-

кам. Бах оставлял стоять смесь водных растворов формальдегида и цианистого калия; по прошествии некоторого времени из этой смеси можно было выделить вещество, обладающее рядом свойств, характерных для простейших белковых тел. Если очистить полученный таким образом продукт, то на его растворе, как на питательном субстрате, можно разводить гнилостные бактерии.

Зная химические свойства углеводов и их простейших производных, мы можем довольно точно проследить судьбу тех первичных органических соединений, которые возникли на земной поверхности в результате взаимодействия карбидов с перегретым водяным паром. Указанное взаимодействие должно было происходить еще при относительно высоких (на наш современный взгляд) температурах порядка нескольких сот градусов. При этих условиях должны были образоваться преимущественно не-предельные углеводороды, которые интересны для нас с той точки зрения, что они легко могут присоединять к себе целую молекулу воды (гидратироваться). В результате этого первичные углеводороды или в момент своего образования, или несколько позднее, находясь в насыщенной водяным паром земной атмосфере, должны были образовывать различные органические соединения, содержащие в своей молекуле наряду с углеродом и водородом еще и третий элемент — кислород. Это были разнообразные альдегиды, кетоны, спирты, органические кислоты и пр. Вследствие взаимодействия этих соединений с находящимся в земной атмосфере аммиаком возникали и азотистые производные углеводов — различные амины, амиды и т. д.

Таким образом, когда температура Земли в достаточной степени понизилась для того, чтобы водяные пары атмосферы сгустились и образовали первичную горячую водную оболочку нашей планеты, в ее водах уже были растворены органические вещества, содержащиеся в своих молекулах наравне с углеродом водород, кислород и азот. Эти вещества должны были взаимодействовать между собой и входить в реакции

с молекулами воды подобно тому, как это мы можем наблюдать сейчас в наших лабораториях. Поэтому можно считать, что в любой точке тогдашнего океана, в любом тогдашнем водоеме могли образовываться те сложные высокомолекулярные органические вещества, которые получались в колбе Бутлерова, в стакане Курциуса, в смеси Баха и в ряде других подобных синтезов. Так должно было создаться все то разнообразие органических веществ, которое необходимо для построения живой протоплазмы, так возник тот строительный материал, из которого впоследствии образовались живые существа.

Рассматривая возникновение различных сложных органических соединений в водной оболочке Земли, мы должны обратить особое внимание на образование в этих условиях белковых веществ, так как белки являются тем основным материалом, из которого построено «живое вещество», протоплазма всех известных нам животных, растений и микробов. В прежнее время в белках видели присутствие какого-то таинственного начала, от которого зависят все жизненные свойства организмов. С этой точки зрения первичное возникновение белков представлялось весьма загадочным и даже маловероятным. Но, если мы подойдем к этому вопросу с современной химической точки зрения, многие загадки оказываются разгаданными. Сейчас мы знаем, что белковая молекула построена определенным образом из аминокислот, связанных между собой в большие сложные комплексы. Ничего необычного, исключительного в этом строении нет. Среди других органических соединений белки выделяются только своими громадными, широкими химическими возможностями, способностью вступать в разнообразные соединения с самыми различными веществами. Но в самом образовании белковых комплексов мы не можем видеть ничего таинственного. И образование аминокислот, и соединение этих аминокислот в белковые молекулы протекали в первичной водной оболочке Земли на тех же основаниях, как и образование других высокомолекулярных сложных органических соединений.

Весьма существенным является вопрос, почему именно белковые вещества заняли такое исключительное положение при дальнейшей эволюции органических соединений и при возникновении живых существ. Разрешение этой задачи может быть осуществлено при рассмотрении тех особенностей белковых веществ, о которых мы уже говорили. Широкая способность белков к реактивности, их склонность образовывать высокомолекулярные комплексы и т. д. создали им наибольшие предпосылки для их перехода на более высокую ступень организации вещества, для превращения их в те коллоидные образования, которые лежат на пути возникновения живых существ из органических соединений.

Итак, в результате взаимодействия между водой и простейшими производными углеводов путем ряда последовательных реакций в первичной водной оболочке Земли образовался тот материал, из которого в настоящее время построены живые существа. Но это был еще только материал. Для того чтобы стать организмом, ему не хватало определенного строения, организации. Каким же путем возникла, сложилась эта организация?

Выше мы видели, что первоначально органические вещества находились в водах тогдашних морей и океанов в виде бесструктурных растворов. Их частицы были рассеяны, равномерно распределены в растворителе, полностью слиты с окружающей средой. Но при смешивании между собой растворов белков и других высокомолекулярных органических веществ происходит выделение из раствора особых полужидких, студенистых образований, так называемых коацерватов. Так, например, если мы при определенных условиях температуры и кислотности смешаем растворы таких веществ, как альбумина и гумми-арабика или желатин и нуклеиновой кислоты, то ранее прозрачные растворы замутятся, и в них под микроскопом можно будет видеть резко очерченные капельки, которые преломляют свет сильнее, чем окружающая среда. Это и есть коацерваты. При их образовании рассеянные

раньше в растворе молекулы органического вещества сконцентрировались в определенных пунктах пространства и отделились от окружающей среды более или менее резкой границей. В нашем примере весь альбумин и весь гумми-арабик сконцентрировались в коацерватных капельках. В окружающей среде почти-что не осталось молекул этих веществ, внутри же коацерватных капелек наши вещества находятся в таком концентрированном состоянии, что здесь правильнее говорить о растворе воды в альбумине и гумми-арабике, чем наоборот. Интересно отметить, что, как показывают исследования последних лет, живая протоплазма находится именно в таком коацерватном состоянии. Она является по своему агрегатному состоянию жидкой, но не смешивается с окружающей водной средой.

Интересной особенностью коацерватных капелек является то, что они, несмотря на свою жидкую консистенцию, обладают определенным строением. Входящие в их состав молекулы и коллоидные частицы определенным образом взаимно ориентированы в пространстве. Таким образом, здесь мы имеем уже некоторые зачатки организации вещества, конечно, организации, еще очень примитивной и весьма неустойчивой. Однако эта организация уже определяет собою целый ряд свойств данной коацерватной капельки.

Особенно ярко выражена у коацерватов их способность адсорбировать — улавливать из окружающей среды частицы растворенного в этой среде вещества. В ряде случаев эта адсорбция не представляет собой только чисто механического улавливания молекулы. Очень часто это явление усложняется еще и рядом химических превращений, идущих внутри коацерватов. При этом адсорбированные коацерватной капелькой частицы входят в химическое взаимодействие с веществами самой капельки. Благодаря этому коацерватные капельки, находящиеся в растворе определенных веществ, могут за счет этих веществ увеличивать свою массу, расти. Очень важно то, что скорость этого роста определяется в значительной степе-

ни внутренним физико-химическим строением капельки и поэтому различна для различных коацерватов.

Выше мы пришли к убеждению, что в первичной водной оболочке Земли в результате химической эволюции органических веществ должны были возникнуть разнообразные высокомолекулярные соединения, в том числе и белковоподобные вещества. Так как коацерваты образуются при простом смешивании такого рода высокомолекулярных соединений, есть все основания полагать, что рано или поздно эти коллоидные образования должны были возникнуть в том или ином пункте земной поверхности.

Возникновение коацерватов является весьма важным этапом в эволюции первичного органического вещества и в процессе самозарождения жизни. При этом рассеянные раньше в растворе молекулы органического вещества сконцентрировались в определенных пунктах пространства и отделились от окружающей среды более или менее резкой границей. Каждая капелька коацервата приобрела известную индивидуальность. Ее дальнейшая судьба определялась не только уже условиями внешней среды, но и ее внутренней специфической физико-химической организацией.

Представим себе, что в каком-нибудь первичном водоеме нашей планеты в результате смешивания растворов высокомолекулярных органических веществ возникли капельки коацервата. Рассмотрим судьбу какой-нибудь одной из этих капелек. Находясь в первичной гидросфере Земли, она была погружена не просто в воду, а в раствор разнообразных органических и неорганических веществ. Эти вещества адсорбировались капелькой и затем вступали в химическое взаимодействие с веществами самого коацервата. В результате этого происходил рост капельки. Но параллельно с указанными синтетическими процессами в капельке протекали и процессы разложения, дезагрегации вещества. Скорость как тех, так и других процессов в первую очередь зависела от внутренней физико-химической организации, от строения данной капельки. Но соотноше-

ние скоростей процессов синтеза и распада определяло собой дальнейшую судьбу нашего коллоидного образования.

В описанных нами условиях только те коацерватные капельки могли более или менее длительно существовать, которые обладали известной динамической устойчивостью, в которых скорость синтетических процессов преобладала над скоростью разложения или, по крайней мере, ее уравнивала. Напротив, те капельки, в которых химические изменения были направлены главным образом в сторону распада, были обречены на более или менее быстрое исчезновение. Их индивидуальная история сравнительно скоро обрывалась, и поэтому такого рода образования уже не играли существенной роли в дальнейшей эволюции органического вещества. Право на дальнейшее существование и развитие получили только динамически устойчивые коллоидные образования. Всякое отклонение от этой устойчивости приводило к быстрой гибели, уничтожению данной «неудачной» организационной формы. Так возник в своем первоначальном простейшем виде «естественный отбор» коацерватов.

На фоне этого «естественного отбора» под его строгим контролем должны были протекать все дальнейшие изменения химической организации наших коллоидных образований. В результате этого указанные изменения приобрели определенную направленность. В физико-химической организации коацерватов сохранялось все то, что способствовало их динамической устойчивости и, вместе с тем, что увеличивало самую динамичность всей системы, скорость разрастания капельки.

Конечно, не нужно представлять себе дело так, что каждая капелька могла беспредельно расти, как одно целое образование. Она должна была распадаться на части уже в результате чисто механических причин. Но образующиеся при этом распаде «дочерние» капельки были наделены той же физико-химической организацией, как и их «материнская» капелька. Ведь они представляли собою лишь части этой капельки. В дальней-

шем после разделения каждая из них пошла своей дорогой, в каждой из них могли происходить уже собственные изменения, увеличивающие или уменьшающие их шансы на дальнейшее существование.

Таким образом, в результате действия «естественного отбора» на земной поверхности должно было происходить не только постепенное увеличение количества организованного вещества, но и качество этой организации изменялось в совершенно определенном направлении. Создавалась та приспособленность внутреннего строения к несению определенных функций, которая так характерна для всех живых существ. Простейшие органические коацерваты с их нестойкой элементарной структурой рано или поздно должны были исчезнуть с лица Земли, распаться, перейти в первоначальный раствор. Но их ближайшие потомки также вскоре должны были остаться в хвосте, если они не приобрели способности к быстрому осуществлению химических реакций.

Расти и развиваться дальше могли только такие образования, в структуре которых произошли существенные изменения, возникли сложные, весьма совершенные ферментативные аппараты, позволяющие им чрезвычайно быстро химически перерабатывать и «усваивать» поглощенные вещества. Параллельно с этим создавалась и все более совершенствовалась известная координация этих ферментативных процессов, известная их упорядоченность, обуславливающая высокую динамическую устойчивость всего образования. Отдельные химические процессы совершались здесь уже не как-нибудь, не хаотически, а в строгой взаимной последовательности, при строгом соотношении скоростей отдельных элементарных процессов.

Указанная внутренняя тесная взаимосвязь отдельных химических превращений в конечном итоге привела к возникновению внутри описанных нами коллоидных систем качественно новой организации материи. Так произошел тот «скачок», в результате которого на земной поверхности возникли простейшие живые существа. Эти первичные организ-

мы еще не были наделены той структурой, которая присуща современным нам живым клеткам: дифференцированной протоплазмой, ядром, пластидами и прочими форменными образованиями. Вся их организация сводилась лишь к определенной строгой координации во времени и пространстве химических превращений составляющего их вещества. Но, благодаря этой координации первичные живые существа могли питаться, расти и, что самое главное, совершенствоваться — приобретать в процессе эволюции все новые и новые внутренние химические механизмы, способность к различного рода брожениям, ассимиляции, дыханию и т. д.

Возникновение клеточного ядра, пластид и прочих образований является лишь внешним видимым выражением постепенного усложнения и усовершенствования внутренней физико-химической структуры наших первичных организмов. Их весьма эфемерная вначале взаимная ориентация молекулярных комплексов в результате эволюционного процесса приобрела более устойчивый характер и дала начало для образования различных под микроскопом комплексов и структур. Дифференциация этих комплексов совершилась лишь много времени спустя после возникновения первичных организмов лишь в результате их длительной эволюции. Поэтому даже у современных нам простейших живых существ, например у бактерий, мы застаем ее еще сравнительно мало выраженной, на низшей ступени развития. Ядерное вещество бактерий не сконцентрировано в одном образовании, а обычно бывает распылено по всей протоплазме. Точно так же и строение ядерного аппарата синезеленых водорослей является гораздо менее четким, чем это мы имеем у существ, стоящих на более высокой ступени эволюционного развития. До известной степени мы можем проследить постепенное усложнение клеточного строения в процессе филогенетического развития организмов, но здесь уже, собственно, заканчивается вопрос о происхождении жизни и идет речь о том, как из первичных простейших живых существ в результате эволюции возник-

ло все то разнообразие животных и растений, которые населяют в настоящее время Землю.

Итак, мы видим, что установленные наукой факты не только полностью согласуются с той концепцией, которая была выдвинута диалектическим материализмом, но и дают нам возможность более детально, более конкретно представить себе тот путь исторического развития материи, который в конечном итоге привел к возникновению живых существ. В результате известного количественного накопления элементарных вначале свойств происходили качественные сдвиги в развитии органических систем, подчиняющиеся закономерностям все более и более высокого порядка. Сначала возникли простые растворы органических веществ; их поведение определялось свойствами составляющих их атомов и расположением

этих атомов в молекулах. Но постепенно, в результате роста этих молекул и их усложнения, возникли новые качества, и на простейшие химические отношения наложился новые коллоидо-химические закономерности. Они определялись уже взаимным расположением молекул в пространстве. Однако для возникновения первичных живых существ и эти закономерности были еще недостаточны. Для этого было необходимо, чтобы коллоидные образования в процессе своей эволюции приобрели качества еще более высокого порядка, позволяющие им перейти на следующую ступень организации вещества. Здесь на первый план выступили уже биологические закономерности. Эти закономерности, борьба за существование, естественный отбор создали ту форму организации вещества, которая присуща современным нам живым существам.

Воздушные десанты

А. ПАЛЬЧУНОВ

★

Как-то октябрьским утром 1916 г. в восьмидесяти верстах от фронта, в глубоком тылу русской армии, недалеко от Ровно, на небольшую поляну опустился немецкий самолет. Не выключая мотора, летчик сразу же стал разворачивать машину для взлета. В это время из задней кабины выскочил пассажир в штатском, неся в руке тяжелый саквояж. Он быстро и внимательно огляделся кругом и скрылся в чаще леса. Спустя три минуты самолет был уже в воздухе и, брея верхушки деревьев, удалялся на юг. Никто не видел, как самолет, часто меняя курс полета, зигзагообразно уходил в сторону, противоположную фронту. Летчик искусно вводил в заблуждение местных жителей или солдат тыловых русских частей, которые могли бы увидеть место посадки и взлета самолета. Но это, пожалуй, было излишне. Самолеты такого типа имели и русская, и немецкая армии, а опознавательный знак, — черный крест на крыле и хвосте самолета, — был предусмотрительно закрашен. И только отлетев на десяток километров и набрав большую высоту, немецкий летчик пошел напрямик к линии фронта.

А таинственный пассажир в штатском, — он же поручик германской армии Кассель, — пробираясь гущей леса и тщательно пересыпая свои следы перцем, к вечеру достиг блокгауза у железнодорожного полотна Ровно — Броды. Здесь он нашел пункт, отмеченный им

на карте еще вчера. Это был поворот линии у опушки леса, где Кассель спрятался в густых зарослях.

Мимо и очень часто мчались большие составы воинских поездов. Здесь проходила важная артерия, питавшая русский фронт продовольствием, боеприпасами и резервами. По всему видно — русские готовили серьезную наступательную операцию.

Когда настала ночь, Кассель ползком, волоча за собой саквояж, достиг, наконец, того места, где лес и полотно железной дороги почти соприкасались. Он быстро заложил под рельсы весь запас динамита и подготовил бикфордов шнур. Но все попытки запалить его кончались неудачей: поезда шли почти непрерывно, а в нескольких сотнях шагов все время слышался шум, доносившийся, очевидно, с ближайшей станции.

Наконец, уловив момент, Кассель поджег бикфордов шнур, и через несколько минут часть полотна вместе с проходившим воинским составом с грохотом взлетела на воздух. Звуки взрыва сменились криками тревоги. Лес ожил...

На рассвете Кассель нашел по компасу в глуши леса площадку, а спустя час здесь приземлился немецкий самолет, и Кассель благополучно перебрался на нем через линию фронта — домой.

Так впервые в военной истории был осуществлен своеобразный авиадесант.

★

Пионерами авиадесантов шпионского и диверсионного назначения, или, как раньше называли, «специального задания», были авиаторы с мировой известностью, так называемые асы. Среди французских асов мы встречаем Гюиннера, Наварра, Ведрина, неоднократно высаживавших в тылу противника диверсантов и шпионов. Немцы также усиленно засылали по воздуху во французские тылы своих разведчиков.

Небезынтересно ознакомиться с историей этих первых воздушных десантов.

На итальянском фронте летчик Казаграндэ поставил своеобразный рекорд: он совершил пятнадцать посадок в неприятельском тылу и двенадцать из них было выполнено ночью. Для своих операций Казаграндэ пользовался гидропланом и садился преимущественно на хорошо известные водные пространства. Итальянский летчик Гельметти также получил известность в переброске шпионов. Выбор места посадки он определял предварительной аэрофоторазведкой. Гельметти произвел очень много полетов по «специальным заданиям».

Француз Ведрин разработал целую систему десантных полетов. Он обыкновенно совершал их в глубь неприятельского тыла не перед рассветом, как было принято, а в середине дня. Посадочную площадку он выбирал заранее или с помощью наземной агентуры, или путем воздушной разведки. Ведрин перелетал линию фронта на боевой высоте и не уклонялся от цели своего полета. Если за ним увязывался истребитель противника, он резкой переменной курса сбивал с толка летчика или наземное наблюдение.

Как правило, Ведрин садился в лесу, на полянах. Это давало возможность в некоторой мере маскировать посадку, а кроме того, помогало высаженному диверсанту быстрее скрыться в лесу от возможных преследователей. Посадочная площадка обычно выбиралась вдали от населенных пунктов, а заход на посадку Ведрин производил решительно, не делая никаких кругов в воздухе. При снижении, и в особенности на земле,

летчик переводил мотор на малый газ. Обратный полет производился по другому маршруту, чтобы не попасть в лапы истребителей — перехватчиков противника. Опознавательные знаки самолета закрашивались. Карт, могущих уличить Ведрина в том, что он летал по «специальному заданию», он с собой, как и другие летчики, конечно, не брал. При обнаружении подобных документов пойманных летчиков расстреливали на месте.

Интенсивная переброска диверсантов в глубь неприятельской территории происходила не только на западном театре войны, но и на итальянском. В Салониках в свое время подвизался в подобных операциях летчик Корнэмон. Однажды он, залетев на 300 километров в глубь болгарской территории, высадил там одного сербского офицера, который должен был организовать в тылу активную борьбу с болгарами при помощи повстанческих отрядов. Почтовые голуби вскоре принесли известие, что сброшенный диверсант действительно создал отряд численностью в 10 000 человек. Отряд занял город и задерживал в нем все проходившие продовольственные обозы.

Таковы факты, формы, условия и организация авиадесантов в период первой империалистической войны 1914 — 1918 годов.

★

Идея и осуществление первого в истории авиации воздушного десанта, как такового, в условиях войны и в целях не диверсионного использования высаженных бойцов, а в целях боевых действий на земле, принадлежит Красному воздушному флоту. Это было в 1927 году во время борьбы с контрреволюционным басмачеством. В целях уничтожения отряда басмачей, в котором находилось их руководство, три пассажирских и один боевой самолет доставили на территорию, занятую басмачами, и высадили в песках десант в составе 15 человек при трех пулеметах. По выполнению боевой задачи десант вновь был погружен в самолеты и сброшен в свое расположение.

Это был первый в истории войн десант не индивидуального порядка, а массовый, имевший задачу, аналогичную современным десантам, и осуществленный не тайно, а боевым прорывом.

Послевоенный период ознаменовался во всех государствах, имеющих воздушные силы, тщательными теоретическими разработками проблемы воздушных десантов. Специальные военные и авиационные журналы периодически печатали статьи военных специалистов по вопросам условий, форм, организации и техники применения десантов в будущей войне.

Еще в 1929 году в немецком журнале «Виссен унд Вар» автор Боргман писал в статье, озаглавленной «Вертикальный стратегический обход», о возможности производить в тылу противника высадку целых пехотных дивизий для захвата и разрушения важнейших, обороняющихся пунктов и путей сообщения и подвоза. Для этой цели Боргман рекомендовал формирование целых «воздушных корпусов» в 700 — 800 самолетов с грузоподъемностью в одну тонну каждый. Еще тогда Боргман считал нормальным и вполне реальным выброску десанта на парашютах.

Известный немецкий писатель Гельдерс в книжке «Воздушная война 1936 года» описывает высадку десанта с посадкой самолетов непосредственно на аэродромы противника. Он мыслит выполнение этой операции так:

«Ночью, перед самым рассветом, на аэродром одной из воюющих стран неожиданно садятся два неприятельских боевых самолета. Их экипаж выскакивает и, пользуясь всеобщим замешательством, захватывает аэродром ровно на столько времени, сколько требуется для посадки 16 транспортных самолетов. Из этих самолетов выгружается около 250 солдат с 4 орудиями, 8 минометами, 24 легкими пулеметами и 12 станковыми. Самолеты улетают, а высаженный десантный отряд покидает аэродром и с тыла наносит удар войскам противника, ведущим бой на фронте, чем обеспечивает успех своим войскам по ту сторону фронта...».

В дальнейшем Гельдерс, развивая мысль, говорит о том, что не всегда может иметься возможность приземлиться на аэродроме противника, так как в ря-

де случаев неожиданность посадки будет исключена. Тогда он предлагает сперва захватить аэродром силами парашютного десанта, а затем делать посадку самолетов.

В английском журнале «Фляйт» в 1935 году майор Годарри в статье «Летающие армии», обобщая опыт практического освоения десантного дела, писал о необходимости моторизовать воздушно-десантные отряды с тем, чтобы повысить их боеспособность, подвижность и облегчить им внезапность действий. Еще тогда Годарри говорил, что для захвата и удержания в течение 8 — 12 часов территории противника радиусом в 10 км, требуется моторизованное соединение, названное им «воздушной бригадой», состоящее из 400 вездеходных транспортеров и автомашин, несущих 216 пулеметов, 54 противотанковых пушки, подрывное имущество, радиостанции и т. п. и свыше 1 000 бойцов и командиров.

Годарри указывал на особую важность таких десантных операций для британских вооруженных сил в разного рода экспедициях, когда требуется захват важных пунктов, содействие морскому флоту и т. д.

В 1927 году французский генерал Ниессель в своей книге «Господство в воздухе» писал:

«Воздушные силы полностью изменят облик будущей войны лишь в том случае, если они сумеют производить воздушные десанты войск, которые могли бы захватить жизненные районы неприятельской страны...».

Таковы вкратце несколько высказываний видных зарубежных военных специалистов, развивавших идею крупных воздушных десантов и предсказывавших 10 — 13 лет тому назад широкое применение их в будущих войнах.

★

Параллельно с теоретическими высказываниями воздушно-десантное дело постепенно осваивалось и практически.

Англичане из года в год стали тренировать свои войска в воздушных перебросках. Это потребовало формирования

постоянных авиаотрядов, снабженных специальными самолетами.

В январе 1932 года англичане в учебном порядке перебросили по воздуху 70 человек из Каира в Судан. В том же году девять самолетов «Виктория» за три перелета из Каира в Ирак перевезли 600 солдат. При подавлении восстания в районе Басры (Ирак) в 1936 году англичане доставляли туда по воздуху большие отряды пехоты.

Японцы в 1933 году поддерживали боевые действия своих войск в Жэхэ десантными операциями, производимыми на самолетах «Фоккер». Они создали отряд из 12 самолетов, который перебросил за 110 летных часов 400 офицеров, 1 350 солдат и 100 тонн снаряжения.

Генерал Франко в 1936 году на самолетах «Юнкерс» переправил из Марокко в Испанию около 10 000 солдат, что помогло ему начать операции против республиканского правительства. В 1938 году немцы перебросили в течение трех часов из города Линц в Вену 3 000 вооруженных солдат.

Италия, как известно, применяла в Абиссинии десанты, транспортируя по воздуху не только солдат, но и вооружение, и продовольствие в течение всего периода военных действий.

★

Современная война наглядно показала, что авиация и при обороне, и при наступлении способна быстро менять соотношение сил сторон и этим обеспечивать одной из них успех. Мощное развитие авиации привело к тому, что она стала весьма эффективным средством массовой переброски войск на большие расстояния и высадки воздушных десантов. Если в первой империалистической войне с воздуха высаживали лишь отдельных лиц, то в текущей войне авиадесанты уже применяются в грандиозных масштабах и с совершенно иными целями.

Впервые парашютные десанты применены немцами в войне с Польшей. Это были еще небольшие группы, в задачу которых входило главным образом разведка в тылу противника и передача

этих сведений по радио (радиостанция также выбрасывалась на парашюте).

Получив практический опыт в Польше, немцы в дальнейшем начинают применять воздушные десанты уже в более широких масштабах и с другими задачами. Сначала в Дании, а затем и в Норвегии они высаживают значительные силы «воздушной пехоты», предназначенной для выполнения активных боевых операций. Так действующие германские части проникают в глубокий тыл противника.

Французская «Пари-суар» поместила рассказ об этом, написанный военным атташе одной из нейтральных стран, находившимся в Осло:

«Сразу же после того, как норвежское правительство отвергло ультиматум германского командования, немецкие самолеты с войсками приземлились на аэродроме в Осло, и начались боевые действия. За два часа на аэродром было высажено 1 500 солдат, вооруженных автоматическими винтовками, пулеметами и легкими пушками. Вместе с войсками были выгружены также и мотоциклы. Подход эскадрилий к аэродрому осуществлялся в строю по пять самолетов, посадку производили одновременно 2—3 самолета. Самолеты, прикрывающие высадку воздушного десанта, вели пулеметный огонь по окрестностям, прилегающим к аэродрому...».

Для разрушения железнодорожного узла Домбос в Норвегии немцы выбросили несколько групп парашютистов. Операции в районе Нарвика были также поддержаны комбинированными (парашютными и посадочными) десантами.

В Голландии германские парашютисты 10 мая заняли районы Зообург, Нарден, Сладрехт и аэродром Вольхавен. Вскоре на последнем появились и германские самолеты.

В этот же день были выброшены парашютные десанты в районе Лейден, Хогесвалюв и на Фризских островах. А ночью и на рассвете 11 мая немецкие войска высадились в районах Амстердама, Роттердама, Добрехта, Гауда, Мурдейка и Бокстеля. Так почти по всей Голландии в тылу у противника оказались германские войска, которые продержались здесь четыре дня, захватывая важные стратегические пункты и удерживая их до подхода своих удар-

ных частей. В Мурдейке немецкие парашютисты захватили железнодорожный мост, и германская армия легко переправилась через реку Маас. В Голландии десант выполнил важнейшую операцию по предупреждению затопления.

Таким образом, в треугольнике Гаага — Роттердам — Амстердам только в первый день немцы выбросили 12 000 парашютистов (по данным «Дейли геральд»).

В Голландии и Бельгии действовали две германские воздушные дивизии. Они захватывали аэродромы, разрушали коммуникации, дезорганизовывали тылы противника и содействовали своим войскам в штурме и взятии укрепленных пунктов.

При операциях в Бельгии немцы высадили многочисленные десанты в районах: Льежа, Нивеля, Сент-Трона, у канала Альберта, в 15 километрах от Брюсселя в Вильворде и в районе форта Эбен-Эмаэль.

Исключительно большую роль, сыгранную десантами, можно видеть на примере быстрого захвата форта Эбен-Эмаэль. Это было довольно прочное бетонное сооружение в 1 500 метров длиной при толщине покрытия в полтора метра. Под землей располагались склады, электростанция, мастерские. Боеприпасов, продовольствия форт имел более чем на месяц. Вся местность и самые подступы к крепости преграждались проволочными заграждениями, противотанковыми препятствиями, пулеметными гнездами и минами. Форт был вооружен двумя орудиями, калибром в 12 см, большим количеством противотанковых пушек, калибром в 7½ и 6 см, двадцатью спаренными тяжелыми пулеметами, десятками легких пулеметов и пятнадцатью штуками 400-миллиметровых прожекторов. Гарнизон форта состоял из 1 200 солдат. Таким образом, форт был хорошо укреплен и трудно доступен силам наземных частей противника. И только применение парашютного десанта привело его к капитуляции. Сброшенные в непосредственной близости от укреплений парашютисты обеспечили продвижение немецкой пехоты. С воздуха форт поливался бомбо-

вым и пулеметным огнем. В результате такого комбинированного наступления форт пал.

★

Немцы весьма осмотрительно и продуманно применяют десантные операции. Общеизвестен факт, когда они в целях маскировки истинного места высадки парашютистов выбросили ложный десант.

Корреспондент итальянской газеты «Пополо д'Италия», находившийся во время начала военных действий на бельгийско-французской границе, так описывал этот случай. Внезапно с воздуха, неподалеку от воинского эшелона, начал падать настоящий «человеческий дождь». Французские солдаты открыли беглый огонь по парашютистам. Все очевидно, включая и самого корреспондента, думали, что после такого обстрела на землю спустятся не живые люди, а трупы.

«На самом деле, — пишет корреспондент, — парашютисты оказались мнимыми. Это были просто-напросто чучела, одетые в солдатскую форму и снабженные деревянными винтовками. В то время как чучела были сброшены в определенном пункте для того, чтобы отвлечь на себя внимание, за 5—10 километров от этого места другие самолеты сбросили настоящих германских парашютистов с пулеметами, мотоциклами, боеприпасами. Парашютисты беспрепятственно спустились на землю и имели время сгруппироваться, собрать и привести в действие свое автоматическое оружие и закрепиться в том районе, где они приземлились...».

Далее корреспондент сообщает:

«Пользуясь тем, что сто соломенных чучел остановили целый воинский эшелон, заставили израсходовать десятки тысяч патронов, обнаружили наличие французских войск и вызвали деморализацию среди французских солдат, попавших на эту военную уловку, — настоящие парашютисты вызвали подлинное смятение в тылу у неприятеля и выполнили свою боевую задачу».

Чтоб обеспечить успех десантной операции, немцы предварительно проводят тщательную воздушную разведку местности и противника. Кое-где у них уже задолго до войны были заброшены на территорию врага свои агенты. Высадкой первых групп воздушного десанта в Осло, например, руководил представи-

тель воздушного общества «Люфтганза», находившийся в Норвегии. Представитель общества был полковником германской авиации. Он с большим знанием местных условий давал инструкции прибывающим частям.

Воздушная разведка немцев заранее фотографирует местность предполагаемой высадки десанта и районов его боевых действий. Снимки делаются настолько точными, что заменяют вполне карту: каждая улица, каждый мост, жилое строение на них ясно видны и вовсе не требуют дешифровки. Кроме того, тщательно фотографируются также ямы, овраги и другие укрытия, где можно установить мелкокалиберную артиллерию, доставляемую на самолетах. Все это показывает наличие у немцев предварительной подготовки и образцово поставленной воздушной разведки, предшествующей десантным операциям.

Но главным условием, обеспечившим успех германских воздушных десантов, явилось прежде всего господство немецкой авиации в воздухе. Подавляя значительную часть англо-французской авиации, немцы тем самым обеспечивали успешную выброску парашютистов и высадку посадочных десантов, а также дальнейшее пополнение сил и снабжение их по воздуху.

Выброска немцами парашютных групп различной численности на широком фронте в разное время и в довольно большом количестве вызвала распыление сил и рассредоточение внимания противника. Ему приходилось действовать и на фронте, и в тылу.

Парашютисты, попадая в районы, не занятые войсками, имели возможность сгруппироваться, примениться к местности и использовать ее для своих действий.

Большое количество мелких парашютных групп и выброска их ночью затрудняли борьбу с ними. В результате парашютисты дезорганизовывали тыл, разрушали коммуникации и связь.

Недостаточная оборона голландских и бельгийских аэродромов и отсутствие подвижных резервов позволили немцам легко овладеть аэродромами и подготавливать высадку посадочных десантов.

Значительный темп наступления германских наземных войск и, в частности механизированных частей, обеспечил своевременность поддержки ими воздушных десантов.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что крупные воздушные десанты себя вполне оправдали. Воздушно-десантные операции с переброской в тыл противника целых дивизий из области робких опытов на маневрах армий прочно войдут теперь в практику современных войн и будут применяться стороной, добившейся абсолютного превосходства в воздухе.

★

Из сказанного ясно, что современный авиадесант — это организованная, крупная авиационная часть, хорошо вооруженная для противодействия истребителям противника. Основное ядро авиадесанта — тяжелые транспортные самолеты, патрулируемые бомбардировщиками для подавления наземного (зенитная артиллерия) сопротивления, и истребителями, прикрывающими группу от воздушного противника.

Такая группа осуществляет прорыв в тыл противника стремительным броском, используя для этого большую высоту (не всегда обязательную), с большой скоростью. Для перехода линии фронта или пунктов сосредоточенного противодействия противника применяется бомбовая и артиллерийская подготовка.

Место посадки определяется и изучается на основе агентурной разведки, аэрофоторазведки или просто по карте. Посадка производится в зависимости от местности: на большом аэродроме и ровном поле — группами, на ограниченных площадках — одиночными самолетами. Вооружение личного состава десантной группы состоит из винтовок, ручных и станковых пулеметов, гранат и мелкокалиберной артиллерии. Чаще всего — это крупнокалиберные пулеметы, скорострельные пушки и автоматы. Практика маневров в иностранных армиях знает случаи переброски по воздуху и танкеток, и мотоциклов, и противотанковой артиллерии. Отдельные самолеты десант-

ной группы несут на себе продовольствие, горючее и огнеприпасы.

Одной из основных задач авиадесантной группы является подготовка и содействие захвату участка фронта наземными силами. Сюда относится разрушение искусственных сооружений на железных и шоссейных дорогах и реках, т. е. главным образом мостов, виадуков и переходов; уничтожение складов, баз, объектов военного значения и парализация транспортных артерий, питающих войска на фронте.

Высадка воздушного десанта с посадкой самолетов возможна только при хорошей предварительной подготовке и твердой уверенности, что место посадки не заминировано и не разрушено. Во время войны трудно хорошо подготовиться к десантной операции. Трудности заключаются в получении данных агентурной и воздушной разведок. Необходимо еще учесть, что для высадки десанта, осуществляемого, как правило, на тяжелых самолетах, требуется ровная и достаточно длинная площадка, что не всегда удается найти. Поэтому сначала применяют парашютные десанты. Самолеты в этом случае только сбрасывают людей, вооружение и боеприпасы. Парашютисты в свою очередь, попав на территорию противника, готовят здесь необходимые условия для высадки воздушной пехоты.

Парашютисты оккупируют район десанта и находящиеся поблизости важнейшие объекты: рубежи, переправы, укрытия, представляющие тактическую ценность для основного ядра десанта. После захвата этих объектов парашютисты организуют оборону их до момента боевой готовности высаженных с самолетов частей.

Вторая задача парашютистов — организация посадки самолетов, высаживание из них людского состава и охрана сил от наземного противника.

★

Система ПДО (противодесантная оборона), возникшая в результате применения воздушных десантов, состоит из различных мероприятий.

Первым необходимым условием обороны, по мнению многих зарубежных военных специалистов, является организация блестящей службы воздушной разведки своей территории, особенно лесистых, степных и малонаселенных местностей. У линии фронта воздушной разведке рекомендуется наблюдение за строями тяжелых и транспортных самолетов, чтобы определить, не намеревается ли противник произвести десантные операции. Для борьбы с уже высадившимися группами необходимо иметь поблизости небольшие моторизованные части.

В борьбе с воздушными десантами должны участвовать не только военные власти, но и гражданское население, соответственно подготовленное к этому еще в мирное время.

Организация групп содействия из населения может сыграть значительную роль в поддержании порядка и дисциплины в районах высадки десанта. Подготовка местности для противодесантной обороны имеет также большое значение. Наиболее опасные участки должны иметь различные препятствия, не позволяющие производить посадку самолетов. Важно также лишить противника возможности быстро ориентироваться на местности, с точки зрения пункта, названия его, расположения относительно важных объектов стратегического значения и т. д. Ведь выброшенный ночью десант, приземлившись, не всегда будет знать, где именно, в каком пункте он очутился. Могут быть существенные ошибки и в расчете места выброски, так как точно придерживаться этих расчетов самолетам десанта может помешать зенитная артиллерия. Так или иначе, но весьма возможна потеря парашютистами ориентировки не только детальной, но и общей. Восстановить ее по опросам жителей, если местность мало населена, трудно, да и в целях скрытности операции нежелательно прибегать к распросам. Поэтому ориентирующими данными для десанта могут служить вывески названий железнодорожных станций, шоссейные указатели пунктов и расстояния до них, вывески на предприятиях и т. д.

Англичане настолько опасаются германских парашютных десантов на своей территории, что сразу предприняли широкие предупредительные мероприятия. Они у них распространяются как на прибрежные, так и на внутренние районы страны. Все полицейские участки снабжены большим количеством оружия и боеприпасов, вплоть до полуавтоматических револьверов. В некоторых городах командному составу полиции приказано держать при себе винтовки и патроны, даже во внеслужебное время.

Организовано несколько тысяч небольших подвижных отрядов, которые будут по первому сигналу тревоги посыпаться в угрожаемые места на легковых и грузовых автомобилях с винтовками, пулеметами и гранатами. Во все районы Англии направлены легкие танки. На дорогах полицейские власти останавливают и проверяют пассажиров автомобилей и мотоциклов.

Особенно строгие противодесантные мероприятия предприняты вдоль побережья. Во многих районах, где расположены аэродромы и основные дорожные магистрали, сооружены баррикады и установлены специальные вооруженные посты. Усиленные полицейские патрули охраняют также открытые места лесистых районов. В Лондоне тысячи полицейских офицеров получили новые инструкции о борьбе с парашютистами.

По сведениям прессы, в Англии организован специальный корпус для борьбы с парашютными десантами. Он состоит из членов «английского легиона» (организация бывших участников войны 1914—1918 гг.) и насчитывает несколько тысяч человек. Еще в начале июня этого года англичане сняли или стерли все наименования железнодорожных станций. На вокзалах убраны висевшие там ранее карты и планы окрестных районов. Сняты вывески и рекламные плакаты отелей, гостиниц, гаражей, автозаправочных пунктов, промышленных предприятий и других сооружений. Закрашены и убраны указатели автобусных маршрутов в сельских районах. Из книжных магазинов изъяты путеводители по Англии.

Английская церковь дала согласие на использование колоколов в случае высадки десанта для подачи сигналов тревоги...

★

Напрашивается вопрос: почему Англия не применила воздушного десанта в операциях на бельгийской и французской территории? Ведь она уже в 1932 году видела действенность этого средства войны и имела опыт переброски на самолетах «воздушной пехоты».

Применить воздушные десанты англичане не смогли потому, что не имели превосходства в авиации. Немцы с самого начала войны были и остались хозяевами положения в воздухе. У них в строю оказалась огромная масса бомбардировщиков и истребителей. Они сумели организовать безукоризненное взаимодействие между различными видами воздушных сил, умело и оперативно создавали новые базы для авиации на территории противника. Немцы поставили дело так, что базы снабжения у них находятся непосредственно с передовой группой и легко перебрасываются с места на место.

У немцев хорошо поставлена разведка и наблюдение за воздушным противником. В то время как бомбардировочная авиация немцев обеспечивала продвижение танковых дивизий, а истребительная содействовала этому, и разведывательные самолеты внимательно следили за авиацией врага глубоко в тылу противника. И если бы англичане попытались высадить воздушный десант в тылу немецкой армии или на территории Германии, то вряд ли десантные самолеты достигли бы пункта своего назначения — они были бы уничтожены еще в воздухе. Допустим, что десантная группа англичан прорвалась в тыл немцев. Наличие у последних огромного количества танковых и подвижных мотомеханизированных частей в прифронтовой полосе (резервы) сделало бы факт высадки десанта безнадежной затеей. Немцы уничтожили бы его очень быстро.

К началу войны немцы располагали более чем сотней зенитных моторизо-

ванных полков. Эти полки были предназначены для обороны городов, военных и промышленных объектов, автострад, железнодорожных узлов, мостов и т. д. Все войсковые части имели свои средства огневой противовоздушной обороны. Германский моторизованный зенитный полк состоял из трех дивизионов. В каждом дивизионе имелось 3 тяжелых и 1 легкая батарея. Всего в дивизионе было 14 орудий 88-миллиметрового калибра, 12 орудий 37- и 9 орудий 20-миллиметрового калибра.

Оборона германского тыла децентрализована, — Германия разбита на 11 воздушных районов.

Оборона прифронтовых районов и ближних тылов страны построена по зонам ПВО, имеющим своих начальников. Начальник зоны ПВО имеет в своем распоряжении не только огневые средства, но и крупные части истребительной авиации.

Совершенно естественно, что все это создавало для применения Англией воздушно-десантных операций против немцев очень тяжелые условия, вовсе не обещающие успеха.

Да и какой смысл вообще имело бы применение английского воздушного десанта? Немцы стремительно наступали, быстрым темпом двигалась вперед стальная лавина танков, поддерживаемая с воздуха бомбардировщиками. Что мог бы сделать выброшенный воздушный десант? Немного навредить снабжению ударной армии горючим и боеприпасами? Так, немецкие танковые дивизии никаких «обозов» в общепринятом до сих пор понятии не имели: стреляющие танки шли чуть не рядом с ползунами за ними цистернами с горючим и автотранспортом с боеприпасами.

Не имея возможности вести систематическое наблюдение за авиацией противника, англичане не в состоянии были обнаруживать пункты скопления немецких бомбардировочных самолетов на полевых посадочных площадках и наносить им удар путем «вертикального» охвата пункта. Они не смогли парализовать германскую авиацию, несмотря на наличие достаточного количества самолетов и авианосцев.

★

Вкратце остановимся на особенностях и трудностях боевого парашютного прыжка.

Так как самолеты десанта вынуждены итти на большой высоте, а при подходе к месту прыжков они не могут в короткий промежуток времени снизиться, парашютистам приходится прыгать с большой высоты. Но прыжок с большой высоты неизбежно связан с увеличением времени спуска на парашюте, что крайне невыгодно и опасно: большой купол парашюта и сам человек представляют прекрасную цель, легко поражаемую огнем любого, даже неавтоматического, оружия. И действительно, медленное снижение парашютиста облегчает прицельный огонь с земли и даже для самолета представляет собой хорошо различимую на фоне земли цель. Поэтому применяется затяжной прыжок, при котором парашютист камнем летит вниз и раскрывает парашют на близком расстоянии от земли.

Затяжной прыжок дает возможность при аварии, пожаре или повреждении самолета очень быстро удалиться от него. Для парашютиста такой прыжок выгоден тем, что для него становится не опасным огонь воздушных и наземных стрелков. Он быстро уходит из сферы прицельного огня противника, мигмом преодолевает расстояние в несколько тысяч метров и, кроме всего, — точно приземляется в намеченном пункте, что особенно важно для парашютиста десанта. Для осуществления затяжных прыжков с высоты большей 4—5 тысяч метров личный состав десанта должен быть обучен, тренирован и практически хорошо подготовлен.

Что же должен представлять собой личный состав парашютного десанта?

Это преданные своему делу, волевые, смелые, физически здоровые люди. От них требуется исключительное качество стрелковой подготовки. Они должны быть снайперами, саперами-подрывниками, топографами, разведчиками. По тактической подготовке — уметь применять самостоятельные действия. Особое

значение имеет быстрый сбор после приземления, принятие соответствующего боевого порядка, мгновенная оценка обстановки.

До войны в германские парашютные части зачислялись только добровольцы. Они проходили 6-месячный срок обучения. За этот период усваивали правила обращения с парашютом на земле и совершали не менее шести прыжков с самолета с различных высот, с различными учебно-боевыми задачами. Кроме того, парашютисты обучались приемам самообороны в момент спуска на парашютах и специальным действиям после приземления.

Отдельные части парашютного отряда не всегда могут соединиться вместе, поэтому немцы предусматривали в обучении десантеров-парашютистов особенности посадки на территории противника в одиночку и малыми группами. В первом случае парашютист должен превратиться в «агента», диверсанта. Тогда он действует тайно, самостоятельно, на свой страх и риск, стремясь причинить противнику как можно больший вред. Такой агент, конечно, должен прежде всего уметь говорить на языке вражеской страны, управлять автомобилем и мотоциклом, быть в состоянии изменить свою внешность, уметь хорошо плавать, бегать, прыгать и лазить, а также понимать в телеграфии и радио. Конечно, далеко не все парашютисты-немцы владеют иностранным языком, но во всем другом, что от них требуется, — они, несомненно, хорошо подготовлены. Надо полагать, что германские парашютные части имеют свои инструкции и боевые уставы.

★

Наша партия и правительство уделяют огромное внимание развитию парашютного дела в армии и среди мирного населения. Парашютизм — замечательный, массовый вид спорта. Он оздоравливает молодежь, воспитывает в ней смелость, мужество, укрепляя нервы и доставляя истинное удовольствие.

За сравнительно недолгий период времени (4—5 лет) наша страна сделалась страной подлинно массового парашютного спорта. Неудивительно поэтому, что все мировые рекорды по всем разделам и классам парашютных прыжков, включая сюда и женские, и затяжные, и высотные, побиты советскими парашютистами и удерживаются до сих пор.

Скоростные, высотные групповые и прыжки из фигур проведены в истории парашютизма впервые у нас, и они являются мировым достижением парашютистов Красной армии. Тысячи летчиков нашей боевой авиации в совершенстве овладели парашютным делом, — одним из самых тонких и технически сложных видов боевой подготовки.

На своих маневрах Красная армия не раз осуществляла смелые выброски десантных отрядов. Всем памятен маневр 1936 года, когда 20 сентября в районе Гороховца был выброшен десантный парашютный отряд в 500 человек, а на другой день там же — второй десант, численностью в 2 200 человек.

В июне текущего года при занятии Бессарабии наши парашютные части высадились в районе рек Прута и Дуная и заняли города Рени и Болград.

Редакция: Ф. В. Гладков
Л. М. Леонов
В. П. Ставский
М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Уполн. Главлита А—28980. Сдано в набор 13/VI—14/VII—40 г. Подписано к печ. 2—13/VII.
16. печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 1830. Технический редактор С. Ардашникова.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва.